This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Solov'ev, E.A.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

МОНОГРАФІЯ

АНДРЕЕВИЧА

PG3385
S63

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. М. П. С. (Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°), Фонтанка, 117.
1905.

ОТЪ АВТОРА.

Въ этой своей книгѣ я собралъ почти все, что было мною написано и напечатано въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ. Мнѣ кажется, что если порою и нѣтъ внѣшней связи между отдѣльными статьями и замѣтками, то внутренняя связь безусловно существуетъ. Ничего-бы не стоило установить и внѣшнюю связь, но я рѣшилъ этого не дѣлать, такъ какъ кое-что пришлось-бы измѣнить и во всякомъ случаѣ заняться „выравниваніемъ“ мыслей въ ущербъ ихъ непосредственности. И я оставляю написанное такъ, какъ оно вышло изъ-подъ пера, подъ живымъ впечатлѣніемъ разныхъ обстоятельствъ и словъ самого Л. Н. Толстого.

Собранныя здѣсь статьи были помѣщены: 1) въ біографической библіотекѣ Павленкова; 2) въ „Одесскихъ новостяхъ“; 3) въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ (не появившемся въ свѣтъ по независящимъ обстоятельствамъ), и 4) въ газетѣ „Русь“.

Андреевичъ.

31—VII--05 г.
Шувалово.

I.

Дѣтство, отрочество и юность.

Въ теченіи XIX-го вѣка нѣсколько лицъ занимали первое мѣсто въ европейской литературѣ и являлись общепризнанными главарями умственнаго движенія. Сначала такое мѣсто принадлежало Гёте, къ каждому слову котораго жадно прислушивался весь образованный читающій міръ; послѣ Гёте долгое время литературный престолъ оставался не занятымъ, пока среди общихъ рукоплесканій на него не возсѣлъ блестящій и нервный Викторъ Гюго. По смерти Виктора Гюго самымъ виднымъ представителемъ и главаремъ является безъ всякаго сомнѣнія „великій писатель земли русской", гр. Левъ Николаевичъ Толстой.

Гр. Толстого знаетъ теперь весь читающій міръ на любой параллели и на любомъ меридіанѣ. Иностранная критика въ лицѣ самыхъ блестящихъ своихъ представителей, какъ Вогюэ, Цабель, Брандесъ, удѣляетъ ему гораздо больше вниманія, чѣмъ критика русская. Но я не знаю, есть ли въ Россіи человѣкъ, такъ или иначе причастный къ литературной или философской критикѣ, который не обострилъ бы своего пера о произведенія графа Толстого. Не могу припомнить всѣхъ, кто писалъ на эту тему, но если назвать Д. Писарева, Анненкова, Григорьева, Михайловскаго, Скабичевскаго, Протопопова, проф. Козлова, Н. Страхова и т. д.,—то и этихъ именъ будетъ достаточно. Есть люди, избравшіе своею спеціальностью пропаганду идей гр. Толстого; есть другіе, преслѣдующіе эти идеи съ ожесточеніемъ и, такъ сказать, по пятамъ, напр., проф. казанскаго университета г. Гусевъ. Въ періодъ 1886—1889 г., и даже позже, нельзя было взять въ руки нумера газеты или журнала, чтобы не натолкнуться на сужденія о Толстомъ. Стоитъ припомнить, какой шумъ произвела „Крейцерова Соната",—шумъ на столько всеобщій, что даже музыкальные издатели поторопились выпустить въ свѣтъ эту забытую сонату Бетховена, хотя ни малѣйшаго отношенія ни къ музыкѣ, ни къ Бетховену произведеніе Толстого не имѣло. Все выходящее изъ подъ пера Толстого вы можете встрѣтить въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ общества: его пьесы даются при дворцѣ, его сказки, азбука и христоматія читаются въ деревняхъ. Теперь мнѣ приходится пользоваться 9-мъ полнымъ собраніемъ сочиненій Толстого. Это небывалый въ Россіи фактъ: Пушкинъ при жизни видѣлъ одно полное изданіе своихъ созданій, Тургеневъ—три, Достоевскій вышелъ въ „посмертномъ".

Не менѣе имени графа Толстого извѣстно и прозвище его родового помѣстья „Ясной Поляны". Кто не былъ, или кому, по крайней мѣрѣ, не хотѣлось бы тамъ побывать? Заглянемъ и мы туда...

Расположенная въ Крапивенскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи, въ пятнадцати верстахъ отъ города Тулы, имѣніе Ясная Поляна является мѣстомъ, куда постоянно стекаются безчисленные посѣтители и поклонники Л. Н. Толстого.

Ясная Поляна—родовое имѣніе князей Волконскихъ, перешедшее теперь въ родъ графовъ Толстыхъ,—внѣшнимъ своимъ видомъ ничѣмъ не отличается отъ обыкновенныхъ барскихъ помѣстій средней полосы Россіи, и если имя его стало общеизвѣстнымъ, то лишь потому, что здѣсь родился, провелъ свое дѣтство и почти безвыѣздно всю вторую половину своей жизни Левъ Николаевичъ Толстой. „Война и Миръ", „Анна Каренина", и всѣ многочисленныя произведенія послѣднихъ лѣтъ: „Исповѣдь", „Въ чемъ моя вѣра", „Смерть Ивана Ильича", „Крейцерова соната" и т. д. были созданы въ Ясной Полянѣ. Какъ Ферней Вольтера или Коппе m-me Сталь или Мекка Магомета, оно извѣстно всему міру.

Ясная Поляна, ея веселое и живописное положеніе, окружающій ее огромный казенный лѣсъ „Засѣка", самая усадьба съ вѣковыми липовыми аллеями, посаженными прадѣдомъ княземъ Волконскимъ, четыре пруда и вѣчно запущенный барскій садъ, обнесенный валомъ, описывались десятки разъ, какъ русскими, такъ и иностранцами. Про двѣ круглыя кирпичныя башни, стоящія въ замкѣ вала, возлѣ которыхъ когда-то, въ началѣ вѣка, постоянно дежурилъ часовой, свидѣтельствуя своимъ присутствіемъ о знатности помѣщика, генерала временъ Павла I-го—знаютъ одинаково и у насъ, и въ Европѣ, и въ Америкѣ. Теперь эти старыя кирпичныя башни полуразрушены, обросли мохомъ, а наслѣдникъ гордаго генерала и князя Волконскаго, въ простой рабочей блузѣ синяго цвѣта и высокихъ сапогахъ, бесѣдуетъ съ своими посѣтителями и поклонниками о жизни по ученію Христа и тайнѣ смерти, „отстранить которую отъ себя не можетъ человѣкъ никакими грозными каменными башнями, никакими вѣчно дежурящими часовыми".

Въ Ясной Полянѣ возвышался когда-то почтенный барскій домъ съ безконечной амфиладой залъ и комнатъ, гдѣ старое барство, окруженное покорною толпой холоповъ, питало свою гордость громадными доходами и безмѣрною властью надъ крѣпостными подданными. Почтенный барскій домъ сгорѣлъ уже давно, и вся усадьба состоитъ теперь изъ двухъ флигелей,—изъ которыхъ въ одномъ живетъ гр. Толстой съ своимъ семействомъ, очень многочисленнымъ, а другой предназначенъ для паломниковъ Ясной Поляны и гостей.

Флигель, занятый семействомъ графа Толстого и имъ самимъ,—двухъэтажный, очень простой архитектуры и безъ всякихъ украшеній снаружи. Внизу находятся кабинетъ графа, его библіотека и спальня. Нигдѣ и ни въ чемъ незамѣтно даже слѣдовъ роскоши и того огромнаго милліоннаго состоянія, которымъ обладаетъ хозяинъ. Напротивъ, обстановка помѣщенія поражаетъ своей простотой, и лишь портреты предковъ, развѣшенные въ залѣ верхняго этажа, говорятъ еще, что посѣтитель находится въ гнѣздѣ стариннаго барства.

Кабинетъ самого Л. Н. Толстого напоминаетъ комнату прилежнаго и небогатаго студента. Столъ, нѣсколько стульевъ, диванъ, этажерка,—составляютъ всю мебель. Въ углу стоитъ бюстъ давно умершаго старшаго брата Льва Николаевича, Николая Толстого; по стѣнамъ развѣшано нѣсколько картинъ. Между этими послѣдними есть портретъ Шопенгауэра и фотографически снятая въ 1856 году группа русскихъ писателей: Толстого, Григоровича, Гончарова, Тургенева, Дружинина и Островскаго. На этой группѣ Л. Н. Толстой изображенъ въ военномъ мундирѣ съ скрещенными на груди руками; въ выраженіи всей его гордо выпрямившейся фигуры, а особенно въ небрежномъ взглядѣ вдумчивыхъ глазъ есть, какъ намъ показалось, что-то Лермонтовское. Группа любопытна: писатели земли русской не часто бываютъ вмѣстѣ, еще рѣже живутъ дружно между собой; и правда—черезъ немного лѣтъ послѣ 56-го года Гончаровъ разсорился съ Тургеневымъ, Тургеневъ хотѣлъ драться на дуэли съ Толстымъ... Но тогда еще все обстояло мирно и дружелюбно.

Библіотека графа богата и заключаетъ въ себѣ сочиненія на 6-ти или 7-ми языкахъ, которыми Л. Толстой свободно владѣетъ. Здѣсь можно найти всѣхъ классиковъ русской литературы и массу сочиненій по богословію. Наперекоръ духу конца нашего вѣка, Тертулліанъ и Василій Великій замѣняютъ собой Дарвина и Маркса, а холодныя, огромныя книги Спенсера уступили свое мѣсто толкованіямъ Евангелія.

Самъ хозяинъ и кабинета, и библіотеки, графъ Толстой, свободно допускаетъ къ себѣ каждаго, кто вздумаетъ придти или пріѣхать къ нему. Онъ никогда не отказывается отъ разговора и поученія, и для всякаго у него есть, если не ласковое слово утѣшенія, то, по крайней мѣрѣ, всегда искреннее и правдивое слово. Слишкомъ многочисленные посѣтители быть можетъ и утомляютъ его; но графъ не жалуется. Не жалуется онъ и на то, что многіе изъ этихъ посѣтителей вкривь и вкось разсказываютъ о своихъ съ нимъ бесѣдахъ въ различныхъ журналахъ и газетахъ. И назойливость, и ложь исчезаютъ какъ незамѣтная мутная струя въ морѣ обожанія и восторга, окружающемъ графа Толстого. Это обожаніе и восторгъ растутъ изо-дня въ день и наперекоръ общему правилу растутъ по мѣрѣ того, какъ мы ближе знакомимся съ жизнью писателя и даже семейной его обстановкой. Въ этой жизни, какъ кажется, нѣтъ уже болѣе тайнъ: самъ графъ Толстой не считаетъ нужнымъ скрывать ничего, что касается его лично. Увлеченія и ошибки своей молодости, свои душевныя муки, едва не доведшія его до самоубійства, онъ подробно и страстно описалъ самъ въ своихъ произведеніяхъ. Его поклонники, какъ Левенфельдъ, родственники, какъ Берсъ, разсказываютъ намъ объ обстановкѣ его жизни, которую видѣли собственными глазами. „У меня ни отъ кого на свѣтѣ нѣтъ никакихъ тайнъ! пусть всѣ знаютъ, что я дѣлаю, если хотятъ“— часто говорилъ Л. Толстой.

Эти его слова между прочимъ и позволяютъ намъ приступить къ его біографіи.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой родился 28-го августа 1828 года, слѣдовательно, теперь онъ перешелъ уже предѣльный возрастъ, до котораго

доживали русскіе писатели, за исключеніемъ очень немногихъ, напр., Державина, и, однако, ни его физическія силы, ни творческій геній не ослабли замѣтно: достаточно вспомнить, что всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ была создана „Крейцерова Соната", многія сцены которой могутъ итти вровень съ лучшими сценами „Войны и Мира".

Родоначальникомъ Л. Н. Толстого былъ современникъ и другъ Петра I-го, пожалованный за свои заслуги и, между прочимъ, за измѣну царевнѣ Софіи — Петръ Андреевичъ Толстой, потомокъ выходца изъ Пруссіи, носившаго прозваніе Dick, что́ по-русски и значитъ „толстый". Отсюда и фамилія—Толстые. Графъ Петръ Андреевичъ занималъ важный дипломатическій постъ—былъ посломъ въ Константинополѣ, не разъ сиживалъ въ Семибашенномъ замкѣ въ случаѣ разногласія султана и императора, и по смерти завѣщалъ своему роду хорошее состояніе и легкую карьеру при дворѣ.

Браки Толстыхъ всегда были аристократическіе, безъ малѣйшаго признака mésaillance'a. Напр., мать Льва Николаевича—княжна Волхонская, бабушка—княжна Горчакова; бабушка по матери—княжна Трубецкая и т. д. Волхонскіе, Горчаковы,—прямые потомки Рюрика и владѣтельныхъ рюриковичей. Самъ Графъ Левъ Николаевичъ внѣшностью своей сильно напоминаетъ своего дѣда князя Николая Андреевича Волхонскаго—(въ „Войнѣ и Мирѣ" Болконскаго) хотя значительно крупнѣе его фигурой. „У обоихъ открытый и высокій лобъ съ творческими шишками; музыкальныя шишки, далеко выдающіяся впередъ, покрыты густыми отвисшими бровями, изъ подъ которыхъ точно проникаютъ въ чужую душу небольшіе и глубокосидящіе сѣрые глаза". Значитъ вполнѣ правъ былъ графъ Толстой, когда впослѣдствіи, до вѣроученія впрочемъ, онъ находилъ источникъ гордости своей въ томъ, что онъ „чистый аристократъ". Кровь Толстыхъ на самомъ дѣлѣ въ теченіе почти двухъ столѣтій была чиста отъ всякой примѣси какихъ-нибудь разночинныхъ элементовъ. Портреты, украшающіе залу яснополянскаго дома, принадлежатъ всѣ безъ исключенія титулованнымъ особамъ, князьямъ и графамъ, въ звѣздахъ и лентахъ, генераламъ и тайнымъ совѣтникамъ. Родовое дерево князя Волхонскаго поддерживаетъ святой Михаилъ, князь Черниговскій, погибшій когда-то смертью мученика въ ордѣ. Традиціи, унаслѣдованныя Толстымъ,—это традиціи стараго русскаго барства — обстоятельство, какъ мы это ниже увидимъ, далеко не лишенное интереса и своеобразнаго значенія. Это „старое барство" при Петрѣ Великомъ, переименованное изъ бояръ, стольниковъ, окольничьихъ и т. д. въ совѣтники различныхъ категорій, стригло себѣ волосы, брило бороды, одѣвалось въ нѣмецкое платье, ѣздило въ заморскія страны,—мечтало объ „огражденіи правъ своихъ" и, быть можетъ, о чемъ-нибудь даже большемъ при Петрѣ II и Іоаннѣ VI,—вынесло жестокую ферулу Бирона при Аннѣ Ивановнѣ, расплатившись полностью за свои конституціонныя мечтанія,—достигло небывалаго расцвѣта при дворѣ Екатерины, гордо замкнулось въ своихъ усадьбахъ при Павлѣ Петровичѣ,—стояло впереди русскаго общества при Александрѣ I, впервые проникшись тутъ духомъ народолюбія и западными просвѣтительными идеями, и оказалось почти не у дѣлъ въ царствованіе императора Николая. Умственный расцвѣтъ этого стараго барства—первая четверть нашего

вѣка,—эпоха, къ которой всегда съ особенной любовью обращался графъ Толстой, почерпнувъ изъ нея содержаніе своей геніальной эпопеи „Война и Миръ“ и начатыхъ, но неоконченныхъ „Декабристовъ“. Старое барство безпокойно волновалось тогда, искало правды и обновленія въ массонствѣ, мистицизмѣ, „дѣятельной добродѣтели“; составляло глухую оппозицію Аракчееву, Магницкимъ и Руничамъ, и послѣ безумныхъ по полному отсутствію какой-бы то ни было программы декабрьскихъ дней опять затолкалось и заинтриговало на дорожкахъ военной или придворной карьеры. Своеобразная сословная гордость отличала это старое русское барство, и для лучшихъ его представителей мужикъ и народъ были несомнѣнно всегда ближе, родственнѣе и понятнѣе, чѣмъ разночинецъ, торгашъ или иной какой-нибудь представитель третьяго сословія. Свою антипатію къ этимъ новымъ элементамъ русскаго общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народолюбіе, старое барство стало высказывать уже со временъ Радищева, и не разъ высказывалъ ее, какъ мы увидимъ ниже, и графъ Л. Н. Толстой.

Отецъ графа Л. Н. Толстого, подполковникъ Павлоградскаго гусарскаго полка, Николай Ильичъ Толстой участвовалъ въ кампаніи 12-го и 13-го годовъ. Видный, плѣнительный мужчина, пользовавшійся большимъ успѣхомъ въ свѣтѣ, онъ получилъ отъ отца своего, графа Ильи Андреевича, совершенно разоренное состояніе. Чтобы не положить тѣни на память отца, онъ, какъ Николай Ростовъ въ „Войнѣ и Мирѣ“, удовлетворилъ всѣхъ кредиторовъ и остался совершенно не причемъ. На рукахъ его была старая мать, урожденная княжна Горчакова, привыкшая, разумѣется, къ роскошной и не думающей о завтрашнемъ днѣ жизни, и родственница Т. А. Ергольская, впослѣдствіи воспитавшая Льва Николаевича и жившая съ нимъ до самой своей смерти. На скромное жалованье офицера Николай Ильичъ существовать не могъ, и родственники его для поправленія обстоятельствъ прибѣгли къ обычному средству стараго барства и женили его на немолодой, некрасивой княжнѣ Марьѣ Ивановнѣ Волконской, единственной наслѣдницѣ одного изъ богатѣйшихъ русскихъ вельможъ. Эта семейная исторія послужила впослѣдствіи канвой для другой исторіи, съ такой поэтической прелестью разсказанной въ „Войнѣ и Мирѣ“. Разореніе семейства Ростовыхъ, расчетъ съ кредиторами, выходъ Николая Ростова въ отставку, его женитьба на некрасивой княжнѣ Болконской извѣстны всякому русскому читателю. Но дѣйствительность преломилась сквозь призму поэзіи, и идеализируя преданія своей семьи и стараго барства вообще, графъ Толстой ввелъ цѣлую любовную эпопею между Николаемъ Ростовымъ и Марьей Болконской, почему на страницахъ романа бракъ является устроеннымъ по любви, а не по разсчету. Каковъ бы, однако, онъ ни былъ, бракъ оказался вполнѣ пристойнымъ. Родители Льва Николаевича жили преимущественно въ Ясной Полянѣ, и семейная жизнь ихъ протекала счастливо и безмятежно. Графиня Толстая, мать Льва Николаевича, умерла въ 1831 г., когда ея сыну было всего три года съ небольшимъ. 6 лѣтъ спустя сошелъ въ могилу и графъ Николай Ильичъ, и будущій великій писатель 9-ти лѣтъ отъ роду остался круглымъ сиротой.

Что были за люди родители графа Толстого, мы знаемъ очень мало. Портреты ихъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ (Николай Ростовъ и Марія Болконская), очевидно, идеализированы, чтобы можно было положиться на нихъ,

какъ на документъ. Въ романѣ Николай Ростовъ прекрасный хозяинъ, влюбленный въ свою жену, духовность и нѣжность ея натуры,—человѣкъ недалекій, недолюбливающій разсужденій и неумѣющій разсуждать,—прекрасный офицеръ и завидный служака, успокоившійся на томъ, что для разсужденій поставлены другіе, высшіе его,—и вмѣстѣ съ тѣмъ честная, открытая, непосредственная натура, обаяніе которой въ ея правдивости, хотя и узкой. Такой же характеръ и у Вронскаго. Въ этихъ натурахъ нѣтъ разума, но есть разсудительность; нѣтъ героизма, но есть мужество; нѣтъ справедливости, но есть честь и честность. Они—исполнители, и мѣсто самостоятельнаго мышленія для нихъ замѣняютъ приказанія и указанія. Что именно такимъ не былъ отецъ Льва Николаевича, это можно утверждать навѣрное, и одинаково навѣрное можно утверждать, что во многомъ портретъ и подлинникъ схожи между собою. Графъ Николай Ильичъ во всякомъ случаѣ не былъ творческой натурой, что никакъ нельзя сказать о его женѣ. Про эту послѣднюю разсказываютъ, что „когда она, въ молодости, бывала на балахъ, то собирала вокругъ себя въ уборной молодыхъ дѣвушекъ и занимала ихъ ею же выдуманными сказками. Напрасно ждали кавалеры въ большой залѣ своихъ дамъ: тѣ не могли оторваться отъ сказокъ княжны Волконской". Въ „Войнѣ и Мирѣ" княжна Марья, некрасивая и слезливая, очерчена, однако, такими нѣжными штрихами, что вся ея фигура является сотканной изъ тончайшихъ нитей и производитъ впечатлѣніе чего-то неземного, высокаго и истинно-христіанскаго, несмотря на суевѣріе и пристрастіе къ странницамъ и легендамъ. Болѣзненная даже духовность натуры, воображеніе мистически настроенное, жажда самоотреченія и самопожертвованія, чудная привѣтливость и мягкость характера, порывъ къ небу и вѣчное стремленіе уходить со своими мечтами въ міръ, гдѣ нѣтъ болѣзни и печали—всѣмъ этимъ графъ Толстой надѣлилъ тотъ образъ, въ которомъ онъ хотѣлъ изобразить свою мать. И вообще всякая женщина, при созданіи которой графъ Толстой жилъ нѣжными воспоминаніями о своей безвременно умершей матери, является у него человѣкомъ не отъ міра сего, натурой мечтательной и съ экзальтированнымъ воображеніемъ, про какихъ говорятъ: не „умираютъ онѣ, а улетаютъ на небо".

По смерти матери, воспитаніемъ дѣтей — четырехъ мальчиковъ и одной дѣвочки, совсѣмъ крохотнаго ребенка,—занялась дальняя родственница Толстыхъ, Ергольская. Въ 1837 г. вся семья переѣхала изъ Ясной Поляны въ Москву, такъ какъ старшій братъ Льва Николаевича, Николай, долженъ былъ готовиться въ университетъ; но лѣтомъ того же года скоропостижно умеръ графъ Николай Ильичъ, оставивъ послѣ себя пять человѣкъ дѣтей и очень разстроенное состояніе. Для сокращенія расходовъ часть семьи съ Ергольской вернулась опять въ Ясную Поляну. Дѣтей, разумѣется, учили, и учителями были и гувернеры-нѣмцы—одинъ изъ которыхъ достигъ безсмертія подъ именемъ Карла Ивановича въ „Отрочествѣ",—и русскіе семинаристы въ тиковыхъ сюртукахъ, съ удареніемъ на „о".

По свидѣтельству покойной тетки Льва Николаевича, П. И. Юшковой, „въ дѣтствѣ онъ былъ очень шаловливъ, а отрокомъ отличался *странностью*, а иногда *неожиданностью* поступковъ, живостью характера и прекраснымъ сердцемъ" (Берсъ).

П. И. Юшкова разсказывала Берсу, что „однажды въ пути на почтовыхъ лошадяхъ, когда всѣ уже усѣлись въ экипажи, стали искать Льва Николаевича, который былъ тогда мальчикомъ. Въ это время голова его высунулась въ окнѣ станціи со словами „ma tante, я сейчасъ выхожу!“ Половина головы его была обстрижена. Фантазія обстричь голову во время короткой остановки, повидимому, не объяснялась никакою надобностью.

Самъ Левъ Николаевичъ разсказывалъ при Берсѣ въ семейномъ кругу, что въ дѣтствѣ, лѣтъ семи или восьми, онъ возымѣлъ страстное желаніе *полетать по воздуху*. Онъ вообразилъ, что это вполнѣ возможно, если сѣсть на корточки и обнять руками свои колѣна; при этомъ, чѣмъ сильнѣе сжимать колѣна, тѣмъ выше можно полетѣть. Мысль эта долго не давала ему покоя, и, наконецъ, онъ рѣшился привести ее въ исполненіе. Онъ заперся въ классную комнату, влѣзъ въ окно и въ точности исполнилъ все задуманное. Онъ упалъ съ окна на землю съ высоты около двухъ съ половиной саженей, отшибъ себѣ ноги и не могъ встать, чѣмъ не мало напугалъ домашнихъ. Таковы немногіе—(слишкомъ даже!)—подлинные факты изъ дѣтства великаго писателя.

Это время уже послужило Толстому темой для его перваго произведенія „Дѣтства“, напечатаннаго въ „Современникѣ“ 1852 года. Разумѣется, какъ во всемъ, что вышло изъ подъ пера Толстого, такъ и здѣсь, правда и вымыселъ переплетаются; но можно замѣтить, что въ художественной фантазіи Толстого есть одна характерная черта: всѣ свои усилія она сосредоточиваетъ не на томъ, чтобы отдѣлиться отъ дѣйствительности а, напротивъ, чтобы освѣтить и одухотворить ее. Въ большинствѣ произведеній Толстого героемъ является онъ самъ, его собственное душевное настроеніе, несомнѣнно имъ пережитое и перечувствованное. На эти произведенія мы смѣло можемъ положиться, какъ на автобіографическіе документы изъ области духовной жизни писателя.

Герой „Дѣтства“, Николинька Иртеньевъ, въ разсказѣ, который ведется отъ его лица, знакомитъ насъ со всѣми своими дѣтскими впечатлѣніями и лицами его окружавшими. Мать и отецъ, нѣмецъ-гувернеръ Карлъ Ивановичъ Мауэръ, братъ Володя и сестра Любочка, нянька Наталья Савишна, юродивый Гриша—всѣ эти люди описаны съ удивительной художественностью, и ихъ разговоры, развлеченія, поступки переносятъ насъ въ давно минувшую эпоху стараго барства, его привольнаго, а подчасъ и разнузданнаго житья. Передъ нами семейная жизнь, гдѣ соблюдены всѣ приличія, гдѣ внѣшній лоскъ закрылъ ея зло и неправду,—страдалица мать, мистическая и экзальтированная натура,—принципы порядочнаго комильфотнаго существованія, безпечнаго и неодухотвореннаго ничѣмъ высокимъ.

Самъ Николинька, наслѣдовавшій отъ матери свою впечатлительность, свою наклонность къ мечтанію, свою неуравновѣшенную талантливую натуру—полностью обрисованъ въ первыхъ же сценахъ.

Онъ просыпается съ „разстроенными нервами“ и чувствуетъ себя до глубины души обиженнымъ тѣмъ обстоятельствомъ, что его добродушнѣйшій гувернеръ Карлъ Ивановичъ неловко убилъ хлопушкой муху надъ его кроваткой. За чувствомъ обиды какъ-то сразу слѣдуетъ раскаяніе, а затѣмъ слезы. На вопросъ, почему онъ плачетъ, мальчикъ сказалъ, что

„плачетъ отъ того, что видѣлъ дурной сонъ: будто—maman умерла и ее несутъ хоронить". Все это онъ выдумалъ, но когда Карлъ Ивановичъ, тронутый разсказомъ, сталъ утѣшать и успокаивать его, ему показалось, что онъ точно видѣлъ страшный сонъ, и слезы полились уже отъ другой причины". Но еще нѣсколько минутъ, и мрачное настроеніе смѣнилось безпричинной веселостью и шаловливостью. За какихъ-нибудь полчаса и гнѣвъ, и обиженность, и раскаяніе, и слезы, и веселье.

Мальчикъ въ классной. Отсюда изъ оконъ на право видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало, покуда поправляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ,—такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть: Богъ знаетъ отъ чего и о чемъ такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки.

Уже по этимъ и имъ подобнымъ сценамъ вы видите передъ собой даровитую, неуравновѣшанную натуру, съ удивительно чуткими нервами, себялюбивую и увлекающуюся, не умѣющую ни на іоту владѣть собой и сосредоточиваться на томъ, что нужно и приказано. Неожиданные рѣзкіе переходы отъ одного къ другому, преобладаніе чувствительности, застѣнчивость, съ одной стороны, желаніе всѣмъ нравиться и стать на первомъ планѣ—съ другой, подготовляютъ читателя къ будущему, гдѣ ребенка ждетъ столько ошибокъ, увлеченій, разочарованія, столько мучительныхъ минутъ раскаянія и сокрушенія о грѣхахъ своихъ.

Мучительный разладъ между мечтою и дѣйствительностью, т. е. тотъ самый, который впослѣдствіи такъ тяжело далъ себя почувствовать Толстому—начался очень рано уже въ дѣтскіе годы: мальчику хочется сидѣть на балконѣ вмѣстѣ съ большими, а вмѣсто этого его заставляютъ въ классной заниматься діалогами и диктантами; онъ хочетъ всѣмъ нравиться, быть находчивымъ, выдержаннымъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ свою полную неприспособленность къ этому; его мучаетъ даже некрасивое лицо, непокорные вихристые волосы, широкій носъ, маленькіе сѣрые глаза. Спасеніе отъ всѣхъ этихъ бѣдствій онъ ищетъ въ мечтѣ, которой предается до одуренія, до полнаго умственнаго наркоза. Онъ еще не знаетъ страданія, но слишкомъ уже хорошо знакомъ съ грустью и даже любитъ грустить, любитъ уходить въ созерцаніе и смакованіе собственнаго своего, подчасъ выдуманнаго, страданія, и вы чувствуете, какъ будущій князь Нехлюдовъ—этотъ ненужный и неумѣлый, хотя и порывисто благородный баричъ, подготовляется къ обстановкѣ, гдѣ родился и росъ Николинька Иртеньевъ.

Въ 1840 г. умерла опекунша сиротъ Толстыхъ, графиня Остенъ-Сакенъ, и опека перешла къ ихъ теткѣ П. И. Юшковой, жившей съ мужемъ въ Казани, куда и переѣхала вся семья Толстыхъ. Въ Казань же перешелъ изъ московскаго университета и старшій братъ Николай.

П. И. Юшкова, богатая знатная дама, принимала въ своей гостиной все „лучшее общество", и въ ея домѣ уже не было и помину о простой ясно-полянской жизни; напротивъ, все отъ обихода до взглядовъ свидѣтельствовало о родовитости, богатствѣ, связяхъ. Здѣсь, какъ мы скоро увидимъ, полностью расцвѣли и распустились комильфотныя стремленія Льва Николаевича. Все этому способствовало, и самая атмосфера юшковскаго дома, казалось, была проникнута заботою о томъ, чтобы все было на лучшій ладъ. Сама Юшкова мечтала для своихъ титулованныхъ племянниковъ о карьерѣ дипломатовъ или флигель-адъютантовъ. Ни въ чемъ другомъ не видѣла она смысла и счастья, какъ въ густыхъ эполетахъ, большихъ доходахъ, полной независимости. Сохранилось и ея изреченіе: rien ne forme un jeune homme comme une liason avec une femme comme-il-faut, т. е. ничто такъ не полезно для молодого человѣка, какъ связь съ порядочной женщиной. Этой связи она, разумѣется, желала и для Льва Николаевича.

Съ переѣздомъ въ Казань закончилось и дѣтство Толстого. Почти неуловимые и неопредѣлимые штрихи отдѣляютъ эту первую пору жизни человѣческой отъ второй—отрочества, и чтобы охарактеризовать эти штрихи, обратимся опять къ духовной автобіографіи нашего писателя.

„Случалось ли вамъ, читатель,—спрашиваетъ онъ,—въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстной еще стороной. Такого рода моральная перемѣна произошла во мнѣ въ первый разъ, во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества.

„Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего общаго не имѣющихъ съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ все это, но зналъ не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, но чувствовалъ.

„Когда я глядѣлъ на деревни и города, которыя мы проѣзжали, въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило по крайней мѣрѣ такое-же семейство, какъ наше; на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ; на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ,—мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ, что-же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? Изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учатъ ли ихъ, пускаютъ ли играть, какъ наказываютъ?...

„Между дѣвочками и нами появилась какая-то невидимая преграда: у нихъ и у насъ были уже свои секреты, какъ будто онѣ гордились передъ нами своими юбками, которыя становились длиннѣе, а мы своими панталонами въ рейтузахъ".

Кончилось дѣтство—эта счастливая невозвратимая пора. Ребенокъ, все время жившій только собой и для себя, вдругъ неожиданно разсмотрѣлъ передъ глазами обширный Божій міръ, съ милліонами такихъ же

людей, какъ и онъ самъ,—людей, погруженныхъ въ собственныя думы, радости, печали. Онъ не созналъ, да и не могъ еще сознать, своего мѣста въ этомъ обширномъ Божіемъ мірѣ: онъ не сознавалъ, да и не могъ еще сознать тѣхъ отношеній, въ которыя онъ вступитъ и долженъ будетъ вступить съ этими милліонами ему подобныхъ, но онъ въ минуту прозрѣнія почувствовалъ себя частицей чего-то огромнаго, сложнаго, необъятнаго. Рамки дѣтскаго эгоизма раздвинулись и кончилось дѣтство. А какъ жаль, что кончилось оно.

„Послѣ молитвы—пишетъ Толстой—завернешься, бывало, въ одѣяльце; на душѣ легко, свѣтло и отрадно; однѣ мечты гонятъ другія,—но о чемъ онѣ? Онѣ неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на свѣтлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карлѣ Ивановичѣ и его горькой участи—единственномъ человѣкѣ, котораго я зналъ несчастливымъ—и такъ жалко станетъ, такъ полюбишь его, что слезы потекутъ изъ глазъ, и думаешь: дай Богъ ему счастье, дай мнѣ возможность помочь ему, облегчить его горе; я всѣмъ готовъ для него пожертвовать... Потомъ любимую фарфоровую игрушку—зайчика или собачку—уткнешь въ уголъ пуховой подушки и любуешься, какъ хорошо, тепло и уютно ей тамъ лежать. Еще помолишься о томъ, чтобы Богъ далъ счастья всѣмъ, чтобы всѣ были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бокъ, мысли и мечты перепутаются, смѣшаются и уснешь тихо, спокойно, еще съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ...“

Кончилось дѣтство.

„Вернутся-ли когда-нибудь—продолжаетъ Толстой—та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели,—невинная веселость и безпредѣльная потребность любви—были единственными побужденіями въ жизни?...

„Гдѣ тѣ горячія молитвы, гдѣ лучшій даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и навѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію.

„Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались однѣ воспоминанія?“

Но и однѣ воспоминанія, особенно такія чистыя, свѣтлыя, святыя, которыя сохранилъ Толстой на всю жизнь—ужасно много значатъ. У многихъ-ли остались онѣ? да и этихъ немногихъ съ каждымъ днемъ становится все меньше и меньше!

Въ Казани у Льва Николаевича былъ учитель и гувернеръ „St. Thomas“, описанный имъ впослѣдствіи подъ именемъ m-r Жерома. Этотъ-то „St. Thomas“ и подготовилъ его къ поступленію въ университетъ.

Въ университетъ въ то время молодые баричи поступали очень рано, кто 14-ти, 15-ти, кто 16-ти лѣтъ,—поступали не изъ гимназій, какъ теперь, а прямо изъ классной помѣщичьяго дома, гдѣ большинство получало,

разумѣется, подготовку очень сомнительную. Впрочемъ, и въ стѣнахъ высшаго учебнаго заведенія наука не находилась въ особенной чести, и смѣло можно спросить себя: была ли она на самомъ дѣлѣ? Разумѣется, читались лекціи и внѣшній видъ научности соблюдался; но далѣе, глубже не забирались ни профессора, ни студенты. Громкія названія факультетовъ, вродѣ морально-политическаго, и предметовъ, какъ, напр., эстетика, не должны смущать читателя: хорошихъ профессоровъ, особенно въ провинціи, или совсѣмъ не было, или они должны были молчать, ограничиваясь чтеніемъ записокъ, тщательно разсмотрѣнныхъ, проредактированныхъ, процензурованныхъ и пр. Извѣстно изреченіе императора Николая Павловича: „и архіереямъ нельзя давать всякую книгу"; что же послѣ этого могли слышать студенты. Буря, пронесшаяся надъ русскими университетами во времена Магницкаго и Рунича, когда анатомію преподавали не по скелету, а по полотенцу, а въ карцерѣ для провинившихся слушателей морально-политическихъ и иныхъ наукъ висѣла картина Страшнаго суда—была еще въ памяти у всѣхъ; готовилась и новая буря, которой не много лѣтъ спустя предстояло разразиться надъ лучшимъ изъ университетовъ той эпохи—московскимъ. Наука, повторяю, въ чести не была, да, въ сущности, никто и не чувствовалъ въ ней ни малѣйшей надобности: государство поддерживало и содержало ее совсѣмъ не потому, что ему нужны были ученые юристы и знатоки римскихъ древностей, а просто, чтобы не ударить въ грязь лицомъ передъ Европой и не разрушать дѣла, начало которому было положено великой Екатериной. Интеллигенція только что возникала въ то время, а общества не было совершенно. Контингентъ студентовъ пополнялся главнымъ образомъ изъ дворянъ и помѣщичьихъ дѣтей. Странно даже спрашивать себя, зачѣмъ нужна была наука владѣльцу столькихъ-то и столькихъ-то душъ?... Правда, университетскій дипломъ давалъ извѣстныя привилегіи по службѣ и право на штабъ-офицерскій чинъ, но кто же не знаетъ, что привилегіи университетскаго диплома ничто и даже меньше того сравнительно съ привилегіями рожденія, богатства, связей. Поэтому-то атмосфера ненужности, одинаково понятной и для профессоровъ и для студентовъ, наполняла собою университетскія аудиторіи и кабинеты; не слышалось живого слова, не видно было горячаго увлеченія, и чѣмъ-то затхлымъ и скучнымъ отзываются и наука, и лекціи того времени. Даже даровитые юноши, обладавшіе жаждой познанія и рвавшіеся къ источнику истины, быстро охладѣвали, переступивъ университетскій порогъ. Уже вступительный экзаменъ, на которомъ такъ много значила протекція, знакомство, взятка, нарушалъ невинность мечты, и нѣсколько выслушанныхъ лекцій вызывали сначала недоумѣніе, потомъ недовольство и, наконецъ, отвращеніе. Оставался, слѣдовательно, синій воротникъ студенческаго сюртука, шпага гражданскаго вѣдомства и возможность считать себя большимъ. Большинство, разумѣется, вполнѣ этимъ удовлетворялось тогда, какъ удовлетворяется оно и въ настоящее время.

„Бурна была, говоритъ проф. Загоскинъ, жизнь казанскаго студенчества 40-хъ и 50-хъ годовъ. Хранящіяся въ архивѣ мѣстнаго университета дѣла по инспекціи и канцеляріи попечителя представляютъ собою цѣлые томы производства по поводу зазорнаго поведенія студентовъ и

даютъ длинную хронику скандаловъ и безобразій болѣе или менѣе публичнаго характера, бороться съ которыми были безсильны всѣ строгости университетской инспекціи того времени. О гомерическихъ кутежахъ и попойкахъ мы уже не говоримъ: они носили положительно хроническій характеръ; весь избытокъ жизни уходилъ на кутежи. Бывали, конечно, примѣры и студентовъ-аристократовъ, которые не чужды были безобразій, довольно таки колоссальнаго характера, какія учинялъ, напр., сибирскій уроженецъ, князь Ч—евъ, развлекавшійся тѣмъ, что, вооружившись духовымъ ружьемъ, съ чердака обстрѣливалъ и держалъ въ постоянномъ осадномъ положеніи всю Поперечно-Красную улицу,—не говоря уже о цѣломъ рядѣ другихъ безобразій, которыми ознаменовалъ этотъ князекъ свое пребываніе въ университетѣ. Но говоря вообще, студенты-аристократы чуждались бурнаго разгула казанскихъ буршей стараго времени и образовывали свою особую группу, впадая при этомъ въ другую крайность—увлеченіе свѣтскою жизнью, наслажденіями болѣе тонкаго и комильфотнаго разврата... Балы, вечера, пикники, спектакли, живыя картины (въ которыхъ, кстати сказать, съ большимъ успѣхомъ принималъ участіе и Л. Н. Толстой), рысаки, женщины—составляли альфу и омегу этихъ самодовольныхъ барчатъ, которые поступали въ университетъ, сами не зная для чего. Юридическій факультетъ особенно изобиловалъ юношами этой послѣдней категоріи".

Лучшимъ изъ факультетовъ въ Казани былъ, повидимому, математическій, гдѣ подвизался въ то время Лобачевскій, но Л. Н. Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ. Случилось это въ 1843 году, когда будущему писателю исполнилось всего 15 лѣтъ. Съ этого времени графъ Толстой считаетъ начало своей юности: гдѣ же *отрочество?*

Представивъ себѣ обстановку барскаго юшковскаго дома и плоскій идеалъ комильфотнаго существованія, при которомъ связь съ порядочной женщиной считается лучшимъ средствомъ, чтобы „оформить" молодого человѣка, читатель легко пойметъ, какъ съ внѣшней стороны жилось графу Толстому за эти три года (1840—1843). Важныхъ опредѣляющихъ событій никакихъ; французъ-гувернеръ, смѣнившій нѣмца-дядьку, обучаетъ манерамъ и языкамъ; есть еще каждый день уроки русскаго языка, исторіи, математики, которые даются неблагообразными семинаристами, съ удареніемъ на „о"; есть балы, праздная прогулка и катанья.

„Весело, очень весело жили въ Казани въ ту дореформенную пору—продолжаетъ проф. Загоскинъ—конечно, въ высшихъ сферахъ общества, дававшихъ главный колоритъ мѣстной общественности. Широкій размахъ казанской великосвѣтской жизни 40-хъ и 50-хъ годовъ носилъ характеръ послѣдней агоніи крѣпостного строя старой Россіи и давалъ себя особенно сильно чувствовать по зимамъ. Казань служила центромъ, къ которому тяготѣло все среднее Поволжье и Прикамье, являясь по отношенію къ нимъ маленькой столицей. Сюда съѣзжались на зиму богатыя помѣщичьи семьи, съ тѣмъ, чтобы повеселиться здѣсь послѣ лѣтней деревенской жизни, сдѣлать заказы, обшиться и пріодѣться, отдать въ ученье подростающихъ ребятъ, а при случаѣ подыскать приличную партію и дочкамъ своимъ... Гостепріимство было широкое, барское, котораго те-

перь нѣтъ уже и въ поминѣ. Холостому человѣку, напр., можно было вовсе не имѣть у себя стола, т.-е. существовало, по крайней мѣрѣ, 20—30 домовъ, куда ежедневно сходились обѣдать много лицъ безъ всякаго приглашенія. День распредѣлялся такъ: вскорѣ послѣ окончанія обѣда, выпивъ кофе и поболтавъ о всякой-всячинѣ, всѣ отправлялись по домамъ спать, что составляло общее обыкновеніе. Вечеромъ снова ѣхали куда-нибудь на раутъ или балъ, всегда заканчивавшійся лукулловскимъ ужиномъ; такія торжества затягивались далеко за полночь, и нерѣдко гостямъ приходилось возвращаться домой въ 5—6 час. утра. На слѣдующій день вставали час. въ 12, чтобы начать продѣлывать то же самое... Да, весело жили наши дѣды, но въ то же время и пусто до тошноты..."

По внѣшности, казанскій періодъ самый бѣдный, по внутреннему своему содержанію,—одинъ изъ самыхъ богатыхъ. Нечего и говорить, что излишняя воспріимчивость и склонность къ анализу не только не исчезли, но теперь-то и распускаются полностью. Неожиданныя эмоціи, произвольная почти смѣна настроеній портятъ мальчику жизнь; наркозъ мечты является по прежнему главнымъ источникомъ болѣзненнаго наслажденія: этимъ ядомъ графъ Толстой (или Николинька Иртеньевъ) продолжаетъ отравлять себя при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Безпричинныя слезы и безпричинное раздраженіе говорятъ о разстроенныхъ, слишкомъ чувствительныхъ нервахъ, созданныхъ нездоровой наслѣдственностью отъ утомленныхъ предковъ. Застѣнчивость заставляетъ запрятывать глубоко-глубоко въ душу и свою доброту, и жажду любви, отчасти прежней чистой и свѣтлой, отчасти и новой, въ которой есть уже влеченіе къ женщинѣ.

Николинька Иртеньевъ цѣлые часы проводитъ на площадкѣ:

„безъ всякой мысли, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваясь къ малѣйшимъ движеніямъ, происходящимъ на верху", или, „притаившись за дверью, съ тяжелымъ чувствомъ зависти и ревности слушаетъ возню въ дѣвичьей" и обсуждаетъ вопросъ: „каково было бы его положеніе, ежели бы онъ пришелъ наверхъ и такъ же, какъ братъ, захотѣлъ бы поцѣловать горничную Машу". Но рѣшиться на это онъ не смѣетъ и попадаетъ подчасъ въ довольно глупое положеніе, слыша, какъ Маша говоритъ брату: „вотъ наказаніе! что-же вы, въ самомъ дѣлѣ, пристали ко мнѣ... идите отсюда, шалунъ эдакій... Отчего Николай Петровичъ никогда не ходитъ сюда и не дурачится..." А бѣдный Николай Петровичъ сидитъ въ эту минуту подъ лѣстницей и все на свѣтѣ готовъ отдать, чтобы только быть на мѣстѣ шалуна брата".

Широкій носъ, некрасивое лицо мучаютъ по прежнему и даже сильнѣе прежняго.

„Я былъ стыдливъ отъ природы—разсказываетъ Толстой—но стыдливость моя еще увеличилась убѣжденіемъ въ моей уродливости. А я убѣжденъ, что ничто не имѣетъ такого разительнаго вліянія на направленіе человѣка, какъ наружность его, и не столько самая наружность, сколько убѣжденіе въ привлекательности или непривлекательности ея... Я былъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы привыкнуть къ своему положенію, утѣшался, какъ лисица, увѣряя себя, что виноградъ еще зеленъ, т. е. старался презирать всѣ удовольствія, доставляемыя пріятной наружностью,

которымъ я отъ души завидывалъ, и напрягалъ всѣ силы своего ума и воображенія, чтобы находить наслажденіе въ гордомъ одиночествѣ"...

Передъ нами опять мотивы дѣтства, но обострившіеся, болѣе мучительные оттого, что болѣе себялюбивые... Громадный запасъ чувствительности, какъ жидкость изъ переполненной посуды, при малѣйшемъ толчкѣ выливается черезъ край. Настроеніе деспотически владѣетъ мальчикомъ, заставляя его продѣлывать самыя дикія и несообразныя вещи. Учился онъ не то чтобы плохо, а безпорядочно, не зная середины, то увлекаясь, то чувствуя полнѣйшее отвращеніе. Онъ очевидно боленъ, и боленъ прежде всего богатствомъ своей неуравновѣшанной, слишкомъ нервной натуры.

На него находитъ порою странность:

„Вспоминая свое отрочество—пишетъ онъ—и особенно то состояніе духа, въ которомъ я находился въ одинъ несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самаго ужаснаго преступленія, безъ цѣли, безъ желанія вредить, но такъ... изъ любопытства, изъ безсознательной потребности дѣятельности... Бываютъ минуты, когда будущее представляется человѣку въ столь мрачномъ свѣтѣ, что онъ боится останавливать на немъ свои умственные взоры, прекращаетъ въ себѣ совершенно дѣятельность ума и старается убѣдить себя, что будущаго не будетъ и прошедшаго не было. *Въ такія минуты*, когда мысль не обсуживаетъ впередъ каждаго опредѣленія воли, а единственными пружинами жизни остаются плотскіе инстинкты, я понимаю, что, ребенокъ, по неопытности особенно склонный къ такому состоянію, безъ малѣйшаго колебанія и страха, съ улыбкой любопытства раскладываетъ и раздуваетъ огонь подъ собственнымъ домомъ, въ которомъ спятъ его братья, отецъ, мать, которыхъ онъ нѣжно любитъ"...

Въ такія минуты мальчикъ начинаетъ бить, что попало подъ руку, дерется съ своимъ гувернеромъ и совершаетъ одинъ дикій поступокъ за другимъ, въ состояніи полной невмѣняемости. Онъ и самъ не знаетъ, что, какъ и зачѣмъ, и чувствуетъ лишь обиду и страданіе.

— „Оставьте меня,—кричитъ онъ сквозь слезы,—никто вы не любите меня, не понимаете, какъ я несчастливъ! Всѣ вы гадки, отвратительны"...

Матери, которая поняла бы ребенка въ эти минуты и одна могла бы успокоить его своимъ ласковымъ любящимъ словомъ,—нѣтъ, и бѣдное обиженное маленькое сердце ищетъ утѣшенія или лучше забвенія въ фантастическихъ мечтахъ:

„То мнѣ приходитъ въ голову, что должна существовать какая-нибудь неизвѣстная причина общей ко мнѣ нелюбви и даже ненависти. (Въ то время я былъ твердо убѣжденъ, что всѣ, начиная отъ бабушки и до Филиппа кучера, ненавидятъ меня и находятъ наслажденіе въ моихъ страданіяхъ). Я должно быть не сынъ моей матери и моего отца, а несчастный сирота, подкидышъ, взятый изъ милости, говорю я самъ себѣ; и нелѣпая мысль эта не только доставляетъ мнѣ какое-то *грустное утѣшеніе*, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мнѣ *отрадно* думать, что я несчастенъ не потому, что виноватъ, но потому, что такова моя судьба съ самаго моего рожденія, и что участь моя похожа на участь несчастнаго"...

Мечта работаетъ съ болѣзненной настойчивостью. Мальчикъ воображаетъ себя то подкидышемъ, то гусарскимъ генераломъ, то въ гробу, и живетъ своимъ воображеніемъ, совершенно забывая, гдѣ онъ и кто онъ.

„Послѣ сорока дней, думаетъ онъ, напр.,—душа моя улетаетъ на небо; я вижу тамъ что-то удивительно прекрасное, бѣлое, прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать. Это что-то бѣлое окружаетъ, ласкаетъ меня, но я чувствую безпокойство и какъ будто не узнаю ея. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мнѣ лучше, чтобы я могъ обнять тебя. И мнѣ отвѣчаетъ ея голосъ: „здѣсь мы всѣ такіе, я не могу лучше обнять тебя. Развѣ тебѣ не хорошо такъ?"—Нѣтъ, мнѣ очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня и я не могу цѣловать твоихъ рукъ...—„Не надо этого, здѣсь и такъ прекрасно",—говоритъ она и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вмѣстѣ съ ней летимъ все выше и выше"...

Мальчикъ упивается мечтами до одуренія и пресыщается ими. Онъ даже принуждаетъ себя мечтать, чтобы только забыться и вернуть блаженныя минуты опьяненія. Какъ настоящій „алкоголикъ", онъ пьетъ мечту, когда она уже противна ему.

Здоровыя мысли и чувства не могутъ вырасти на этой почвѣ. Мы можемъ ожидать всего худшаго, и на самомъ дѣлѣ мальчикъ скоро начинаетъ ненавидѣть своего гувернера. „Да,—разсказываетъ онъ,—это было настоящее чувство ненависти,—не той ненависти, про какую пишутъ только въ романахъ и въ какую я не вѣрю,—ненависти, которая будто бы находитъ наслажденіе въ дѣланіи зла человѣку,—внушаетъ вамъ непреодолимое отвращеніе къ человѣку, заслуживающему однако ваше уваженіе, дѣлаетъ для васъ противными его волосы, походку, шею, звукъ его голоса, всѣ его члены, всѣ его движенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ какою-то непонятною силою притягиваетъ васъ къ нему и съ безпокойнымъ вниманіемъ заставляетъ слѣдить за малѣйшими его поступками".

Но откуда все это? Откуда такая ожесточенная ненависть, откуда столько страданія? Казалось бы, мальчику живется хорошо. Его никто не обижаетъ и никто его не унижаетъ, никакихъ лишеній онъ не терпитъ; напротивъ, онъ окруженъ и лаской, и вниманіемъ. Вокругъ него семья, которую онъ любитъ и которая его любитъ. Почему же нѣтъ счастья и нѣтъ удовлетворенности, почему душа безпокойно мечется въ обстановкѣ, которая по всей истинѣ и справедливости можетъ удовлетворить любого смертнаго? Но капризное, неуравновѣшенное чувство, слишкомъ прихотливое и требовательное, ищетъ чего-то большаго, совершеннаго, и вмѣсто радости то и дѣло погружается въ тоску и мрачное уныніе. Причина такой странности заключается, кажется, въ томъ, что геніальныя натуры вообще плохо приспособляются къ какимъ бы то ни было условіямъ нашего земного существованія, или, какъ краснорѣчиво выражается Брандесъ, носятъ „печать Каина на челѣ". Онѣ слишкомъ нѣжны. Незамѣтный для обыкновеннаго смертнаго толчокъ вызываетъ въ нихъ боль и страданіе; та же чуткость дѣлаетъ ихъ непомѣрно требовательными и обидчивыми. Мало того, въ годы дѣтства и юности онѣ рѣдко бываютъ сами собой; минутное настроеніе такъ деспотически владѣетъ ими, что онѣ постоянно кого-то и что-то изображаютъ: то страдальца, то меланхолика, то человѣка, презирающаго все и вся. Вообразивъ себя тѣмъ или

другимъ, онѣ поступаютъ по воображенію,—обстоятельство, которое и позволяетъ намъ понять общую характеристику, данную Толстымъ своему „отрочеству“.

„По моему мнѣнію, говоритъ онъ, — *несообразность* между положеніемъ человѣка и его моральной дѣятельностью есть *вѣрнѣйшій признакъ истины*“.

Какъ это такъ „несообразность“ можетъ служить вѣрнѣйшимъ признакомъ истины? Это что-то вродѣ тертулліановскаго „вѣрю, потому что это безсмыслица“. Однако, Толстой правъ, но правъ не вообще, а лишь въ томъ случаѣ, когда имѣется въ виду болѣзненно-чуткая и напряженно-впечатлительная натура, такая т. е., которую Достоевскій мѣтко назвалъ „фантастической“.

Никакого противорѣчія въ такой психологической несообразности нѣтъ. Представьте себѣ на самомъ дѣлѣ, что вы идете ночью по незнакомому лѣсу, идете въ одиночку и чего-то ежеминутно ожидаете. Страхъ и ожиданіе дѣлаютъ вашу впечатлительность значительно повышенною. Вы видите такъ, какъ никогда прежде не видѣли въ темнотѣ, слышите такъ, какъ не слышали никогда раньше; вы какъ будто различаете даже шумъ отъ упавшаго на землю древеснаго листа или шуршанье ползущаго насѣкомаго. Но эта-то чуткость, эта-то тонкость слуха и проницательность зрѣнія и обманываютъ васъ. Вы сознаете себя окруженнымъ всякими ужасами, которыхъ нѣтъ, потому что мозгъ вашъ ежеминутно получаетъ преувеличенныя представленія о внѣшнемъ мірѣ. Чтобы красивая рука не стала безобразной въ вашихъ глазахъ, не надо разсматривать ее въ лупу; чтобы жизнь не оттолкнула васъ отъ себя, не измучила бы васъ, не надо слишкомъ близко въ нее всматриваться. Такъ говоритъ благоразуміе, т. е. послѣднее, чего слушаются выдающіяся натуры.

Та же болѣзненная чуткость вызываетъ и обусловливаетъ нравственное одиночество, въ которомъ пребываютъ таланты и геніи. На почвѣ этого одиночества вырастаютъ странныя мысли, странные вопросы.

„Въ продолженіе года, во время котораго я велъ единственную, сосредоточенную въ самомъ себѣ моральную жизнь,—разсказываетъ Толстой,—всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ, и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему.

„Разъ мнѣ пришла мысль, что счастье не зависитъ отъ внѣшнихъ причинъ, а отъ нашего отношенія къ нимъ; что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ; и чтобы пріучить себя къ труду, я, несмотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексиконы Татищева или уходилъ въ чуланъ и веревкой стегалъ себя такъ больно по голой спинѣ, что слезы невольно выступали на глазахъ.

„Другой разъ, вспомнивъ вдругъ, что *смерть ожидаетъ меня каждый часъ*, каждую минуту, я рѣшилъ, не понимая, какъ не поняли того до сихъ поръ люди, что человѣкъ не можетъ быть иначе счастливъ, какъ пользуясь настоящимъ и не помышляя о будущемъ,—и я три дня подъ

вліяніемъ этой мысли бросилъ уроки и занимался только тѣмъ, что лежа на постели наслаждался чтеніемъ какого-нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые я покупалъ на послѣднія деньги".

Мальчикъ умствуетъ въ своемъ произвольномъ одиночествѣ, мальчикъ чувствуетъ себя несчастнымъ и начинаетъ задумываться о смерти. Сколько отвлеченнаго въ направленіи его мысли и какъ мало связи между работой его мозга и впечатлѣніями окружающей дѣйствительности. Но мы уже видѣли, что въ дѣтствѣ Толстому очень хотѣлось полетать, и казалось, что это такъ просто: „стоитъ только обнять колѣнки покрѣпче руками"; и въ отрочествѣ у него та же жажда летанія, то же стремленіе непокорнаго духа отрѣшиться отъ земли и ея обыденныхъ, будничныхъ интересовъ. Мы уже предчувствуемъ, что онъ долженъ увлечься сомнѣніемъ, и долженъ увлечься имъ прежде всего потому, что жизнь не удовлетворяетъ его. Страданіе же истинное или выдуманное—безразлично—ведетъ человѣка къ отрицанію. И самое полученное имъ воспитаніе не закрѣпило въ его головѣ ни одного твердаго правила: онъ молился-то лишь по привычкѣ, исполняя какой-то обрядъ, а когда сверстникъ сказалъ ему, что не надо молиться, что смѣшно молиться,—онъ бросилъ это такъ легко, какъ будто сдулъ пушинку со своей одежды.

„Я воображалъ,—продолжаетъ онъ свой разсказъ,—что, кромѣ меня, никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ, что предметы—не предметы, а образы, являющіеся только тогда, когда я на нихъ обращаю вниманіе, и что, какъ скоро я перестаю думать о нихъ, образы эти тотчасъ же исчезаютъ. Были минуты, что я, подъ вліяніемъ этой постоянной идеи, доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не было.

Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабѣвшей во мнѣ силы воли и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтоживъ свѣжесть жизни и ясность разсудка".

Разумѣется, всѣ эти мысли и мыслишки кажутся мальчику въ высшей степени оригинальными и питаютъ его гордость. Съ сознаніемъ собственнаго достоинства и превосходства смотритъ онъ на остальныхъ смертныхъ, но—

„странно,—разсказываетъ онъ,—приходя въ столкновеніе съ этими смертными, я робѣлъ передъ каждымъ, и чѣмъ выше ставилъ себя въ собственномъ мнѣніи, тѣмъ менѣе былъ способенъ съ другими не только выказывать сознаніе собственнаго достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое слово и движеніе".

Съ такими-то задатками начались университетскіе годы, а вмѣстѣ съ ними и юность.

Какъ мы видѣли раньше, Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ, что, повидимому, можно объяснить лишь его юношеской страстью оригинальничать и итти иной дорогой, чѣмъ

идутъ другіе, не справляясь даже о томъ, насколько она хороша. Учился онъ очень неудачно, главнымъ образомъ потому, что перебрасывался съ предмета на предметъ, не зная, на чемъ ему остановиться. Въ сорокъ четвертомъ году мы видимъ его уже юристомъ, но и здѣсь дѣло не пошло. Онъ заинтересовался лишь на нѣсколько мѣсяцевъ лекціями профессора Мейера по государственному праву и взялся даже за самостоятельную работу сравненія „Духа Законовъ" Монтескье съ „Наказомъ" императрицы Екатерины, увлекся этой работой, а потомъ вскорѣ остылъ и къ ней.

Проф. Загоскинъ, подробно изслѣдовавъ документы, относящіеся къ университетскому періоду жизни Толстого, нарисовалъ слѣдующую ея картину, которую мы и резюмируемъ:

„Графъ Л. Н. не послѣдовалъ математическимъ наклонностямъ своихъ братьевъ; онъ избираетъ факультетъ восточныхъ языковъ, къ поступленію на который усиленно и готовился въ теченіе 42—44 гг., а дѣло это было не совсѣмъ легкое, такъ какъ для вступительнаго экзамена нужно было имѣть подготовку въ арабскомъ и турецко-татарскомъ языкахъ. Приближалась весна 44 г.,—время вступительныхъ университетскихъ испытаній. Въ это доброе старое время для юношей изъ богатыхъ аристократическихъ семей практиковалось облегченное средство для вступленія подъ сѣнь университетскихъ аудиторій: среди профессоровъ всегда находились покровители родовитыхъ и состоятельныхъ аспирантовъ на студенчество, которые или поселялись у своихъ будущихъ экзаменаторовъ въ качествѣ учениковъ-пансіонеровъ, или же брали у нихъ по ихъ спеціальностямъ приватные уроки (разумѣется, за приличное вознагражденіе). Толстому, на бѣду, пришлось, однако, держать экзаменъ въ такое время, когда только-что отъ попечителя округа графа Мусина-Пушкина было получено строжайшее предложеніе: „малосвѣдущихъ не принимать". Несмотря на приватные уроки, онъ сбился и получилъ достаточное количество единицъ и двоекъ. Но ему разрѣшили дополнительные экзамены и онъ былъ принятъ „по разряду арабско-турецкой словесности". Что нашелъ онъ тутъ? Очень мало для ума, еще меньше для сердца. Но, вѣроятно, что главная причина его хроническихъ университетскихъ неудачъ лежала не въ курсѣ преподаванія, не въ профессорахъ, а въ вліяніи той среды, въ которой онъ вращался. „Это,— говоритъ Загоскинъ,— была среда, всецѣло проникнутая сословными предразсудками, пропитанная условными понятіями комильфотности и не находившая ничего лучшаго, какъ воскуриваніе фиміама ихъ высокопревосходительствамъ губернатору и губернаторшѣ и раздѣлять свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя къ этимъ развлеченіямъ по истинѣ безпримѣрное чревоугодіе. Домъ тетки молодыхъ гр. Толстыхъ, П. И. Юшковой, мужъ которой, кстати сказать, рекомендовалъ себя откровенно стихами: „графъ Толстой—человѣкъ пустой—выдалъ дочь Полину—за Юшкова-скотину",—является однимъ изъ видныхъ аристократическихъ домовъ Казани. Очень естественно, что этотъ домъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ условія пустой, безсодержательной провинціальной великосвѣтской жизни. Какъ тетушка Полина Ильинишна, такъ и окружающіе ее, систематически портили юношу, ломали его хорошую отъ рожденія натуру и развращали и его умъ, и его душу, и его сердце. Въ братьяхъ своихъ, кромѣ стар-

шаго Николая, никакой нравственной поддержки онъ встрѣтить не могъ. Сергѣй Николаевичъ былъ яркимъ типомъ бонвивана, студента-франта, дамскаго поклонника и ловеласа, который никогда не прочь кутнуть и охотно беретъ отъ жизни все, что она способна дать ему; впослѣдствіи онъ женился на цыганкѣ изъ хора. Дмитрій, напротивъ, былъ ханжа и мистикъ, избѣгавшій всякихъ удовольствій и развлеченій свѣта, ходилъ по всѣмъ церковнымъ службамъ, постился, велъ абсолютно чистую жизнь; даже попечитель округа Мусинъ-Пушкинъ вынужденъ былъ уговаривать его танцовать на вечерахъ тѣмъ аргументомъ, что царь Давидъ плясалъ передъ ковчегомъ.

Судя по нѣкоторымъ горькимъ строкамъ изъ „Исповѣди", Л. Н. Толстому чувствовалось нехорошо въ этой обстановкѣ, „Всякій разъ,—говоритъ онъ, напримѣръ,—когда я пытался высказать то, что составляло самыя задушевныя мои желанія—я встрѣчалъ презрѣніе и насмѣшки, а какъ только я предавался гадкимъ страстямъ, меня хвалили и поощряли". „Добрая тетушка моя,—съ ироніей продолжаетъ онъ,—чистѣйшее существо, всегда говорила мнѣ, что она ничего не желала бы такъ для меня, какъ того, чтобы я имѣлъ связь съ замужнею женщиной. Еще другого счастья она желала мнѣ, того, чтобы я былъ адъютантомъ и лучше всего—у государя, а самаго большого счастья, того, чтобы я женился на богатой дѣвушкѣ и чтобы у меня было какъ можно больше рабовъ".

Примкнувши къ кружку студентовъ-аристократовъ, проводя все время на балахъ, вечерахъ и пикникахъ, гр. Толстой, разумѣется, занимался очень слабо и, не выдержавъ переходныхъ экзаменовъ на 2-й курсъ, перебрался попытать счастья на юридическій факультетъ, но встрѣтилъ здѣсь, по выраженію проф. Загоскина, „нѣчто невообразимое". „Факультетъ олицетворялся въ небольшой кучкѣ профессоровъ, съ преобладающимъ нѣмецкимъ элементомъ, которые служили предметомъ посмѣшища для студентовъ всѣхъ факультетовъ и всѣхъ курсовъ... Вотъ, напримѣръ, полуюродивый профессоръ римскаго права Камбекъ, нѣмецъ, почти незнающій русскаго языка, который изъ года въ годъ начиналъ свой курсъ крикливымъ диктованьемъ: „Рымское право! Р—большое, П—тоже большое и пунктумъ... Запшите это сэбэ на бокѣ (т.-е. на поляхъ)". Диктованьемъ на ломаномъ русскомъ языкѣ передавалъ этотъ профессоръ и весь свой дальнѣйшій курсъ, въ которомъ встрѣчались, напримѣръ, такого рода перлы: „Рымлянэ ымэли своего орхіеррея, краго (профессоръ читалъ сокращенно *краго*, а не *котораго*: такъ для него были переписаны лекціи) называли вэрховный жэрэбэцъ (т.-е. жрецъ)". Другой профессоръ той же эпохи, криминалистъ Густавъ Фогель, слѣдующимъ образомъ иллюстрировалъ, напримѣръ, несостоятельность суда присяжныхъ: „Когда-то и гдѣ-то одна молодая дэвушка билла обвиняемая въ ужаснэйшемъ преступленіи, самымъ сквернэйшимъ образомъ учиненнаго... И ссудъ присяжныхъ оправдалъ ее!"

„Недуренъ былъ и профессоръ международнаго права Гельмутъ Винтеръ, совершенно не знавшій почти русскаго языка, и потому читавшій свои лекціи по какой-то ветхой тетрадкѣ по-французски. Онъ скакалъ въ пафосѣ по аудиторіи, показывая наглядно картину вступленія въ 1813 году союзныхъ государей въ Парижъ, или картинно размахивалъ запачканнымъ

въ табакѣ носовымъ платкомъ, демонстрируя слушателямъ морскіе сигналы, а не то такъ изображалъ ртомъ, немилосердно надувая щеки, салютаціонную канонаду"...

Лучше другихъ были проф. Мейеръ, Станиславскій и др., но и у нихъ гр. Толстой мало чему научился, вѣрнѣе, мало чему хотѣлъ научиться.

Разумѣется, и въ данномъ случаѣ говорить о неспособности къ труду Толстого, у котораго впослѣдствіи хватило невѣроятнаго терпѣнія семь разъ подъ рядъ передѣлать „Войну и Миръ", а еще позже, уже подъ старость, изучить всѣхъ комментаторовъ къ Евангелію—смѣшно. Профессорскія двойки, единицы и нули говорятъ намъ лишь о томъ, что никогда настоящаго интереса къ университетской наукѣ Толстой не питалъ и что самолюбіе его въ это время было направлено совсѣмъ на другое, чѣмъ на академическіе лавры, полученіе которыхъ и теперь-то не представляетъ никакихъ особенныхъ трудностей для обезпеченнаго человѣка, а сорокъ лѣтъ тому назадъ было и еще того легче.

Самолюбіе графа Толстого въ періодъ 43—47 годовъ стремилось прежде всего къ тому, чтобы быть вполнѣ приличнымъ, корректнымъ и даже свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ. Онъ не только самъ признается въ этомъ въ „Юности", но о томъ же самомъ говорятъ и тѣ, кто сидѣлъ съ нимъ на одной скамейкѣ. Онъ принадлежалъ къ кружку „аристократовъ" и совершенно игнорировалъ сѣрую братію. Поза и движенія его были всегда вызывающія, выраженіе лица и глазъ презрительное, до разговора съ своими товарищами онъ не снисходилъ и держался даже обыкновенія не здороваться ни съ кѣмъ, приходя на лекіци, и не прощаться ни съ кѣмъ, уходя домой. У него была своя лошадь и свой кучеръ, шинель съ прекрасными бобрами и презрительный видъ, скрывавшій за собой огромное неудовлетворенное самолюбіе и болѣзненную застѣнчивость.

Симпатичнаго во всемъ этомъ мало, но я думаю, что за это время Толстой просто вообразилъ себя свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ (чѣмъ онъ никогда ни позже, ни раньше не былъ)—и поступалъ по воображенію. Обстановка юшковскаго дома, многочисленные образцы для подражанія изъ казанской золотой молодежи, наставленія тетки и собственное неумѣніе быть простымъ и искреннимъ съ другими заставили его не только увлечься идеаломъ „comme il faut", но и утрировать этотъ идеалъ. Аристократическая сдержанность и презрительность въ обхожденіи едва ли могли нравиться ему по самому существу своему и, вѣроятно, доставляли ему гораздо больше непріятностей, чѣмъ удовольствія, но вѣдь фантастическія натуры объ этомъ не справляются: въ извѣстныя эпохи имъ непремѣнно надо играть какую-нибудь роль, убѣдить себя, что эта роль истинная, настоящая и доводить свою игру до крайности, иногда до комизма.

„Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ юности—пишетъ Толстой—было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно comme il ne faut pas и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть съ собой равныя отношенія: вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то

оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно. *Мое* comme il faut состояло—первое и главное—въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно говорящій по-французски, тотчасъ же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. „Для чего же ты хочешь говорить, какъ мы, когда не умѣешь?“ съ ядовитою усмѣшкой спрашивалъ я его мысленно. Второе условіе comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье—было умѣнье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое и очень важное было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки. Кромѣ того, у меня были общіе признаки, по которымъ я, не говоря съ человѣкомъ, рѣшалъ, къ какому разряду онъ принадлежитъ. Главнымъ изъ этихъ признаковъ, кромѣ убранства комнатъ, перчатокъ, почерка, экипажа—были *ноги*. Отношеніе сапогъ къ панталономъ тотчасъ же рѣшало въ моихъ гразахъ положеніе человѣка. Сапоги безъ каблука, съ угловатымъ носкомъ и концы панталонъ узкіе, безъ штрипокъ, это былъ *простой;* сапогъ съ узкимъ, круглымъ носкомъ и каблукомъ, и панталоны узкія внизу, облегающія ногу, или широкія со штрипками, какъ балдахинъ стоящія надъ носкомъ,—это былъ человѣкъ mauvais genre“.

Даровитые люди въ періодѣ своей неуравновѣшанности способны выдѣлывать такія глупости, которыя не подъ силу даже совсѣмъ глупому человѣку. Это общеизвѣстно; но за глупостями большихъ даровитыхъ людей скрывается всегда, если и не что-нибудь умное, то во всякомъ случаѣ глубокое. То же и въ этомъ случаѣ. Любопытно, что Лермонтовъ ощущалъ то же сомое: и Лермонтовъ стыдился быть простымъ и искреннимъ, и Лермонтовъ не хотѣлъ разговаривать съ Бѣлинскимъ, а цѣлыми часами весело болталъ съ Столыпинымъ и товарищами - уланами, и Лермонтовъ въ университетѣ держалъ себя вызывающе-гордо и презрительно. Дѣло тутъ прежде всего въ огромности самолюбія, безпокойнаго и мучительнаго. Подчиняясь ему и внушеніямъ юшковскаго дома, Толстой, повторяю, имѣлъ, больше страданій, чѣмъ радости.

„Странно то,—продолжаетъ онъ,—что ко мнѣ, который имѣлъ положительную неспособность къ comme if faut, до такой степени привилось это понятіе. А можетъ быть именно оно такъ сильно вросло въ меня отъ того, что мнѣ стоило огромнаго труда пріобрѣсти это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько безцѣннаго, лучшаго въ жизни шестнадцатилѣтняго времени я потратилъ на пріобрѣтеніе этого качества. Всѣмъ, кому я подражалъ,—все это, казалось, доставалось легко. Я съ завистью смотрѣлъ на нихъ и втихомолку работалъ надъ французскимъ языкомъ, надъ наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, надъ разговоромъ, танцованьемъ, надъ выработываньемъ въ себѣ самомъ ко всему равнодушія и скуки, надъ ногтями, на которыхъ я рѣзалъ себѣ мясо ножницами—и все-таки чувствовалъ, что мнѣ еще много оставалось труда для достиженія цѣли“...

Дрожжи стараго барства удаляли Толстого (какъ и Лермонтова) отъ всего разночиннаго, чей напоръ, упрямый и не всегда особенно вѣжливый, онъ не могъ не чувствовать даже въ университетскихъ стѣнахъ. Вѣдь онъ видѣлъ около себя товарищей, хотя и не наблюдавшихъ гармоніи между

сапогами и панталонами, но гораздо лучше учившихся, чѣмъ онъ, и гораздо болѣе, чѣмъ онъ, образованныхъ. Но искренне признать ихъ превосходство и отнестись къ нимъ по-человѣчески не позволяли старыя барскія дрожжи. И Толстой все глубже и глубже уходилъ въ свою comme il faut'ность.

„Въ извѣстную пору молодости,—говоритъ онъ, — послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно становится въ необходимость дѣятельнаго участія въ общественной жизни, избираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ comme il faut это рѣдко случается. Я зналъ и знаю очень, очень много людей— старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: „кто ты такой, и что ты тамъ дѣлалъ?"—не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ je fus un homme très comme il faut".

Эта участь ожидала и меня.

Мы уже видѣли внѣшнюю жизнь и времяпрепровожденіе молодого барича, имѣвшаго собственную свою упряжку и собственныя свои значительныя карманныя деньги. Толстой впослѣдствіи съ отвращеніемъ вспоминалъ о кутежахъ и пьянствѣ своей юности. Но, разумѣется, этимъ не исчерпывалась его духовная жизнь, какъ не исчерпывалась она и заботами о панталонахъ и ногтяхъ. Умъ продолжалъ дѣятельно работать, и, какъ этого можно было ожидать, въ прежнемъ скептическомъ направленіи. Кое-что изъ этой работы мы знаемъ. Однажды за какую-то незначительную провинность Толстой вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Назарьевымъ попалъ въ карцеръ на цѣлыя сутки. Къ мѣсту заключенія онъ явился, разумѣется въ собственныхъ дрожкахъ, съ товарищемъ не поздоровался и, не зная чѣмъ занять себя, сталъ смотрѣть въ окно, приказавъ предварительно кучеру разъѣзжать взадъ и впередъ передъ зданіемъ безъ всякаго толку и смысла. Но потомъ заключенные разговорились и принялись даже спорить. Назарьевъ разсказываетъ, что „вся неотразимая для меня сила сомнѣній его обрушилась на университетъ и университетскую науку вообще; „храмъ науки" не сходилъ съ его языка. Оставаясь неизмѣнно серьезнымъ, онъ въ такомъ смѣшномъ видѣ рисовалъ нашихъ профессоровъ, что, при всемъ желаніи оставаться равнодушнымъ, я хохоталъ, какъ помѣшанный. „А между тѣмъ, заключилъ Толстой, мы съ вами вправѣ ожидать, что выйдемъ изъ этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесемъ мы изъ университета? подумайте и отвѣчайте по совѣсти. Что вынесемъ мы изъ этого святилища возвратившись во свояси, въ деревню? На что будемъ мы пригодны? Кому нужны?".

Вопросы, которые ставитъ Толстой, очень умны и толковы и, очевидно, говорятъ намъ о томъ, что подъ скорлупой comme il faut'ности идетъ неустанная работа вдумчиваго духа. Особенно презрительно третировалъ въ то время Толстой исторію. „Исторія, говорилъ онъ, не что иное, какъ собраніе басенъ и сказокъ и ненужныхъ, а подъ часъ и безнравственныхъ мелочей. Какой смыслъ въ хронологіи? Кому и зачѣмъ

нужно знать, что первый бракъ Іоанна Грознаго произошелъ въ 1550 г., а четвертый—въ 1572 г.? Кому какое дѣло до того, что Игорь былъ убитъ древлянами, а Олегъ прибилъ свой щитъ на вратахъ Царьграда?.. А обратите вниманіе на изложеніе нашихъ историковъ; тутъ перлъ на перлѣ. Прекрасный, добросердечный, полный самыхъ благихъ намѣреній царь Іоаннъ IV вдругъ ни съ того, ни съ сего становится грознымъ, палачемъ, кровопійцей... Почему? Какъ? Откуда это?.. Самодовольный историкъ такихъ вопросовъ не задаетъ себѣ и интересуется совершенно постороннимъ"...

Университетъ собственно не далъ Толстому ничего, да и не могъ ничего дать его непокорной, не признававшей никакихъ рамокъ и укладовъ натурѣ. Онъ требовалъ всегда гораздо большаго, чѣмъ ему предоставляли, отсюда недовольство, небрежность и презрѣніе. Но жизнь дала гораздо больше. Описаніе „Юности" Толстой начинаетъ словами:

„Я сказалъ, что дружба моя съ товарищемъ открыла мнѣ новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношенія. Сущность этого взгляда состояла въ убѣжденіи, что назначеніе человѣка есть стремленіе къ нравственному усовершенствованію, и что усовершенствованіе это легко, возможно и вѣчно. Но до сихъ поръ я наслаждался только открытіемъ новыхъ мыслей, вытекающихъ изъ этого убѣжденія, и составленіемъ блестящихъ плановъ нравственной дѣятельной будущности; но жизнь моя шла все тѣмъ же мелочнымъ, запутаннымъ и празднымъ порядкомъ. Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такою свѣжею силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, въ ту же секунду захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ. И съ этого времени я считаю начало *юности*".

Разумѣется, никакихъ реальныхъ цѣлей и никакихъ реальныхъ путей къ совершенствованію Толстой въ то время не зналъ. Это было совершенствованіе *вообще*, куда вошелъ впослѣдствіи и идеалъ „comme il faut". По пріобрѣтенной въ дѣтствѣ привычкѣ совершенство ограничивалось главнымъ образомъ областью мечтаній: Напр.:

..."Съ нынѣшняго дня я уже больше не буду смотрѣть на женщинъ. Никогда, никогда не буду ходить въ дѣвичью, даже буду стараться не проходить мимо; а черезъ три года выйду изъ-подъ опеки и женюсь непремѣнно... Буду дѣлать нарочно движенія какъ можно больше, гимнастику каждый день, такъ что, когда мнѣ будетъ двадцать пять лѣтъ, я буду сильнѣе Раппо. Первый день буду держать полпуда „вытянутою рукой" пять минутъ, на другой день двадцать одинъ фунтъ, на третій день двадцать два фунта и такъ далѣе, такъ что, наконецъ, по четыре пуда въ каждой рукѣ, и такъ, что буду сильнѣе всѣхъ въ дворнѣ; и когда вдругъ кто-нибудь вздумаетъ оскорбить меня, или станетъ отзываться непочтительно о *ней*, я возьму его такъ, просто, за грудь, подниму аршина на два отъ земли одною рукой и только подержу, чтобъ почувствовалъ мою силу, и оставлю; но, впрочемъ, и это нехорошо... нѣтъ, ничего, вѣдь я ему зла не сдѣлаю, а только докажу, что я"...

Вспоминая свое прошлое, юноша чувствовалъ подчасъ отвращеніе къ

самому себѣ и раскаяніе, но раскаяніе до такой степени слитое съ надеждой на счастье, что оно не имѣло въ себѣ ничего печальнаго. Ему казалось, что такъ „легко и естественно оторваться отъ всего прошедшаго, передѣлать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всѣми ея отношеніями совершенно снова, чтобы прошедшее не тяготило, несвязывало меня. Я даже наслаждался въ отвращеніи къ прошедшему и старался видѣть его мрачнѣе, чѣмъ оно было. Чѣмъ чернѣе былъ кругъ воспоминаній прошедшаго, тѣмъ чище и свѣтлѣе выдавалась изъ него свѣтлая, чистая точка настоящаго и разливались радужные цвѣта будущаго. Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій“.

Рядомъ съ скептической появилась, какъ видитъ читатель, и еще новая, хотя и робко звучащая струна совершенствованія. То кровь кипитъ, то силъ избытокъ,—такъ какъ никакой ясной цѣли въ этомъ совершенствованіи, повторяю, не было. Хотѣлось быть лучше другихъ, умнѣе другихъ, сильнѣе другихъ; хотѣлось инстинктивнаго сознанія той мощи, которая была вложена въ глубину натуры, но не проявлялась еще наружу и дремала и грезила, предаваясь ребяческимъ мечтамъ. Хотѣлось власти, почестей, славы, къ чему рвалось честолюбивое „я“, какъ все живое рвется къ огню и свѣту. Хотѣлось женской любви и ласки, отъ которой юное неиспорченное существо оживаетъ, какъ цвѣтокъ отъ утренней росы. Хотѣлось и нравственныхъ подвиговъ, хотѣлось самоотверженія, хотя честолюбивые инстинкты заставляли искать всегда перваго мѣста.

II.

Руссо и Нехлюдовщина.

Въ 1847 году, не сдавъ даже экзаменовъ на третій курсъ, Л. Н. Толстой, побуждаемый, между прочимъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что старшіе братья, окончивъ курсъ, уѣхали изъ Казани, вышелъ изъ университета, такъ мало ему приглянувшагося, и отправился въ Ясную Поляну, гдѣ прожилъ почти безвыѣздно до 1851 года. „Утро помѣщика“ даетъ намъ лучшую характеристику его тогдашней жизни, какъ „Дѣтство, Отрочество и Юность“ вѣрно отражаетъ въ себѣ его жизнь до этого времени. „Я выхожу изъ университета, пишетъ графъ Толстой, *чтобъ посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ для нея. Главное зло заключается въ самомъ бѣдственномъ, жалкомъ положеніи мужиковъ*, и зло такое, которое можно исправить только трудомъ и терпѣніемъ. *Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастьи этихъ семисотъ человѣкъ, за которыхъ я долженъ буду отвѣчать Богу?* Не грѣхъ ли покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ изъ за плановъ наслажденія и честолюбія? и зачѣмъ искать въ другой сферѣ

случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается блестящая и ближайшая обязанность. Я пошелъ по совершенно особенной дорогѣ, но которая хороша и, я чувствую, приведетъ меня къ счастью".

Въ подчеркнутыхъ мною словахъ и выраженіяхъ читатель не можетъ не замѣтить чего-то совершенно новаго и даже внезапнаго. Вѣдь раньше о томъ, чтобы посвятить себя жизни въ деревнѣ, о жалкомъ положеніи мужиковъ, о священной обязанности заботиться о счастьѣ семисотъ человѣкъ не было и помину. Наоборотъ даже... Но на подобныя внезапныя и рѣзкія перемѣны въ настроеніи намъ еще придется не разъ, а много разъ, натолкнуться въ біографіи Толстого.

Мы видѣли, что графъ Л. Н. Толстой родился, выросъ и провелъ свою юность въ крѣпостнической обстановкѣ. 9—10-ти лѣтнимъ мальчикомъ онъ владѣлъ уже сотнями душъ и почти половину жизни своей прожилъ на счетъ яснополянскихъ мужиковъ, которые поили и кормили его и позволяли безпрепятственно переходить изъ одной фазы развитія въ другую, питать вѣру, страдать сомнѣніями, стремиться къ совершенствованію и увлекаться идеаломъ свѣтскаго молодого человѣка. Крестьянскимъ трудомъ вспоенъ и вскормленъ великій художественный талантъ земли русской, слава и гордость нашей литературы и нашего народа.

Говорю все это я безъ малѣйшей тѣни упрека кому и чему бы то ни было, такъ какъ кто же можетъ быть повиненъ въ первородномъ грѣхѣ русской общественной жизни. Я просто указываю на фактъ, пропустить который не имѣю ни права, ни возможности, и притомъ фактъ огромной важности. Вѣдь владѣніе семистами душъ и позволило развиться безпрепятственно художественному дарованію графа Толстого, позволило ему безъ всякой торопливости переписать семь разъ „Войну и Миръ"— эту грандіозную эпопею русской народной жизни, нашу Иліаду, все еще неоцѣненную и непонятую, именно потому, что она слишкомъ громадна. Право, если ужъ о томъ зашла рѣчь, мнѣ кажется порою, что еще 20—30 лѣтъ такой-же мелкой растерзанной литературной работы, которая совершается теперь на нашихъ глазахъ, и мы будемъ смотрѣть на „Войну и Миръ" съ такимъ же чувствомъ почтительнаго удивленія, съ какимъ греки исторической эпохи смотрѣли на грандіозныя постройки Пелазговъ и Львиныя ворота, остатки стѣнъ, приписывая ихъ титанамъ и сторукимъ гигантамъ. Благодаря даровому крѣпостному труду, русская литература за какихъ нибудь пол-столѣтія стала классической, и ничего подобнаго ея быстрымъ успѣхамъ со времени „Руслана и Людмилы" и кончая „Анной Карениной" мы не видимъ даже на Западѣ.

Я не поклонникъ бѣдности и лишеній, не вѣрю, чтобы они оказывали благопріятное впечатлѣніе на развитіе творчества и думаю, что даже громадный талантъ изъ суровой школы нищеты и лишеній выноситъ одно зло. Когда для созданія выдающагося произведенія прописывается рецептъ, въ которомъ фигурируютъ чердакъ, нетопленная комната, сонъ вмѣсто обѣда, голодная жена и голодныя ребята—я всегда вспоминаю слова Гете: „Истинно-великое произведеніе можетъ быть создано только здоровымъ духомъ".

Но это, между прочимъ. Передъ нами стоитъ другой вопросъ объ отношеніи графа Толстого къ народу въ годы его юности. Въ періодъ

увлеченія comme-il faut'ностью онъ, какъ мы видѣли, прямо презиралъ народъ и мужика. Но къ этому скверному чувству уже и тогда примѣшивался другой оттѣнокъ, неясный, робкій, но все-же замѣтный, какъ замѣтенъ слабый зеленый ростокъ побѣга на черной землѣ...

„Когда,—читаемъ мы въ „Юности"—на прогулкахъ въ деревнѣ я встрѣчалъ крестьянъ и крестьянокъ на работахъ, несмотря на то, что *простой народъ не существовалъ для меня*, я испытывалъ всегда безсознательное сильное смущеніе и старался, чтобы они меня не видѣли".

Что простой народъ „не существовалъ для меня", это съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства понятно, но не менѣе понятно и это безсознательное сильное смущеніе честной и правдивой натуры, честность и правдивость которой были завалены кучей мусора.

Отсюда, отъ этого „безсознательнаго, хотя и сильнаго смущенія", до любви къ мужику сначала, до преклоненія передъ его нравственными и жизненными идеалами впослѣдствіи еще очень и очень далеко. Но намъ, несмотря даже на неполноту относящихся сюда документовъ, необходимо подробно разсмотрѣть этотъ процессъ сближенія Толстого съ мужикомъ и народомъ. Почему надо подробно разсмотрѣть—это всякій знаетъ самъ.

Первою ступенью было признаніе мужика человѣкомъ, въ отношеніи котораго у всякаго есть свои нравственныя обязанности. Это немного, но что дѣлать съ жизнью, гдѣ за усвоеніемъ такого элементарнаго правила приходится обращаться къ западной просвѣтительной литературѣ и философамъ, которые въ самой пріятной и изящной формѣ сообщали, что мужикъ—человѣкъ.

Полагаю, что просвѣтительная литература оказала немалое вліяніе на развитіе гр. Толстого. Мы видѣли, что въ университетѣ онъ занимается сравненіемъ „Наказа" и „Духа Законовъ"; къ этому же времени относится его увлеченіе Руссо. „Вспоминая особенности Льва Николаевича,—говоритъ Берсъ,—необходимо упомянуть объ отношеніи его къ произведеніямъ и взглядамъ Ж. Ж. Руссо. Нѣтъ сомнѣнія, что они имѣли огромное вліяніе на его произведенія. Онъ увлекался и зачитывался ими еще въ ранней молодости" („Воспоминанія", стр. 26).

Руссо и Толстой—родственные геніи. Исходная точка ихъ разсужденій одна и та же; но я думаю, что если бы они встрѣтились теперь съ глазу на глазъ, они не поняли бы другъ друга. Какъ и о Бернарденѣ-Сенъ-Пьерѣ, авторѣ знаменитаго когда-то проекта „вѣчнаго міра", Руссо сказалъ бы о Толстомъ: „онъ—мечтатель"...

Руссо любитъ природу, хотя и въ этой его любви, какъ вообще во всякомъ его чувствѣ, есть что-то аффектированное, больное. Онъ любитъ природу не за нее самое, а скорѣе за то, что ненавидитъ не-природу, нашу цивилизацію, „эту громадную надстройку человѣческаго разума и глупости, зла и преступленій, лжи и неправды надъ прекраснымъ Божьимъ міромъ". Руссо любитъ мужика, крестьянина, и опять-таки главнымъ образомъ потому, что ненавидитъ не-крестьянина, аристократа, торгаша, чиновника.

Руссо прежде всего—обиженное сердце. Въ немъ, въ этомъ чуткомъ, болѣзненномъ и геніальномъ человѣкѣ, за время его долгой страдальческой жизни накопилось столько зла, раздраженія, ненависти, зависти,

что онъ разучился любить, разучился быть искреннимъ и правдивымъ. Его застѣнчивость обратилась въ подозрительность и манію преслѣдованія, доброта въ аффектированную чувствительность. Его геній великъ и правдивъ лишь въ ненависти.

Онъ былъ лакеемъ, нищимъ, труженикомъ и никогда не зналъ счастья. Его молодость прошла въ нищетѣ и лишеніяхъ, его старость— въ изгнаніи. Съ первой минуты своей сознательности онъ научился бояться окружающихъ его людей и окружающей его жизни. Онъ ненавидѣлъ цивилизацію и боялся ее, но онъ понималъ, что человѣкъ безсиленъ отказаться отъ прошлаго и исторіи; онъ понималъ, что цивилизація для насъ неизбѣжное зло. Нигдѣ и ни разу не сказалъ онъ, что надо или можно вернуться къ дикой или первобытной жизни. Его судьба была слишкомъ сурова, чтобы онъ могъ вѣрить во всемогущество человѣка.

„Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повліялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовалась воображенію Руссо историческая колыбель человѣчества. Не въ этомъ дѣло. Злое слово Вольтера: „читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четвереренькахъ"—это злое слово справедливо только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь живописную страстность отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ не степень развитія цивилизаціи, а ея типъ, и, наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ лишь ея типъ (общее равенство), ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета, грубость, какъ спутники низшей ступени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ по Руссо совсѣмъ не въ томъ, чтобы всѣ люди или какая-нибудь ихъ часть бѣгали на четвереренькахъ, а въ сочетаніи первобытнаго типа (т. е. всеобщаго равенства) съ высокой степенью развитія" (Н. К. Михайловскій).

Таковъ Руссо, но не таковъ, какъ послѣ увидимъ, гр. Толстой. А между тѣмъ у нихъ много общаго, и въ этомъ общемъ на первомъ планѣ надо поставить вражду и ненависть къ лицемѣрнымъ формамъ нашей культурной жизни, гдѣ столько дѣлается для формы, для приличія, для общественнаго мнѣнія, что самому человѣку и его внутренней правдѣ не остается совершенно мѣста. Руссо хотѣлъ, чтобы формы жизни были приспособлены къ этой внутренней человѣческой правдѣ и позволяли бы ей свободно проявляться наружу. Толстой хочетъ отказаться отъ этихъ формъ, и полагаетъ, что это возможно. Одинъ, видя передъ собой храмъ лжи, говоритъ: „разберите его, тщательно сберегая всякій камень, гвоздь, балку, и изъ этого матеріала вамъ удастся *быть можетъ* воздвигнуть храмъ правды". Другой требуетъ, чтобы былъ воздвигнутъ новый храмъ.

Какъ измученный несчастный человѣкъ, Руссо по необходимости скептикъ. Онъ не вѣритъ въ подъемъ духа, онъ знаетъ, что вліяніе прошлыхъ 50 вѣковъ сильнѣе вліянія будущихъ 50 лѣтъ, что этихъ

прошлыхъ 50 вѣковъ не вычеркнешь изъ организма человѣка, изъ его привычекъ и вѣрованій. Со всѣмъ этимъ надо считаться, все это можно только приспособлять, передѣлывать, но создавать нѣчто новое, прямо противоположное—это мечта, это безумный сонъ...

Конечно, противорѣчіе между Руссо и Толстымъ развилось только впослѣдствіи. Въ юности онъ только увлекался страстными тирадами во славу природы и простоты жизни, во славу честнаго труда. И это увлеченіе не прошло безслѣдно; напротивъ, заброшенное великимъ женевцемъ зерно упало на родную почву, хотя до плодовъ было еще далеко. Увлекаясь Руссо, Толстой не могъ уже болѣе презирать народъ, и подъ вліяніемъ Руссо безсознательное и смутное смущеніе обратилось въ желаніе исполнить свой нравственный долгъ передъ крѣпостными семьюстами душами. Легко, однако, видѣть, что въ этихъ первыхъ попыткахъ сближенія много теоретическаго, навѣяннаго и мало сердца. Перечтите „Утро помѣщика", замѣнивши вездѣ, съ позволенія самого автора, „князя Нехлюдова" „графомъ Толстымъ".

Сюжетъ простъ и вразумителенъ:

„Доживши до девятнадцати лѣтъ и дойдя до третьяго курса университета, графъ Л. Толстой убѣждается въ томъ, что онъ достаточно образованъ и что ему давно пора приниматься за практическую дѣятельность. Онъ пріѣзжаетъ на лѣто въ свое имѣніе, видитъ тамъ, что мужики его разорены до тла, и, рѣшившись посвятить свою жизнь на улучшеніе ихъ участи, выходитъ изъ университета съ тѣмъ, чтобы навсегда поселиться въ деревнѣ. Толстой занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ, напримѣръ, онъ обходитъ утромъ дворы тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ-нибудь вспомоществованіи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, присматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами и старается посредствомъ увѣщаній внушать имъ любовь къ труду или искоренять ихъ пороки.

Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Л. Толстой къ Ивану Чурисенку, просившему себѣ какихъ-то кольевъ или сошекъ для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Толстой, что все строеніе дѣйствительно никуда не годится, и Чурисенокъ разсказываетъ ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. „По спинѣ какъ колыхнетъ ее, такъ она до ночи замертво пролежала". Толстой, думая облагодѣтельствовать Чурисенка, предлагаетъ ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системѣ. „Я, — говоритъ, — ее, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь". Но Чурисенокъ говоритъ: „воля вашего сіятельства", и въ то же время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается въ ноги молодому помѣщику, начинаетъ выть и умолять барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой развалившейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій и не говорливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинаетъ описывать прелесть стараго мѣста. „Здѣсь на міру мѣсто,

мѣсто веселое, обычное; и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье что́-ли, бабѣ стирать, скотину-ли поить,—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородишка и ветлы — вотъ, что́ мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только-бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу". Что тутъ будешь дѣлать? Нельзя же благодѣтельствовать насильно. Толстой отказывается отъ своего намѣренія и совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбой о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Толстой отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который онъ опредѣлилъ на починку крестьянскаго строенія. Но у Чурисенка на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говоритъ очень спокойно, что у міра просить не станетъ.— Толстой даетъ ему денегъ на покупку коровы и идетъ дальше. Входитъ онъ во дворъ къ Епифану или Юхванкѣ-Мудренову. Толстому извѣстно, что этотъ мужикъ любитъ по-своему сибаритствовать, куритъ трубку, обременяетъ свою старуху-мать тяжелой работой и часто продаетъ для кутежа необходимыя принадлежности своего хозяйства. Теперь Толстой узналъ, что Юхванка хочетъ продать лошадь; помѣщикъ хочетъ посмотрѣть, возможна ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Толстой рѣшительно запрещаетъ Юхванкѣ эту коммерческую операцію. Юхванка въ разговорѣ съ бариномъ лжетъ ему въ глаза самымъ наглѣйшимъ образомъ и нисколько не смущается, когда Толстой на каждомъ шагу выводитъ его на свѣжую воду. Толстой, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать Юхванкину душу увѣщаніями и упреками, а Юхванка, продувная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину совершенно ясно, что онъ непремѣнно расхохотался бы надъ его совѣтами, если бы его не удерживало тонкое пониманіе галантерейнаго обращенія.—Пороть меня ты не будешь,— думаетъ Юхванка,—потому что совсѣмъ никого не порешь; на поселеніе тоже не сошлешь—пожалѣешь; а въ солдаты я не гожусь, спереди двухъ зубовъ нѣту. Значитъ, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать намѣренъ.—И Толстой, совершенно отмѣнившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юхванкой, что принужденъ по временамъ умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не расплакаться тутъ же на Юхванкиномъ дворѣ передъ глазами нераскаяннаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадь, тайкомъ отъ безпутнаго Юхванки даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба".

Дальше идетъ разсказъ и еще о нѣсколькихъ мытарствахъ по крестьянскимъ избамъ; въ результатѣ то же самое, т. е. ничего, или вѣрнѣе одинъ вопросъ: почему же эта просвѣтительная и гуманная попытка графа Толстого окончилась такъ неудачно? Писаревъ рѣшаетъ вопросъ просто: „Юный помѣщикъ, говоритъ онъ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается слить вино новое въ мѣха старые,—задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность, пропадаетъ безъ пользы и даже приноситъ вредъ

(мужички распуститись), когда приходитъ къ соприкосновеніе съ старыми формами крѣпостного быта".

Эта *общая* причина настолько понятна, что нечего о ней и распространяться. Филантропія въ отношеніи къ крѣпостному безправному мужику, настоенная на барскихъ дрожжахъ и идеяхъ просвѣтительной литературы, никогда никакого проку не приносила, да и не могла принести. Но есть еще и частная причина. Толстому едва исполнилось двадцать лѣтъ и, говоря его собственными словами, онъ „слишкомъ сильно сознавалъ въ себѣ присутствіе всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать—броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не сознавая за что, не зная зачѣмъ. Я носилъ въ себѣ это сознаніе, былъ гордъ имъ и, не зная этого, былъ счастливъ имъ". Въ личной жизни Толстого только что начинался тотъ періодъ, который Гете такъ мѣтко назвалъ „Die Wanderjahre"—годы блужданія, и на самомъ дѣлѣ скоро мы увидимъ его на Кавказѣ, подъ Севастополемъ, въ Москвѣ, Петербургѣ, Самарѣ, за границей. Не могла же барская филантропія, къ тому же очевидно безплодная, наполнить его существа и бытія. Не исчезло еще и желаніе закончить университетскій курсъ, почему въ 1847 г. Толстой ѣдетъ въ Петербургъ, начинаетъ держать экзаменъ, но, сдавши два или три, возвращается въ свою любимую Ясную Поляну, гдѣ его ожидаетъ охота, чистый воздухъ, семья и много другихъ развлеченій.

III.

На Кавказѣ.

Три года, проведенные въ Ясной Полянѣ на лонѣ природы, пролетѣли незамѣтно и безъ особенныхъ треволненій. Но въ 1851 г. гр. Толстой сильно проигрался и увидѣлъ, что при прежней своей жизни онъ никакъ не съумѣетъ уплатить долга. Это-то и было одной изъ причинъ, побудившихъ его отправиться на Кавказъ—не на службу, а просто для перемѣны мѣста, впечатлѣній и ради экономіи. Онъ это и сдѣлалъ, давши себѣ предварительно разъ двадцать слово „больше этихъ проклятыхъ картъ никогда не брать въ руки".

На Кавказѣ въ то время служилъ офицеромъ старшій его братъ, Николай Николаевичъ, съ которымъ онъ былъ особенно близокъ и друженъ.

Въ тарантасѣ, въ сопровожденіи прислуги, братья поѣхали изъ Казани на лѣвый, т. е. восточный флангъ нашей позиціи, вдоль Волги. Ѣзда на лошадяхъ скоро наскучила. Они пріобрѣли громадную лодку, уставили на нее тарантасъ, сѣли и предоставили себя теченію рѣки, занимаясь чтеніемъ и любуясь природой. Путешествіе длилось около трехъ недѣль, пока они пріѣхали въ Астрахань. На нижнемъ теченіи Волги, приставая къ берегамъ, они то и дѣло встрѣчались съ полудикими калмыками, вѣчно сидящими у костра. Въ то время калмыки были еще огнепоклонниками.

Воспоминанія объ этой поѣздкѣ сохранились, впрочемъ, самыя смутныя. Не то о Кавказѣ. Л. Толстой всегда любилъ вспоминать о своемъ пребываніи тамъ на югѣ. Богатая природа, чудная охота, которой онъ предавался со страстью почти всю свою жизнь, вплоть до нравственнаго переворота, война съ горцами—все это нравилось ему и все это его вдохновляло. Тамъ впервые проснулось его творчество, тамъ мысль объ опрощеніи впервые явилась ему въ голову.

Кавказская жизнь Л. Н. Толстого очень богата всевозможными эпизодами. Одинъ изъ этихъ эпизодовъ послужилъ темою повѣсти „Кавказскій плѣнникъ", почему мы его и приведемъ въ изложеніи Берса.

„Мирный чеченецъ Содо, съ которымъ Левъ Николаевичъ былъ друженъ, купилъ молодую лошадь и пригласилъ друга проѣхаться съ нимъ изъ крѣпости, гдѣ былъ расположенъ тогда отрядъ русскаго войска. Съ ними поѣхали верхомъ еще два офицера артиллеріи. Несмотря на запрещеніе начальствомъ такихъ поѣздокъ въ виду ихъ опасности, они ничѣмъ не вооружились, кромѣ шашекъ. Испытавъ свою лошадь, Содо предоставилъ это и другу, а самъ пересѣлъ на его иноходца, который, какъ извѣстно, скакать не умѣетъ. Они были уже верстахъ въ пяти отъ крѣпости. Неожиданно передъ ними показалась группа чеченцевъ человѣкъ въ двадцать. Чеченцы начали вынимать ружья изъ чехловъ и раздѣлились на двѣ партіи. Одна партія преслѣдовала двухъ офицеровъ, поскакавшихъ обратно въ крѣпость, и настигла ихъ. Одинъ изъ нихъ былъ изрубленъ, а другой попался въ плѣнъ. Содо, а за нимъ и Левъ Николаевичъ пустились по другому направленію, къ казачьему пикету, расположенному въ одной верстѣ. Гнавшіеся чеченцы уже приближались къ нимъ. Имъ предстояла перспектива лишиться жизни или очутиться въ плѣну, и, слѣдовательно, сидѣть въ ямѣ, потому что горцы вообще отличаются жестокостью въ обращеніи съ плѣнными. Левъ Николаевичъ, имѣя возможность ускакать на рѣзвой лошади своего друга, не покинулъ его. Содо, подобно всѣмъ горцамъ, никогда не разставался съ ружьемъ, но, какъ на бѣду, оно не было заряжено. Тѣмъ не менѣе, онъ нацѣлилъ имъ на преслѣдователей и, угрожая, покрикивалъ на нихъ. Судя по дѣйствіямъ преслѣдовавшихъ, они намѣревались взять въ плѣнъ обоихъ, особенно Содо, для мести, а потому не стрѣляли. Обстоятельство это спасло ихъ. Они успѣли приблизиться къ пикету, гдѣ зоркій часовой издали замѣтилъ погоню и сдѣлалъ тревогу. Выѣхавшіе навстрѣчу казаки принудили чеченцевъ прекратить преслѣдованіе".

„...Содо, — продолжаетъ Берсъ, — искренно любилъ своего друга. Однажды онъ воспользовался случаемъ удружить своему кунаку. Какъ-то Левъ Николаевичъ проигрался въ карты и вошелъ въ долгъ. Уплатить въ срокъ не было возможности, а извѣстія изъ деревни не оправдали ожидаемой получки денегъ. Это мучило его. Положеніе среди молодежи богатаго юнкера графа Толстого, не заплатившаго карточный долгъ въ срокъ, имъ назначенный, для самолюбія его было ужасно. Онъ приходилъ въ отчаяніе и прибѣгнулъ къ молитвѣ. Посланный отъ Содо прервалъ молитву и подалъ письмо. Въ письмѣ было разорванное обязательство. Оказалось, что наканунѣ Содо удачно игралъ въ карты и воспользовался выигрышемъ для подарка другу мучившаго его долга".

На службу, какъ я сказалъ выше, гр. Толстой сначала и не думалъ даже поступать. Все его время наполнялось чтеніемъ и главное—охотой подъ руководствомъ стараго казака Епишки, извѣстнаго русскимъ читателямъ подъ именемъ Ерошки, одного изъ характернѣйшихъ лицъ въ „Казакахъ"... Встрѣтившись, однако, съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, занимавшимъ важное мѣсто въ штабѣ, гр. Толстой по его совѣту опредѣлился юнкеромъ въ артиллерію и не разъ принималъ участіе въ мелкихъ стычкахъ, описанныхъ имъ впослѣдствіи въ „Набѣгѣ", „Рубкѣ лѣса", „Казакахъ". До службы же онъ жилъ очень скромно, на 5 рублей въ мѣсяцъ и скоро выплатилъ мучившій его карточный долгъ.

Какимъ путемъ Толстой открылъ въ себѣ литературный талантъ—неизвѣстно. Очень можетъ быть, что виноватъ въ этомъ былъ его старшій братъ, неравнодушный къ литературѣ, а очень можетъ быть и то, что творческія стремленія искали себѣ выхода и выраженія. Въ Ясной Полянѣ эти стремленія тратились на музыку, которой Толстой предавался со страстью; но заниматься музыкой въ лагерѣ или крѣпости было невозможно. Первымъ (въ 1852 г.) было написано „Дѣтство", за которымъ немедленно же послѣдовали: „Утро помѣщика", „Случай", „Отрочество", составленъ былъ планъ „Казаковъ", задумана „Юность".

„Дѣтство", законченное 9 іюля 1852 г. было отправлено въ „Современникъ" Некрасову, который поторопился напечатать эту повѣсть, учуявъ по ней нарожденіе новаго сильнаго таланта.

Обратимся теперь къ тому, что составляетъ сущность біографіи Л. Н. Толстого—его духовной жизни. Что думалъ онъ и какъ чувствовалъ онъ себя на Кавказѣ?

Разумѣется, у 23-лѣтняго даровитаго писателя не могло быть одного господствующаго настроенія. Настроенія мѣнялись въ зависимости отъ обстановки и окружающихъ лицъ. Были мечты о славѣ литературной, о военной славѣ, было даже желаніе опроститься.

Живя въ казацкой станицѣ (на лѣвомъ берегу Терека, недалеко отъ Кизляра), въ обществѣ казака Епишки, этого хитраго, себѣ на умѣ, но цѣльнаго человѣка, безъ противорѣчій внутри себя, видя себя окруженнымъ такими же, какъ Епишка, цѣльными, живущими безъ аффектацій, безъ надломленности, а просто такъ, какъ трава растетъ, людьми: охотясь за фазанами и кабанами, бродя по лѣсамъ и болотамъ, припоминая отвратительные вечера, проведенные за картами или въ обществѣ продажныхъ цыганокъ, что должно было казаться особенно отвратительнымъ въ свѣжемъ воздухѣ и подъ тѣнью громадныхъ каменныхъ титановъ хребта,—Толстой проникался прелестью этой простой, не знающей душевной надломленности жизни. Съ какимъ восторгомъ вспоминаетъ онъ впослѣдствіи о пережитомъ имъ настроеніи въ казацкой станицѣ и говоритъ:

„Мнѣ пишутъ письма соболѣзнованія, боятся, что я погибну, зарывшись въ этой глуши;—говорятъ про меня: онъ загрубѣетъ, отъ всего отстанетъ и, чего добраго, женится на казачкѣ. Какъ страшно! Въ самомъ

дѣлѣ, не погубить бы мнѣ себя, тогда какъ на мою долю могло выпасть великое счастье стать мужемъ графини Б., камергеромъ или дворянскимъ предводителемъ. Какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастіе и что такое жизнь? *Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ.* Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой вѣчные неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ ея первобытной красотѣ. Поймите одно или вѣрьте одному: надо видѣть и понять, что такое правда и красота, и въ прахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія счастія и за меня, и за себя. *Счастіе—это быть съ природою, видѣть ее, говорить съ нею*".

„Надо испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ, чтобы понять счастье". А что такое счастье? *Не больше,* какъ „быть съ природой, видѣть ее, говорить съ нею". Не больше? А куда же дѣть мечты о славѣ и власти, о восторгѣ и преклоненіи ближнихъ? Вѣдь они вѣчно тутъ, и кипятъ и бурлятъ въ молодой жадной интеллигентной душѣ... Стать Епишкой, не думать о завтра, жить, какъ трава растетъ, умирать, какъ падаетъ съ дерева увядшій листъ, не оставивъ по себѣ ни слѣда, ни воспоминанія, или быть подстрѣленнымъ чеченцемъ, не пропѣвши даже своей лебединой пѣсни—увы!—все это не дано интеллигенту...

Вѣдь рядомъ съ мечтами объ опрощеніи у того же Толстого идутъ другія мечты... о полученіи георгіевскаго креста и украшеніи груди своей этимъ знакомъ отличія. А вѣдь для „простоты" ни креста, ни отличій не надо. По разсказу Берса:

„Во время службы на Кавказѣ, Левъ Николаевичъ *страстно* желалъ получить Георгіевскій крестъ и былъ даже къ нему представленъ, но не получипъ его, вслѣдствіе личнаго нерасположенія къ нему одного изъ начальниковъ. Эта неудача *огорчила* его, но вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнила его взглядъ на храбрость. Онъ пересталъ считать храбрыми тѣхъ, кто лѣзли въ сраженіе и домогались знаковъ отличія. Его идеаломъ храбрости сдѣлалось разумное отношеніе къ опасности".

Толстой страстно желаетъ получить георгіевскій крестъ, какъ нѣсколько лѣтъ спустя опять таки страстно желаетъ получить флигель-адъютантство, какъ еще немного позже клянется убить себя, если за него не выдадутъ замужъ Софью Андреевну Берсъ, и смыслъ всѣхъ этихъ страстныхъ желаній только тотъ, что не вычеркнешь изъ сердца своего тѣхъ инстинктовъ, потребностей и привычекъ, которые завѣщаны вѣками. Не вычеркнешь ихъ особенно въ молодости—въ этотъ періодъ напора эгоистическихъ страстей... Да и зачѣмъ ихъ вычеркивать?.. Страсть эта—тотъ вѣтеръ, о которомъ моряки говорятъ: „попутный или противный—плыть можно, *лишь бы былъ вѣтеръ*". Страсть—сама жизнь и такъ какъ, разъ появившись, она уничтожаетъ вопросъ о „смыслѣ жизни", то она, пожалуй, и есть искомый таинственный смыслъ нашего бытія...

Находясь постоянно въ обществѣ казаковъ и солдатъ, Толстой полюбилъ простой народъ, полюбилъ уже сердцемъ, а не разсудкомъ только, какъ это было подъ вліяніемъ просвѣтительной философіи. Особенное сердечное впечатлѣніе произвели на него солдаты—эти излюбленные герои величайшаго произведенія Толстого „Войны и Мира", эти „*они*", научившіе впослѣдствіи Пьера Безухова правдѣ жизни... Читая кавказскіе

разсказы, вы уже предчувствуете Петра Каратаева и его наивный, дѣтскій, но исполненный глубочайшаго смысла фатализмъ...

Мнѣ кажется, что полюбить простой народъ на Кавказѣ было гораздо легче (съ точки зрѣнія традицій стараго барства), чѣмъ въ Ясной Полянѣ. Тамъ между бариномъ и мужикомъ стояла непроходимая стѣна—крѣпостныя отношенія. Мужикъ являлся грязнымъ, забитымъ, вонючимъ вьючнымъ животнымъ; здѣсь онъ то и дѣло оказывался *героемъ*. Когда человѣкъ невольно считаетъ себя выше другого, можетъ ли онъ полюбить его?—Нѣтъ. Казаки не позволяли Толстому считать себя выше ихъ; онъ самъ видѣлъ, что солдаты выше его. Установилось равенство. А любовь возможна только при немъ.

Въ кавказскихъ впечатлѣніяхъ Толстого есть и еще одинъ мотивъ, всю важность котораго я хотѣлъ бы особенно вразумительно представить читателю. Ясности ради, позволю себѣ привести маленькій отрывокъ изъ поэмы Лермонтова „Валерикъ“:

Уже затихло все; тѣла
Собрали въ кучу. Кровь текла
Струею дымной по каменьямъ;
Ея тяжелымъ испареньемъ
Былъ полонъ воздухъ. Генералъ
Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ
И донесенья принималъ.
Окрестный лѣсъ, какъ-бы въ туманѣ,
Синѣлъ въ дыму пороховомъ...
А тамъ, вдали — грядой нестройной,
Но вѣчно гордой и спокойной,
Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ
Тянулись горы — и Казбекъ
Сверкалъ главой остроконечной...
И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: „жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... *Зачѣмъ?*..

Чѣмъ былъ Кавказъ во время Толстого? Отчасти, разумѣется, тѣмъ же, чѣмъ онъ является и въ настоящее время—мѣстомъ удивительнымъ по своей красотѣ и разнообразію своей природы, гдѣ переѣздъ въ нѣсколько часовъ переноситъ васъ изъ царства „орловъ и метелей“ въ нѣжныя и зеленыя долины Грузіи или нижняго Терека,—страною, гдѣ лавры, мирты, кипарисы цвѣтутъ на свѣжемъ воздухѣ, гдѣ почти ни на одну минуту не упускаете вы изъ виду снѣговой шапки Казбека или Эльбруса. Для сѣверянина или жителя средней Россіи Кавказъ всегда имѣлъ и будетъ имѣть особенную прелесть чего-то грандіознаго, неожиданнаго, поражающаго. Горячее, пламенное солнце, бурныя стремительныя рѣки, раздвигающія скалы съ какимъ-то злымъ ропотомъ, молчаливые заросшіе лѣсомъ утесы, на вершинахъ которыхъ гнѣздятся орлы да люди, голубое прозрачное небо, громадные дубовые лѣса, заросшія азаліями, въ пахучихъ вѣтвяхъ которыхъ гнѣздятся безчисленные неутомимые соловьи, какой-то странный синій оттѣнокъ горъ—все это будитъ фантазію, навѣ-

ваетъ думы и образы... Теперь, правда, большая дорога пролегаетъ тамъ и здѣсь, въ долинѣ Куры то и дѣло слышится свистъ локомотива, громыханіе поѣздовъ, наполненныхъ нефтью, острый запахъ угля... Исполнилось то, что говорилъ Лермонтовъ:

И желѣзная лопата въ каменную грудь,
Добывая мѣдь и злато, врѣжетъ страшный путь...

— но во время Толстого, слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, дикая поэзія природы была замѣтнѣе, больше на виду... Не рѣзче ли и чувствовалось тогда противорѣчіе между гордымъ миромъ природы и безпокойнымъ ропотомъ человѣка?... Вѣдь, какъ и все въ мірѣ, Кавказъ пошлѣетъ. Тотъ самый чеченецъ, который нѣкогда горѣлъ страстнымъ желаніемъ зарѣзать васъ или подстрѣлить, мечтаетъ лишь о полученіи двугривеннаго на чай, порою за довольно грязное порученіе. Въ ущельяхъ, гдѣ прежде безраздѣльно царили мятели и орлы, тамъ и здѣсь понастроены рестораны, кабаки и хуже того. То же въ тѣни миртовъ, лавровъ и акацій, Казбекъ, разумѣется, по прежнему „сіяетъ своими вѣчными снѣгами", какъ грань алмаза, но по грузинской дорогѣ, вмѣстѣ съ его бѣлой шапкой, заостренной какъ сахарная голова, виду вашему открывается гостепріимная гостинница, откуда постоянно доносится пьяный гулъ. Тутъ же васъ ожидаютъ назойливые грязные ребятишки, которые бѣгаютъ за вами, какъ собаченки, и пищатъ просьбы о пятакѣ или пятіалтынномъ. Самъ грузинъ не льетъ уже вина на узорные шальвары, потому что вино распродано еще до сбора, а предпочитаетъ во многихъ мѣстахъ пиво и водку. Поэтичныхъ черкешенокъ вы не увидите, или же встрѣтите ихъ на базарѣ торгующими гнилыми грецкими орѣхами, а еще чаще въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бы не слѣдовало быть ни поэтичнымъ, ни непоэтичнымъ женщинамъ. Самая природа получила тамъ и здѣсь рѣзкій отпечатокъ жадности, нищеты человѣческой. Лѣса повырублены; самъ Терекъ бьется безъ прежняго задора: онъ точно одряхлѣлъ, нѣтъ ужъ болѣе ничего кровожаднаго и страшнаго въ его когда-то кровожадной и страшной пасти—Дарьяльскомъ ущельи.

Но сорокъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ красоты поэтическія и прелесть Кавказа выдавались рѣзче, рельефнѣе и опредѣленнѣе... И какъ странно было видѣть среди этой грандіозной могучей природы маленькихъ людей, мучающихъ себя, убивающихъ себя, интригующихъ, завидующихъ,—и даже любящихъ и ненавидящихъ. Странной казалась смерть живого существа отъ крошечной пульки подъ суровыми взглядами холоднаго Казбека, подъ вѣковыми чинарами, шептавшими о чемъ-то вѣчномъ, таинственномъ...

Какъ же не задать себѣ вопроса „зачѣмъ?..." Перечтите кавказскіе разсказы Толстого и вы увидите этотъ вопросъ на каждой страницѣ. Это вопросъ высокой и вмѣстѣ съ тѣмъ наивной (съ нашей точки зрѣнія) души художника...

IV.

Подъ Севастополемъ.

Война скрываетъ въ себѣ много рѣзкихъ противорѣчій—жестокости и гуманности, нашей безсознательной симпатіи къ ближнему и нашей вражды къ нему, разъ онъ съ другими, чѣмъ мы, погонами, нашей жалости къ страдающему и нашей радости при видѣ раненаго или умирающаго врага. Но эти рѣзкія противорѣчія, затемненныя молодостью, надеждами на крестъ и военные лавры, не открылись Толстому на Кавказѣ во всей ихъ полнотѣ, въ чемъ была, между прочимъ, повинна и самая обстановка. Войны на Кавказѣ, строго говоря, никакой не было, а происходилъ безконечный рядъ турнировъ, что было давно, уже—задолго до Толстого, замѣчено проницательнымъ взглядомъ Ермолова, который, явившись на Кавказъ, первымъ дѣломъ заявилъ: „довольно за крестами гоняться, пора начать дѣло дѣлать". Совершенно другимъ представляется намъ оборона Севастополя и севастопольская кампанія вообще. Здѣсь Россія грудь грудью боролась съ половиной Западной Европы, гораздо болѣе культурной, лучше ея вооруженной, богатой и многочисленной, и война была страшная, грандіозная, хотя и сосредоточившаяся на ничтожномъ пространствѣ земли. Здѣсь же, подъ Севастополемъ окрѣпла мысль Толстого и впервые является передъ нами въ полной зрѣлости.

Севастопольская кампанія подготовлялась долгіе годы. Россію не любили въ Англіи, терпѣть не могли во Франціи, боялись въ Австріи и завидовали ей въ Пруссіи. И понятно, почему такъ оно было. Императоръ Николай распоряжался въ Европѣ почти такъ же, какъ у себя дома. Онъ читалъ нравоученія и дѣлалъ предписанія европейскимъ монархамъ, какъ своимъ подданнымъ. Укротивъ венгерцевъ, онъ сталъ какъ бы опекуномъ Австріи и по-отечески относился къ ея тогда еще молодому монарху. Онъ былъ недоволенъ Пруссіей за реформы 48-го года и явно выказывалъ свое недовольство. Онъ отказался признать Наполеона III-го императоромъ и отказывалъ ему въ титулѣ mon frére... Но его боялись и долгое время страхъ сдерживалъ всѣ попытки противодѣйствія этому невиданному авторитету, напоминавшему авторитетъ Людовика XIV-го и Наполеона I-го.

Война началась въ 1853 г. и на первыхъ порахъ пришлось бороться съ одной Турціей, которую до поры до времени Европа поддерживала лишь тайно; 2-го іюля русскія войска перешли Прутъ и заняли Молдавію. 4-го ноября была оффиціально объявлена война, а 30-го числа того-же мѣсяца адмиралъ Нахимовъ уничтожилъ турецкій флотъ при Синопѣ. Это взбудоражило и испугало европейцевъ: тотчасъ же послѣ синопской битвы французы и англичане объявили Россіи войну, а черезъ годъ началась знаменитая осада Севастополя, искупившая всѣ предыдущіе грѣхи этой кампаніи.

Графъ Толстой съ открытіемъ Восточной войны перепросился въ дунайскую армію и былъ прикомандированъ къ главному штабу главнокомандующаго графа Горчакова. Взявши отпускъ, онъ съѣздилъ сначала къ себѣ въ Ясную Поляну, повидался тамъ съ братьями, Ергольской и

немедленно же отправился на театръ военныхъ дѣйствій, рѣшившись, повидимому, во что бы то ни стало пріобрѣсти военные лавры, ускользнувшіе отъ него на Кавказѣ.

Замѣтимъ, между прочимъ, что, какъ солдатъ и офицеръ, Л. Н. Толстой отличался всегда безукоризненною храбростью. Сначала, разумѣется, къ этой его храбрости примѣшивалось тщеславное желаніе выказать себя съ самой блестящей стороны, но впослѣдствіи осталось лишь спокойное мужество, которое онъ цѣнилъ, какъ лучшее и высшее качество военнаго человѣка. Въ своихъ произведеніяхъ онъ не разъ ставитъ себѣ вопросъ, что можно считать за храбрость и кто дѣйствительно храбръ, и всегда отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что храбръ тотъ, кто при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ исполняетъ свой долгъ солдата или офицера безразлично. Не бояться смерти не значитъ быть храбрымъ, потому что нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который бы не боялся смерти; зато есть много такихъ, которые говорятъ, что они не боятся, и хвастаютъ этимъ. Истинно храбрые люди—солдаты на вопросъ: „а ты развѣ боишься?" всегда отвѣчаютъ у Толстого: „а то какъ же?" Рваться безъ толку впередъ, нарочно выбирать самыя опасныя мѣста, когда этого совсѣмъ ненужно гарцовать подъ непріятельскими пулями—совсѣмъ не значитъ быть храбрымъ, а только или тщеславнымъ, или отчаяннымъ, т. е. человѣкомъ лишь очень и очень относительно полезнымъ, а въ большинствѣ случаевъ прямо вреднымъ. Солдаты не считаютъ постыднымъ или унизительнымъ наклонить голову при летящей бомбѣ или лечь на землю, когда разрывается граната; но тѣ же солдаты не задумываясь идутъ въ адскій огонь, *когда это нужно*. Вотъ она, истинная храбрость, безъ заботъ о знакахъ отличія, о мнѣніи другихъ, безъ ложнаго стыда и безъ признака тщеславія. Такіе типы, какъ капитанъ Хлоповъ въ „Набѣгѣ", Тушинъ и Тимохинъ въ „Войнѣ и Мирѣ"—подлинные храбрецы, но ничего эффектнаго они не производятъ. Вотъ маленькая сценка изъ „Набѣга", иллюстрирующая взгляды Толстого.

„Что-же онъ храбрый былъ? спросилъ я капитана.—А Богъ его знаетъ: все, бывало, впереди ѣздитъ: гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.—Такъ стало быть храбрый, сказалъ я.—Нѣтъ, это не значитъ—храбрый, что суется туда, куда его не спрашиваютъ.—Что же вы называете храбрымъ? Храбрый? Храбрый? повторялъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ:—храбрый тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ, сказалъ онъ, подумавъ немного".

Я вспомнилъ, что Платонъ опредѣляетъ храбрость *знаніемъ того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и несмотря на общность и неясность выраженія въ опредѣленіи капитана, я подумалъ, что основная мысль обоихъ не такъ различна, какъ могло бы показаться, и что даже опредѣленіе капитана вѣрнѣе опредѣленія греческаго философа, потому что, еслибъ онъ могъ выражаться такъ же, какъ Платонъ, онъ вѣрно сказалъ бы, что храбръ тотъ, кто боится только того, *чего слѣдуетъ бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*. Мнѣ хотѣлось объяснить свою мысль капитану.—Ну ужъ этого не умѣю вамъ доказать, сказалъ онъ, накладывая трубку:—а вотъ у насъ есть юнкеръ, такъ тотъ любитъ пофилософствовать. Вы съ нимъ поговорите. Онъ и стихи пишетъ.

Я для того выписалъ цѣликомъ всю эту маленькую сценку, чтобы читатель увидѣлъ и еще одинъ элементъ храброй души, какъ она является передъ нами въ произведеніяхъ Л. Толстого. Этотъ элементъ—простодушіе, граничащее иногда съ наивностью ребенка. На самомъ дѣлѣ, припомните Тушина, по-дѣтски застыдившагося, когда его увидѣли безъ сапогъ,—или Тимохина, постоянно краснѣющаго, разъ къ нему обращаются съ рѣчью; того же Хлопова, „что-то ужъ очень долго набивавшаго въ углу трубку", т. е. попросту плакавшаго послѣ полученія вѣсточки отъ своей старухи матери. Вѣдь это все дѣти, большія, хорошія дѣти, въ чистомъ сердцѣ которыхъ грязь жизни не оставила ни одного пятна... Эти храбрецы—дѣти народа, сохранившіе непорванными всѣ духовныя связи съ породившей ихъ почвой.

Эту-то храбрость видѣлъ передъ собой постоянно графъ Толстой, эту то храбрость онъ уважалъ и цѣнилъ, и ее-то старался выработать въ себѣ. Расширьте теперь область ея примѣненія, выведите ее изъ лагеря или поля сраженія и вы получите то рѣдкое и драгоцѣнное качество, которое можетъ быть названо мужествомъ жизни. И оно, какъ и храбрость, принадлежитъ прежде всего народному (но не интеллигентному) духу и составляетъ красоту его.

Надо быть большимъ человѣкомъ и обладать проницательнымъ взглядомъ художника, чтобы разсмотрѣть эту красоту и умѣть любоваться ею. Толстой съумѣлъ сдѣлать это, и почва для любви къ народу и сердечной къ нему привязанности была готова. Нехлюдовщина, теоретическое признаніе отвѣтственности передъ мужикомъ, красивыя фразы просвѣтительной философіи отчасти на Кавказѣ, но главнымъ образомъ подъ стѣнами Севастополя, замѣнились другимъ, болѣе прочнымъ и высокимъ чувствомъ—любовью и преклоненіемъ передъ красотой народной души. Пока эта красота выражалась прежде всего въ *храбрости*. Впослѣдствіи, какъ увидимъ, Толстой разсмотрѣлъ и большее—*мужество жизни*.

Въ Севастополь Толстой прибылъ въ ноябрѣ 1854 года и остался здѣсь вплоть до конца осады. Въ маѣ 1855 онъ назначенъ былъ командиромъ горнаго дивизіона и принималъ горячее участіе въ несчастной для насъ битвѣ при Черной рѣчкѣ (11-го августа).

Вотъ что, между прочимъ, говоритъ о немъ одинъ изъ его севастопольскихъ сослуживцевъ: „Толстой своими разсказами и наскоро набросанными куплетами одушевлялъ всѣхъ и каждаго въ трудныя минуты боевой жизни. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ душой нашего общества. Толстой съ нами—и мы не видимъ, какъ летитъ время, и нѣтъ конца общему веселью; нѣтъ графа, укатилъ въ Симферополь,—и всѣ носы повѣсили. Пропадаетъ день, другой, третій. Наконецъ, возвращается, ну точь-въ-точь блудный сынъ,—мрачный, исхудалый, недовольный собой. Отведетъ меня въ сторону подальше и начнетъ покаяніе. Все разскажетъ:—какъ кутилъ, игралъ, гдѣ проводилъ дни и ночи, и при этомъ, вѣрите ли, казнится и мучится, какъ настоящій преступникъ. Даже жалко смотрѣть на него,—такъ убивается. Вотъ это какой человѣкъ! Однимъ словомъ, странный и не совсѣмъ для меня понятный, а съ другой стороны это былъ рѣдкій товарищъ, честнѣйшая душа и забыть его рѣшительно невозможно".—(Историч. Вѣстн., ноябрь 90 г.).

Съ однимъ изъ куплетовъ, сочиненныхъ графомъ Толстымъ, случилась маленькая исторія, познакомиться съ которой не безъинтересно. Пѣсня относилась къ несчастной битвѣ 4-го августа и, написанная въ народномъ духѣ, скоро пріобрѣла широкую популярность. Ее, говоря безъ преувеличенія, распѣвало все войско. Содержаніе ея слѣдующее:

Какъ четвертаго числа
Насъ нелегкая несла
Гору забирать...
Баронъ Вревскій, генералъ,
Къ Горчакову приставалъ
  Когда подъ шафе:
Князь, возьми ты эту гору,
Не входи со мною въ ссору,
  Не то донесу.
Собирались на совѣты
Все большія эполеты,
  Даже плацъ—Бекокъ...
Полицмейстеръ плацъ Бекокъ
Никакъ выдумать не могъ,
Что ему сказать,
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
  На большомъ листу.
Гладко писано въ бумагѣ,
Да забыли про овраги,
  А по нимъ ходить.
. . . . . .
Глядь, Реадъ возьми да съ просту
И повелъ насъ прямо къ мосту:
  Ну-ка на ура.
На ура! Мы зашумѣли
Да лезервы не поспѣли.
  Кто то перевралъ.
На Федюхины высоты
Насъ пришло всего три роты,
  А пошли полки.
Наше войско небольшое,
А француза было втрое
  И секурсу тьма.
Ждали выйдетъ съ гарнизона
Намъ на выручку колонна,
Подали сигналъ,
А тамъ NN генералъ
Все акафисты читалъ...
  И пришлось намъ отступать...

(„Русская Старина" 1884 г., Т. № 41).

Толстой какъ разъ въ это время ожидалъ награды за дѣло при Черной и мечталъ даже о флигель-адъютантствѣ, но до свѣдѣнія начальства дошло, что авторъ сатирической пѣсни—онъ, и съ мечтами о флигель-адъютантствѣ пришлось распроститься, какъ два года назадъ съ мечтами о георгіевскомъ крестѣ...

Несмотря на безпокойную военную жизнь, Толстой и подъ Севастополемъ не бросилъ литературныхъ занятій. Здѣсь были имъ написаны „Севастополь въ декабрѣ 1854", „Севастополь въ маѣ 55 г.", „Рубка лѣса" и „Севастополь въ августѣ 55 г.". Разсказываютъ, что императрица Александра Ѳеодоровна плакала, читая первый Севастопольскій очеркъ Толстого, а государь Николай I приказалъ „слѣдить за жизнью молодого писателя" и даже перевести его съ 4-ой батареи въ болѣе безопасное мѣсто.

27-го августа Толстой участвовалъ при штурмѣ Севастополя, когда былъ взятъ Малаховъ курганъ, и затѣмъ его отправили курьеромъ въ Петербургъ. Этимъ и заканчивается его военная карьера.

Намъ надо теперь поближе присмотрѣться къ севастопольскимъ впечатлѣніямъ нашего великаго писателя.

„Первое впечатлѣніе ваше отъ Севастополя, разсказываетъ Толстой, непремѣнно самое непріятное: странное смѣшеніе лагерной и городской жизни, красиваго города и грязнаго бивуака, не только не красиво, но

кажется отвратительнымъ безпорядкомъ; вамъ даже покажется, что всѣ перепуганы, суетятся, не знаютъ, что дѣлать. Но вглядитесь ближе въ лица этихъ людей, движущихся вокругъ васъ, и вы поймете совсѣмъ другое. Посмотрите хоть на этого фурштадтскаго солдатика, который ведетъ поить какую-то гнѣдую тройку и такъ спокойно мурлыкаетъ себѣ что-то подъ носъ, что, очевидно, онъ не заблудился въ этой разнородной толпѣ, которой для него и не существуетъ, но что онъ исполняетъ свое дѣло, какое бы оно ни было—поить лошадей или таскать орудія—такъ же спокойно, самоувѣренно и равнодушно, какъ бы все это происходило гдѣ-нибудь въ Тулѣ или Саранскѣ. То же выраженіе читаете вы и на лицѣ этого офицера, который, въ безукоризненно бѣлыхъ перчаткахъ, проходитъ мимо, и въ лицѣ матроса, который куритъ, сидя на баррикадѣ, и въ лицѣ рабочихъ солдатъ, съ носилками дожидающихся на крыльцѣ бывшаго собранія, и въ лицѣ этой дѣвицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкамъ перепрыгиваетъ черезъ улицу".

Во всемъ этомъ нѣтъ ничего героическаго, великаго. Но прежде чѣмъ сомнѣваться, сходите на бастіоны, посмотрите защитниковъ Севастополя на самомъ мѣстѣ защиты, или лучше зайдите прямо напротивъ въ домъ, бывшій прежде севастопольскимъ собраніемъ и гдѣ на крыльцѣ стоятъ солдаты съ носилками,—вы увидите тамъ защитниковъ Севастополя, увидите тамъ ужасныя и грустныя, великія и забавныя, но изумительныя, возвышающія душу зрѣлища.

Вотъ, напр., одно изъ „возвышающихъ душу зрѣлищъ", описанное почти шекспировскою кистью:

— Ты куда раненъ?—спрашиваете вы нерѣшительно и робко у одного стараго и исхудалаго солдата, который, сидя на койкѣ, слѣдитъ за вами добродушнымъ взглядомъ и какъ будто приглашаетъ подойти къ себѣ. Я говорю: „робко спрашиваете", потому что страданія, кромѣ глубокаго сочувствія, внушаютъ почему-то страхъ оскорбить и высокое уваженіе къ тому, кто переноситъ ихъ.

— Въ ногу, отвѣчаетъ солдатъ; но въ это самое время вы сами замѣчаете по складкамъ одѣяла, что у него ноги нѣтъ выше колѣна.— Слава Богу теперь, прибавляетъ онъ:—на выписку хочу.

— А давно ты уже раненъ?

— Да вотъ шестая недѣля пошла, ваше благородіе.

— Что же, болитъ у тебя теперь?

— Нѣтъ, теперь не болитъ ничего; только какъ будто въ икрѣ ноетъ, когда непогода, а то ничего.

— Какъ же ты это былъ раненъ?

— На 5-мъ баксіонѣ, ваше благородіе, какъ первая бандировка была: навелъ пушку, сталъ отходить, этакимъ манеромъ, къ другой амбразурѣ, какъ *онъ* ударитъ меня по ногѣ, ровно какъ въ яму оступился, глядь, а ноги нѣтъ.

— Неужели больно не было въ эту первую минуту?

— Ничего; только какъ горячимъ чѣмъ меня пхнули въ ногу.

— Ну, а потомъ?

— И потомъ ничего; только какъ кожу натягивать стали, такъ саднило какъ будто. Оно первое дѣло, ваше благородіе, *не думать ничего*:

какъ не думаешь, оно тебѣ и ничего. Все больше оттого, что думаетъ человѣкъ.

Въ это время къ намъ подходитъ женщина въ сѣренькомъ полосатомъ платьѣ и повязанная чернымъ платкомъ; она вмѣшивается въ вашъ разговоръ съ матросомъ и начинаетъ разсказывать про него, про его страданія, про отчаянное положеніе, въ которомъ онъ былъ четыре недѣли, про то, какъ, бывши раненъ, остановилъ носилки, съ тѣмъ, чтобы посмотрѣть на залпъ нашей батареи, какъ Великіе Князья говорили съ нимъ и пожаловали ему 25 рублей, и какъ онъ сказалъ имъ, что онъ опять хочетъ на бастіонъ, съ тѣмъ, чтобъ учить молодыхъ, ежели уже самъ работать не можетъ. Говоря все это однимъ духомъ, женщина эта смотритъ то на васъ, то на матроса, который, отвернувшись и какъ будто не слушая ея, щиплетъ у себя на подушкѣ корпію, и глаза ея блестятъ какимъ-то особеннымъ восторгомъ.

— Эта хозяйка моя, ваше благородіе! замѣчаетъ вамъ матросъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто говоритъ: „ужъ вы ее извините. Извѣстно, бабье дѣло—глупыя слова говоритъ".

А смыслъ этихъ впечатлѣній, этихъ возвышающихъ душу зрѣлищъ тотъ, что вы „молча склоняетесь передъ этимъ молчаливымъ, безсознательнымъ величіемъ и твердостью духа, этою стыдливостью передъ собственнымъ достоинствомъ".

Молчаливый героизмъ безъ эффектныхъ фразъ, безъ всякаго тщеславнаго желанія выставить себя и сосредоточить на себѣ вниманіе, и вмѣстѣ съ этимъ милое, нѣжное добродушіе русскаго солдата, умѣющаго быть деликатнымъ, какъ любящая женщина, полностью изображены Толстымъ въ его Севастопольскихъ разсказахъ. Онъ вдохновляется прежде всего этимъ, и вы ясно видите, что онъ любитъ (а не просто описываетъ) то, чѣмъ вдохновляется. Толстой первый заглянулъ въ душу стараго дореформеннаго солдата и первый создалъ его типъ или, вѣрнѣе, цѣлую галлерею типовъ, теперь уже родныхъ и близкихъ каждому русскому читателю. Въ жизни, полной самоотреченія, невыносимой тягсты и лишеній, почти нечеловѣческихъ, жизни безъ тѣни личнаго счастья, безъ семьи, безъ будущаго, съ вѣчнымъ поднятымъ надъ головой обухомъ, съ неуходящимъ ни на шагъ призракомъ смерти—Толстой учуялъ что-то таинственное, прекрасное и чистое, какъ звѣзда на небѣ. И онъ склонился передъ этимъ, и вѣра въ народъ утвердилась въ его сердцѣ разъ на всю жизнь. Какъ ни мѣнялось впослѣдствіи міросозерцаніе Толстого, какъ ни глубоко погружался онъ въ безнадежное отрицаніе—эта вѣра спасала его и вызывала послѣ каждаго паденія къ новой жизни, новой работѣ.

Если въ кавказскихъ разсказахъ Толстого на первый планъ выступаетъ противорѣчіе между природой и человѣкомъ, миромъ одной и суетливостью и кровожадностью другого, то въ севастопольскихъ разсказахъ почва этихъ противорѣчій шире, разнообразнѣе и глубже.

Во время перемирія разыгрывается, напр., такая сцена:

Вотъ пѣхотный бойкій солдатъ, въ розовой рубашкѣ и шинели въ накидку, въ сопровожденіи другихъ солдатъ, которые, руки за спину, съ веселыми, любопытными лицами стоятъ за нимъ, подошелъ къ французу

и попросилъ у него огня закурить трубку. Французъ разжигаетъ, расковыриваетъ трубочку и высыпаетъ огня русскому.

— Табакъ *бунъ*, говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc,—говоритъ французъ:—et chez vous autre tabac—russe? bon?

— Русъ—бунъ,—говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, при чемъ присутствующіе покатываются со смѣху.—*Франсе, бунъ, бонжуръ мусье!* говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, сразу ужъ выпуская весь свой зарядъ знаній языка и треплетъ француза по животу и смѣется. Французы тоже смѣются.

— Ils ne sont pas jolis, ces b... de Russes,—говоритъ одинъ зуавъ изъ толпы французовъ.

— De quoi ils rient donc?—говоритъ другой, черный съ итальянскимъ выговоромъ, подходя къ нашимъ.

— Кафтанъ бунъ, говоритъ бойкій солдатъ, разсматривая шитыя полы зуава, и опять смѣется.

— Ne sors pas de ta ligne, à vos places sacré nom! кричитъ французскій капралъ и солдаты съ видимымъ неудовольствіемъ расходятся.

Не странно ли будетъ видѣть потомъ, всего черезъ нѣсколько часовъ, этихъ добродушныхъ людей, такъ весело разговаривающихъ другъ съ другомъ, съ ожесточенными и освирѣпѣвшими лицами прокалывающихъ другъ друга штыками. Вражды между ними нѣтъ никакой; если бы не странная стихійная сила, руководящая ими, они долго бы еще продолжали бесѣдовать и смѣяться, а потомъ вмѣстѣ и дружно принялись бы за работу. Но „бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія".

Дикая и страшная трагедія человѣческой жизни разыгрывается на поляхъ сраженій. Гдѣ и въ чемъ можно найти ей оправданіе, и вмѣстѣ съ Толстымъ невольно спрашиваешь себя: „неужели эти люди—христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія,—глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣна передъ Тѣмъ, Кто далъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждаго, вмѣстѣ со страхомъ смерти, любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?"...

Нѣтъ, не обнимутся. Цвѣтущая долина засыпается мертвыми тѣлами, опять свистятъ орудія смерти, прекрасное солнце спускается къ синему морю, синее море, колыхаясь, блеститъ на золотыхъ лучахъ солнца, а люди, какъ дикіе звѣри, бросаются другъ на друга и рвутъ другъ друга зубами..

Гете замѣтилъ какъ-то, что истинный художникъ всегда ребенокъ. Какъ ребенокъ, онъ наивенъ, удивляется тому, чему уже перестали удивляться мы, опытные люди, и задаетъ такіе вопросы, которые уже не существуютъ для насъ. Въ узкомъ ущельѣ Валерика великій и наивный ребенокъ Лермонтовъ, видя передъ собой окровавленные трупы такъ недавно еще веселыхъ и полныхъ жизни людей, спрашиваетъ: „зачѣмъ?"; подъ стѣнами Севастополя тотъ же вопросъ не даетъ ни минуты покоя другой великой наивной душѣ—душѣ Толстого. Онъ, какъ художникъ, не пони-

маетъ и не можетъ понять того, что какъ будто понимаемъ мы, что, пожалуй самъ онъ понимаетъ, какъ офицеръ, какъ командиръ дивизіона, какъ защитникъ Севастополя, мечтающій о флигель-адъютантствѣ. Но художникъ „наивенъ", его чуткое сердце не можетъ успокоиться на тѣхъ объясненіяхъ и отвѣтахъ, на которыхъ успокаивается обыденный смертный; цвѣтущая долина, заваленная мертвыми тѣлами, для него не просто поле сраженія, гдѣ побѣдили мы или французы, гдѣ было столько-то стычекъ, гдѣ столько-то убито, столько-то ранено; эта цвѣтущая долина для него что-то страшное, таинственное, преступное, вызывающее одинъ и тотъ же роковой вопросъ: „зачѣмъ?"

Во второмъ Севастопольскомъ разсказѣ („Севастополь въ маѣ") передъ нами развертывается и другое противорѣчіе, поразившее Толстого Это противорѣчіе народнаго и интеллигентнаго духа. Молчаливый героизмъ народа и тщеславная суетливость интеллигента никогда еще до той поры такъ рѣзко не противопоставлялись другъ другу. Впослѣдствіи Толстой построилъ на немъ свою эпопею „Войны и мира", но впервые оно было уже постигнуто имъ подъ стѣнами Севастополя. Интеллигентъ носится съ своимъ *я*, не можетъ ни на минуту отдѣлаться отъ заботъ о немъ. Это маленькое требовательное *я* суетится, безпокоится, страдаетъ и радуется, смотря по тому, хорошо ли ему или дурно, тепло ему или холодно.

Желаніе выставить себя съ самой выгодной стороны, выдвинуться въ первый рядъ — это тщеславное суетливое желаніе ни на минуту не исчезаетъ изъ интеллигентной души, и безконечныя интриги, разнузданная игра себялюбія—иногда совершенно невинная, дѣтская, иногда скверная—потому что корыстолюбивая, постоянно происходитъ на почвѣ молчаливаго народнаго героизма. Итти на бастіонъ значитъ итти почти на вѣрную смерть, и вотъ по дорогѣ туда культурный человѣкъ штабсъ-капитанъ Михайловъ думаетъ: „и каково будетъ удивленіе и радость Наташи, когда она вдругъ прочтетъ въ *Инвалидѣ* описаніе, какъ я первый влѣзъ на пушку и получилъ Георгія. Капитана я долженъ получить по старому представленію. Потомъ очень легко я въ этомъ же году могу получить маіора по линіи, потому что не мало перебито, да и еще, вѣрно, много перебьютъ нашего брата въ эту кампанію. А потомъ опять будетъ дѣло и мнѣ, какъ извѣстному человѣку, поручатъ полкъ... подполковникъ... Анну на шею... полковникъ... и въ мечтахъ своихъ штабсъ-капитанъ Михайловъ добрался уже до генеральскаго чина... Тотъ же штабсъ-капитанъ Михайловъ на музыкѣ въ саду весь поглощенъ соображеніями о томъ, какъ и съ кѣмъ ему поздороваться, къ кому подойти, съ кѣмъ заговорить. Онъ избѣгаетъ компаніи своихъ товарищей армейцевъ, потому что одинъ изъ нихъ въ верблюжьихъ штанахъ и безъ перчатокъ, а другой кричитъ ужасно громко на весь садъ,—но не рѣшается и подойти къ „аристократамъ"... „Что ежели, спрашиваетъ онъ себя, они вдругъ мнѣ не поклонятся, или поклонятся и будутъ продолжать говорить между собою, какъ будто меня нѣтъ, или вовсе уйдутъ отъ меня и я тамъ останусь одинъ?..."

Ребячество капитана Михайлова вызываетъ лишь улыбку, какъ вызываютъ улыбку и его ненужныя мысли. Но можно не только улыбаться, а и задуматься, видя поразительное и странное сочетаніе культурной ярмарки тщеславія и эгоизма съ молчаливымъ героизмомъ простого народа.

Въ культурномъ человѣкѣ слишкомъ сильно чувство личности; это-то и портитъ все дѣло. Лишь въ минуты нравственнаго прозрѣнія спрашиваетъ онъ себя: „что значатъ смерть и страданія такого ничтожнаго червяка, какъ я, въ сравненіи съ столькими смертями и страданіями“... Но видъ чистаго неба, блестящаго солнца, красиваго города опять приводитъ культурную душу въ обычное состояніе маленькихъ себялюбивыхъ заботъ, опасеній, мечтаній... Быть лучше, сильнѣе, красивѣе другого—вотъ нервъ культурнаго бытія и въ этомъ же его главное противорѣчіе съ народнымъ духомъ.

Ярмарка тщеславія съ одной стороны, молчаливый героизмъ съ другой—ежеминутно были на глазахъ у графа Толстого подъ стѣнами Севастополя. Чему симпатизировать, что любить—онъ зналъ и ни минуту не колебался въ своемъ выборѣ. Но по самой жизни своей, по практическимъ цѣлямъ, онъ принадлежалъ еще ярмаркѣ тщеславія и былъ глубоко огорченъ, когда убѣдился, что не получитъ флигель-адъютантскихъ эксельбантовъ.

V.

Въ Петербургѣ.

Въ Петербургъ гр. Толстой пріѣхалъ въ концѣ 55-го года. Передъ 27-лѣтнимъ офицеромъ, богатымъ и титулованнымъ, къ тому севастопольскимъ героемъ, разумѣется были раскрыты всѣ двери „лучшихъ“, какъ это принято говорить, домовъ. Его принимали вездѣ, вездѣ ласкали и холили, всячески за нимъ ухаживали... Чего казалось бы лучше? Впереди блестящая карьера, полная возможность устроить блестящую партію съ какой-нибудь милой и титулованной Кити Щербацкой, а между тѣмъ Толстой рѣдко чувствовалъ себя хорошо и большую часть времени находился въ какомъ-то безпокойномъ и тревожномъ настроеніи духа. Литературная извѣстность и ореолъ севастопольскаго героя не могли, разумѣется, не льстить молодому тщеславію, но успокоиться и почить на пріобрѣтенныхъ лаврахъ невозможно вдумчивому человѣку. Тѣмъ болѣе, очевидно, что Толстымъ по наслѣдству получена наклонность разсматривать все съ мрачной точки зрѣнія—результатъ духовнаго переутомленія ряда поколѣній. Исторія его развитія и жизни была бы совсѣмъ другая, еслибы онъ могъ повторить гордыя слова, сказанныя когда-то Прудономъ: „четырнадцать моихъ прадѣдовъ были земледѣльцами; укажите мнѣ болѣе благородное происхожденіе!“

На двухъ фотографическихъ снимкахъ, сохранившихся отъ петербургскаго періода, гр. Толстой является исключительно въ литературномъ обществѣ. На первомъ изъ этихъ снимковъ онъ изображенъ вмѣстѣ съ Григоровичемъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ, Дружининымъ и Островскимъ; на второмъ—съ Некрасовымъ, Саллогубомъ, Панаевымъ, опять Тургеневымъ и Григоровичемъ. Передъ нами стало-быть вся редакція „Современника“ и всѣ свѣтила русской литературы 50-хъ годовъ. Тургеневъ былъ

въ то время излюбленнымъ и славнѣйшимъ писателемъ, Некрасовъ пропѣлъ уже многія изъ своихъ лучшихъ пѣсенъ, Григоровича знали всѣ, какъ автора „Антона Горемыки", а Дружининъ считался первымъ критикомъ, пока на смѣну ему не пришелъ сначала Чернышевскій, а потомъ Добролюбовъ.

Среди аристократовъ литературы гр. Толстой былъ своимъ. Его „Севастопольскіе разсказы" были по заслугамъ оцѣнены публикой, а „Дѣтство", „Отрочество" и „Юность", хотя и не пользовались широкой популярностью, заставили видѣть въ авторѣ большой и серьезный талантъ.

Но ни съ кѣмъ изъ писателей Толстой близко не сошелся. Въ его натурѣ, повидимому, мало данныхъ для дружбы, или эти данныя не могутъ уравновѣсить слишкомъ большой чуткости и проницательности. Истинно друженъ онъ былъ всего одинъ разъ въ жизни съ старшимъ братомъ своимъ Николаемъ Николаевичемъ. Съ Тургеневымъ Толстой жилъ даже на одной квартирѣ, но особаго расположенія ни съ той, ни съ другой стороны не было: они не понимали другъ друга, спорили до хрипоты и скоро разошлись по разнымъ дорогамъ.

Изъ этого петербургскаго періода Фетъ сохранилъ такое воспоминаніе. „Я, разсказываетъ онъ, только разъ видѣлъ Льва Николаевича Толстого у Некрасова вечеромъ и съ первой минуты замѣтилъ въ молодомъ Толстомъ невольную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій.

„Я не могу признавать, говорилъ, напр., Левъ Николаевичъ Тургеневу, чтобы высказанное вами было вашимъ убѣжденіемъ. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: „пока я живъ, никто сюда не войдетъ". Вотъ это убѣжденіе! А вы другъ отъ друга стараетесь скрывать сущность вашихъ мыслей и называете это убѣжденіемъ". — „Зачѣмъ же вы къ намъ ходите?" задыхаясь спрашивалъ Тургеневъ. — „Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! И праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденія".

О той же оппозиціи Толстого всему общепризнанному, о рѣзкости его мнѣній и т. д. говоритъ и Панаевъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ" и, какъ кажется, будетъ нетрудно объяснить причины и источникъ такого настроенія.

Толстой только вернулся изъ-подъ Севастополя; въ его ушахъ все еще гремѣли орудія, раздавались стоны и хрипъ раненыхъ; тамъ же на поляхъ битвы онъ первый разъ оцѣнилъ простого русскаго человѣка, его безхитростную душу, его молчаливый героизмъ. Въ Петербургѣ не только не было ничего похожаго на только что видѣнное и испытанное, а было какъ разъ противоположное, особенно въ томъ кругу знатныхъ баръ и богатыхъ прославленныхъ литераторовъ, въ которомъ вращался Толстой. Жизнь онъ велъ „легкую", веселую, праздную и видѣлъ вокругъ все такую-же жизнь, которая считалась приличной, комильфотной и вполнѣ удовлетворительной въ нравственномъ отношеніи. Не представлялась ли эта блестящая обстановка гостиныхъ, этотъ постоянный флиртъ между праздными мужчинами и праздными женщинами, эти кутежи въ загородныхъ ресторанахъ, карточная игра, эти пустопорожніе разговоры объ убѣжденіяхъ чѣмъ-то обиднымъ послѣ серьезныхъ и страшныхъ севастополь-

скихъ впечатлѣній? Отказаться отъ этой жизни Толстой въ то время не могъ, но онъ чувствовалъ и зналъ, что это не „та“, не настоящая жизнь, что въ ея легкомысліи и праздности есть и безнравственное, и даже прямо преступное. Толстой серьезенъ, порою серьезенъ до мрачности, его умъ вдумчивъ и настойчивъ, и войти въ петербургскую колею, увлечься времяпрепровожденіемъ богатаго и знатнаго литератора онъ не могъ уже и тогда. Въ самомъ литературномъ кружкѣ, къ которому онъ принадлежалъ, многое должно было раздражать его и особенно Тургеневъ съ его европеизмомъ, англоманствомъ и изящно барскими взглядами на литературу, искусство, прогрессъ, исторію. Противъ грубости Толстой никогда ничего не имѣлъ, но онъ всегда морщился отъ всякой неискренности, отъ всякой заученной красивой фразы, а вѣдь этихъ фразъ въ литературныхъ и барскихъ гостиныхъ ему приходилось слушать безъ числа. И онъ ссорился, спорилъ до хрипоты и все это совсѣмъ не было стояніемъ за правду, а просто взрывами раздраженія на легкую праздную жизнь, на пустопорожніе разговоры, на самого себя.

Вѣдь мы знаемъ, чѣмъ въ концѣ концовъ завершились его исканія правды и какимъ путемъ достигъ онъ если и не полнаго счастья, то по крайней мѣрѣ спокойствія духа. Для этого Толстому понадобилось не только сердцемъ своимъ, но и разумомъ, но и всей жизнью, ея обстановкой и обиходомъ, стать органической частицей простой народной массы. Въ 27 лѣтъ сдѣлать этого было нельзя, особенно Толстому, котораго условія его жизни и воспитанія, традиціи рода, родные и знакомые тянули совсѣмъ въ другую сторону. Прекрасно сказано по этому поводу у Н. К. Михайловскаго:

„Легко было Прудону вѣровать въ народъ и требовать отъ другихъ такой же вѣры, когда онъ самъ вышелъ изъ народа: онъ вѣровалъ въ себя. Такого непосредственнаго единенія между Толстымъ и народомъ нѣтъ. Легко было Прудону смѣло констатировать оборотную сторону цивилизаціи, когда эта оборотная сторона непосредственно давила его и близкихъ его. Такого давленія гр. Толстой не испытываетъ. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, „въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ лордовъ, бароновъ, банкировъ и профессоровъ“. Прудону было легко говорить это, когда отецъ его былъ бочаромъ, мать кухаркой, а самъ онъ наборщикомъ; когда онъ имѣлъ право сказать одному легитимисту: „у меня четырнадцать прадѣдовъ крестьянъ, назовите хоть одну фамилію, которая насчитывала бы столько благородныхъ предковъ“. Но гр. Толстой находится скорѣе въ положеніи того лигитимиста, который получилъ этотъ отпоръ. Оставьте въ сторонѣ вопросъ о томъ, вѣрны или невѣрны тѣ выводы, къ которымъ пришелъ Прудонъ, и тѣ, къ которымъ пришелъ гр. Толстой. Положимъ, что и тѣ и другіе такъ же далеки отъ истины, какъ пещерные люди отъ гр. Толстого. Обратите вниманіе только на слѣдующее обстоятельство: вся обстановка, всѣ условія жизни, начиная съ целенокъ, гнали Прудона къ тѣмъ выводамъ, которые онъ считалъ истиной; всѣ условія жизни гр. Толстого, напротивъ, гнали и гонятъ его въ сторону отъ того, что онъ считаетъ истиной. И если онъ все-таки пришелъ къ ней, то какъ бы онъ себѣ ни противорѣчилъ,

вы должны признать, что это мыслитель честный и сильный, которому довѣриться можно, котораго уважать должно".

Самые литературные кружки первой половины пятидесятыхъ годовъ не могли не вызвать въ Толстомъ сначала недовѣрія, а потомъ и враждебности. Это было какое-то странное, переходное время отъ величайшаго гнета конца николаевской эпохи къ значительной свободѣ новаго царствованія. Тяжелая атмосфера недавно пережитаго еще не замѣнилась новой, а лишь медленно и робко оттѣснялась ею. Пока длилась осада Севастополя и война, старые принципы и старыя правила безпрепятственно царили въ жизни и всѣ подчинялись имъ. Писатели, жившіе въ то время, надо отдать имъ полную справедливость—умѣли недурно приспособиться къ обстановкѣ и чувствовали себя и счастливыми, и довольными. Бѣлинскій умеръ въ 1848 г. и его мѣсто трибуна не было занято никѣмъ. Если не о немъ, то о его проповѣди забыли даже въ кружкѣ близкихъ ему лицъ и, какъ дѣти вырвавшіяся изъ-подъ строгаго надзора, предались легкомыслію, самодовольству, чистой красотѣ. Нѣсколько одностороннее, но въ сущности глубоко вѣрное описаніе литературнаго легкомыслія того времени далъ намъ самъ Толстой:

„Мнѣ, разсказываетъ гр. Толстой,—было 26 лѣтъ, когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли какъ своего, льстили мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы, художники, поэты. Наше призваніе учить людей, не зная чему: художникъ-де и поэтъ учатъ безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я, художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество, у меня была слава: значитъ то, чему я училъ, было очень хорошо. Теорія эта о развитіи жизни и значеніи поэзіи была вѣра и я былъ однимъ изъ жрецовъ ея. Быть жрецомъ ея было очень выгодно и пріятно. И я довольно долго жилъ въ этой вѣрѣ, не сомнѣваясь въ ея истинности. Но на второй и особенно на третій годъ такой жизни я сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою. Одни изъ нихъ говорили: „мы—самые хорошіе и полезные учители; мы учимъ тому, что нужно, а другіе учатъ неправильно". А другіе говорили: „нѣтъ, мы настоящіе, а вы учите неправильно". И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга.

Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ. Я понималъ, что въ своемъ самообольщеніи мы не замѣчали, что ничего не знаемъ, что мы не знаемъ самаго главнаго, что на самый просто и, вмѣстѣ, единственно важный вопросъ жизни: что хорошо, что дурно—мы не умѣемъ найти никакого точнаго отвѣта. И вотъ мы, не зная этого единственно

важнаго въ жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая другъ друга, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга, съ тѣмъ, чтобы и меня похвалили, иногда же раздражаясь другъ противъ друга—совершенно какъ въ сумасшедшемъ домѣ. И я, смутно чувствуя ложь эту, не зная, гдѣ истина, страдалъ, но не имѣлъ духа отречься отъ тщеславнаго чина художника, поэта, учителя,—и гордость моя, и сумасшедшая увѣренность, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему, все болѣе и болѣе болѣзненно развивались. Такъ я жилъ, предаваясь этому безумію, еще шесть лѣтъ".

Но и предаваясь безумію, Толстой въ святая святыхъ души своей не могъ мириться съ нимъ. Онъ спорилъ и ссорился, отрицалъ Шекспира, не хотѣлъ стоять на колѣнахъ передъ Пушкинымъ—что тогда требовалось литературнымъ уставомъ, — смѣялся надъ нѣсколько чувствительнымъ народничествомъ, процвѣтавшимъ съ легкой руки Григоровича, и сердился на всѣхъ и вся, и на изящныя манеры, и на изящный языкъ и на изящныя теоріи чистой красоты.

Недовольный Петербургомъ, онъ скоро уѣхалъ изъ него. Нѣсколько странно объясняетъ причины этого недовольства г. Берсъ, говоря: „Петербургъ никогда Льву Николаевичу не нравился: онъ не могъ ничѣмъ выдвигаться въ высшемъ кругу Петербурга, служебной карьеры онъ не домогался, большимъ состояніемъ не владѣлъ, а громкой славы писателя тогда еще не составилось у него".

Считать всѣ эти мелочи главной причиной недовольства я не могу, но что и эти мелочи могли играть нѣкоторую роль, я это охотно допускаю съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства. Но въ святая святыхъ души, не исчезая, таилось преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа и его страданія. Оно-то и навело Толстого на такія мысли.

„Счастье вотъ что... счастье, чтобы жить для другихъ. И это ясно... Въ человѣка вложена потребность счастья, стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотвержденіе"... Но это еще не правило жизни, это настроеніе.

VI.

Въ деревнѣ и за границей.

Полагаю, никто не станетъ требовать отъ меня, чтобы я представилъ всю жизнь гр. Л. Н. Толстого вытянутой въ одну линію, а самого Л. Н. каждую минуту сокрушающимся о грѣхахъ своихъ, о противорѣчіяхъ цивилизаціи и ищущимъ опять-таки каждую минуту правды и истины. Жизнь гр. Толстого, какъ и всякаго человѣка, исполнена противорѣчій. Великое сегодня—завтра представлялось ему ненужнымъ и пустымъ, что съ точки

зрѣнія нервной молодости совершенно логично. Всѣхъ уклоненій отъ господствующаго настроенія, искавшаго близости съ народомъ, я перечислять не буду. Но на нѣкоторыхъ остановиться необходимо. Главнымъ изъ этихъ послѣднихъ было отмѣченное еще нами при описаніи юности стремленіе къ личному совершенствованію. Стремленіе это принимало самую разнообразную форму, вплоть до гимнастическихъ упражненій на трапеціи и съ тяжелыми гирями, и ужъ самъ графъ Толстой виноватъ, что придалъ этимъ невинныыъ развлеченіямъ мрачный характеръ, разсказывая о нихъ впослѣдствіи въ „Исповѣди".

„Теперь вспоминая то время, я вижу ясно, что вѣра моя—то, что кромѣ животныхъ инстинктовъ двигало моей жизнью—единственная вѣра моя въ то время была вѣра въ совершенствованіе, въ прогрессъ. Но въ чемъ она была, какая была цѣль ихъ, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать себя умственно и учился всему, чему могъ и на что наталкивала меня жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенстовалъ себя физически, всякими упражненіями изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего этого было, разумѣется, нравственное совершенствованіе, но вскорѣ оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т. е. желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И скоро это желаніе быть лучше передъ другими подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ... *Гадко* вспомнить даже объ этомъ. Но, говоря совсѣмъ безпристрастно, я не могу обвинять въ этомъ только себя. Напротивъ, у меня и тогда было горячее желаніе добра. Но я былъ молодъ, у меня были страсти, и я оказывался совершенно одинокъ каждый разъ, когда хотѣлъ уйти отъ страстей и итти къ добру... Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе"...

Толстому *гадко* было впослѣдствіи вспоминать о своемъ стремленіи къ совершенствованію, но на самомъ дѣлѣ не все же было гадко въ этомъ стремленіи, а напротивъ многое хорошо, симпатично и даже, если хотите, комично. Толстой увлекался гимнастикой, и вотъ по утрамъ въ Ясной Полянѣ, когда къ нему являлся бурмистръ за приказаніями, то происходила такая, напр., сцена: „баринъ въ трико виситъ внизъ головой, на трапеціи раскачивается, выкидываетъ различные пируеты и въ то же время бесѣдуетъ о запашкахъ и умолотѣ"...

— Барское дѣло!..—подумалъ вѣроятно бурмистръ, почесывая у себя въ затылкѣ и почтительно слѣдя за бариномъ, чудесно выдѣлывавшимъ козла.

Смѣшно-то это смѣшно, но что же тутъ гадкаго?..

Въ Ясную Поляну Толстой вернулся изъ Петербурга въ 56 году, нѣсколько утомленный столичною жизнью, ея пустопорожнимъ и не всегда чистымъ времяпрепровожденіемъ, внимательно присматривался къ сельскому быту, усердно занимался хозяйствомъ, увлекался даже полевыми работами...

„Понравилось ему—съ добродушной ироніей пишетъ въ это время его братъ Николай—какъ работникъ Юфанъ растопыриваетъ руки при пахотѣ, и вотъ Юфанъ для него эмблема сельской силы, вродѣ Микулы Селяниновича. Онъ самъ, широко разставляя локти, берется за соху и юфанствуетъ". Литературная работа на лонѣ природы идетъ успѣшно. За это время были написаны „Юность", „Встрѣча въ отрядѣ", „Метель", „Записки маркера", „Два гусара".

Но и на этотъ разъ Ясная Поляна не могла полностью удовлетворить его, и онъ отправился за границу.

„Въ это время—писалъ онъ впослѣдствіи, держась своей обычной мрачной точки зрѣнія на свое прошлое,—я поѣхалъ за границу. Жизнь въ Европѣ и сближеніе мое съ передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше въ той вѣрѣ совершенствованія вообще, потому что ту же самую вѣру я нашелъ и у нихъ. Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ прогрессъ. Только изрѣдка, не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности же я жилъ, продолжая исповѣдывать вѣру въ прогрессъ... „Все развивается, и я тоже развиваюсь, а зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми—это видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ формулировать тогда свою вѣру"...

Толстой былъ за границей всего два раза (1857 и 59 г.). Несмотря на его собственную характеристику этимъ поѣздкамъ, приходится съ нимъ не согласиться, а сказать, что заграница принесла очень много пользы, если и не самому графу, то по крайней мѣрѣ дѣлу русскаго народнаго образованія, находившемуся еще тогда въ зачаточномъ состояніи.

О первой поѣздкѣ Толстого В. П. Боткинъ писалъ между прочимъ Дружинину: „письмо Толстого ко мнѣ занимаетъ всего только одну страничку, но исполнено свѣжести и бодрости. Германія очень заинтересовала его, и онъ хочетъ потомъ поближе узнать ее. Черезъ мѣсяцъ онъ ѣдетъ въ Римъ". Толстой довольно долгое время пробылъ въ Парижѣ, гдѣ встрѣтился съ Тургеневымъ, но не совсѣмъ удачно: „Толстой,—продолжаетъ тамъ же В. П. Боткинъ—пишетъ о свиданіи своемъ съ Тургеневымъ: оба они опять блуждаютъ въ какомъ-то мракѣ, грустятъ, жалуются на жизнь, ничего не дѣлаютъ и тяготятся, какъ кажется, своими респективными отношеніями". Объ этихъ же респективныхъ отношеніяхъ говоритъ и Тургеневъ въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ 1857 г. „Съ Толстымъ я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишкомъ мы врозь глядимъ"...

Замѣтимъ, что по многимъ и многимъ причинамъ первая поѣздка должна была оставить по себѣ тяжелое впечатлѣніе въ душѣ Толстого. Въ Парижѣ онъ видѣлъ смертную казнь, „обличившую ему всю шаткость суевѣрій прогресса", и въ то же время умеръ его старшій, любимый братъ, Николай. Это была свѣлая, незамѣнимая личность. „Талантливый собесѣдникъ и разсказчикъ, говоритъ Тургеневъ, онъ жилъ всегда или у себя въ деревнѣ, или въ маленькомъ, чрезвычайно простомъ домикѣ въ Москвѣ, въ самой невозможной квартирѣ, чуть ли не въ лачугѣ

гдѣ-нибудь въ отдаленномъ кварталѣ, охотно дѣлясь всѣмъ съ послѣднимъ бѣднякомъ"... Здѣсь-то смерть и взглянула впервые на Толстого своими страшными глазами. Правда, вокругъ него умирали и раньше, умирали на Кавказѣ и подъ Севастополемъ, но все это были чужіе люди, съ жизнью которыхъ не чувствовалось неразрывной связи.

„И вотъ, этотъ умный, добрый, серьезный человѣкъ,—вспоминалъ впослѣдствіи Толстой о своемъ братѣ—еще молодымъ, заболѣлъ чахоткой, страдалъ болѣе года и мучительно умеръ, не понимая, зачѣмъ онъ жилъ, еще меньше понимая, зачѣмъ онъ умеръ...

„Ничто въ жизни не дѣлало на меня такого впечатлѣнія. Правду онъ говаривалъ, что хуже смерти ничего нѣтъ. А какъ хорошенько подумать, что она все-таки конецъ всего, то и хуже жизни ничего нѣтъ... Для чего хлопотать, стараться, коли отъ того, что былъ Николай Николаевичъ Толстой, ничего не осталось!

„За нѣсколько минутъ передъ смертью, онъ задремалъ и вдругъ очнулся и съ ужасомъ прошепталъ: да что же это такое?—Это онъ ее увидѣлъ, это поглощеніе самого себя въ ничто. А ужъ если онъ ничего не нашелъ, за что ухватиться, что же я-то найду? Еще меньше. И ужъ ни я, и никто такъ не будетъ до послѣдней минуты бороться съ нею, какъ онъ".

Этотъ моментъ (смерть брата) я считаю важнѣйшимъ опредѣляющимъ моментомъ для цѣлаго періода жизни Толстого. Послѣ этой смерти онъ поторопился вернуться въ Россію и цѣлый годъ провелъ въ тяжеломъ настроеніи духа. Онъ написалъ за это время „Люцернъ" и „Альбертъ", и чѣмъ-то мрачнымъ вѣетъ отъ обоихъ этихъ разсказовъ и ихъ безконечно грустныхъ сюжетовъ... Толстого стала мучить мысль о смерти, тѣмъ болѣе, что въ своей груди онъ чувствовалъ присутствіе той же болѣзни, которая свела въ могилу его брата.

Онъ уже часто сталъ разсуждать о жизни съ точки зрѣнія смерти и значитъ, въ минуту наиболѣе сильно овладѣвавшихъ имъ думъ, переставалъ жить. „Нельзя уговорить камень, пишетъ онъ въ 1860 году, чтобъ онъ падалъ кверху, а не книзу, куда его тянетъ. Нельзя смѣяться шуткѣ, которая наскучила. Нельзя ѣсть, когда не хочется. *Къ чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя*". „Я беру жизнь,—продолжаетъ онъ,—какъ она есть. Какъ только дойдетъ человѣкъ до высшей степени развитія, такъ онъ увидитъ ясно, чтс все дичь, обманъ, и что правда, которую все-таки онъ любитъ лучше всего, что эта правда ужасна, что какъ увидишь ее хорошенько, ясно, такъ очнешься и съ ужасомъ скажешь, какъ братъ: „да что-жъ это такое?" Но, разумѣется, покуда есть желаніе знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня изъ моральнаго міра, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду дѣлать, только не въ формѣ вашего искусства. Искусство есть ложь, а я ужъ не могу любить прекрасную ложь"...

Къ чему *все*, когда завтра начнутся муки смерти, „со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя"? Новый страшный и огромный вопросъ прибавился къ вопросамъ прежде бывшимъ и если не сейчасъ, то позже, занялъ первенствующее положеніе. Съ этой

поры тѣнь смерти начинаетъ падать на всѣ лучшія страницы, вышедшія изъ-подъ пера Толстого, а картины смерти то и дѣло вдохновляютъ его. Смерть—муза философіи, и эта формула какъ нельзя лучше оправдалась въ жизни Толстого. Довольно легкомыслія, веселости, суетливыхъ заботъ о своемъ *я*—довольно игры, тщеславія и гордости,—довольно смѣха и шутокъ, вѣдь есть что-то страшное, что послѣ жизни ожидаетъ каждаго изъ насъ, и это страшное, это неотразимое—смерть. Какъ же примирить съ нею мою жажду вѣчности, мою любовь къ себѣ, мое настойчивое требованіе личнаго счастья?

VII.

Вторая поѣздка за границу и педагогическія занятія.

Между первой и второй заграничной поѣздкой Толстого прошло около года. Этотъ годъ онъ провелъ въ деревнѣ и, между прочимъ, занимался съ крестьянскими дѣтьми. Строй будущей яснополянской школы несомнѣнно вырисовывался уже передъ нимъ въ это время, но прежде, чѣмъ устроить школу, онъ хотѣлъ серьезно подготовиться къ этому дѣлу, вся огромная необходимость котораго тѣмъ яснѣе выступала на первый планъ, чѣмъ оживленнѣе шли приготовленія къ манифесту 19-го февраля. Здѣсь я желаю напомнить читателю нѣсколько строкъ изъ статьи „Яснополянская школа въ декабрѣ и ноябрѣ"—строкъ, гдѣ изложены драгоцѣнныя мысли, хотя и самъ Толстой не разъ измѣнялъ имъ и не разъ противорѣчилъ.

„Я вижу, говоритъ Толстой людей честныхъ, добрыхъ, членовъ благотворительныхъ обществъ, которые готовы дать и даютъ одну сотую своего состоянія бѣднымъ, которые учредили и учреждаютъ школы и которые, прочтя это, скажутъ:—не хорошо!—и покачаютъ головой. Зачѣмъ усиленно развивать крестьянскихъ дѣтей. Зачѣмъ давать имъ чувства и понятія, которыя враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ? Зачѣмъ выводить ихъ изъ своего быта? Я не говорю уже о тѣхъ, выдающихъ себя головой, которые скажутъ: хорошо будетъ устройство государства, когда всѣ захотятъ быть мыслителями и художниками, а работать никто не станетъ! Эти прямо говорятъ, что они не любятъ работать, и потому нужно, чтобы были не то, что неспособные для другой дѣятельности, а рабы, которые работали бы за другихъ. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить ихъ изъ ихъ среды и т. д. — кто это знаетъ? И кто можетъ вывести ихъ изъ своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дѣло. Ѳедька не тяготиться своимъ оборваннымъ кафтанишкомъ, но нравственные вопросы и сомнѣнія мучатъ Ѳедьку, а вы хотите дать ему три рубля, катихизисъ и исторійку о томъ, какъ работа и смиреніе, которыхъ вы сами терпѣть не можете, одни полезны для человѣка. Три рубля ему не нужны, онъ ихъ найдетъ, когда они ему понадобятся, а работать научится безъ васъ, такъ же, какъ дышать; ему нужно то, до чего довела васъ ваша жизнь, вашихъ десять незабитыхъ работой поколѣній. Вы имѣли досугъ искать, думать, страдать,—дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь

отъ него таинственной мантіей, зарываете въ землю талантъ, данный вамъ исторіей. Не бойтесь, человѣку ничто человѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманетъ васъ. Повѣрьте его природѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что заповѣдала вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ".

Мы еще вернемся къ этому, пока же нѣсколько словъ о второй заграничной поѣздкѣ Толстого. Онъ отправился туда съ цѣлью главнымъ образомъ изучать тамошнія школы и существующія въ нихъ системы преподаванія, но при этомъ онъ знакомился и съ постановкой благотворительнаго дѣла, а также, почему-то, устройствомъ тюремъ.

Прежде всего онъ отправился въ Берлинъ, слушалъ лекціи Дройзена и Дюбуа-Реймона, посѣщалъ музеи и особенное вниманіе обратилъ на тюрьму въ Моабитѣ, гдѣ введено было одиночное заключеніе. Дальше въ своихъ поѣздкахъ по Германіи онъ посѣщаетъ собранія ремесленныхъ союзовъ, устроенныхъ Шульце-Деличемъ, знакомится съ педагогической знаменитостью Дистервегомъ, но разочаровывается въ немъ за „сухость и черствость". Въ Вартбургѣ онъ заноситъ въ свою записную книгу слова: „Лютеръ великъ",—отсюда ѣдетъ въ Дрезденъ, всюду по дорогѣ осматривая школы, и навѣщаетъ, между прочимъ, знаменитаго романиста Ауэрбаха, который былъ въ то время его любимцемъ за то вѣроятно, что старался писать книги для народа.

Войдя къ Ауэрбаху, Толстой отрекомендовался такъ: „Я Евгеній Бауманъ[1]) не по имени, а по характеру. Ваши книги заставили меня серьезно задуматься надъ многимъ и вообще глубоко и благотворно повліяли на меня". Вспоминая объ этомъ эпизодѣ, Ауэрбахъ говорилъ Скайлеру, что онъ ужасно испугался, когда какой-то странно глядѣвшій господинъ сказалъ ему, что онъ—Евгеній Бауманъ.

„Я боялся, прибавилъ Ауэрбахъ, что онъ будетъ грозить мнѣ за пасквиль или диффамацію".

Изъ Дрездена онъ отправляется въ Киссингенъ, изучаетъ исторію педагогіи, сочиненія Бэкона, Риля, знакомится съ Фребелемъ и его сочиненіями, ѣдетъ въ Италію, Швейцарію, Марсель, Парижъ, Лондонъ, Брюссель, гдѣ близко сходится съ Прудономъ и Лелевелемъ, а въ Веймарѣ—съ Листомъ. Нужно замѣтить, что Левъ Николаевичъ серьезный знатокъ и любитель музыки и ежедневно проводилъ нѣсколько часовъ за роялемъ. Въ Веймарѣ онъ посѣщалъ дѣтскіе сады и черезъ Іену возвращается обратно въ Россію. За это время написаны имъ: „Три смерти", „Семейное счастье" и „Поликушка".

Вернувшись въ 1861 году въ Ясную Поляну, Левъ Николаевичъ занялъ мѣсто посредника и всецѣло отдался какъ новой своей обязанности, такъ и школамъ. Въ это же время онъ началъ издавать знаменитый свой педагогическій журналъ „Ясная Поляна", въ которомъ сообщалъ свѣдѣнія о методѣ, порядкѣ и ходѣ преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, этомъ необычайномъ явленіи не только у насъ въ Россіи, но и въ Европѣ. Это была первая вполнѣ свободная школа. Ученики приходили и уходили,

---

[1]) Герой одного изъ романовъ Ауэрбаха, имѣющій нѣкоторое отдаленное сходство съ Левинымъ.

когда хотѣли, дѣлали, что имъ угодно, учились только тѣмъ предметамъ и въ томъ видѣ, въ какомъ они имъ нравились, безъ всякаго принужденія, безъ малѣйшей дисциплины, кромѣ той, которую они вводили сами. Разсаживались не по стрункѣ за партами, а размѣщались, гдѣ кому было удобнѣе: одни лежали на животѣ, другіе разваливались на креслѣ, третьи скучивались гдѣ-нибудь въ уголкѣ или у окошка. Никакихъ принужденій, никакихъ приказаній не допускалось. Задача учителей заключалась въ томъ, чтобы интересомъ самаго преподаванія умѣть завладѣть вниманіемъ учениковъ и заставить ихъ водворить порядокъ. И вотъ въ этой свободной республикѣ преподаваніе шло крайне успѣшно, и ученики научились любить школу и ученье, благодаря тому, что всѣ учителя проникнуты были истиной, не разъ высказываемой Львомъ Николаевичемъ: „всякое принужденіе вредно и указываетъ на недостатокъ самаго метода и преподаванія.—Чѣмъ съ меньшимъ принужденіемъ учатся дѣти, тѣмъ методъ лучше; чѣмъ съ большимъ, тѣмъ хуже".—Учителя и во главѣ ихъ Левъ Николаевичъ старались выработать самый лучшій методъ при наибольшей свободѣ учениковъ.

Такова была эта школа, вызывающая удивленіе и теперь въ педагогахъ, напр., французскихъ, которые рѣшительно отказываются понять, какъ при такой анархіи водворялся свободный порядокъ. Не отрицая факта успѣшности преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, они стараются объяснить это громадной разницей между французскими городскими дѣтьми и русскими деревенскими ребятами, тогда какъ главная причина здѣсь кроется въ томъ, что громадное большинство учителей, какъ французскихъ, такъ и европейскихъ вообще, а нашихъ русскихъ въ частности, имѣютъ въ виду свое удобство, а не удобство учениковъ, и не придерживаются основного правила педагогической дѣятельности Льва Николаевича. Вотъ это основное правило: „учитель никогда не долженъ позволять себѣ думать, что въ неуспѣхѣ виноваты ученики, а твердо знать, что въ неуспѣхѣ виноватъ только онъ, потому что чѣмъ хуже самъ учитель знаетъ предметъ, которому онъ учитъ, тѣмъ ему нужнѣе строгость и принужденіе; напротивъ, чѣмъ больше учитель знаетъ и любитъ предметъ, тѣмъ естественнѣе и свободнѣе его преподаваніе".

Свободная его школа и издаваемый при ней журналъ „Ясная Поляна" породили недоразумѣніе въ правящихъ сферахъ, выразившееся въ слѣдующей интересной перепискѣ между министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ Министру Народнаго Просвѣщенія 3-го октября 1862 года:

„Внимательное чтеніе педагогическаго журнала „Ясная Поляна", издаваемаго графомъ Толстымъ, приводитъ къ убѣжденію, что этотъ журналъ, проповѣдующій совершенно новые пріемы преподаванія и основныя начала народныхъ школъ, нерѣдко распространяетъ такія идеи, которыя, независимо отъ ихъ неправильности, по самому направленію своему оказываются вредными. Не входя въ подробный разборъ доктрины этого журнала и не указывая на отдѣльныя статьи и выраженія, что, впрочемъ, не представляло бы затрудненій, я считаю нужнымъ обратить вниманіе Вашего Превосходительства на общее направленіе и духъ этого журнала, нерѣдко низвергающіе основныя правила религіи и нравственности. Продолженіе журнала въ томъ же духѣ, по моему мнѣнію, должно быть при-

знано тѣмъ болѣе вреднымъ, что издатель, обладая замѣчательнымъ и, можно сказать, увлекательнымъ литературнымъ дарованіемъ, не можетъ быть заподозрѣнъ ни въ злоумышленности, ни въ недобросовѣстности своихъ убѣжденій. Зло заключается именно въ ложности и, такъ сказать, въ эксцентричности этихъ убѣжденій, которыя, будучи изложены съ особеннымъ краснорѣчіемъ, могутъ увлечь на этотъ путь неопытныхъ педагоговъ и сообщить неправильное направленіе дѣлу народнаго образованія. Имѣю честь сообщить о семъ Вамъ, Милостивый Государь, въ томъ предположеніи, что не изволите ли Вы признать полезнымъ обратить особое вниманіе цензора на это изданіе".

Получивъ это отношеніе, Министръ Народнаго Просвѣщенія поручилъ разсмотрѣть всѣ вышедшія книги журнала „Ясная Поляна" и сообщилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ отъ 24 октября того же года, что какъ по собственному наблюденію Министерства, такъ и по содержанію представленнаго ему, Министру, отчета о „Ясной Полянѣ, въ направленіи помянутаго журнала нѣтъ ничего вреднаго и противнаго религіи, но встрѣчаются крайности педагогическихъ воззрѣній, которыя подлежатъ критикѣ въ ученыхъ педагогическихъ журналахъ, а никакъ не запрещенію со стороны цензуры.

„Вообще, писалъ далѣе Министръ Народнаго Просвѣщенія, „я долженъ сказать, что дѣятельность графа Толстого по педагогической части заслуживаетъ полнаго уваженія и Министерство Народнаго Просвѣщенія обязано помогать ему и оказывать содѣйствіе, хотя не можетъ раздѣлить всѣхъ его мыслей, отъ которыхъ, послѣ многосторонняго обсужденія, онъ и самъ, вѣроятно, откажется".

Яснополянская школа просуществовала около трехъ-лѣтъ и умерла естественной смертью, не столько отъ недостатка интереса со стороны Толстого, какъ отъ того, что каждый ребенокъ въ деревнѣ съ 150 жителями выучился всему, что онъ считалъ для себя нужнымъ, а новыхъ учениковъ не набиралось довольно, чтобы стоило содержать школу. Журналъ „Ясная Поляна" тоже прекратился.

„Вопросъ о томъ, въ чемъ состоитъ критеріумъ того, чему и какъ должно учить, получалъ для меня все больше значенія"—говорилъ Левъ Николаевичъ, „только рѣшивъ его, я могъ быть увѣренъ, что то, чему и какъ я училъ, не было ни вредно, ни безполезно.

Въ то время я не нашелъ въ педагогической литературѣ не только сочувствія, не нашелъ даже противорѣчій, но совершеннѣйшее равнодушіе къ поставленному мною вопросу. Были нападки на нѣкоторыя подробности, мелочи, но самый вопросъ, очевидно, никого не интересовалъ. Я тогда былъ молодъ и это равнодушіе огорчало меня. Я не понималъ, что я съ своимъ вопросомъ: почему Вы знаете чему и какъ учить?—былъ подобенъ тому человѣку, который бы, положимъ, хоть въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ побольше собрать податей, предложилъ имъ слѣдующее: Господа, чтобы знать, съ кого сколько брать податей, надо разобрать вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія?.. Очевидно, всѣ паши продолжали бы свое обсужденіе о мѣрахъ взысканія и только молчаніемъ отозвались бы на неумѣстный вопросъ".

При содѣйствіи Льва Николаевича открыто было тогда 14 школъ, „но, говоритъ онъ, я такъ измучился посредничествомъ, школами и журналомъ, такъ тяжела мнѣ стала борьба по посредничеству, такъ смутно проявлялась дѣятельность моя въ школахъ, что я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирцамъ: дышать воздухомъ, пить кумысъ, и жить животною жизнью“.

Остановимся теперь на впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ Толстымъ изъ его педагогической дѣятельности. Несомнѣнно, прежде всего, что къ своимъ занятіямъ онъ относился не просто какъ педагогъ, а какъ истинный художникъ. Нѣчто великое стояло передъ его воображеніемъ и манило къ себѣ. Каждый ребенокъ, посѣщавшій его школу, былъ не только педагогическимъ матеріаломъ, а живымъ человѣкомъ, душу котораго онъ изучалъ, чья фигура складывалась въ его умѣ въ художественный образъ. Припомните, что Толстой разсказываетъ о своихъ любимцахъ Ѳедѣ и Сенѣ. Читая и перечитывая посвященныя имъ страницы, невольно начинаешь соглашаться съ Н. К. Михайловскимъ, замѣтившимъ какъ-то, что въ IV-мъ томѣ полнаго собранія сочиненій Толстого, т. е. въ статьяхъ, посвященныхъ Ясной Полянѣ, встрѣчаются художественные перлы, равныхъ которымъ не найдешь въ другомъ мѣстѣ. Вотъ, напр., описаніе ночной прогулки графа Толстого съ его учениками.

„Мы пошли къ деревнѣ. Ѳедька все не пускалъ моей руки, теперь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ были такъ близки въ эту ночь, какъ давно уже не были. Пронька пошелъ рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. „Вишь огонь еще у Мазановыхъ!“ сказалъ онъ. „Я нынче въ классъ шелъ, Гаврюха изъ кабака ѣхалъ пьяный-распьяный; лошадь вся въ мылѣ, онъ-то ее ожариваетъ... Я всегда жалѣю! Право! за что ее бить.“—„А надысь батя, сказалъ Семка, пустилъ свою лошадь изъ Тулы, она его въ сугробъ завезла, а онъ спитъ пьяный.“—„А Гаврюха такъ по глазамъ и хлещетъ... и такъ мнѣ жалко стало, еще разъ сказалъ Пронька: — за что онъ ее билъ? слѣзъ, да и хлещетъ.“ Семка вдругъ остановился: „Наши ужъ спятъ“, сказалъ онъ, вглядываясь въ окна своей кривой черной избы. „Не пойдете еще?“—„Нѣтъ.“—„Пра-ащайте, Л. Н.“, крикнулъ онъ вдругъ и, какъ будто съ усиліемъ оторвавшись отъ насъ, рысью побѣжалъ къ дому, поднялъ щеколду и скрылся. „Такъ ты и будешь разводить насъ—сперва одного, а потомъ другого? сказалъ Ѳедька“. Мы пошли дальше. У Проньки былъ огонь: мы заглянули въ окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина съ черными бровями и глазами, сидѣла за столомъ и чистила картошку; на серединѣ висѣла люлька; математикъ 2-го класса, другой братъ Проньки, стоялъ у стола и ѣлъ картошку съ солью. Изба была черная, крошечная, грязная. „Пропасти на тебя нѣтъ!“ закричала мать на Проньку. „Гдѣ былъ?“ Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что онъ не одинъ, и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорошее, притворное выраженіе. Остался одинъ Ѳедька. „У насъ портные сидятъ, оттого свѣтъ“, сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ; „нынѣшняго вечера прощай, Л. Н.“, прибавилъ онъ тихо и нѣжно, и началъ стучать кольоомъ въ запертую дверь. „Отоприте“, прозвучалъ его тонкій голосъ среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянулъ въ

окно; изба была большая; съ печи и лавки виднѣлись ноги, отецъ съ портными игралъ въ карты, нѣсколько мѣдныхъ денегъ лежало на столѣ. Баба, мачеха, сидѣла у свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужикъ, держалъ на столѣ карты, согнутыя лубкомъ, и съ торжествомъ глядѣлъ на партнера. Отецъ Ѳедьки съ разстегнутымъ воротникомъ, весь сморщившись отъ умственнаго напряженія и досады переминалъ карты и въ нерѣшительности сверху замахивался на нихъ своею рабочею рукой. „Отоприте!“ Баба встала и пошла отпирать. „Прощате! еще разъ повторилъ Ѳедька: — всегда такъ давайте ходить.“

Это живое, истинное, человѣческое, лишенное всякаго профессіональнаго педантизма отношеніе Толстого къ ученикамъ и было для него неизсякаемымъ источникомъ наслажденія. Онъ отдавался своему дѣлу со страстью и, быть можетъ, утвердился бы въ немъ, если бы не эти надоѣдливыя постороннія обстоятельства, стоящія, какъ извѣстно, всегда на пути всякой дѣятельности. Препятствія, встрѣченныя графомъ Толстымъ были различны. Они шли, какъ мы видѣли только что, и отъ администраціи, и отъ сосѣдей-помѣщиковъ, почему-то подозрительно посматривавшихъ на графа-педагога. Меньше всего виновата крестьянская косность, хотя, разумѣется, Толстому приходилось наталкиваться и на нее. Вотъ примѣръ довольно характерный въ этомъ отношеніи:

„...Общество въ дер. Подосинкахъ нашло своего учителя и на предложеніе мое замѣстить избраннаго ими учителя другимъ объявило, что не нуждается въ новомъ учителѣ и своимъ довольно. Учитель этотъ былъ отставной дьячекъ, уже двадцать лѣтъ занимавшійся обученіемъ дѣтей... Онъ предложилъ учить дешевле чѣмъ въ другихъ школахъ... Я посѣтилъ эту школу во время ея цвѣтенія. Когда мы вошли, все было тихо тамъ; 24 мальчика, сидѣвшіе съ вырѣзными указками чинно вокругъ длиннаго стола, вдругъ запѣли на разные голоса. Во главѣ всѣхъ сидѣлъ сынъ огородника, лѣтъ 16-ти, въ синемъ кафтанѣ. Онъ запѣвалъ: „надѣющійся на ны“; сосѣдъ его, водя указкой по засаленной азбукѣ пѣлъ; „слова подъ титлами: ангелъ, ангельскій, архангелъ, архангельскій“; и снова начиная: слова подъ титлами: ангелъ и т. д.; третій: „буки-арцы-азъ-бра“; четвертый—„премудрость“. Когда я вошелъ въ избу они закричали, потомъ встали. Учителя не было. Я спросилъ, зачѣмъ они встали? Они объяснили, что меня ждали и что такъ имъ было приказано. Я попросилъ ихъ сѣсть и продолжать; всѣ начали опять съ тѣхъ же словъ: „надѣющіеся, слова подъ титлами“ и т. д. Здѣсь я въ первый разъ видѣлъ классическую старинную школу“.

Мужички, какъ видно, предпочли своего дьячка потому, что тотъ обходился имъ дешевле. Но вообще, повторю, не эта сторона дѣла утомила Толстого и заставила его разочароваться.

Какъ во всемъ въ жизни, Толстой и въ педагогической дѣятельности стремился къ грандіозному и даже безусловному. Не обученіе грамотѣ было ему нужно, а воспитаніе человѣческаго характера путемъ любви, свободы и знанія. Нищенская программа нашихъ школъ была ему противна. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ вѣрилъ онъ въ дѣтей и какъ высоко цѣнилъ ихъ дарованія, можетъ служить статья изъ жур-

нала „Ясная Поляна“, озаглавленная: „Кому у кого учиться писать (въ смыслѣ творчества): крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ?“ Оказывается, что и самому графу Толстому было небезполезно „сочинять“ вмѣстѣ съ Ѳедькой и Сенькой, то руководя ими, то подчиняясь имъ. Пусть читатель прочтетъ эту замѣчательную статью, краткая передача которой только бы испортила ее—и онъ пойметъ то огромное и безусловное, что носилось передъ воображеніемъ графа Толстого во время его занятій съ крестьянскими ребятами.

VIII.

Писательская драма.

Никогда раньше Толстой такъ тѣсно не сближался съ крестьянскимъ міромъ, какъ во время своего учительства въ Ясно-Полянской школѣ и мирового посредничества. Каждый день ему приходилось разговаривать съ различными „опчествами“ или депутатами этого общества и вести долгія задушевныя бесѣды съ крестьянскими ребятами – бесѣды, такъ подробно описанныя имъ въ IV-мъ томѣ его сочиненій. Но это-то сближеніе и послужило поводомъ къ пересмотру всѣхъ своихъ культурныхъ теорій съ точки зрѣнія простого народа. Здѣсь-то и скрывается источникъ той писательской драмы, которая совершилась въ 61-мъ и въ 62-мъ годахъ и, вновь выплывши на сцену, 20 лѣтъ спустя довела Толстого до полнаго почти отрицанія собственной художественной дѣятельности. Нужно ли народу, т. е. массѣ, т. е. въ сущности всему человѣчеству, на которомъ культурные люди являются лишь наслоеніемъ, то, что я пишу?— Послѣ долгаго мучительнаго анализа Толстой отвѣтилъ: нѣтъ, не надо. Во имя чего я пишу? задалъ онъ себѣ другой вопросъ и опять-таки рѣзко отвѣтилъ себѣ: только во имя эгоизма, только во имя самоублаженія. Отсюда ясный выводъ: писательство—пустяки, потому что оно не нужно массѣ, и писательство вредно, безнравственно, скверно, потому что оно служитъ тому же алчному культурному *я*. А вѣдь смыслъ жизни въ любви, самоотверженіи. Вліяніе Руссо, отмѣченное нами еще въ года юности, инстинктивное отвращеніе къ легкой, веселой и распущенной жизни, которую вели петербургскіе литераторы 50-хъ годовъ, преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ севастопольскихъ солдатъ, страхъ смерти, придававшій всякой мысли и чувству пессимистическое настроеніе – все это соединилось во-едино, чтобы заставить *писателя* Толстого признать вредъ *книгопечатанія, а художника* Толстого считать безполезнымъ или прямо вреднымъ *созданіе художественныхъ произведеній*. Есть не мало поэтическихъ картинъ, гдѣ скульпторъ бросаетъ свой рѣзецъ и разбиваетъ только что оконченную статую, гдѣ музыкантъ разбиваетъ свой инструментъ и т. д., но мотивомъ этого страшнаго недовольства художника собственнымъ созданіемъ всегда является невозможность достигнуть идеала. Этого мотива не было у Толстого. Его мѣра—не идеалъ искусства, а нужда и требованіе народа. Во имя этой нужды и требованій онъ отрекся отъ

господствовавшей въ его время педагогики и отъ господствовавшихъ въ его время взглядовъ на литературу.

Кажется, Толстой недолюбливалъ Достоевскаго, но, право, чѣмъ больше вдумываешься въ дѣло, тѣмъ яснѣе видишь, что у обоихъ писателей земли русской много и много общаго. „Мы всѣ демократы и можемъ поступать и разсуждать лишь, какъ демократы", —говорилъ Достоевскій... Онъ всегда проповѣдывалъ любовь, самоотреченіе, смиреніе. Онъ ненавидѣлъ легкій взглядъ на жизнь и съ его точки зрѣнія выходило, что „жизнь—задача громадная; что житейская борьба сурова, что не для радости живетъ человѣкъ, а для осуществленія нравственнаго идеала, въ жертву которому онъ долженъ принести свое *я*"... Правда, у Толстого нѣтъ мистической экзальтаціи и *припадковъ* творчества, но и его жизнь, какъ жизнь Достоевскаго,—постоянныя внутреннія муки, сомнѣнія, ожесточенная борьба съ самимъ собой, а единственный выходъ изъ этой скверной жизни нравственный долгъ и народъ...

„Для меня очевидно, писалъ Толстой въ 1861 г., что расположеніе журналовъ и книгъ, безостановочный и громадный процессъ книгопечатанія былъ выгоденъ для писателей, редакторовъ, издателей, корректоровъ и наборщиковъ. *Огромныя суммы народа косвенными путями перешли въ руки этихъ людей.* Книгопечатаніе такъ выгодно для этихъ людей, что для увеличенія числа читателей придумываются всевозможныя средства: стихи повѣсти, скандалы, обличенія, сплетни, полемика, подарки, преміи общества грамотности, распространенія книгъ и школы для увеличенія числа грамотныхъ... Но ежели число журналовъ и книгъ увеличивается, ежели литература такъ хорошо окупается, то стало быть она необходима, скажутъ мнѣ наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвѣчу я... *Литература, такъ же, какъ и откупа, есть только искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа...* У насъ есть разные журналы, есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, не смотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣланныхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе „Бориса Годунова" Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. *Наша литература не прививается и не привьется народу;* надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усомнятся въ этомъ... Всякій добросовѣстный судья, неодержимый вѣрою прогресса, признается, что *выгодъ книгопечатанія для народа не было...* Но скажутъ, можетъ быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогрессъ книгопечатанія, не принося прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, что смягчаетъ нравы общества, что разрѣшеніе крѣпостного вопроса, напримѣръ, есть только произведеніе прогресса книгопечатанія. На это я отвѣчу, что смягченіе нравовъ общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужнымъ вѣрить на слово. Я не нахожу, напримѣръ, чтобы отношенія фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отно-

шеній помѣщика къ крѣпостному... Главное же, что я имѣю сказать противъ такого аргумента, есть то, что, взявъ въ примѣръ хотя освобожденіе отъ крѣпостного права, я не вижу, чтобы книгопечатаніе содѣйствовало его прогрессивному разрѣшенію. Ежели бы правительство въ этомъ дѣлѣ не сказало своего рѣшительнаго слова, то книгопечатаніе безъ сомнѣнія разъяснило бы дѣло совершенно иначе. Мы видѣли, что большая часть органовъ требовала бы освобожденія безъ земли и приводила бы доводы, столь же кажущіеся разумными, остроумными, саркастическими. *Прогрессъ книгопечатанія*, какъ и прогрессъ электрическихъ телеграфовъ, *есть монополія извѣстнаго класса общества*, выгодная только для людей этого класса, которые подъ словомъ прогрессъ разумѣютъ свою личную выгоду, вслѣдствіе того всегда противорѣчащую выгодѣ народа. Мнѣ пріятно читать журналы отъ праздности; я даже интересуюсь Оттономъ, королемъ греческимъ. Мнѣ пріятно написать или издать статейку и получить по телеграфу извѣстіе о здоровьѣ моей сестрицы и знать навѣрное, какой цѣны я долженъ ожидать за свою пшеницу. Какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ нѣтъ ничего предосудительнаго въ удовольствіяхъ, которыя я при этомъ испытываю, и въ желаніяхъ, которыя я имѣю, чтобы удобства къ такого рода удовольствіямъ увеличивались, но *совершенно несправедливо будетъ думать, что мои удовольствія совпадаютъ съ увеличеніемъ благосостоянія всего человѣчества*. (Сочиненія, т. IV, 192 и слѣд.)...

Въ подчеркнутыхъ мною фразахъ точка зрѣнія Толстого выяснена какъ нельзя лучше. Я несогласенъ съ ней, какъ несогласенъ съ тѣмъ, что высшая математика безполезна или вредна лишь потому, что она недоступна пониманію трехлѣтняго ребенка. Ребенокъ выростетъ. Да, едва ли теперь можно сказать, что „прогрессъ книгопечатанія есть монополія извѣстнаго класса общества", а ужъ если говорить о вредѣ, то на первый планъ надо выдвигать *монополію*, а ужъ никакъ не книгопечатаніе— простое орудіе для полезнаго и вреднаго, прекраснаго и сквернаго.

Но для меня теперь важна не мысль Толстого, а его настроеніе, его писательская драма, по поводу которой, между прочимъ, считаю нужнымъ напомнить, что впервые она была подвергнута блестящему анализу въ сочиненіяхъ Н. К. Михайловскаго въ 1875 году.

„Я прошу теперь читателя серьезно вдуматься въ душевное состояніе писателя, пришедшаго къ вышеприведеннымъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе и литературу,—писателя не ради куска хлѣба и не по какимъ-либо случайнымъ обстоятельствамъ, а такого, какъ графъ Толстой, т. е. писателя по призванію, неудержимо гонимаго на литературное поприще избыткомъ творческой силы. Положеніе истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говоритъ, что нѣтъ ничего предосудительнаго въ желаніи написать статейку и получить за нее деньги и извѣстность. Но гр. Толстой знаетъ, что этимъ именно непредосудительнымъ путемъ „огромныя суммы перешли въ руки лицъ", прикосновенныхъ къ литературѣ и книгопечатанію, что такъ именно слагается вся литература, эта искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и не выгодная для народа". Человѣку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности—легко сказать то, что говоритъ гр. Толстой. Съ другой стороны, есть много людей, совершаю-

щихъ ужасныя преступленія и тѣмъ не менѣе спокойныхъ душой, потому что ихъ дѣйствія для нихъ не суть преступленія, они не сознаютъ ихъ преступности. Словомъ, когда сознаніе и потребности находятся тѣмъ или другимъ способомъ въ равновѣсіи, жить легко. Гр. Толстой, напротивъ, ясно сознаетъ, что литература есть одинъ изъ видовъ эксплуатаціи народа, и тѣмъ не менѣе участвуетъ въ ней, потому что, какъ вѣчному жиду таинственный голосъ не уставалъ говорить: иди, иди, иди, такъ и гр. Толстому внутренній голосъ, голосъ его богатоодаренной природы не устаетъ говорить: пиши, пиши, пиши".

Любопытно, однако, прослѣдить и за дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ Толстого на тотъ же предметъ. Въ тѣхъ же ясно-полянскихъ статьяхъ онъ говоритъ, напр.:

„Страшно сказать: я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми требованіями и даже произведеніями тѣхъ же искусствъ, образчики которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое стихотвореніе, какъ, напримѣръ: „Я помню чудное мгновенье", произведенія музыки, какъ послѣдняя симфонія Бетховена,—не такъ безусловно и всемірно хороши, какъ пѣсня о „Ванькѣ-клюшникѣ" и напѣвъ „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ"; что Пушкинъ и Бетховенъ нравятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, но потому, что мы такъ же испорчены, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково льстятъ нашей уродливой раздражительности и нашей слабости".

Или:

„Картина Иванова возбудитъ въ народѣ только удивленіе предъ техническимъ мастерствомъ, но не возбудитъ никакого, ни поэтическаго, ни религіознаго чувства, тогда какъ это самое поэтическое чувство возбуждено *лубочною картинкой Іоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ*. Венера Милосская возбудитъ только законное отвращеніе предъ наготой, предъ наглостью разврата—стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится непріятнымъ шумомъ, интереснымъ развѣ только потому, что одинъ играетъ на большой дудкѣ, а другой на большой скрипкѣ. Лучшее произведеніе нашей поэзіи, лирическое стихотвореніе Пушкина, представится наборомъ словъ, а смыслъ его презрѣнными пустяками. Введите дитя народа въ этотъ міръ, (вы это можете сдѣлать и постоянно дѣлаете посредствомъ іерархіи учебныхъ заведеній, академій и художественныхъ классовъ)—онъ прочувствуетъ и прочувствуетъ искренно и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартетъ Бетховена, и лирическое стихотвореніе Пушкина. Но войдя въ этотъ міръ, онъ будетъ дышать уже не всѣми легкими, уже его болѣзненно и враждебно будетъ охватывать свѣжій воздухъ, когда ему случится вновь выдти на него".

Слѣдуетъ ли изъ этого, что не надо писать картинъ Иванова и Рафаэля, а изображать Ивана Новгородскаго и *чорта въ кувшинѣ?* Въ 60-хъ годахъ такого вывода гр. Толстой еще не сдѣлалъ, а только рѣзко выставилъ противорѣчіе, изъ котораго можно сдѣлать, однако, выводы, діаметрально противоположные...

Писательскую драму гр. Толстого Н. К. Михайловскій объясняетъ его десницей и шуйцей или, проще, старо-барскими дрожжами по наслѣдственности, воспитанію и условіямъ жизни рядомъ съ народническими демократическими симпатіями сердца и выводами разума, причемъ десница и шуйца никакъ не могутъ столковаться между собою. Графъ Толстой хотѣлъ бы служить народу своимъ творческимъ талантомъ, быть народнымъ писателемъ, но „кругъ его умственныхъ интересовъ и слишкомъ широкъ, и слишкомъ узокъ для роли народнаго писателя. Съ одной стороны, онъ владѣетъ запасомъ образовъ и идей, недоступныхъ народу по своей широтѣ и высотѣ. Съ другой стороны, онъ, какъ человѣкъ извѣстнаго слоя общества, слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу мелкія, узкія радости и тревоги этого слоя; слишкомъ ими занятъ, чтобы отказаться отъ поэтическаго ихъ воспроизведенія. Забавы аристократическихъ салоновъ и буря дамскихъ будуаровъ, несмотря на все ихъ ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуютъ. Эти интересы—новый элементъ совершающейся въ его душѣ драмы—мѣшаютъ ему не только быть народнымъ писателемъ, но и итти по другому, косвенному пути: къ примиренію потребности поэтическаго творчества съ сознаніемъ нѣкоторой его грѣховности...“

Вопросъ о косвенныхъ путяхъ и примиреніи противорѣчій мы оставимъ пока въ сторонѣ и будемъ продолжать нашъ анализъ. Въ приведенныхъ изъ ясно-полянскихъ статей отрывкахъ читатель видитъ передъ собой разъѣдающій скептицизмъ, упирающійся пока въ глухой переулокъ и заканчивающійся мучительнымъ вопросомъ: „что же дѣлать?“. Читатель помнитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что этотъ скептицизмъ являлся безусловно характернымъ для Толстого еще въ годы его отрочества и юности. Но форма осталась та же самая, сущность же значительно измѣнилась. Скептицизмъ отрочества и юности безцѣленъ и непроизволенъ; онъ подкапывается подъ то или другое положеніе, не зная—зачѣмъ, не спрашивая себя—почему, а лишь повинуясь могучему инстинкту, заложенному природой, и наслаждается при этомъ собственной своей игрой. У него нѣтъ критеріума. Поздній скептицизмъ—другое дѣло. Онъ также остръ, также мучителенъ и непроизволенъ, но у него есть уже исходный пунктъ, есть точка отправленія, откуда онъ совершаетъ свои аттаки и вылазки, есть, словомъ, знамя. Это знамя—народъ и народные интересы, и вмѣстѣ съ тѣмъ невольное страстное желаніе отдѣлаться отъ собственной душевной надломленности.

„Я думаю, говоритъ тотъ же Н. К. Михайловскій, что если бы въ такомъ положеніи могъ оказаться человѣкъ дюжинный, онъ покончилъ бы самоубійствомъ или пьянствомъ... Человѣкъ недюжинный будетъ, разумѣется, искать другихъ выходовъ“.

Но выхода, собственно, Толстой самъ не нашелъ. Его на нѣкоторое время, по крайней мѣрѣ, выручила жизнь и могучая потребность жизни, инстинктъ счастья и наслажденія.

Какъ это случилось, какъ удалось Толстому не уничтожить въ себѣ сомнѣнія и замолчать ихъ на цѣлыя пятнадцать лѣтъ—мы увидимъ сейчасъ же.

IX.

Семейная жизнь.

„Вернувшись отъ башкиръ, продолжаетъ свой разсказъ Л. Толстой, я женился. Новыя счастливыя условія семейной жизни совершенно отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше... Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, я, все-таки, продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенія въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей. И я писалъ, научая тому, что для меня было единой истиной: что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше".

Толстой вернулся изъ Самарской губерніи прямо въ Москву съ значительно поправившимся здоровьемъ и безъ страха неминуемой смерти отъ чахотки. Здѣсь, въ Москвѣ, онъ часто посѣщалъ домъ д-ра Берса, гдѣ были три дѣвушки, дочери хозяина. Выборъ Толстого палъ на среднюю, Софью Андреевну, хотя, кажется, всѣ три сестры были къ нему неравнодушны и всячески старались выказать ему свое расположеніе. Однажды, напр., Толстой, пріѣхавъ къ Берсамъ, сталъ разсказывать, что на-дняхъ онъ проигрался въ пухъ и прахъ за зеленымъ столомъ, почему и пришллось ему только что написанную повѣсть „Казаки" продать Каткову за 1.000 р. Барышни расплакались, и, можетъ, быть эти-то слезы окончательно утвердили Толстого въ его рѣшимости испытать сладости семейной жизни. Онъ попросилъ руки Софьи Андреевны, но ему сначала отказали, потому что не хотѣли отдавать второй дочери раньше замужъ, чѣмъ первую. Однако, дѣло уладилось. Окончательное объясненіе Л. Толстого съ будущей женой произошло точно такъ, какъ это описано въ „Аннѣ Карениной" въ сценѣ объясненія Левина съ Китти: однѣми начальными буквами... Это—маленькая странность и вмѣстѣ съ тѣмъ маленькій легкій штрихъ въ портретѣ Толстого и его страсти во всемъ итти особенной дорогой.

Свадьба была 23 сентября 1862 года. Толстому было 34 года, а его невѣстѣ 18. Разница лѣтъ нѣсколько велика. Такъ думалъ, по крайней мѣрѣ, самъ Толстой, когда писалъ свой романъ „Семейное счастье". Но его семейное счастье оказалось гораздо болѣе прочнымъ и устроеннымъ по другой программѣ, чѣмъ въ романѣ. Это счастье Ростовыхъ, Безухихъ, Левина и Китти Щербацкой...

Нѣсколько отрывковъ изъ писемъ къ Фету покажутъ настроеніе его въ первые мѣсяцы и годы послѣ женитьбы. „Я двѣ недѣли женатъ—пишетъ, напр., Толстой отъ 9 окт. 62 г.—и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человѣкъ... Или: (1863 г.): „Теперь я пишу исторію пѣгаго мерина

(„Холстомѣръ"), къ осени думаю напечатать. Впрочемъ, теперь, какъ писать? Теперь незримыя усилія, даже зримыя и притомъ я въ хозяйствѣ опять прямо по уши. И Соня со мной. Управляющаго у насъ нѣтъ, есть помощники по полевому хозяйству и постройкамъ, а она одна ведетъ контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый садъ, и винокурня. И все идетъ понемножку, хотя, разумѣется, плохо, сравнительно съ идеаломъ..." Или (1864 г.): „Жена моя совсѣмъ не играетъ въ куклы. Вы не обижайте. Она мнѣ серьезный помощникъ. Мы хозяйствуемъ понемножку. Я сдѣлалъ важное открытіе, которое спѣшу вамъ сообщить. Приказчики, управляющіе и старосты есть только помѣха въ хозяйствѣ. Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10 часовъ, и все пойдетъ навѣрное не хуже. Я сдѣлалъ этотъ опытъ и остался имъ вполнѣ доволенъ..."

Все пока дышетъ бодростью и радостью жизни. Пусть читатель припомнитъ кстати и маленькую художественную сценку изъ „Анны Карениной", сценку, очевидно, списанную съ натуры. Долго казалось Левину его новое состояніе и новое счастье неестественнымъ. „За что именно мнѣ такое счастье? говорилъ онъ Китти. Ненатурально, слишкомъ хорошо", сказалъ онъ, цѣлуя ея руку. Китти думала объ этомъ, иначе, по своему, непосредственно, по-женски. „Мнѣ, напротивъ, чѣмъ лучше, тѣмъ натуральнѣе",—отвѣтила она мужу весьма основательно...

Сомнѣнія не прекратились совсѣмъ, но были глубоко подавлены „новымъ состояніемъ и новымъ счастьемъ..." Порядокъ, замѣнившій прежнюю распущенность, полное забвеніе кутежей и карточной игры, усиленныя хозяйственныя работы, а главное любовь, та любовь, сознавая въ себѣ которую Левинъ чувствовалъ, что „она спасетъ его отъ отчаянія и что любовь эта подъ угрозой отчаянія станетъ еще сильнѣе и чище", многочисленный семейный кружокъ, наконецъ—все это подѣйствовало на Толстого освѣжающимъ и обновляющимъ образомъ. Онъ часто говорилъ, что „онъ вполнѣ счастливъ въ семейной жизни и что онъ нашелъ не только любящую жену и прекрасную мать, но и помощницу въ его литературной дѣятельности". Онъ постоянно посвящалъ Софью Андреевну во всѣ свои писательскіе замыслы, думы и чувства.—„Она одна умѣетъ собрать и привести въ порядокъ всѣ клочки и бумаги, на которыхъ писались драгоцѣнныя строки. Она одна умѣетъ разобрать его въ высшей степени нечеткій почеркъ и изъ поспѣшно сдѣланныхъ имъ, вмѣсто цѣлыхъ словъ, штриховъ и линеекъ воспроизвести именно то, что мыслилъ и хотѣлъ написать ея мужъ. Онъ часто самъ удивлялся этому. Она съ примѣрной аккуратностью и бережливостью хранитъ для потомства всѣ рукописи какъ изданныхъ, такъ и неизданныхъ его сочиненій..."

Скоро пошли дѣти... Ощущенія отца при рожденіи перваго ребенка прелестно описаны въ „Аннѣ Карениной", и мнѣ остается только привести нѣсколько строкъ изъ этого описанія и напомнить о немъ читателю: „Левинъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершилось, было подобно тому, что совершилось годъ тому назадъ... на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость... Но и то горе и эта радость были одинаково внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, *были въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высокое.* И одинаково тяжело, мучительно наступило совершающееся, и одинаково

непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, *поднималась душа на такую высоту, которой она никогда не понимала прежде и куда разсудокъ не поспѣвалъ уже за нею...*"

Семья Л. Н. Толстого съ каждымъ годомъ становилась многочисленнѣе и въ настоящее время у него, кстати замѣтить, 9 человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ пять сыновей. Младшій сынъ родился лишь въ 1891 году.

Мы видѣли, что въ юности Толстой увлекался Руссо; привязанность къ идеямъ, особенно педагогическимъ, великаго женевца осталась у него на всю жизнь. Поэтому, между прочимъ, всѣхъ дѣтей выкормила сама мать. Взгляды Руссо примѣнялись вообще, гдѣ только было возможно. Изъ дѣтской навсегда были изгнаны игрушки: старались какъ можно больше имѣть надъ дѣтьми личный надзоръ, а не поручать нянькамъ или боннамъ; дѣтямъ предоставлялась наибольшая свобода; было положено за правило не прибѣгать ни къ насилію, ни къ наказанію. Левъ Николаевичъ находилъ, что принципъ дѣтской самостоятельности нигдѣ не примѣняется такъ широко, какъ въ Англіи. Поэтому дѣти отъ трехъ до 8 или 9 лѣтъ поручались молодымъ англичанкамъ, которыя выписывались прямо изъ Англіи.

„Левъ Николаевичъ, разсказываетъ Берсъ, любилъ открывать ребенку его безсиліе въ природѣ и зависимость отъ взрослыхъ, но не съ цѣлью запугать, а открыть ему правду. Это дѣлалось иногда въ формѣ шутки и съ оттѣнкомъ ласки.

„Когда дѣти нуждались въ прислугѣ, имъ запрещалось приказывать. Они должны были просить, прибавляя непремѣнно слово: „пожалуйста". Для примѣра это дѣлалось самими родителями и прочими въ семьѣ.

„Независимо отъ состраданія къ ближнему, въ дѣтяхъ старались развить жалость къ животнымъ.

„Ложь преслѣдовалась строго и легко могла повлечь за собой наказаніе. Наказаніе очень рѣдко проявлялось въ какихъ-нибудь дѣйствіяхъ, напримѣръ, заключеніе въ комнатѣ и т. п., а выражалось преимущественно въ холодномъ обращеніи родителей съ дѣтьми за ихъ проступки. Вообще наказывали только малыхъ. Какъ только замѣчалось раскаяніе, наказаніе немедленно отмѣнялось. У дѣтей никогда не вымогались обѣщанія не повторять проступковъ и просьбы о прощеніи ихъ. Откровенность и довѣріе дѣтей къ родителямъ развивались въ нихъ своевременной лаской.

„Всѣмъ этимъ руководили сами родители. Наказаніе дѣтей воспитателямъ безусловно возбранялось.

„Весь взрослый персоналъ Ясной Поляны обязанъ былъ помнить, что дѣти могутъ заимствовать все то, что они видятъ и слышатъ. Однако, дѣтей не удаляли изъ общества, если въ то время имъ не слѣдовало идти спать, учиться или т. п.

„Поэтому, когда наступало восемь часовъ вечера, и дѣти уходили спать, самъ Левъ Николаевичъ говорилъ: „ну, теперь стало свободнѣе!"

Можно ли было тосковать, да и было ли время тосковать въ этомъ веселомъ дѣтскомъ мірѣ, да еще среди постоянныхъ заботъ и хлопотъ то о покупкѣ пензенскаго имѣнія, то о покупкѣ самарскаго имѣнія, то о заведеніи коннаго завода, то о тысячахъ хозяйственныхъ мелочей?.. А вѣдь графъ Толстой, замѣтимъ это между прочимъ, былъ прекраснымъ хозяи-

номъ. Одна ключница, служившая у него 9 лѣтъ, разсказываетъ о немъ, какъ о хозяинѣ, вотъ что:

„Графъ самъ слѣдилъ за всѣмъ хозяйствомъ и требовалъ, чтобы у него вездѣ была замѣчательная чистота, и въ коровникѣ, и въ свинятникѣ, и въ овчарнѣ... Въ особенности онъ любовался на своихъ свиней, которыхъ держалъ до трехсотъ штукъ, сидѣвшихъ парами въ отдѣльныхъ небольшихъ хлѣвушкахъ... Здѣсь графъ не терпѣлъ ни малѣйшей грязи: каждый день я и мои помощницы должны были перемывать ихъ всѣхъ, вытирать полъ и стѣны хлѣвушекъ; тогда, проходя по свинятнѣ утромъ, графъ бывалъ очень доволенъ, и громко приговаривалъ: „Какое хозяйство... Какое хорошее хозяйство!"... Зато, избави Богъ, если онъ замѣтитъ хоть малѣйшую грязь — сейчасъ разсердится, раскричится... Графъ былъ очень горячій баринъ, и пріѣзжавшій въ Ясную Поляну докторъ нѣсколько разъ говаривалъ ему при мнѣ: „Вамъ нельзя такъ сердиться, графъ, это очень вредно для вашего здоровья"... „Не могу, — отвѣчалъ обыкновенно графъ,—я хочу сдержаться да не могу, такой ужъ видно у меня характеръ"... Хозяйство давало графу въ то время хорошій доходъ: кромѣ свиней и поросятъ у него было восемьдесятъ коровъ, пятьсотъ шленскихъ овецъ и очень много птицы... Между прочимъ, мы сбивали отличное сливочное масло, которое продавали въ Москву по шестьдесятъ копѣекъ за фунтъ...

При этихъ постоянныхъ хлопотахъ, гдѣ было найти время для сосредоточенной тоски или самоѣденія духа.

Повидимому, Толстой и не тосковалъ, и былъ счастливъ, какъ можетъ быть счастливъ человѣкъ на нашей планетѣ. Правильная жизнь, значительные успѣхи по хозяйству, ростъ семьи, а вмѣстѣ съ этимъ и ростъ заботъ, настойчивая литературная работа, обезсмертившая русскую литературу, такъ какъ „Война и Миръ" была написана какъ разъ въ этотъ періодъ — отвлекала Толстого отъ того, что было постояннымъ источникомъ его душевныхъ страданій, отъ него самого и его эгоизма. И его собственныя письма и воспоминанія Берса, одинаково изображаютъ его заботливымъ, жизнерадостнымъ семьяниномъ. Онъ самъ говоритъ, что въ то время руководился правиломъ, которое одно только казалось ему истиннымъ: дѣлать такъ, чтобы тебѣ самому и близкимъ твоимъ, т. е. семьѣ было какъ можно лучше.

Вѣдь это вещь огромной неизмѣримой важности — какъ выйти изъ сферы собственнаго своего эгоизма — и горе тому, кто на это совсѣмъ не способенъ. Большинство выходитъ путемъ семьи, меньшинство — путемъ общественной дѣятельности; лучшее, т. е. соединеніе того и другого выхода, притомъ соединеніе гармоническое, такъ, чтобы семья не мѣшала обществу, такъ, чтобы не развился до излишнихъ алчныхъ размѣровъ специфическій семейный эгоизмъ—это лучшее доступно лишь избраннымъ.

Толстой остановился на первомъ выходѣ, и лично для него это было великимъ счастьемъ. Онъ отдохнулъ отъ своей душевной надломленности, и если не совсѣмъ отъ нея излѣчился, то лишь потому, что надломленность-то была слишкомъ велика, а выходъ не таковъ, который можетъ удовлетворить геніальную и вдумчивую натуру. Выходъ былъ самый элементарный.

Но все же эгоизмъ семейный шире эгоизма личнаго, а не отъ этого ли послѣдняго страдалъ все время Толстой? Онъ перечисляетъ всѣ свои грѣхи—это грѣхи эгоизма и себялюбія: тутъ и корыстолюбіе, и любострастіе, и честолюбіе, и властолюбіе, и гордость, и гнѣвъ, и месть. Онъ страдаетъ отъ страха смерти: развѣ это не прежде всего страхъ за самого себя, свою личность, для которой смерть есть полное и обидное уничтоженіе; онъ противопоставляетъ культурныхъ людей и народъ: развѣ это не противопоставленіе алчной и себялюбивой личности, алчнаго и себялюбиваго „я" съ природой и молчаливымъ героизмомъ народа?.. Семья вывела Толстого изъ заколдованнаго круга его собственной личности, его собственныхъ личныхъ желаній. Отъ своего *я* онъ убѣжалъ въ семейныя заботы, воспитаніе, хозяйство. Всего этого хватило на 15 лѣтъ.

За этотъ пятнадцатилѣтній періодъ, онъ, повторяю, представляется намъ любящимъ и рачительнымъ семьяниномъ, пишетъ письма о пшеницѣ и породистыхъ жеребцахъ, и пишетъ все это вполнѣ серьезно, потому что безъ всего этого никакъ нельзя обойтись, разъ хочешь, чтобы тебѣ и близкимъ твоимъ было какъ можно лучше.

Работалъ онъ очень много и надъ литературой, преимущественно зимою, всегда въ теченіе цѣлаго дня, а подчасъ и до поздней ночи. Онъ никогда не ждалъ вдохновенія и держался того мудраго правила, что стоитъ сѣсть работать, и вдохновеніе само придетъ. Ежедневно, за самыми рѣдкими исключеніями, онъ садился за столъ и писалъ или изучалъ источники и матеріалы. За большія свои вещи онъ брался всегда лишь послѣ самой тщательной подготовки. Во время работы ему требовалось абсолютное спокойствіе. Никто, даже жена, не входилъ къ нему въ кабинетъ, когда онъ бывалъ занятъ. Одно время такой привилегіей пользовалась его старшая дочь, когда была еще ребенкомъ. Знакомыхъ у него всегда было очень мало, такъ что лишь очень немногіе наѣзжали къ нему въ Ясную Поляну. Къ этимъ немногимъ принадлежали Н. Н. Страховъ (безусловно необходимая принадлежность каждаго великаго человѣка или даже псевдо-великаго, вродѣ Н. Данилевскаго), князь Урусовъ — математикъ, А. Фетъ-Шеншинъ, поэтъ-помѣщикъ и ожесточенный дворянинъ въ одно и то же время. Удѣляя даже своей семьѣ сравнительно немногіе часы дня, Толстой всегда бывалъ веселъ, добродушенъ и шутливъ.

„Нельзя—разсказываетъ Берсъ—передать съ достаточной полнотой того веселаго и привлекательнаго настроенія, которое постоянно царило въ Ясной Полянѣ (1862—1873 гг.) Источникомъ его былъ всегда Левъ Николаевичъ. Въ разговорѣ объ отвлеченныхъ вопросахъ, о воспитаніи дѣтей, о внѣшнихъ событіяхъ,—его сужденіе было самое интересное. Въ игрѣ въ крикетъ, въ прогулкѣ онъ оживлялъ всѣхъ своимъ юморомъ и участіемъ, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самаго простого дѣйствія, которымъ бы Левъ Николаевичъ не умѣлъ придать интереса и вызвать къ нимъ хорошаго и веселаго отношенія въ окружающихъ.

„Подчиняясь его вліянію и настроенію, дѣти безъ затрудненія совершали съ нимъ длинныя прогулки, напр., верстъ въ 15. Мальчики съ восторгомъ ѣздили съ нимъ на охоту съ борзыми собаками. Всѣ дѣти спѣшили на его зовъ, чтобы дѣлать съ нимъ шведскую гимнастику, бѣгать, пры-

гать... Зимою всѣ катались на конькахъ, но съ большимъ еще удовольствіемъ расчищали катокъ отъ снѣга. Со мной онъ косилъ, вѣялъ, дѣлалъ гимнастику, бѣгалъ въ перегонку и изрѣдка игралъ въ чехарду. Въ это время онъ всегда смѣялся. Когда намъ случалось проходить тамъ, гдѣ косили, онъ непремѣнно подойдетъ и попроситъ косу у того, кто казался наиболѣе уставшимъ. Я, конечно, слѣдовалъ его примѣру, при этомъ онъ всегда объяснялъ мнѣ вопросомъ, отчего мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можемъ косить цѣлую недѣлю подъ-рядъ, а крестьянинъ при этомъ еще и спитъ на сырой землѣ и питается *однимъ хлѣбомъ?* — „Попробуй-ка ты такъ!“ заключалъ онъ.

Съ семьей гр. Л. Н. Толстой не любилъ разставаться ни на одинъ день, всегда сѣтовалъ на неотложныя поѣздки и торопился какъ можно скорѣе вернуться домой.

X.

Большіе романы.

Мысль о большомъ цѣльномъ произведеніи, которое отразило бы въ себѣ не моментъ настроенія эпохи, а ее всю, появилась у Толстого очень давно, еще въ пятидесятыхъ годахъ. Его „Дѣтство“, по замыслу того времени, должно было составить первую часть, „Отрочество“—вторую. „Юность“—третью и, наконецъ, „Зрѣлый возрастъ“—четвертую. Но эту свою мысль Толстой осуществилъ лишь на половину: у него осталась незаконченной даже „Юность“, лучшую и счастливѣйшую часть которой онъ обѣщалъ описать впослѣдствіи, но такъ и не описалъ. Большихъ романовъ у Толстого только два: „Война и Миръ“ и „Анна Каренина“. Они написаны въ пятнадцатилѣтній періодъ, который можетъ быть названъ періодомъ „семейнаго счастья“.

Впрочемъ, какъ этимъ эпитетомъ, такъ и вообще полнымъ внѣшнимъ благополучіемъ жизни Л. Н. Толстого особенно увлекаться не слѣдуетъ. Въ его натурѣ лежитъ источникъ внутреннихъ непримиримыхъ противорѣчій,—душевная надломленность поколѣній, а не только его самого. Удачъ и счастья, выпавшихъ на его долю, смѣло бы хватило на десять обыкновенныхъ смертныхъ; его литературный талантъ смѣло перевѣситъ всю совокупность литературныхъ талантовъ современности; его слава могла бы удовлетворить самого Наполеона—эту ненасытную, воплощенную жажду славы, а доволенъ ли онъ, а былъ ли онъ доволенъ когда? Для людей, которые не могутъ, несмотря ни на что, признать законность личнаго счастья, видя передъ собой несчастье другихъ,—счастья и довольства на землѣ нѣтъ. Но эти люди и являются свѣточами міра. Чтобы избѣгнуть какъ-нибудь проклятыхъ и мучительныхъ вопросовъ, они могутъ закрывать свои проницательные — я бы сказалъ даже пронзительные — глаза разными шорами: эгоизмомъ личнымъ и эгоизмомъ семейнымъ, смиреніемъ и непротивленіемъ. Увы, однако... печать Каина никогда не сходила съ чела геніевъ, какъ красиво выражается Брандесъ, особенно въ тѣ эпохи, когда жизнь кишитъ обидными и преступными противорѣчіями.

Были ли описаны когда-нибудь муки великой и пытливой души? Фаустъ? Прометей? Чайльдъ Гарольдъ? Манфредъ? Демонъ?—Да, все это—геніальныя попытки описать муки великой и пытливой души, но во всѣхъ этихъ попыткахъ есть одинъ недостатокъ: онѣ слишкомъ общи. Дѣйствительность не мучаетъ, а терзаетъ, колетъ не ножемъ, а булавками, насылаетъ на Прометеевъ не коршуна, а миріады маленькихъ и злыхъ насѣкомыхъ, и самыя великія и пытливыя души не столько страдаютъ, сколько грустятъ...

Грусть, какъ сконцентрированное страданіе, какъ скверный осадокъ всѣхъ жизненныхъ впечатлѣній, никогда не покидала Толстого. Строго говоря, все написанное имъ невыразимо грустно: грустны и Севастопольскіе разсказы, и удивительный перлъ „Три смерти", „Война и Миръ" и „Анна Каренина". Какъ древніе пророки, Толстой является въ нашемъ обществѣ „съ грустнымъ и строгимъ лицомъ". Его признанія—развѣ это не плачъ Іереміи?..

Но мы еще успѣемъ подробно ознакомиться со всѣмъ этимъ; пока же только одинъ маленькій вопросъ: какъ бы могъ довольный человѣкъ въ разгарѣ семейнаго благополучія увлекаться Шопенгауэромъ? А между тѣмъ Толстой увлекается имъ, окруженный семьею и на вершинѣ доступной человѣку славы. Вотъ что 30-го августа 1869 года онъ пишетъ, напр., Фету: „Знаешь ли, что было для меня нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ я никогда не испытывалъ... Не знаю, перемѣню ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ—геніальнѣйшій изъ людей... Читая его, мнѣ непостижимо, какимъ образомъ можетъ оставаться имя его неизвѣстнымъ. Объясненіе только одно - то самое, которое онъ такъ часто повторялъ, что кромѣ идіотовъ на свѣтѣ почти никого нѣтъ"...

Пессимистическіе мотивы никогда не замолкали въ душѣ Толстого: они таились въ глубинѣ, а когда показывались наружу, то едва не доводили его до самоубійства. Скрытый, маскирующій себя пессимизмъ мы увидимъ и въ „Войнѣ и Мирѣ"...

Переходимъ къ нему. Какъ создавался этотъ романъ? Прежде всего несомнѣнно въ обстановкѣ самой счастливой по внѣшности. Толстой принялся писать его немедленно послѣ женитьбы, на лонѣ природы, счастливымъ мужемъ и удачливымъ хозяиномъ. На работу пошло больше пяти лѣтъ; романъ передѣлывался и переписывался *семь* разъ. Можно преклониться передъ такимъ терпѣніемъ и трудомъ, но, кромѣ счастья, творчество приносило художнику и много мукъ:

„Я тоскую и ничего не пишу,—говоритъ Толстой въ письмѣ къ Фету отъ 17 ноября 1864 года,—а работаю мучительно. Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на которомъ я принужденъ сѣять. Обдумать и передумать все, что можетъ случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія очень большого, и обдумать милліоны возможныхъ сочиненій для того, чтобы выбрать изъ нихъ одну милліонную—ужасно трудно"...

Но все же въ творчествѣ скрыто громадное счастье—сознаніе своей силы—и всякій истинный художникъ понимаетъ его.

„Я,—пишетъ Толстой позже,—довольно много написалъ своего романа нынѣшнюю осень. Ars longa, vita brevis, думаю я каждый день. Коли

можно бы было успѣть $^1/_{100}$ долю исполнить того, что понимаешь, но выходитъ только $^1/_{1000}$ часть. Все-таки это сознаніе, что *могу*, составляетъ счастье нашего брата. Я нынѣшній годъ съ особенной силой его испытываю".

Или:

„А знаете, какой я вамъ про себя скажу сюрпризъ: какъ меня стукнула объ землю лошадь и сломала руку, когда я послѣ дурмана очнулся, я сказалъ себѣ, что я литераторъ. На-дняхъ выйдетъ 1-я половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста, подробнѣе напишите свое мнѣніе. Ваше мнѣніе, да еще мнѣніе человѣка, котораго я не люблю, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе я выростаю большой,—мнѣ дорого,—Тургенева. Онъ пойметъ. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера, печатаемое теперь мнѣ хотя и нравится болѣе прежняго, но слабо, кажется, безъ чего не можетъ быть, вступленіе. Но что дальше будетъ,—бѣда!.. Напишите, что будутъ говорить въ знакомыхъ вамъ различныхъ мѣстахъ, и главное, какъ на массу. Вѣрно пройдетъ незамѣченнымъ. Я жду этого и желаю—только бы не ругали, а то ругательства разстраиваютъ!.. Я радъ, что вы любите мою жену; хотя я ее люблю меньше моего романа, а все-таки, вы знаете, жена!"

Отъ 27-го іюля 1867 г. „На-дняхъ я пріѣхалъ изъ Москвы и предпринялъ строгое лѣченіе подъ руководствомъ Захарьина, и, главное, печатаю романъ въ типографіи Риса, готовлю и посылаю рукопись и корректуры, и долженъ такъ день за день подъ страхомъ штрафа и несвоевременнаго выхода. Это и пріятно, и тяжело".

Я привелъ всѣ документы, которые сохранились лично отъ Толстого по поводу написанія имъ „Войны и Мира". И писался, и печатался романъ оченъ долго. Первый его томъ появился въ 1867 году, послѣдній въ 1869 году.

Кажется, ни объ одномъ изъ произведеній русскаго автора, за исключеніемъ развѣ „Отцовъ и Дѣтей" Тургенева, не писали такъ много, какъ о „Войнѣ и Мирѣ", и что особенно странно, большинство писавшихъ писали хорошо, недурно, по крайней мѣрѣ. „Геній,—говаривалъ улыбаясь Гете,—разводитъ громадные костры: изъ нихъ не трудно утащить по головешкѣ".

„Войну и Миръ" серьезно сравнивать можно лишь съ Иліадой. И тамъ и здѣсь передъ нами картина борьбы за существованіе, за жизнь цѣлаго народа, и тамъ и здѣсь народныя массы не сходятъ со сцены. Всегда и вездѣ вы чувствуете ихъ присутствіе, всѣмъ ходомъ событій руководятъ они. Теорія войны, философско-историческіе взгляды Толстого, судьба его главныхъ дѣйствующихъ лицъ опредѣлены и обусловлены *народомъ*. Народъ—герой романа и напрасно искать другого. У народа свои представители и выразители: главныхъ изъ нихъ два—Кутузовъ и Платонъ Каратаевъ.

Толстой идеализируетъ Кутузова. Это интересно для историка, но нисколько не интересно для насъ. Намъ важно опредѣлить, почему Толстой идеализируетъ Кутузова и какъ, съ какой точки зрѣнія онъ дѣлаетъ это?.. Кутузовъ понимаетъ народный духъ и повинуется ему. Въ этомъ вся его заслуга.

„Въ 12-хъ и 13-хъ годахъ,—пишетъ Толстой,—Кутузова прямо обвиняли за ошибки". „Такова судьба не великихъ, не grand-hommes, кото-

рыхъ не признаетъ русскій умъ, а судьба тѣхъ рѣдкихъ, всегда одинокихъ людей, которые, *постигая волю Провидѣнія, подчиняютъ ей свою личную волю.* Ненависть и презрѣніе толпы наказываютъ этихъ людей за признаніе высшихъ законовъ". Толстой пораженъ, какъ это для русскихъ историковъ Наполеонъ можетъ быть предметомъ восхищенія, а „Кутузовъ — тотъ человѣкъ, который отъ начала до конца своей дѣятельности въ 1812 г., отъ Бородина и до Вильны, ни разу, ни однимъ дѣйствіемъ, ни словомъ не измѣняя себѣ, *являетъ необычайный въ исторіи примѣръ самоотверженія,* представляется имъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ и блѣднымъ, и говоря о Кутузовѣ и 12-мъ годѣ, имъ всегда какъ будто немножко стыдно" (стран. 256, ч. VIII).

Народныя-то черты характера, т. е. покорность волѣ Провидѣнія и ходу событій, самоотреченіе, отсутствіе личнаго требовательнаго тщеславія, вотъ что Толстой отмѣчаетъ въ Кутузовѣ, вотъ за что онъ возвеличиваетъ его. Кутузовъ, въ сущности, тотъ же Каратаевъ, но въ мундирѣ генералиссимуса.

„Кутузовъ,—продолжаетъ Толстой свою восторженную характеристику,—никогда не говорилъ о вѣкахъ, которые смотрятъ съ высоты пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приноситъ отечеству; онъ вообще ничего *не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли,* казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя и обыкновенныя вещи".

Кутузовъ „вѣритъ понародному, признавая двѣ главныя силы — время и терпѣніе"; онъ молчаливъ, повидимому, уступчивъ, на самомъ дѣлѣ несокрушимъ; онъ не признаетъ того, чего онъ самъ хочетъ, а признаетъ нѣчто высшее—волю народа. „Источникъ этотъ необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающихся событій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его"... „Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія".

Кутузовъ, т. е. Кутузовъ „Войны и Мира", знаетъ, что *нельзя* управлять людьми, нельзя создавать событія, *нельзя* одерживать побѣды при помощи диспозицій, тактики и стратегики. Во время сраженія важна не численность солдатъ, не планы и распоряженія, а *духъ* войска, т. е. способность каждаго солдата къ полному самоотреченію и самозабвенію, а во время народной войны важна воля народа, его духъ, его готовность къ полному самоотреченію. Зная за собой эту силу, Кутузовъ отказывается отъ всякихъ переговоровъ съ Наполеономъ, *знаетъ,* что Бородинская битва—побѣда, *убѣжденъ* до конца, что онъ побѣдитъ, что онъ не можетъ не побѣдить и не выгнать французовъ изъ Россіи.

Повторяю, Кутузовъ—это Каратаевъ въ фельдмаршальскомъ мундирѣ. Каратаевъ одинаково выразитель народа, но выразитель гораздо болѣе темный, безсознательный. Это прямо—горсточка земли-матери, народной массы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, воплощеніе молчаливаго, смиреннаго народнаго героизма. Толстой, очевидно, восхищается Каратаевымъ и прежде всего его безсознательностью. Онъ пытается даже возвести это качество въ историко-философскій и нравственный принципъ и говоритъ: „*Только*

одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды, и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. *Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью*". Въ другомъ мѣстѣ, кстати замѣтить, Толстой по тому же поводу выражается еще рѣшительнѣе: „Если, читаемъ мы, допустить, что жизнь человѣческая можетъ управляться разумомъ, то уничтожается самая возможность жизни". И такъ, нуженъ инстинктъ, безсознательность, и съ этой точки зрѣнія выше Каратаева ничего и быть не можетъ. Прежде всего, въ Каратаевѣ совсѣмъ нѣтъ его самого, нѣтъ его собственной личности. Все это взяли себѣ и растратили другіе. Въ солдаты онъ попалъ не по очереди, за брата; жилъ и служилъ онъ не для себя, а для исполненія приказаній; застрѣлили его французы, какъ собаку, и онъ ни словомъ, ни движеніемъ не могъ и не умѣлъ возразить противъ этого. Въ плѣну, въ казармѣ, въ жизни вообще онъ всегда доволенъ, всегда радостенъ, привѣтливъ, ласковъ. Онъ любитъ всѣхъ, одинаково ко всѣмъ привязывается, одинаково спокойно со всѣми разстается. Онъ не то чтобы фаталистъ, а просто, органически не признаетъ, чтобы одинъ отдѣльный человѣкъ могъ что-нибудь сдѣлать, играть какую-нибудь роль въ жизни, управлять событіями. Онъ знаетъ, что онъ, Платонъ Каратаевъ, весь цѣликомъ въ рукахъ чего-то грознаго, могучаго, всесильнаго. Это грозное, могучее, всесильное—жизнь. „Каждое его слово и каждое его дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему, Платону Каратаеву, дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ въ себѣ"... Таковъ Платонъ Каратаевъ, который былъ такимъ же проявленіемъ народнаго духа, какъ Кутузовъ выразителемъ народной воли. Оба послушныя орудія стихійнаго, неотразимаго, огромнаго,—народной массы и жизни милліоновъ...

Сознать и восчувствовать въ себѣ народный духъ, слить себя съ массой, растворить свою личность въ этой массѣ, растворить ее безъ остатка, точно сахаръ въ водѣ—это и есть доступное и достижимое человѣческое счастье. Платону Каратаеву оно досталось сразу, органически, какъ зеленый цвѣтъ травѣ, какъ запахъ цвѣтку. Интеллигенту во имя этого растительнаго счастья надо страдать, искать, терпѣть. Такъ страдалъ, искалъ, терпѣлъ Пьеръ Безуховъ. И что-же онъ нашелъ? Невыразимую сладость смиренія и лишеній, и непосредственной жизни *безъ своей воли.* Вотъ, словами Толстого, что нашелъ Пьеръ Безуховъ:

„Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи,—онъ искалъ этого въ филантропіи, массонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки—всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишенія и черезъ то, что онъ понялъ въ Каратаевѣ. Тѣ страшныя минуты, которыя онъ переживалъ во время казни, какъ будто навсегда вытѣснили изъ его воображенія и воспоминанія тревожныя мысли и чувства, прежде

казавшіяся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о Россіи, ни о войнѣ, ни о политикѣ, ни о Наполеонѣ. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что онъ не призванъ былъ и потому не могъ судить обо всемъ этомъ. „Россіи да лѣту—союзу нѣту", повторялъ онъ слова Каратаева, и эти слова *странно* успокоили его.

„И здѣсь, т. е. въ плѣну, въ грязномъ балаганѣ, теперь только въ первый разъ Пьеръ вполнѣ оцѣнилъ наслажденіе ѣды, когда хотѣлось ѣсть; питья, когда хотѣлось пить; сна, когда хотѣлось спать; тепла, когда было холодно; разговора съ человѣкомъ, когда хотѣлось говорить и послушать человѣческій голосъ. Удовлетвореніе потребностей — хорошая пища, чистота, свобода—теперь, когда онъ былъ лишенъ всего этого, казались Пьеру совершеннымъ счастьемъ, а выборъ занятія, т. е. жизнь, теперь, когда выборъ этотъ былъ такъ ограниченъ, казался ему такимъ легкимъ дѣломъ, что онъ забывалъ то, что избытокъ удобствъ жизни уничтожаетъ все счастіе удовлетворенія потребностей, а большая свобода выбора занятій,—та свобода, которую ему въ его жизни давали образованіе, богатство, положеніе въ свѣтѣ,—что эта-то свобода и дѣлаетъ выборъ занятій неразрѣшимо труднымъ и уничтожаетъ самую потребность и возможность занятія".

Но довольно иллюстрацій, ибо дѣло видно и безъ нихъ. Историко-философскіе взгляды Толстого и нравственные выводы ясны. Человѣкъ не значитъ ничего. Надо отречься отъ себя и зажить безсознательной инстинктивной жизнью „ихъ", т. е. массы и Платона Каратаева. Только тогда возможна полнота жизни, а значитъ и полнота счастья. Интеллигентъ несчастливъ потому, что онъ слишкомъ раздуваетъ свое „я", слишкомъ большую роль приписываетъ ему, слишкомъ много заботится о немъ, создаетъ въ своемъ воображеніи героевъ, *будто-бы* управляющихъ людьми, *будто-бы* руководящихъ событіями, и самъ хочетъ быть героемъ, т. е. играть роль, управлять людьми, руководить событіями. Это — глупое, преступное желаніе. Человѣческое „я" не сила, а лишь призракъ силы. Сила не въ немъ,—въ чемъ же?—„Только допустивъ безконечно малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т. е. однородныя влеченія людей, и достигнувъ искусства интегрировать (брать суммы безконечно малыхъ), мы можемъ подняться на постигновеніе законовъ исторіи." Сила исторіи, слѣдовательно, интегралъ, т. е. сумма безконечно большого числа безконечно малыхъ, т. е. перепутывающихся между собой желаній и стремленій людей.

Съ этой точки зрѣнія оправдывается все, ибо какъ можно не оправдывать какую бы то ни было потребность и сумму этихъ потребностей. И Толстой дѣйствительно оправдываетъ все—и кровавое движеніе народовъ съ запада на востокъ и съ востока на западъ. Онъ обвиняетъ лишь претензіи культурныхъ людей на управленіе себѣ подобными событіями и ихъ вѣру въ разумъ.

Къ общему смыслу „Войны и Мира" мнѣ еще придется вернуться. Пока же замѣчу, что изложенная выше философія есть философія чисто пессимистическая, но лишь въ отношеніи личности. Я могу говорить: „вся жизнь не имѣетъ смысла, цѣли, значенія, а значитъ и моя личная жизнь не имѣетъ смысла: цѣли и значенія". Это полное отрицаніе. Или,

я могу говорить, „лично я—ничто и ничего не значу, мой разумъ—ничто и ничего не значитъ; я и разумъ кое-что и значатъ что-то, когда они подчинены высшему началу, т. е. всей жизни, и исчезли въ ней, какъ по вѣрованію индійца отдѣльная душа исчезаетъ въ Парабрамѣ." Послѣднее и говоритъ Толстой.

Но откуда это, зачѣмъ это, зачѣмъ такая полнота самоотреченія откуда такая прелесть растительной жизни?

Мы уже достаточно слѣдили за тѣмъ, какъ искалъ, колебался, отчаивался гр. Толстой. Передъ его острымъ, разъѣдающимъ анализом неустояло ничто. Про его героевъ замѣчено какъ-то, что они „съ освѣщенными внутренностями", но такимъ онъ былъ и самъ для себя всегда, каждую минуту жизни. Онъ постоянно прислушивался къ себѣ, постоянно смотрѣлъ на жизнь въ лупу, различалъ всѣ ея неровности и шероховатости, такъ же какъ и свои собственныя, и къ чему другому могъ онъ прійти, какъ не къ полному отрицанію не только земныхъ радостей, но даже и законности художественнаго творчества? Болѣзненно чуткій и впечатлительный, онъ не могъ найти, чѣмъ бы ему удовлетвориться, на чемъ-бы ему успокоиться. Ничтожество и безсмыслица всего, пугаетъ и отталкиваетъ его. Онъ прямо говоритъ: *«ежели человѣкъ пытается понять историческое событіе (т. е. жизнь) онъ поражается безплодностью"*. Ясно значитъ, что источникъ страданія—разумъ человѣческій и личный требовательный эгоизмъ. Еще яснѣе, что надо уничтожить источникъ—и страданія не будетъ. Отсюда философія „Войны и мира".

Припомню еще одно мѣсто изъ этого романа: „всѣ люди,—читаемъ мы,—представлялись Пьеру солдатами, *спасающимися отъ жизни*: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ романовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Только бы не видать ее, эту страшную ее"... и изъ-за пессимистической безличной философіи „Войны и Мира" дѣйствительно не видать ея, эту страшную ее... Исчезаетъ даже страхъ смерти, потому что *я* ничего не значу и ничего отъ смерти не теряю. А богатство, слава, привязанности, друзья?... Да вѣдь съ этой точки зрѣнія о потерѣ ихъ нечего даже и думать.

Личная жизнь тягостна, неразрѣшимо страшна. Человѣкъ боится утерять что нибудь лишь потому, что онъ любитъ себя, что онъ считаетъ себя *чьмъ-то*... А если онъ просто дифференціалъ исторіи, невѣдомо кѣмъ интегрируемый и лишь въ интегрированномъ своемъ состояніи производящій то, что называется исторіей, то не страшна и самая смерть...

Опредѣливши, что человѣкъ можетъ или, вѣрнѣе, чего онъ не можетъ дѣлать, Толстой указываетъ и на то, что онъ долженъ дѣлать. Его долгъ — самоотреченіе и подчиненіе массовой жизни. Но въ массѣ преобладаетъ инстинктъ, безсознательное, и этотъ инстинктъ это безсознательное сильнѣе всего, лучше всего. Женщина съ этой точки зрѣнія прежде всего мать, дѣтопроизводительница; такой и является въ концѣ концовъ поэтическая въ началѣ Наташа Ростова; семейная жизнь—назна-

ченіе человѣка. Съ могучей діалектической силой Толстой разрѣшаетъ всѣ вопросы, которые тревожили и мучили его, и свой страхъ смерти кладетъ къ ногамъ своей системы и старается задавить его ея огромною логическою тяжестью... Система прекрасна, какъ созданіе высокаго творческаго духа; въ ея холодныхъ, безжалостныхъ выводахъ вы каждую минуту различаете живое біеніе живого человѣческаго сердца. Но, Боже мой, какое это измученное, какое это изстрадавшееся человѣческое сердце, съ какимъ ужасомъ заглядываетъ оно въ грядущую могилу, какъ страстно ждетъ покоя и забвенія, лишь бы стереть съ себя печать Каинову. Два источника были всегда у человѣка, чтобы забыть эту страшную „ее" и ея роковую загадку: одинъ—увеличиваетъ наслажденія, другой—уменьшаетъ страданія. Но желанія—какъ соленая вода, сказалъ Будда: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ больше хочется. Толстой пришелъ къ тому же и на небытіи отдѣльной человѣческой личности строитъ свою систему. Онъ не останавливается ни передъ чѣмъ и отнимаетъ у человѣка даже религію, потому что религія даетъ человѣку сознаніе своего „я"... Разсказываютъ, что Достоевскій, прочтя „Войну и Миръ", ограничился лишь словами: „рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ". Можетъ ли удовлетворить кого-нибудь эта стройная и прекрасная философская система?

Вопросъ громадный; я дамъ на него самый маленькій отвѣтъ: она совершенно не удовлетворяла самого Толстого, и онъ отрекся отъ нея со всей горечью раскаянія.

Что же касается до самаго романа, то его будутъ еще изучать цѣлыя поколѣнія. Это единственная народная эпопея, которая есть у насъ и для насъ ея смыслъ такой же, какъ для англичанъ драма Шекспира.

Послѣ „Войны и Мира" Толстой разсчитывалъ написать романъ изъ эпохи Петра Великаго, но, проработавши за изученіемъ матеріаловъ нѣсколько лѣтъ, бросилъ свой замыселъ. Любопытныя подробности объ этомъ мы находимъ въ Воспоминаніяхъ Берса.

Въ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 19 ноября 1872 года графиня Толстая писала брату:

„А теперь у насъ очень, очень серьезная жизнь. Весь день въ занятіяхъ. Левочка сидитъ, обложенный кучею книгъ, портретовъ, картинъ, и нахмуренный читаетъ, дѣлаетъ отмѣтки, записываетъ. По вечерамъ, когда дѣти ложатся спать, разсказываетъ мнѣ свои планы и то, что онъ хочетъ писать; иногда разочаровывается, приходитъ въ грустное отчаяніе и думаетъ, что ничего не выйдетъ, иногда совсѣмъ близокъ къ тому, чтобы работать съ большимъ увлеченіемъ; но до сихъ поръ еще нельзя сказать, чтобы онъ писалъ, а только готовится. Выбралъ онъ время Петра Великаго"...

Въ другомъ письмѣ графини изъ Ясной Поляны, отъ 19 декабря 1872 года, читаемъ:

„Всѣ мы очень заняты. Зима — это наша барская рабочая пора, и стоитъ она лѣтней мужицкой работы! Левочка все читаетъ изъ временъ Петра Великаго историческія книги и очень интересуется. Записываетъ разные характеры, черты, бытъ народа и бояръ, дѣятельность Петра и проч.

Самъ онъ не знаетъ, что будетъ изъ его работы, но мнѣ кажется,

что онъ напишетъ опять подобную „Войнѣ и Миръ“ поэму въ прозѣ, но изъ временъ Петра Великаго“...

Въ третьемъ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 23 февраля 1873 года идетъ рѣчь о томъ же:

„Левочка все читаетъ и пытается писать, а иногда жалуется, что вдохновенія нѣтъ, а иногда говоритъ, что недостаточно подготовленъ, и все больше и больше читаетъ матеріалы изъ Петра Великаго“...

„Лѣтомъ 1873 года Левъ Николаевичъ прекратилъ изученіе этой эпохи. Онъ говорилъ, что мнѣніе его о личности Петра I діаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта сдѣлалась ему несимпатичной. Онъ утверждаетъ, что личность и дѣятельность Петра I не только не заключали въ себѣ ничего великаго, а напротивъ того всѣ качества его были дурныя. Всѣ такъ-называемыя реформы его отнюдь не преслѣдовали государственной пользы, а клонились къ личнымъ его выгодамъ.

„Вслѣдствіе нерасположенія къ нему бояръ за его нововведенія, Петръ основалъ городъ Петербургъ только для того, чтобъ удалиться и быть свободнѣе въ своей безнравственной жизни. Сословіе бояръ имѣло тогда большое значеніе и, слѣдовательно, было для него опасно. Нововведенія и реформы почерпались изъ Саксоніи, гдѣ законы были самые жестокіе того времени, а свобода нравовъ процвѣтала въ высшей степени, что особенно нравилось Петру Первому съ курфюрстомъ Саксонскимъ, принадлежавшимъ къ самымъ безнравственнымъ личностямъ изъ числа коронованныхъ особъ того времени. Близость съ пирожникомъ Меншиковымъ и бѣглымъ швейцарцемъ Лефортомъ онъ объяснялъ презрительнымъ отвращеніемъ къ Петру I всѣхъ бояръ, среди которыхъ онъ не могъ найти себѣ друзей и товарищей для разгульной жизни. Но болѣе всего онъ возмущался гибелью царевича Алексѣя“.

„Одинаково неудачна была попытка написать романъ изъ эпохи Декабристовъ. Толстой два раза принимался за него, съ двѣнадцатилѣтнимъ промежуткомъ, но дальше 4-ой главы не пошелъ.

„Декабрьскій бунтъ онъ изучалъ при лучшихъ условіяхъ. Онъ пользовался не только тѣмъ, что объ этомъ напечатано, но и множествомъ фамильныхъ записокъ, мемуаровъ и писемъ, которые повѣрялись ему съ условіемъ сохранить семейныя тайны. Зимою 1877—1878 гг. онъ ѣздилъ въ Петербургъ осмотрѣть Петропавловскую крѣпость.

„Въ семейномъ кругу онъ разсказывалъ, что звуковая азбука, существующая въ тѣхъ мѣстахъ заключеній, впервые создана декабристами. Когда имъ запрещались переговоры и такимъ способомъ, они доходили до такого искусства, что дѣлали это на ходу, напр., стуча палочкой о заборы, чего стража не замѣчала. Между тѣмъ Левъ Николаевичъ со слезами на глазахъ разсказывалъ, какъ одинъ декабристъ, заключенный въ крѣпости, упросилъ смѣнявшагося часового купить ему яблоко и далъ послѣднія деньги. Часовой принесъ прелестную корзину фруктовъ и деньги назадъ. Оказалось, что посылалъ это купецъ, когда узналъ о личности заключеннаго. Декабристъ, полковникъ кавалергардскаго полка, Лунинъ, удивлялъ Льва Николаевича своею несокрушимою энергіею и сарказмомъ. Въ одномъ изъ писемъ съ каторги къ своей сестрѣ, находившейся въ Петербургѣ, онъ осмѣялъ назначеніе министромъ графа Киселева. Письмо,

разумѣется, шло черезъ начальство работъ и содержаніе его сдѣлалось извѣстнымъ въ Петербургѣ. Лунинъ былъ прикованъ къ тачкѣ навсегда. Тѣмъ не менѣе смотритель каторжныхъ работъ, полный маіоръ и нѣмецъ по происхожденію, ежедневно уходилъ съ осмотра работъ, долго смѣясь еще по дорогѣ. Такъ умѣлъ Лунинъ насмѣшить его подъ землею и прикованный къ тачкѣ.

„Но вдругъ Левъ Николаевичъ разочаровался и въ этой эпохѣ. Онъ утверждалъ что *декабрьскій бунтъ есть результатъ вліянія французской аристократіи,* большая часть которой эмигрировала въ Россію послѣ французской революціи. Она и воспитывала всю русскую аристократію въ качествѣ гувернеровъ. Этимъ объясняется, что многіе изъ декабристовъ были католики. Если *все это было привитое и не создано на чисто русской почвѣ, Левъ Николаевичъ не могъ этому симпатизировать*".

Объ „Аннѣ Карениной", написанной въ тотъ же пятнадцатилѣтній промежутокъ времени, я распространяться не буду, такъ какъ это завело бы меня слишкомъ далеко, и разскажу только маленькій, относящійся къ внѣшней исторіи романа, эпизодъ. Онъ печатался, какъ извѣстно, въ „Русскомъ Вѣстникѣ", и когда дѣло дошло до 8-й части, то Катковъ отказался помѣстить ее въ томъ видѣ, въ какомъ она была ему прислана. Въ этой 8-ой части Толстой высказалъ на добровольческое движеніе взглядъ діаметрально расходившійся съ проповѣдью „Русск. Вѣст.", inde іга Каткова. Катковъ предложилъ передѣлать. Толстой пришелъ въ страшное негодованіе за поправки и говорилъ по этому поводу: „какъ смѣетъ журналистъ передѣлывать хотя одно слово въ моихъ произведеніяхъ"... Съ этой поры онъ прервалъ всякія сношенія съ „Русскимъ Вѣстникомъ" и его произведенія стали появляться или прямо отдѣльными изданіями или въ другихъ журналахъ.

Вернемся, однако, къ подробностямъ и мелочамъ жизни Толстого. „Война и Миръ" сразу поставила Толстого въ первый рядъ русской литературы и равными ему по славѣ были только Тургеневъ, Достоевскій, Щедринъ и Островскій. Литературная слава была ему пріятна и онъ съ удовольствіемъ говорилъ, что „хотя и не заслужилъ генерала-отъ-артиллеріи, зато сталъ генераломъ отъ литературы". А генераломъ онъ дѣйствительно былъ и есть, и притомъ подлиннымъ, несомнѣннымъ. Это питало его гордость и даже тщеславіе, въ чемъ онъ самъ всегда искренно сознавался. По словамъ Берса „онъ былъ завзятый аристократъ и хотя всегда любилъ простой народъ, но еще болѣе любилъ аристократію. Середина между этими сословіями была ему несимпатична. Когда послѣ неудачъ молодости онъ пріобрѣлъ громкую славу писателя, онъ высказывалъ, что эта слава—величайшая радость и большое счастье для него. По его собственнымъ словамъ, въ немъ было пріятное сознаніе того, что онъ—писатель и аристократъ"... Оставляю за г. Берсомъ отвѣтственность за точность передачи мнѣній Толстого; думаю, однако, что онъ нѣсколько преувеличилъ дѣло.

Нѣсколько отрывковъ изъ собственныхъ писемъ Толстого къ Фету,

помѣщенныхъ во II-омъ томѣ „Воспоминаній“ послѣдняго, обрисуютъ намъ какъ нельзя лучше мелочи и не мелочи жизни Толстого почти за 16 лѣтъ.

Отъ 21-го октября 1869 г. „Покупка мною пензенскаго имѣнія разладилась. Шестой томъ (полнаго собранія) я окончательно отдалъ и къ 1-му ноября вѣрно выйдетъ. Для меня теперь самое мертвое время: не думаю и не пишу и чувствую себя пріятно глупымъ“.

Отъ 4-го февраля 70 г. „Я очень много читаю Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера — обо всемъ этомъ многое хочется сказать. Я нынѣшній годъ не получаю ни одного журнала и ни одной газеты, и нахожу, что это очень полезно“...

Кстати замѣтить, Толстой вообще не любитъ ни газетъ, ни журналовъ. Когда его спрашиваютъ: „что читать?“ онъ безъизмѣнно отвѣчаетъ: классиковъ. Къ классикамъ онъ причисляетъ и Пушкина. Пушкина онъ любитъ, но лучшими его произведеніями считаетъ прозаическія, особенно „Капитанскую дочку“. Между собой и Пушкинымъ онъ видитъ, между прочимъ, различіе въ томъ, что послѣдній, описывая какую-нибудь художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится, будетъ ли она понята читателемъ; онъ же, Толстой, какъ бы пристаетъ къ читателю съ этой подробностью и не оставляетъ ее, пока ясно ея не растолкуетъ. О Гете Толстой писалъ Левенфельду: „Боже правый! Да въ томъ-то и заключается недостатокъ Гете, что, думая о прекрасномъ, онъ забываетъ о нравственномъ, а безъ него нельзя“. *Нравственный* элементъ Толстой считаетъ необходимой принадлежностью всякаго великаго произведенія. Вотъ его подлинныя слова, обращенныя къ тому же Левенфельду: „Посмотрите, какую громадную роль играетъ нравственный элементъ въ произведеніяхъ всякаго великаго поэта. Недавно одинъ молодой ученый отчетливо показалъ, какъ глубоко былъ проникнутъ Лермонтовъ нравственными идеалами“.

Отъ 17-го февраля 70 г. „Всю зиму наслаждаюсь тѣмъ, что лежу, засыпаю и играю въ безикъ, хожу на лыжахъ, на конькахъ бѣгаю и больше все лежу въ постели больной, и лица драмы или комедіи (только что прочитанныхъ) начинаютъ дѣйствовать и очень хорошо представляютъ“.

Отъ 11-го мая 76 г. „Я получилъ ваше письмо, возвращаясь потный съ работъ топоромъ и заступомъ, значитъ за 1000 верстъ отъ всего искусственнаго и въ особенности отъ нашего дѣла. Я только что отслужилъ недѣлю присяжнымъ, и это было для меня очень интересно и поучительно.

Отъ 2-го октября 70 г. „Я съ утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Я прочелъ Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нуженъ лексиконъ и немного напряженія. Но какъ я счастливъ, что на меня Богъ наслалъ эту дурь. Во-первыхъ, я наслаждаюсь, во-вторыхъ, убѣдился, что изъ всего истинно прекраснаго и просто прекраснаго, что произвело слово человѣческое, я до сихъ поръ ничего не зналъ; въ-третьихъ, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виноватъ, и ей, Богу, никогда не буду.

Отъ 10-го іюня 71 г. „Я былъ и есть боленъ, самъ не знаю чѣмъ, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря потому, какъ называть конецъ. Упадокъ силъ и ничего не нужно, кромѣ спокойствія, котораго нѣтъ. Жена посылаетъ меня на кумысъ".

Отъ 18-го іюля 71 г. „Самъ не знаю, насколько я нездоровъ, но нехорошо уже то, что принужденъ и не могу не думать о моемъ бокѣ или груди. Я, какъ слѣдуетъ при кумысномъ лѣченіи, съ утра до вечера пьянъ, потѣю и нахожу въ этомъ удовольствіе. Читаю Геродота. Край здѣсь прекрасный, по своему возрасту только что выходящій изъ дѣвственности, по богатству, здоровью и въ особенности неиспорченности народа. Я, какъ всегда, примѣриваюсь, не купить ли имѣніе. Это мнѣ занятіе и лучшій предлогъ для узнанія настоящаго положенія края".

Кумысъ, какъ и первый разъ, поправилъ Толстого, и возвратившись изъ Самары онъ вновь открылъ школу и вернулся къ своимъ педагогическимъ занятіямъ. Въ это время онъ написалъ свою знаменитую „Азбуку" и христоматію для дѣтей и народа, куда, по своей обычной привычкѣ, помѣстилъ много автобіографическаго. Здѣсь онъ разсказалъ о своихъ собакахъ Милькѣ и Булькѣ, о томъ какъ его едва не задралъ медвѣдь на охотѣ и какъ онъ едва не попалъ въ плѣнъ на Кавказѣ. Въ 73-мъ году лѣченье кумысомъ пришлось повторить. Въ Самарской губерніи въ это время свирѣпствовалъ страшный голодъ, оффиціально, однако, непризнанный. Толстой энергично принялся за дѣло, составилъ подворную опись и результатъ своихъ наблюденій изложилъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ". Противъ графа Толстого и Каткова губернаторъ, конечно, не пошелъ и не возражалъ, — пришлось согласиться съ фактомъ и принять мѣры.

Письмо о самарскомъ голодѣ очень интересно, хотя не столько по содержанію, сколько по формѣ. Толстой остается вѣренъ себѣ. Ни одной жалкой, бьющей по нервамъ фразы, ни одного упрека никому, но факты изложены такъ ярко, что вчужѣ страшно становится. Именно своей простотой, за которой видно глубокое впечатлѣніе, полученное авторомъ отъ нечеловѣческихъ страданій несчастныхъ башкиръ, письмо должно было произвести потрясающее впечатлѣніе. Пожертвованія посыпались и въ данномъ случаѣ несомнѣнно, что одинъ Толстой самъ своимъ собственнымъ вліяніемъ спасъ отъ голодной смерти сотни и тысячи людей. До него молчали всѣ; власти доказывали, что все благополучно и „на Шипкѣ", какъ всегда, „все было спокойно".

Въ 73-мъ году была начата „Анна Каренина" — романъ, заключающій въ себѣ собственно два отдѣльныхъ произведенія: исторію любви Карениной и исторію духовнаго возрожденія Левина. Оба произведенія рѣшительно ничѣмъ между собой не связаны. Левину Толстой придалъ много чертъ и черточекъ личнаго своего характера. Кое-какими подробностями исторія любви Левина напоминаетъ исторію самого Толстого, напримѣръ, сцена объясненія любви, препятствія къ браку, радости семейной жизни. Въ нижеслѣдующихъ письмахъ самого Толстого, взятыхъ изъ тѣхъ же воспоминаній Фета, читатель найдетъ нѣсколько подробностей о созданіи романа.

Вотъ эти письма:

24-го марта 74 года: „Вы хвалите Каренину. Мнѣ очень пріятно, да и какъ я слышу, ее хвалятъ, но навѣрно никогда не было писателя, столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я. Съ одной стороны, школьныя дѣла, съ другой—страшное дѣло—сюжетъ новаго писанія, овладѣвшій мною именно въ самое тяжелое время болѣзни ребенка, и самая эта болѣзнь и смерть!“

24-го іюня 74 года. „Смерть тетушки, какъ и всегда смерть близкаго дорогого человѣка, была совершенно новымъ единственнымъ и неожиданнымъ поразительнымъ событіемъ. Чудесная жара, купанье, ягоды привели меня въ любимое мною состояніе умственной праздности и только настолько и остается духовной жизни, чтобы помнить друзей и думать о нихъ“.

26-го августа 75 года. „Я два мѣсяца не пачкалъ рукъ чернилами и сердца мыслями. Теперь берусь за скучную и пошлую А. Каренину съ однимъ желаніемъ: поскорѣй опростать себѣ мѣсто—досугъ для другихъ занятій, но только не педагогическихъ, которыя я люблю, но хочу бросить. Они слишкомъ много времени берутъ. Къ чему занесла меня судьба въ Самару—не знаю, но знаю, что я слушалъ рѣчи въ англійскомъ парламентѣ (вѣдь это считается очень важнымъ) и мнѣ скучно было и ничтожно было. А здѣсь вотъ мухи, нечистота, мужики, Башкирцы, а я съ напряженнымъ вниманіемъ, страхомъ вслушиваюсь (въ ихъ рѣчи) и чувствую, что все это очень важно“.

1-го марта 76 года. „У насъ все не совсѣмъ хорошо. Жена не оправляется съ послѣдней болѣзни и нѣтъ у насъ въ домѣ благополучія и во мнѣ душевнаго спокойствія, которое мнѣ особенно нужно теперь для работы. Конецъ зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоѣвшій мнѣ романъ“.

29-го апрѣля 76 года. „У насъ началась весенняя и лѣтняя жизнь и полонъ домъ гостей и суеты. Эта лѣтняя жизнь для меня, точно какъ сонъ; кое-что остается изъ моей реальной зимней жизни, но больше какія-то видѣнія, то пріятныя, то непріятныя изъ какого-то безтолковаго, не руководимаго здравымъ разсудкомъ міра“.

18-го мая 76 года. „То чувствуешь себя богомъ, что нѣтъ для тебя ничего сокрытаго, а то глупѣе лошади, и теперь я такой“.

13-го ноября 76 года. „Я ѣздилъ въ Москву узнавать про войну. Все это волнуетъ меня очень. Хорошо тѣмъ, которымъ все это ясно, но мнѣ страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тѣхъ условій, при которыхъ совершается исторія, — какъ дама какая-нибудь А—ва съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ къ чему-то неопредѣленному—оказывается нужнымъ винтикомъ во всей машинѣ“.

„Сплю и не могу писать; презираю себя за праздность и не позволяю себѣ взяться за другое дѣло“.

7-го декабря 76 года. „Я понемногу началъ писать и очень доволенъ собой“.

23-го марта 77 года. „Голова моя лучше теперь, и насколько она лучше, настолько я больше работаю. Мартъ и начало апрѣля самые мои рабочіе мѣсяца, а я все продолжаю быть въ заблужденіи, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что черезъ мѣсяцъ мнѣ будетъ совѣстно это вспоминать“.

14-го апрѣля 77 года. „Вы въ первый разъ говорите мнѣ о божествѣ—о Богѣ. А я давно уже не переставая думаю объ этой главной задачѣ. И не говорите, что нельзя думать,—не только можно, но должно. Во всѣ вѣка лучшіе, т. е. настоящіе, люди думали объ этомъ. И если мы не можемъ такъ же, какъ они думать объ этомъ, то мы обязаны найти *какъ*".

6-го апрѣля 78 года. „У васъ такъ много привязанности къ житейскому, что если какъ-нибудь оборвется это житейское, Вамъ будетъ плохо; а у меня такое къ нему равнодушіе, что нѣтъ интереса къ жизни, и я тяжелъ для другихъ однимъ вѣчнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Не думайте, что я рехнулся. А такъ—не въ духѣ".

26-го октября 78 года. „Вотъ уже съ мѣсяцъ, коли не больше, я живу въ чаду не внѣшнихъ событій (напротивъ, мы живемъ одиноко и смирно), но внутреннихъ, которыхъ назвать не умѣю. Хожу на охоту, читаю, отвѣчаю на вопросы, которые мнѣ дѣлаютъ, ѣмъ, сплю, но ничего не могу дѣлать, даже написать письмо. Обычная земная жизнь, со все усложняющимся воспоминаніемъ и ученіемъ дѣтей, идетъ какъ и прежде. Мы опять заняты самыми ясными опредѣленными дѣлами, а я самыми неопредѣленными и потому постоянно имѣю стыдливое сознаніе праздности среди трудовой жизни".

16-го февраля 79 г. „Я не боленъ, не здоровъ, но умственной и душевной бодрости, которая мнѣ нужна — нѣтъ".

25-го мая 79 г. „Давно я такъ не радовался на міръ божій, какъ нынѣшній годъ. Стою разиня ротъ, любуюсь и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего".

13-го іюля 79 г. „Все мотаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь и думаю, не доведется ли мнѣ заполнить пробѣлы, да и умереть, а все не могу не разворачивать самого себя".

Отъ 28-го іюня 1879 г. „Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимаго для поддержанія этой жизни; но мнѣ кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетвореніями не естественныхъ, а искусственно привитыхъ намъ воспоминаніемъ и самими нами придуманныхъ и перешедшихъ въ привычку потребностей, — праздный трудъ. Мнѣ бы очень хотѣлось быть твердо увѣреннымъ въ томъ, что я даю людямъ больше того, что получаю отъ нихъ; но такъ какъ я чувствую себя очень склоннымъ къ тому, чтобы высоко цѣнить свой трудъ и низко цѣнить чужой, то я не надѣюсь увѣриться въ безобидности для другихъ разсчета со мной однимъ усиленіемъ своего труда и избраніемъ тяжелѣйшаго (я непремѣнно увѣрю себя, что любимый мною трудъ есть самый нужный и трудный); я желалъ бы какъ можно меньше брать отъ другихъ и какъ можно меньше трудиться для удовлетворенія своихъ потребностей,— и думаю такъ легче не ошибиться".

XI.

О пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого.

Въ послѣднихъ изъ только что приведенныхъ писемъ нельзя не замѣтить приближенія кризиса. Толстой говоритъ, что онъ, здоровый человѣкъ, постоянно думаетъ о смерти, а всякому извѣстно, что дѣйствительно здоровые люди не только не думаютъ о смерти, но считаютъ себя безсмертными или, точнѣе, поступаютъ и живутъ такъ, какъ будто они были безсмертны. Въ то же время онъ не перестаетъ думать о Богѣ — этой главной задачѣ жизни. Ему становится подозрительной привязанность къ житейскому и онъ предостерегаетъ отъ нея Фета. Бодрость исчезла; расположеніе духа постоянно нехорошо, тревожно. Къ чему стремиться, зачѣмъ стремиться? Онъ желаетъ какъ можно меньше работать для удовлетворенія личныхъ своихъ потребностей, чтобы не заставлять другихъ служить себѣ. Программа близкаго кризиса уже изложена въ этихъ тревожныхъ и безпокойныхъ мысляхъ. Прежній скептицизмъ, обращенный на себя и все окружающее, возвращается съ удвоенной, накопленной силой, и мы предчувствуемъ, что уже ничто теперь не устоитъ противъ него. Обидныя и преступныя противорѣчія жизни выступаютъ ярко, рѣзко, неумолимо. Какъ это люди, одушевленные, допустимъ, самыми благородными и возвышенными идеями освобожденія и спасенія ближнихъ—въ данномъ случаѣ братьевъ-славянъ—могутъ итти убивать другихъ такихъ же людей, гордиться своими кровавыми подвигами и принимать рукоплесканія... за что? за убійства?.. А тутъ еще всякія мелочи вродѣ какой-то А—вой, которая „съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ чему-то неопредѣленному"—суетится и хлопочетъ, гордо задираетъ голову, жужжитъ, какъ надоѣдливая муха, о страданіяхъ братьевъ, славянъ, о корпіи, кисетикахъ и трубочкахъ, а когда нахмуренное лицо слушателя говоритъ ей довольно ясно: „отстаньте, сдѣлайте милость", она съ убійственной язвительностью спрашиваетъ: „а, вы значитъ не сочувствуете братьямъ-славянамъ?... а, значитъ освободительное движеніе для васъ ничего?" — и пойдетъ, пойдетъ, какъ нѣкогда madame Кукшина, бесѣдуя съ которой, Базаровъ не могъ удержаться и не проговорить: „тьфу, дура!" Конечно, всѣ эти А—вы, Кукшины, занятыя сегодня куреніемъ табаку во имя эмансипаціи женщинъ, завтра щипаніемъ корпіи во имя освободительнаго движенія братьевъ-славянъ, послѣ-завтра продажей шампанскаго въ пользу голодающихъ или собираніемъ грошей на сестринскій подарокъ г-жѣ Аданъ и „la grande république française"—мелочь. Но онѣ безчисленны, онѣ жужжатъ, какъ мухи, надоѣдаютъ, злятъ своимъ тщеславіемъ, самодовольствомъ, тупостью, билетами на благотворительные вечера и пр. Скучно и глупо, а вѣдь имя А—выхъ легіонъ, ихъ много.

Но прежде чѣмъ описывать кризисъ, я позволю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе и поговорить о пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого.

Любопытно прежде всего, что при отрицаніи роли героевъ въ исторіи и низведеніи всего хода событій къ массовому началу, Толстой постоянно говоритъ и повторяетъ, что это *русская* точка зрѣнія. „Русскій

умъ—читаемъ мы, напримѣръ,—отказывается признать героя, который бы могъ управлять людьми, создавать событія". Въ характеристикѣ Кутузова мы встрѣчаемся съ тою же мыслью, хотя и не такъ еще рѣзко выраженной; „Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься въ ту *лживую форму европейскаго героя*, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія". Я прошу читателя припомнить теперь ту характеристику, которую даетъ Толстой Наполеону и Кутузову. Собственно, это не характеристика, а противопоставленіе. То, что есть у Наполеона, непремѣнно отсутствуетъ у Кутузова. Наполеонъ проникнутъ сознаніемъ собственнаго величія; онъ самонадѣянъ, онъ знаетъ, что каждый его шагъ и слово принадлежитъ исторіи, и постоянно красуется, постоянно взвѣшиваетъ, что сказать, что сдѣлать; онъ убѣжденъ, что отъ него, отъ его генія зависитъ выиграть сраженіе, передвинуть многомилліонныя массы людей съ запада на востокъ или съ востока на западъ. Въ Кутузовѣ ничего этого нѣтъ. Тщеславіе, самомнѣніе, гордость, преувеличенное сознаніе собственной силы — это западный герой; простота, скромность, смиреніе—героизмъ русскій. Къ этимъ основнымъ чертамъ русскаго характера Толстой возвращается постоянно. О Пьерѣ Безуховѣ онъ говоритъ, напримѣръ: „Два одинаково сильныя чувства неотразимо привлекли Пьера къ исполненію его намѣренія... Первое... другое было то *неопредѣленное, исключительно русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному, человѣческому* — ко всему тому, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра..." Въ чемъ же выражается это неопредѣленное исключительно русское чувство? „Это то чувство, говоритъ Толстой, вслѣдствіе котораго охотникъ-рекрутъ пропиваетъ послѣднюю копѣйку, запившій человѣкъ перебиваетъ зеркала и стекла безъ всякой видимой причины и, зная, что это будетъ стоить ему его послѣднихъ денегъ,—то, чувство, вслѣдствіе котораго человѣкъ, совершая (въ пошломъ смыслѣ) безумныя дѣла, какъ бы пробуетъ свою личную власть и силу, заявляя присутствіе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью..." („Война и Миръ" т. III, стран. 500—501). Нельзя сказать, чтобы все это было особенно лестно. Графъ Толстой, однако, не останавливается на этомъ и, давая характеристику различнымъ народностямъ, говоритъ: „Нѣмцы бываютъ самоувѣренными на основаніи отвлеченной идеи—науки, т. е. мнимаго знанія совершенной истины. Французъ бываетъ самоувѣренъ потому, что онъ почитаетъ себя лично, какъ умомъ, такъ и тѣломъ, неопреодолимо обворожительнымъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Англичанинъ самоувѣренъ на томъ основаніи, что онъ гражданинъ благоустроеннѣйшаго государства въ мірѣ и потому, какъ англичанинъ, знаетъ всегда, что ему дѣлать нужно, и знаетъ, что все, что онъ дѣлаетъ, какъ англичанинъ, несомнѣнно хорошо. Итальянецъ самоувѣренъ потому, что онъ взволнованъ и забываетъ легко и себя и другихъ. *Русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что не вѣритъ, чтобы можно было вполнѣ знать что-нибудь.* Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ и тверже всѣхъ, и противнѣе всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину, науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина".

Опять-таки не лестно быть самоувѣреннымъ потому, что я ничего не знаю и знать ничего не хочу. А между тѣмъ несомнѣнно, что русскій характеръ и нелестныя (для меня, напр.,) черты этого характера прямо симпатичны гр. Толстому. Г-нъ Ціонъ не безъ основанія увѣряетъ даже, что не русскаго человѣка Толстой и изобразить не можетъ иначе, какъ со злобой и сарказмомъ (Наполеонъ), съ ироніей и презрѣніемъ (Рамбаль, m-elle Бурьенъ). Въ французѣ Толстой видитъ только фразера, кривляку и хвастуна, хотя и очень добродушнаго; француженка—интриганка, произносящая съ закатомъ глазъ „ma mère, ma pauvre mère"...

Отчасти Ціонъ правъ. Всѣ типы иностранцевъ или русскихъ, зараженныхъ иностраннымъ вліяніемъ, у Толстого отрицательны. Пьеръ Безухій становится настоящимъ хорошимъ человѣкомъ, только сблизившись съ „ними", съ массой, и отдѣлавшись отъ заразы западнаго индивидуализма и западной вѣры въ разумъ. Самъ Толстой разочаровался въ европейцахъ за ихъ „западный духъ..."

Но „эта неспособность судить обо всемъ, что иностранное, происходитъ, по мнѣнію Ціона, не отъ незнанія, не отъ преднамѣренной враждебности", а отъ извѣстнаго склада ума, пожалуй, структуры мозга, которая мѣшаетъ Толстому проникать въ геній другого народа, кромѣ русскаго.

По мнѣнію того-же Ціона, Толстой нисколько не питаетъ ненависти къ европейскимъ народамъ и не испытываетъ слѣпого удивленія ко всему русскому. Слишкомъ ясновидящій, чтобы не замѣчать недостатковъ своихъ соотечественниковъ, онъ въ то-же время слишкомъ искренній, чтобы не указывать на нихъ. Въ ряду многочисленныхъ національныхъ типовъ, разсѣянныхъ въ его романахъ, лишь очень немногіе внушаютъ къ себѣ симпатію... Его картины русскаго общества суть сатиры и тѣмъ болѣе жестокія, что тутъ уже одно сходство составляетъ горечь и что къ нимъ не примѣшивается задней мысли о томъ, что авторъ чернитъ намѣренно.

Все это какъ нельзя болѣе справедливо; несомнѣнно, однако, что во время созданія „Войны и Мира" русскія симпатіи Толстого были энергичны и почти не допускали сомнѣній. Его преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа заставило его преклониться и передъ русскимъ характеромъ... Платонъ Каратаевъ обрисованъ съ такой старательностью, такою любовью, какъ ни одно лицо въ романѣ, и сердце автора несомнѣнно на его сторонѣ.,.

Что-же особенно нравится Толстому въ русскомъ человѣкѣ? Прежде всего признаніе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью; а потомъ, какой-то странный жизнерадостный пессимизмъ.

Этотъ высшій, стоящій внѣ человѣческихъ условій судъ надъ жизнью иллюстрируется и разсказомъ Каратаева о купцѣ, несправедливо сосланномъ на вѣчныя каторжныя работы, и исторіей Пьера Безухова.

Въ разсказѣ Каратаева о купцѣ истина, наконецъ, открывается: „списали... послали бумагу, какъ слѣдоваетъ... Мѣсто дальнее, пока судъ да дѣло, пока всѣ бумаги списали какъ должно, по начальствамъ значитъ... До царя доходило. Пока что, пришелъ царскій указъ: выпустить купца, дать ему награжденья, сколько тамъ присудили; пришла бумага, стали старичка разыскивать... Гдѣ такой старичокъ, безвинно, напрасно стра-

далъ? Отъ царя бумага вышла... Стали искать. (нижняя челюсть Каратаева вздрогнула).—А его ужъ Богъ простилъ, померъ... Такъ-то соколикъ!—закончилъ Каратаевъ и долго, молча улыбаясь, смотрѣлъ передъ собой".

Есть значитъ высшій судъ надъ жизнью?.. — Да, есть; — отвѣчаетъ Пьеръ Безухій въ минуту прозрѣнія, въ плѣну, въ грязи, въ униженіи.

„—Ха, ха, ха! смѣялся Пьеръ... И онъ проговорилъ вслухъ самъ съ собою: — Не пустилъ меня солдатъ... Поймали меня, заперли меня. Въ плѣну держатъ меня. Кого меня? Меня? Мою безсмертную душу! Ха, ха, ха!.. ха... ха... ха..! — смѣялся онъ съ выступавшими на глаза слезами. Онъ оглянулся вокругъ себя... Прежде громко шумѣвшій трескомъ костровъ и говоромъ людей, огромный бивакъ засыпалъ; красные огни костровъ потухали и блѣднѣли. Высоко въ свѣтломъ небѣ искрились звѣзды. Пьеръ взглянулъ въ небо, въ глубь уходящихъ, играющихъ звѣздъ. „И все это мое, и все это во мнѣ, и все это я! думалъ Пьеръ... И все это они поймали и посадили въ балаганъ, загороженный досками..." Онъ улыбнулся и пошелъ укладываться спать къ своимъ товарищамъ..."

Вотъ онъ судъ земной, „загораживающій досками безсмертную душу человѣческую!..."

И рядомъ съ этимъ какой-то странный „жизнерадостный" пессимизмъ. Платонъ Каратаевъ — (а ему, кстати замѣтить, мы придаемъ *не меньшее* значеніе, чѣмъ придавалъ ему Толстой, сдѣлавъ его руководителемъ всей обновленной жизни главнаго героя романа — Безухова) — всегда веселъ, доволенъ, дѣятеленъ, всегда хлопочетъ, разговариваетъ, а между тѣмъ: „такъ-то, другъ мой любезный, говоритъ онъ... Рокъ головы ищетъ. А мы все судимъ: то нехорошо, да то неладно... *Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ:* тянешь—надулось, а вытащишь—ничего нѣтъ". Припомните и опредѣленіе русской самоувѣренности; изреченію Каратаева позавидовалъ бы самъ Будда. Если дѣйствительно наше счастье—вода въ бреднѣ, то зачѣмъ же жить? а Каратаевъ хотя и зоветъ смерть Божьимъ прощеніемъ, думаетъ и о новыхъ важнѣющихъ портянкахъ и одерживаетъ бородинскія побѣды. Онъ даже веселъ, не напускной тщеславной веселостью преступника передъ казнью, а веселъ просто, органически, какъ хлопотливая ласточка...

Въ народныхъ типахъ Толстого неумолкаемо звучитъ пессимистическая и фаталистическая—(рокъ головы ищетъ) — струна. Та же струна слышна на каждой страницѣ „Войны и Мира", не смотря на все патріотическое и поразительное одушевленіе, съ какимъ написанъ романъ... Откуда это? Ціонъ написалъ по этому поводу положительно интересное изслѣдованіе, съ выводами котораго я сейчасъ познакомлю читателя... „Отсутствіе стойкости, недостатокъ индивидуальной выдержки—такія черты характера не трудно обнаружить у большинства русскихъ. Возгараясь непомѣрнымъ энтузіазмомъ ко всякому начинанію, русскій человѣкъ скоро охладѣваетъ; встрѣчающіяся трудности, особливо если онѣ непредвидѣнныя и раздражающія, не замедлятъ охладить его пылъ. Вскорѣ онъ начинаетъ удивляться, что взялся за дѣло съ такою рьяностью". Этотъ недостатокъ выдержки дѣлаетъ уже человѣка склоннымъ къ пессимизму. „Въ русскомъ, продолжаетъ Ціонъ, слишкомъ значительна доза восточной крови,

чтобы не отрѣшаться отъ индивидуализма. Но напротивъ, тѣмъ, что называютъ табуннымъ началомъ, онъ обладаетъ въ весьма сильной степени. Въ положеніи изолированномъ русскому не хватаетъ твердости, онъ отходитъ въ сторону и уступаетъ легко. Но ничто неспособно его заставить обратиться вспять, разъ что онъ чувствуетъ себя съ толпой. На міру и смерть красна".

Итакъ, по мнѣнію Ціона, становясь на точку зрѣнія своей націи, Толстой совершенно правъ, придавая мало значенія усиліямъ индивидуальной воли и напротивъ считая коллективную волю главнымъ двигателемъ.

Гдѣ же источники пессимистической окраски этой системы и этого міровоззрѣнія?.. Если физіологъ можетъ объяснять источникъ пессимистическаго настроенія нѣкоторыхъ философовъ условіями ихъ личной жизни (напр., слѣпота Дюринга, параличъ Гартмана и т. д.), то въ отношеніи Толстого сдѣлать это не легко. Ни природа, ни общество не были мачехами великаго писателя... Какъ разъ напротивъ. „Родовитость, значительное состояніе, наилучшія связи въ свѣтѣ, любящая и любимая семья, несравненные литературные успѣхи, небывалая слава, здоровье крѣпкое и цвѣтущее, обширныя познанія, пріобрѣтенныя безъ большихъ усилій—все это дано Толстому, какъ никому, — а онъ стыдится своихъ чудныхъ твореній, называетъ книгопечатаніе гибельнымъ изобрѣтеніемъ. Не странно ли все это?.."

Ціонъ разлагаетъ пессимизмъ графа Толстого на два элемента: племенной и личный. Не разъ было замѣчено, что какая-то печальная нотка преобладаетъ у всѣхъ безъ исключенія русскихъ поэтовъ, романистовъ, художниковъ, музыкантовъ. Поэты впадаютъ въ элегическій тонъ, романисты становятся реалистами и потому меланхоличными, какъ сама русская жизнь. Эта грустная нотка обязана воздѣйствію всей массы многообразныхъ условій русской дѣйствительности, начиная отъ суроваго климата, болѣзненной впечатлительности славянской натуры и кончая апатіей, порождаемой органическимъ убѣжденіемъ, что всякое доброе начинаніе должно роковымъ образомъ остаться безплоднымъ. Русскій человѣкъ какъ бы подавленъ грустными впечатлѣніями своей среды. Даже у такихъ юмористовъ, какъ Гоголь и Щедринъ, постоянно пробивается наружу меланхолическое настроеніе.

Таковъ племенной источникъ пессимизма, который можно назвать *подавленностью* личности. Личный же элементъ заключается, по мнѣнію Ціона, въ томъ, что, вступивъ въ свѣтъ, Толстой, какъ глубокій и проницательный психологъ, долженъ былъ сдѣлать неутѣшительныя наблюденія надъ дѣйствительностью. Чѣмъ ближе знакомился онъ съ какимъ-нибудь кружкомъ общества, тѣмъ непріятнѣе были его впечатлѣнія. Полной гармоніи жизни, которой требовала его душа, онъ не встрѣчалъ нигдѣ, да ея и нѣтъ на свѣтѣ. Такимъ образомъ Толстой сталъ жертвой своей несравненной проницательности своего удивительнаго даже наблюденія. Съ юныхъ лѣтъ онъ уже смотритъ разочарованнымъ, получаетъ отвращеніе къ обществу и жизни. Не питая того благодушнаго презрѣнія, которое „спасаетъ отъ меланхоліи иныхъ разочарованныхъ людей, онъ отдается пессимизму"...

Я бы хотѣлъ отмѣтить и еще одинъ элементъ пессимизма Толстого— его пресыщеніе жизнью, отчасти по наслѣдству полученное, отчасти благопріобрѣтенное. Впрочемъ, самъ Ціонъ намекаетъ на это, говоря:

„Толстой творитъ легко. Чувствуется при чтеніи его произведеній, что образцовыя страницы въ нихъ вышли изъ головы писателя во всей своей красѣ, совершенно законченными, и не нуждаются ни въ какой ретуши. Къ столь счастливому дару присоединяется рѣдкое счастье, съ самаго начала своихъ литературныхъ дебютовъ, быть понятымъ, оцѣненнымъ и выдвинутымъ на видное мѣсто... Толстого осыпаютъ похвалами, лестными отзывами. Какое же вліяніе долженъ имѣть на него этотъ успѣхъ?

„Исповѣдь" повѣствуетъ объ этомъ откровенно и съ безусловной искренностью. Онъ презираетъ критику и своихъ читателей именно за то удивленіе, какимъ его награждаютъ, и онъ не безъ презрѣнія относится къ своимъ твореніямъ. Не измѣняя своей прямотѣ, своей честности, онъ приходитъ къ мысли, что онъ крадетъ деньги у публики, что его состояніе пріобрѣтено безчестно, что онъ—лишній тунеядецъ, подобно прочимъ своимъ современникамъ. Съ непреклонною логикою, свойственной его расѣ, онъ весьма скоро убѣждается, что ручной трудъ — единственно честный, единственно достойный человѣка и, рѣшившись „итти въ народъ", нашъ писатель одѣвается „мужикомъ" и идетъ работать на поле.

Развѣ не это же пресыщеніе, вызванное милліонами, праздной, легкой жизнью, праздной красавицей женой, заставило Пьера Безухова восчувствовать особенную прелесть голода, холода, жажды и вшей... даже вшей...? Излишекъ радости и излишекъ страданій всегда влекутъ къ недовольству и отвращенію отъ жизни.

Но какъ бы мы ни разлагали настроеніе Толстого, мы никогда не должны забывать, что наша жизнь сшита не по мѣркѣ великихъ людей. Тоска, грусть и отчаяніе почти неизбѣжны для слишкомъ богато одаренной натуры... „Вѣдь сердце поэта, говоритъ Гейне — центръ міра, какъ же не быть ему въ настоящее время разорваннымъ?"

XII.

Кризисъ.

Мнѣ думается, что предыдущія главы должны были подготовить читателя къ наступленію кризиса въ душѣ толстого, такъ какъ кризисъ этотъ никогда въ сущности не прекращался. Сомнѣнія и муки таились все время и, наконецъ, съ невѣроятной силой вырвались наружу. Случилось то же, что случается передъ нами на каждомъ пожарѣ: огонь сначала таится внутри зданія, языки пламени медленно переходятъ съ одного предмета на другой, лишь изрѣдка вырываясь сквозь окна или бросая на нихъ красное зарево. Но огонь окрѣпъ, пробрался сквозь крышу на свѣжій воздухъ и вдругъ зданіе вспыхиваетъ, какъ свѣча...

Что было ближайшимъ поводомъ кризиса—опредѣлить трудно. Да и нужно ли искать этихъ ближайшихъ поводовъ? Они важны въ юности,

важны для человѣка съ обыденнымъ умомъ, живущаго въ пріятной дремотѣ, — этому нуженъ толчокъ, встряска. Но Толстому въ описываемое время, т. е. во второй половинѣ 70 - хъ годовъ, было уже около 56-ти лѣтъ, въ пріятной дремотѣ онъ не находился никогда. Его умъ работалъ неустанно. Когда корни растенія подкопаны, но остался еще одинъ тоненькій корешокъ, оно, хотя бы чахлое, все еще продолжаетъ жить; но вотъ и этотъ корешокъ перерѣзанъ, и растеніе умираетъ. Подъ свои вѣрованія Толстой подкапывался всю жизнь, а въ какую минуту перерѣзалъ онъ послѣдній корешокъ — сказать нельзя. Онъ постоянно висѣлъ надъ пропастью отрицанія, висѣлъ, держась за чахлый кустикъ, основу котораго грызли мыши. Рано или поздно кустикъ долженъ былъ оборваться, а человѣкъ слетѣть въ пропасть. Это собственное сравненіе Толстого. „Въ Исповѣди“ онъ разсказываетъ о путникѣ, застигнутомъ въ пути разъяреннымъ звѣремъ. Спасаясь отъ звѣря, путникъ вскакиваетъ въ безводный колодезь. Но ,увы, на днѣ колодца лежитъ драконъ съ разинутой пастью. Путникъ ухватывается за вѣтви растущаго въ расщелинѣ куста. Но кустъ рано или поздно долженъ оборваться, потому что двѣ мыши, черная и бѣлая, подтачиваютъ его стволъ съ разныхъ сторонъ. Путникъ видитъ это, понимаетъ, что онъ долженъ съ минуты на минуту упасть внизъ и погибнуть, и, видя и понимая все это, лижетъ засохшимъ языкомъ капли меда на листьяхъ куста.

Разъяренный звѣрь пустыни и драконъ — это смерть. Мыши—время, кустъ—жизнь... Капли меда — радости жизни... Пока есть медъ — есть и силы, и смыслъ, и призраки счастья...

„Такъ я жилъ, разсказываетъ Толстой о періодѣ своего „семейнаго счастья“, но пять лѣтъ назадъ (1876 г.) со мною стало случаться что-то странное; на меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что мнѣ дѣлать, и я терялся и впадалъ въ уныніе.

Но это проходило, и опять я продолжалъ жить по-прежнему. Потомъ эти минуты недоумѣнія стали повторяться чаще и все въ той же самой формѣ. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачѣмъ?.. ну а потомъ?.. Сначала мнѣ казалось, что это такъ себѣ, безцѣльные, неумѣстные вопросы. Мнѣ казалось, что все это извѣстно и что если я захочу заняться ихъ разрѣшеніемъ, то это не будетъ стоить мнѣ никакого труда, что теперь мнѣ некогда только этимъ заниматься, а когда вздумаю, тогда и отвѣты найду. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнѣе и настоятельнѣе требовались отвѣты и, какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились эти вопросы безъ отвѣтовъ въ одно черное пятно. Я нашелъ, что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важное; и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо отвѣтить на нихъ. Но только что я тронулъ ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, я тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы — самые глубокіе и важные въ жизни вопросы, и что сколько-бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде, чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ книги, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю—зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать.

Ну хорошо, у тебя будетъ 6 тысячъ десятинъ, 300 головъ лошадей, а потомъ?.. И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ я воспитаю дѣтей, я говорилъ себѣ: зачѣмъ?.. Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ дастигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славѣ, которую пріобрѣтутъ мнѣ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: „Ну хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—ну, и чтожъ?“ И я ничего, ничего не могъ отвѣтить.

Остановилась тогда моя жизнь. Я могъ дышать, ѣсть, пить, спать, и не могъ не дышать, не ѣсть, не спать, но жизни не было, потому что не было такихъ желаній, удовлетвореніе которыхъ я находилъ бы разумнымъ. Если я желалъ чего, я впередъ зналъ, что удовлетворю или не удовлетворю мое желаніе—изъ этого ничего не выйдетъ. Если есть у меня нежеланія, но привычки желаній прежнихъ, въ трезвыя минуты я знаю, что это—обманъ, что желать нечего. Какая-то непреодолимая сила влекла меня къ тому, чтобы какъ-нибудь избавиться отъ жизни. Мысль о самоубійствѣ была такъ соблазнительна, что я долженъ былъ употреблять противъ нея хитрости, чтобы не привести ее слишкомъ скоро въ исполненіе. Я не хотѣлъ торопиться только потому, что хотѣлось употребить всѣ усилія, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успѣю, говорилъ я себѣ. И это сдѣлалось со мною тогда, когда я былъ совершенно счастливъ—все у меня было: семья прекрасная, средства большія и все возраставшія, слава, уваженіе ближнихъ, здоровье, сила тѣлесная и душевная, кажется, все...

Я уже ничему въ жизни не могъ придать никакого разумнаго смысла. Все это такъ давно всѣмъ извѣстно. Не нынче, завтра придутъ болѣзни и смерть на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется, кромѣ смрада и червей. Дѣла мои, какія бы они ни были, забудутся всѣ раньше или позже — это все равно. И, главное — меня не будетъ. Такъ изъ чего же хлопотать? Прежній обманъ радостей житейскихъ, заглушавшій ужасъ смерти, уже не обманывалъ меня. Сколько ни говорили мнѣ: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи — я не могъ уже этого дѣлать, потому что слишкомъ долго дѣлалъ это прежде. Теперь я не могъ не видѣть дня и ночи, бѣгущихъ и ведущихъ меня къ смерти...

Тѣ двѣ капли меда, которыя дольше другихъ отводили мнѣ глаза отъ жестокой истины, — любовь къ семьѣ и къ писательству, которое я назвалъ искусствомъ, — уже стали не сладки мнѣ. Семья? — говорилъ я себѣ, но семья—жена, дѣти, они тоже люди. Они тоже должны или жить во лжи, или видѣть ужасную истину. Зачѣмъ же мнѣ жить? Зачѣмъ мнѣ любить ихъ, беречь, растить... и блюсти ихъ?—говорилъ Левинъ, рыдая.— Для того же отчаянія, которое во мнѣ, или тупоумія? Любя ихъ, я не могу скрывать отъ нихъ истины всякій шагъ въ познаніи приведетъ ихъ къ истинѣ. А истина—смерть... Искусство, поэзія? Долго подъ вліяніемъ успѣха, похвалы людской я увѣрялъ себя, что смерть, которая уничтожитъ— и дѣла мои, и память о нихъ—ничтожна. Но скоро я увидѣлъ, что и это обманъ. Мнѣ ясно было, что искусство есть украшеніе жизни, заманка къ ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость, — какъ же я могу заманивать другихъ? Пока я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ,

хоть я и не умѣю выразить его,—отраженіе жизни въ искусствѣ доставляло мнѣ радость, мнѣ весело было смотрѣть на жизнь въ это зеркальце искусства. Но когда я сталъ отыскивать смыслъ жизни, зеркальце это стало мнѣ или мучительно, или ничтожно...

Зеркальце теперь говорило, что положеніе мое отчаянно и глупо; этимъ я не могъ утѣшаться. Хорошо мнѣ было любоваться его отраженіями, когда я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ. Тогда эта игра свѣтовъ—комическаго, трагическаго, трогательнаго, прекраснаго, ужаснаго въ жизни потѣшала меня. Но когда я узналъ, что жизнь безсмысленна и ужасна, игра въ зеркальце не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если эта истина всегда была мнѣ извѣстна, я бы могъ быть спокойнымъ, зная, что это мой удѣлъ. Если бы я былъ, какъ человѣкъ, отъ рожденія безвыходно живущій въ лѣсу, изъ котораго онъ знаетъ, что выхода нѣтъ, я бы могъ жить.

Но я былъ, какъ человѣкъ, заблудившійся въ лѣсу, на котораго нашелъ ужасъ отъ того, что онъ заблудился, и онъ мечется, желая выбраться на дорогу; знаетъ, что всякій шагъ еще больше путаетъ его, и не можетъ не метаться. Это было ужаснѣе всего... И чтобы избавиться отъ этого ужаса, я хотѣлъ убить себя. Я испытывалъ ужасъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ меня, зналъ, что этотъ ужасъ ужаснѣе самаго положенія, но не могъ терпѣливо ждать конца. Какъ ни убѣдительно было разсужденіе о томъ, что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ или лопнетъ что-нибудь, и все кончится,—я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужасъ тьмы былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣе, поскорѣе избавиться отъ него петлей или пулей. И вотъ это-то чувство сильнѣе всего влекло меня къ самоубійству"...

Толстой по обыкновенной своей привычкѣ, разъ дѣло касается личной его жизни, говоритъ слишкомъ обще: „на него стали находить минуты унынія, жизнь его остановилась" и т. д. „Вкушая, вкусихъ мало меду и се азъ умираю"—вотъ смыслъ предыдущихъ строкъ. Медъ исчезъ, возможность и охота наслаждаться медомъ исчезла — корень жизни надломился и великій человѣкъ на вершинѣ человѣческой славы опять стоитъ съ глазу на глазъ съ роковой тайной бытія и вперивъ въ безконечную пустоту вселенной свой испытующій взглядъ, спрашиваетъ себя: зачѣмъ, къ чему?

Кто же разскажетъ, что тайна отъ вѣка,
Въ чемъ состоитъ существо человѣка...
Кто онъ? Откуда, куда онъ идетъ?
Кто тамъ вверху надъ звѣздами живетъ?

Это страшный вопросъ и правъ поэтъ, говоря:

Сколько головъ безпокойныхъ томилъ онъ,
Сколько имъ муки принесъ!

И вотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ гр. Толстой прячетъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься, и не ходить на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни. Что же такое жизнь? спрашиваетъ себя этотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ и

отвѣчаетъ: Кѣмъ-то сыгранная надъ нами злая и глупая шутка... Онъ смотритъ на веселыя, смѣющіяся лица дѣтей, на другія знакомыя, любимыя лица и думаетъ: пройдутъ года, и въ сущности немного лѣтъ всего, и замолкнетъ этотъ смѣхъ, и не останется ничего, кромѣ смрада и червей. Что я и „вѣчность"? Обидный страшный звукъ—не больше.

Толстой говоритъ, что онъ „боялся жизни", „стремился отъ нея". Я думаю, что онъ всего сильнѣе боялся смерти. Приближающаяся старость, сѣдина и морщины, болѣзни—все это направляло умъ къ той странѣ, откуда не возвращался еще никто. Съ точки зрѣнія смерти, все суета, все глупо, не нужно, пусто. Дойти до такого настроенія, когда, смотря на смѣющіяся красныя губы, воображаешь ихъ себѣ изъѣденными червями, или, видя передъ собой лучистые, полные жизни глаза, думаешь о безобразныхъ впадинахъ черепа, набитыхъ землей и червями — значитъ не жить уже больше. Мы сейчасъ ближе ознакомимся съ этимъ процессомъ смерти и возрожденія. Но пока одно маленькое замѣчаніе.

Чѣмъ живъ человѣкъ? Своей привязанностью къ жизни прежде всего. Она не иллюзія, а мать всѣхъ иллюзій, надеждъ, ожиданій, — она источникъ силы, стремленія, радости. Разъ исчезла она, исчезло все. Привязанность къ жизни—инстинктъ, онъ не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія разума и не нуждается въ этой критикѣ. Я думаю даже, что такая критика преступна. Это понималъ Лермонтовъ, когда писалъ: я не хочу...

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка умъ спокойный
И сердце слабое увлекъ
Въ свой необузданный потокъ....
О, нѣтъ, *преступною* мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...

Уничтожать въ другомъ привязанность къ жизни—преступная мечта. Это все, что есть у человѣка, это богатство всѣхъ его дней; отнимать его то же, что отнимать у нищаго суму и корку хлѣба у голоднаго. Когда паралитикъ Гартманъ говоритъ, что жизнь скучна—это не бѣда; но когда онъ съ нѣмецкой аккуратностью и несомнѣннымъ блестящимъ и ловкимъ діалектическимъ талантомъ начинаетъ перечислять всѣ радости бытія и подкапываться подъ чувство любви, дружбы, вѣры, счастья, я полагаю, что онъ совершаетъ преступленіе. Привязанность къ жизни—сумма всѣхъ инстинктовъ жизни, ихъ равнодѣйствующая, это таинственный жизненный элексиръ алхиміи; величіе разума въ томъ, чтобы увеличивать его, давать ему свободу проявленія, предохранять его отъ ошибокъ, но не заражать его тайнымъ ядомъ сомнѣнія. Сомнѣніе должно становиться здѣсь; итти далѣе преступно. Такое страшное преступленіе совершилъ Гамлетъ, хотя онъ и любилъ Офелію болѣе, чѣмъ сорокъ тысячъ братьевъ. Онъ влюбленной, милой, полной жизни дѣвушкѣ показывалъ лишь черепъ и могильныхъ червей, онъ послалъ ее въ монастырь. Прямое убійство лучше и честнѣе, чѣмъ эта медленная отвратительная инквизиція.

Толстой подвергъ критикѣ разума самую привязанность къ жизни и дошелъ до мысли о самоубійствѣ. Это необходимо и логично. Онъ сообщилъ о своихъ сомнѣніяхъ всѣмъ, всему міру—это было бы преступленіемъ, если бы кризисъ его не кончился возрожденіемъ. Поэтому безъ боли и ужаса можемъ мы слѣдить за дальнѣйшими исканіями великой души. Эти исканія не приведутъ насъ къ глухому переулку и выведутъ на дорогу, по которой итти или не итти наше дѣло; все же дорога есть даже для Толстого.

Толстой обратился къ наукѣ. Спрашивая у одной стороны человѣческихъ знаній, онъ получилъ безконечное количество темныхъ отвѣтовъ о томъ, чего не спрашивалъ: о химическомъ составѣ звѣздъ, о происхожденіи видовъ и человѣка, о формахъ безконечно легкихъ невѣсомыхъ частицъ эфира, но отвѣта на вопросъ, въ чемъ смыслъ жизни, онъ не получилъ и, разумѣется, не могъ его получить, потому что наука этимъ вопросомъ не занимается и заниматься не можетъ. Все равно, какъ я не пойду въ X-й томъ законовъ справляться о томъ, что такое нравственность, и не долженъ обращаться къ китайской грамматикѣ, чтобы узнать, какъ излѣчиться мнѣ отъ болѣзни—такъ за рѣшеніемъ вопроса о смыслѣ жизни мнѣ нечего читатать Дарвина, Лапласа, Лавуазье, Ляйеля. Смыслъ жизни—это конечная цѣль жизни, а ни о какихъ конечныхъ цѣляхъ наука не разсуждаетъ, давно уже убѣдившись, что такія разсужденія безплодны и невозможны.

Толстой обратился къ философіи. Здѣсь онъ, повидимому, нашелъ выходъ изъ своего положенія, но этотъ выходъ былъ какъ разъ тотъ, который наводилъ на него такой ужасъ. Этимъ выходомъ была смерть. Онъ называетъ Сократа, Соломона, Будду, Шопенгауэра глубочайшими умами человѣчества. Чему же учатъ они? Толстой такъ формулируетъ ихъ воззрѣнія: „Къ чему мы, любящіе истину, стремимся въ жизни? Къ тому, чтобы освободиться отъ тѣла и отъ всего зла, вытекающаго изъ жизни тѣла. Если такъ, то какъ же намъ не радоваться, когда смерть приходитъ къ намъ? „Мы приблизимся къ истинѣ лишь настолько, насколько удалимся отъ жизни, говорилъ Сократъ, готовясь къ смерти. Мудрецъ всю жизнь ищетъ смерти и потому смерть не страшна ему“.

Итакъ смыслъ жизни въ смерти?

Толстой обратился къ людямъ своего круга и нашелъ у нихъ четыре выхода изъ сомнѣній. Первый выходъ есть выходъ невѣдѣнія, состоящій въ томъ, чтобы не знать и не понимать того, что жизнь есть зло и безсмыслица. Второй выходъ есть выходъ эпикурейства. Человѣкъ знаетъ безнадежность своего положенія и все же говоритъ, какъ нѣкогда Соломонъ: „ѣшь съ веселіемъ хлѣбъ свой и пей въ радости сердца вино твое“... Третій выходъ—самоубійство. Четвертый—слабость и малодушіе. Понимая, что жизнь есть зло и безсмыслица, люди все же тянутъ ее.

Разумѣется, ни одного изъ этихъ четырехъ выходовъ не могъ принять Толстой, потому что нельзя не знать того, что знаешь, и не понимать того, что понимаешь.

И онъ обратился къ тому, кто всегда спасалъ его, кто всегда съ ласковой, доброй улыбкой протягивалъ ему, утопающему, руку—къ народу, массѣ.

„Благодаря, говоритъ онъ, какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидѣть, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, — я чуялъ, что, если я хочу понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые утеряли его. и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ живущихъ и отжившихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромныя массы людей, жившихъ вокругъ меня"...

„Вѣра — сила жизни". Къ этому выводу пришелъ Толстой и противъ такого вывода никто никогда ничего возразить не можетъ. Вѣра— это воля жизни, сосредоточившаяся возлѣ одного опредѣленнаго стремленія и дающая смыслъ и цѣль всему нашему бытію.

Но гдѣ и какъ найти эту вѣру? Вопросъ, повидимому, неразрѣшимый. Если я ничего не хочу (кромѣ удовлетворенія самыхъ элементарныхъ потребностей), то кто заставитъ или научитъ меня хотѣть; если я ни къ чему не стремлюсь, то что заставитъ или научитъ меня стремиться? Знаніе пріобрѣтается легко, но пріобрѣсти вѣру, когда ея нѣтъ, большинству кажется совершенно невозможнымъ. Эту самую невозможность испыталъ и Толстой, пока не пришелъ, наконецъ, къ правилу: „живи по вѣрѣ, и ты повѣришь"... Но пришелъ онъ къ этому не сразу. Не мало времени искалъ онъ вѣры такъ же, какъ мы ищемъ знанія. Онъ обращался къ монахамъ, странникамъ и священникамъ, онъ ходилъ въ Оптинскую пустынь, онъ запирался каждое утро въ кабинетѣ и молился, онъ постился, говѣлъ. Наконецъ, онъ сталъ изучать Евангеліе и вчитываться въ его безсмертныя слова, продолжая собирать въ то же время „свѣдѣнія о вѣрѣ", если можно такъ выразиться. Онъ сближался съ католиками, протестантами, раскольниками, старообрядцами, молоканами, изучалъ еврейскій языкъ подъ руководствомъ московскаго раввина Минора, все стремясь къ тому же — къ пониманію Евангелія... Нѣсколько лѣтъ провелъ онъ въ этой умственной напряженной работѣ, познакомился со всѣми толкованіями, накопилъ массу спеціальныхъ знаній, самъ комментировалъ, продолжая страдать, наслаждаться и сомнѣваться... Такъ разсказываетъ онъ объ этихъ своихъ занятіяхъ:

„Я прожилъ на свѣтѣ 55 лѣтъ и, за исключеніемъ 14 — 15 дѣтскихъ, 35 лѣтъ я прожилъ нигилистомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, то есть не соціалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно понимаютъ это слово, а нигилистомъ въ смыслѣ отсутствія вѣры.

„Пять лѣтъ тому назадъ я повѣрилъ въ ученіе Христа, и жизнь моя *вдругъ* перемѣнилась: мнѣ перестало хотѣться того, чего прежде хотѣлось, и стало хотѣться того, чего прежде не хотѣлось. То, что прежде казалось мнѣ хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Случилось со мной то, что случается съ человѣкомъ, который вышелъ за дѣломъ и вдругъ рѣшилъ дорогой, что дѣло это ему совсѣмъ не нужно, и повернулъ домой. И все, что было справа, стало слѣва, и все, что было слѣва, стало справа: прежнее желаніе быть какъ можно дальше отъ дома перемѣнилось на желаніе быть какъ можно ближе отъ него. Направленіе моей жизни—желанія стали другими: и доброе, и злое перемѣнилось мѣстами.

„Я такъ же, какъ разбойникъ на крестѣ, повѣрилъ ученію Христа и спасся. И это не далекое сравненіе, а самое близкое выраженіе того душевнаго состоянія отчаянія и ужаса передъ жизнью и смертью, въ которомъ я находился прежде, и того состоянія спокойствія и счастья, въ которомъ я нахожусь теперь. Я, какъ разбойникъ, зналъ, что жилъ и живу скверно, видѣлъ, что большинство людей вокругъ меня живутъ такъ же. Я такъ же, какъ разбойникъ, зналъ, что я несчастливъ, страдаю и что вокругъ меня люди также несчастливы и страдаютъ, и не видалъ никакого выхода, кромѣ смерти, изъ этого положенія. Я такъ же, какъ разбойникъ, къ кресту, былъ пригвожденъ какой-то силой къ этой жизни страданій и зла. И какъ разбойника ожидалъ страшный мракъ смерти послѣ безсмысленныхъ страданій и зла жизни, такъ и меня ожидало то же“ (1883 г.).

XIII.

Ученіе Толстого.

Мы остановимся только на самыхъ существенныхъ пунктахъ:

1) *Основная идея жизни — идея религіозная.*

„Какъ ни храбрись,—говоритъ Толстой,—привилегированная наука съ философіей, увѣряя, что она рѣшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей религіей готовое, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываетъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни“.

Ту же самую мысль онъ повторяетъ постоянно. Напримѣръ:

„Философія, наука, общественное мнѣніе говорятъ: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человѣка зависитъ не отъ одного свѣта разума, которымъ онъ можетъ освѣтить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо освѣщать эту жизнь разумомъ и жить согласно ему, а надо жить, какъ живется, твердо вѣруя, что по законамъ прогресса историческаго, соціологическаго и другихъ, послѣ того, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдѣлается сама собой очень хорошей“...

Такія нападки на науку и презрительный тонъ по адресу законовъ „историческихъ“, „соціологическихъ“ и другихъ не должны удивлять насъ. Наука иногда ничего не могла дать Толстому, потому что, какъ мы видѣли уже раньше, онъ спрашивалъ ее совсѣмъ не о томъ, о чемъ можно спрашивать науку.

Но если мы оставимъ въ сторонѣ слишкомъ рѣзкую формулировку Толстого, въ чемъ онъ постоянно грѣшитъ, говоря о наукѣ или философіи, и посмотримъ лишь на остовъ мысли, выраженной въ предыдущихъ словахъ, то найдемъ въ немъ, этомъ остовѣ мысли, совершенно справедливое указаніе на одну существенную черту научнаго и философскаго мышленія— именно на признаніе *„необходимости“ въ жизни.* Наука и философія не могутъ такъ безпредѣльно вѣрить въ силу человѣческаго разума, какъ

вѣритъ въ нее гр. Толстой. Наука и философія разсматриваютъ и изучаютъ человѣка не самого по себѣ взятаго, а въ отношеніи ко вселенной, къ исторіи, къ тому, что дѣлалось милліоны лѣтъ тому назадъ и будетъ дѣлаться милліоны лѣтъ спустя, когда насъ лично не было и не будетъ. Отсюда и различіе въ оцѣнкѣ. Поставивши человѣка рядомъ съ Казбекомъ или Монбланомъ, мы найдемъ, что онъ—предметъ очень малый съ виду; но, поставивъ его рядомъ съ мухой, найдемъ, что онъ—существо довольно обширныхъ размѣровъ. Говоря о личной жизни и даже жизни отдѣльнаго поколѣнія въ сравненіи съ прошлой и будущей судьбой всего человѣчества и всей вселенной, мы едва ли придадимъ имъ ту важность, которую необходимо придать, разъ посмотримъ какъ на нѣчто самостоятельно сущее. Астрономъ, изучая образованіе вселенной, геологъ — образованіе земной коры, физикъ и химикъ—свойства и дѣятельность элементовъ, историкъ—прошлое человѣка, никакъ не могутъ проникнуться безусловнымъ уваженіемъ къ разуму человѣческому, потому что до сей поры они ни на чемъ не видѣли его слѣдовъ, или же эти слѣды такъ же незначительны, какъ слѣды ребенка на гранитной скалѣ. Даже, повторяю, историкъ смѣло можетъ спросить себя, что же сдѣлалъ человѣческій разумъ? *Пока* слишкомъ мало. Величайшіе факты нашей новой европейской исторіи — переселеніе народовъ, паденіе крѣпостничества, развитіе капиталистической системы хозяйства—не носятъ на себѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ разума человѣческаго. На какомъ же основаніи можно возлагать на этотъ послѣдній такія большія надежды? Не говоря уже о томъ, что и понять-то что-нибудь очень трудно при несомнѣнной умственной косности и умственной забитости большинства людей—перевести это пониманіе въ дѣйствія въ 999 случаяхъ изъ 1000 прямо невозможно. Гр. Толстой утверждаетъ, однако, что это очень легко. „*Только бы*, говоритъ онъ, люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придетъ и поможетъ имъ"...

Только бы... только... да въ этомъ „только" вся суть и заключается.

Но съ этой преувеличенной вѣрой Толстого въ силу человѣческаго разума и воли, съ его благороднымъ, хотя и утопическимъ убѣжденіемъ, что жизнь перемѣнится сразу, если мы того захотимъ и повѣримъ, — мы еще встрѣтимся. Пока же, второй пунктъ, который гласитъ:

2) *Религіозная идея практична*, т. е. ведетъ человѣка не къ созерцанію, а къ дѣятельности, поступкамъ. Она даетъ человѣку правила жизни и прежде всего выводитъ его изъ заколдованнаго круга личнаго эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Графъ Толстой рѣшительно это отрицаетъ.

Всѣ тѣ безчисленныя дѣла, которыя мы дѣлаемъ для себя, въ будущемъ не нужны; все это обманъ, которымъ мы сами обманываемъ себя. Притчей о виноградаряхъ Христосъ разъясняетъ этотъ источникъ заблужденія людей..., заставляющаго ихъ принимать призракъ жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ поступковъ, кончающихся ихъ изгнаніемъ, исключеніемъ изъ жизни; точно также мы вообразили себѣ, что жизнь каждаго изъ насъ есть наша личная собственность, что мы имѣемъ право на нее и можемъ пользоваться ею,

какъ хотимъ, ни передъ кѣмъ не имѣя никакихъ обязательствъ. По ученію Христа, люди должны „понимать и чувствовать", что со дня рожденія и до смерти они всегда въ неоплатномъ долгу передъ кѣмъ-то, передъ жившими до нихъ и передъ живущими и имѣющими жить, и передъ тѣмъ, что было и есть и будетъ началомъ всего".

Нѣсколькими строками ниже Толстой говоритъ и понятнѣе: „жизнь истинная есть только та, которая продолжаетъ жизнь прошедшую, содѣйствуетъ благу жизни современной и благу жизни будущей".

Хотя мысль эта выражена въ очень общей и потому совершенно неубѣдительной формѣ, я все же думаю, что ни наука, ни философія, ничего противъ нея возразить не могутъ. Человѣкъ какъ личность на самомъ дѣлѣ находится въ неоплатномъ долгу передъ жившими, живущими и имѣющими жить, и давно уже не только сказано, но и доказано, что одинъ предоставленный самому себѣ, онъ можетъ съ успѣхомъ развѣ обрости шерстью. Толстой вообще не устаетъ называть личную жизнь призракомъ—призрачной, откуда совершенно естественно вытекаетъ выводъ, что истинная жизнь можетъ быть основана лишь на „отреченіи отъ себя для служенія людямъ".

Современное ученіе міра противорѣчитъ ученію Христа. Толстой постоянно возвращается къ этой мысли и, надо согласиться, въ этомъ сила его ученія.

Онъ шелъ какъ-то по Москвѣ и увидѣлъ сторожа, грубо отгонявшаго нищаго отъ воротъ, гдѣ нищимъ стоять было воспрещено. „Евангеліе читалъ?" спросилъ сторожа Толстой. „Читалъ".—„А читалъ: „и кто накормитъ голоднаго!..." Я сказалъ ему это мѣсто. Онъ зналъ его, выслушалъ. И я видѣлъ, что онъ смущенъ. Ему видно больно было чувствовать, что онъ, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народъ оттуда, откуда велѣно гонять, вдругъ оказался неправъ. Онъ былъ смущенъ и, видимо, искалъ отговорки. Вдругъ въ умныхъ черныхъ глазахъ его блеснулъ свѣтъ; онъ повернулся ко мнѣ бокомъ, какъ бы уходя. „А нашъ уставъ читалъ?" спросилъ онъ. Я сказалъ, что не читалъ. „Такъ и не говори", сказалъ сторожъ, тряхнувъ побѣдоносно головой и, запахнувъ тулупъ, молодецки пошелъ къ своему мѣсту. Это былъ единственный человѣкъ во всей моей жизни, строго логически разрѣшившій тотъ вѣчный вопросъ, который при нашемъ общественномъ строѣ стоялъ передо мною и стоитъ передъ каждымъ, называющимъ себя христіаниномъ".

Ученіе Христа построено на любви и братствѣ, наша жизнь на силѣ. Сильный преобладаетъ надъ слабымъ, ученый надъ глупымъ, богатый надъ бѣднымъ, талантливый надъ безталаннымъ.

Что же дѣлать? Прежде всего *одуматься* и спросить себя: приноситъ ли мнѣ счастье та самая жизнь, на которую я трачу всѣ свои силы? Двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ, по словамъ Толстого, быть не можетъ. Мы живемъ по ученію міра, думаемъ о накопленіи богатствъ, о превосходствѣ надъ другими, о галантномъ воспитаніи дѣтей своихъ, хлопочемъ, безпокоимся, мучаемся и все это изъ-за чего? Изъ-за такихъ пустыхъ вещей, какъ чтобы жить, какъ люди, или, чтобы не жить хуже другихъ людей. Толстой одумался и пришелъ къ тому выводу, что: „въ своей исключительно въ мірскомъ смыслѣ счастливой жизни я наберу страданій, по-

несенныхъ мною во имя ученія міра, столько, что ихъ стало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Всѣ самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тѣхъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу теперь — все это есть мученичество во имя ученія міра. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую въ мірскомъ смыслѣ, жизнь. Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, необходимо".

„Пройдите по большой толпѣ людей, особенно городскихъ, и вглядитесь въ эти истомленныя тревожныя лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать; вспомните всѣ тѣ насильственныя смерти, всѣ тѣ самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите; во имя чего всѣ эти страданія, отчаяніе и горе, приводящія къ самоубійствамъ?"

Отвѣтъ Толстого простъ: мы мученики ученія міра. Оно, противоположное ученію Христа, ведетъ насъ къ братоубійственной борьбѣ, злобѣ, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляетъ насъ желать гибели ближняго и опускаетъ руку, протянутую на помощь ему. Оно ставитъ для нашей дѣятельности не нужныя и пустыя цѣли, преслѣдуя которыя мы совершенно забываемъ объ истинномъ смыслѣ жизни. И это забвеніе не приходитъ даромъ: мы расплачиваемся за него преступленіями, самоубійствами, тяжелымъ и постояннымъ чувствомъ недовольства и неудовлетворенности. Гонясь за призраками мірскихъ идеаловъ, мы ощущаемъ лишь пустоту и утомленіе. Въ нашей жизни нѣтъ *счастливыхъ* людей. „Поищите,—говоритъ Толстой,—между этими людьми и найдите отъ бѣдняка до богача человѣка, которому бы хватало то, что онъ зарабатываетъ, на то, что онъ считаетъ нужнымъ, необходимымъ по ученію міра, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякій бьется изо всѣхъ силъ, чтобы пріобрѣсти то, что не нужно для него, но что требуется отъ него ученіемъ міра и отсутствіе чего онъ считаетъ для себя несчастіемъ. И какъ только онъ пріобрѣтетъ то, что требуется отъ него, потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идетъ эта сизифова работа, губящая жизнь людей".

Итакъ, виновато „ученіе міра", и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при какихъ усиліяхъ не обезпечиваетъ человѣку счастья. Преступленія и самоубійства, разрывныя бомбы и казни, чума и неурожаи, бунты и драки—вотъ, повидимому, тотъ матеріалъ, которымъ наполняется наше ежедневное существованіе. Изрѣдка выступаетъ на сцену какой-нибудь „отрадный фактъ", такой микроскопическій, что сравнительно съ окружающимъ его зломъ онъ представляется камешкомъ, катящимся по крутизнѣ Казбека, и робкимъ блескомъ фонаря передъ темнотой пропасти, куда не достигаютъ даже лучи солнца. Гдѣ же тутъ говорить о счастьѣ?.. Чтобы было счастье, надо прежде всего держаться по Толстому знаменитаго правила:

4) Не противься злу.

Я совсѣмъ не оптимистъ и живу въ томъ убѣжденіи, что какъ ни страшно то зло, которое мы знаемъ, оно не составляетъ и сотой доли

того зла, котораго мы не знаемъ. Мы не знаемъ и не можемъ знать, какъ страдаетъ мать, на рукахъ которой умираетъ голодный ребенокъ; мы не знаемъ и не можемъ знать, что испытываетъ человѣкъ, когда надъ нимъ опускается топоръ гильотины. Для насъ это гіероглифы. И однако, несмотря на такой взглядъ на вещи, я полагаю, что Толстой слишкомъ сгущаетъ краски. Онъ сгущаетъ ихъ, когда говоритъ, что страданій, перенесенныхъ имъ лично въ его исключительно счастливой жизни, хватило бы на добраго христіанскаго мученика; сгущаетъ краски и тогда, когда говоритъ, что ученіе міра—одно сплошное зло.

Я не буду говорить банальной и пошлой фразы, что рядомъ со зломъ существуетъ и добро, рядомъ съ человѣконенавистничествомъ проявляется состраданіе... ну, филантропія, что ли. Богъ съ ними, и съ добромъ нашей жизни, и съ филантропіей, такъ какъ очевидно не въ нихъ дѣло.

Я спрашиваю себя: что такое добро? Добро — наслажденіе, и сумма этихъ наслажденій составляетъ счастье. Зло — страданіе. Въ результатѣ счастья—продолженіе жизни, въ результатѣ страданія—прекращеніе жизни, т. е. смерть. Смерть неминуема, если сумма наслажденій меньше суммы страданій; жизнь возможна лишь при томъ условіи, чтобы сумма наслажденій перевѣшивала сумму страданія. Это элементарный выводъ біологіи, и ясно, что вытекаетъ изъ него.

Пусть не Толстой, а другой кто-нибудь, хотя бы второй Шопенгауэръ или Гартманъ, составятъ списокъ всѣхъ проявленій зла. Исписавъ три стопы бумаги, они увидятъ себя лишь въ самомъ началѣ работы... И все же жизнь продолжается, и все же люди живутъ больше, чѣмъ прежде, и все же работа человѣчества не прекращается ни на минуту.

Сумма наслажденій превышаетъ сумму страданія. Но какъ? Гдѣ тотъ таинственный знакъ, который отрицательную величину обращаетъ въ положительную? Гдѣ то, что дѣлаетъ нашу жизнь, полную зла, все же способною на продолженіе жизни?

Я знаю, что отвѣтъ будетъ непріятенъ послѣдователямъ графа Толстого, и все же не вижу причины скрывать его. Этотъ таинственный знакъ, это то, что мы ищемъ, есть не что иное, какъ *противленіе злу*. Въ борьбѣ-то съ нимъ, постоянной, упорной, настойчивой, человѣчество находитъ неизсякаемый источникъ наслажденія, и эта-то борьба даетъ ему возможность переносить то, что съ точки зрѣнія разума непереносимо.

Не буду спорить о терминѣ: противленіе насиліемъ или безъ насилія. Насиліе насилію рознь. Мать, которая укладываетъ ласково и нѣжно своего ребенка, нехотящаго спать, — совершаетъ надъ нимъ насиліе; солдатъ, который грубо ведетъ меня за шиворотъ въ плѣнъ, совершаетъ надо мной насиліе; жена, которая не даетъ мнѣ больному того, что для меня вредно, совершаетъ насиліе; Толстой, который геніальной страницей, исполненной отрицанія, выводитъ меня изъ состоянія блаженнаго невѣдѣнія, совершаетъ надо мной насиліе, и лучшее доказательство, что это дѣйствительно насиліе, то, что я спорю съ нимъ. Въ одномъ случаѣ я дерусь, въ другомъ спорю, въ четвертомъ барахтаюсь,—и тамъ, и здѣсь противлюсь. Противленіе, какое бы то ни было, даетъ перевѣсъ наслажденію надъ страданіемъ, и такъ было всегда, пока жило человѣчество. Троглодитъ, противившійся напавшему на него пещерному льву; русскіе люди, противившіеся втор-

женію Наполеона; публицистъ, противляющійся лжи и суевѣрію,—всѣ они насильники въ томъ или другомъ видѣ и всѣ они въ противленіи-то и находили наслажденіе, которое позволяло переносить страданіе.

Если же мы признаемъ, что противленіе злу, давая человѣку неиссякаемый источникъ наслажденія, обусловливаетъ самую возможность жизни, погруженной въ зло, то мы поймемъ не только то, какъ это мы все еще живы, но и то, какъ мы будемъ жить дальше, хотя бы зло возросло.

Но, скажутъ, Толстой не отрицаетъ противленія вообще. Онъ отрицаетъ лишь противленіе злу зломъ, насилію насиліемъ, и требуетъ, чтобы человѣкъ *шелъ дорогой добра, несмотря ни на что*. Это, однако, не такъ. Текстъ ясенъ: не противься злу, не больше и не меньше.

Мнѣ кажется, что хотя Толстой и сдѣлалъ текстъ о непротивленіи злому краеугольнымъ камнемъ своего ученія, все же въ толкованіи этого текста онъ часто противорѣчитъ себѣ. Разъ онъ пишетъ: „слова эти: не противься злу и злому, понятыя въ *ихъ прямомъ значеніи*, были для меня истинно ключомъ, открывшимъ для меня *все*". Что же могутъ означать эти слова въ ихъ прямомъ значеніи? Не противься злу *никакъ*: ни зломъ, ни добромъ, ни насиліемъ, ни убѣжденіемъ, ничѣмъ, что находится въ твоемъ распоряженіи. Что же это за *„все"*, что могъ открыть Толстому ихъ прямой смыслъ? Если бы онъ разсуждалъ не какъ живой и великій человѣкъ, а какъ логическая машина, онъ бы сказалъ: это все есть полное ничто, это все есть переходъ aus individueller Nichtigkeit ins Urnichts т. е. нирвана. Однако, Толстой требуетъ добра, правды, любви. Очевидно, что онъ придалъ тексту слишкомъ широкое значеніе, призналъ его за краеугольный камень своей нравственности и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ узкое, полагая, что онъ совмѣстимъ съ проповѣдью дѣятельной любви. Непротивленіе злу—требованіе отрицательное и, какъ таковое, можетъ вести лишь къ полному устраненію отъ жизни. Здѣсь очевидная путаница.

Кромѣ этого, никогда я не понималъ, и теперь не понимаю, почему вмѣсто текста отрицательнаго, Толстой не призналъ краеугольнымъ камнемъ текста положительнаго, о дѣятельной любви, напр.: „вѣра безъ дѣлъ мертва есть"? Много бы путаницы избѣжалъ онъ въ такомъ случаѣ. Но онъ настаиваетъ, что заповѣдь дѣятельной любви цѣликомъ вытекаетъ изъ заповѣди непротивленія злу. Какъ, какимъ образомъ? Дойдя до этого вопроса, Толстой всегда ставитъ точку и начинаетъ говорить о другомъ.

Для излюбленной своей теоріи непротивленія злу гр. Толстой не признаетъ рѣшительно никакихъ ограниченій, даже такихъ, которыя проистекали бы изъ чисто рефлективной стороны человѣческой природы. Въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Энгельгардту онъ говоритъ, что если бы зулусъ ворвался въ его домъ и на его глазахъ сталъ рѣзать его родного ребенка—онъ не противлялся бы.

Въ сказкѣ объ Иванѣ Дуракѣ и его двухъ братьяхъ есть такая страница:

„Перешелъ тараканскій царь съ войскомъ границу, послалъ передовыхъ разыскивать Иваново войско. Искали, искали—нѣтъ войска. Ждать, пождать — не окажется ли гдѣ? И слуха нѣтъ про войско, не съ кѣмъ

воевать. Послалъ тараканскій царь захватить деревни. Пришли солдаты въ одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрятъ на солдатъ—дивятся. Стали солдаты *отбирать у дураковъ хлѣбъ, скотину*,—дураки отдаютъ и никто не обороняется. Пошли солдаты въ другую деревню — все то же. Походили солдаты день, походили другой,—вездѣ все то же: все отдаютъ, никто не обороняется и зовутъ къ себѣ жить: коли вамъ, сердешные, говорятъ, на вашей сторонѣ житье плохое, приходите къ намъ совсѣмъ жить. Походили, походили солдаты—нѣтъ войска; а все народъ живетъ, кормится и людей кормитъ, и не обороняется, а зоветъ къ себѣ жить. Скучно стало солдатамъ, пришли къ своему тараканскому царю.—Не можемъ мы, говорятъ, воевать; отведи насъ въ другое мѣсто; добро бы война была, это что—какъ кисель рѣзать. Не можемъ больше тутъ воевать.—Разсердился тараканскій царь, велѣлъ солдатамъ по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлѣбъ сжечь, скотину перебить. — Не послушаете, говоритъ, моего приказа, всѣхъ, говоритъ, васъ расказню.— Испугались солдаты, начали по царскому указу дѣлать. Стали *дома, хлѣбъ жечь, скотину бить*. Все не обороняются дураки, только плачутъ: *плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята*.—За что, говорятъ, вы насъ обижаете? Зачѣмъ, говорятъ, вы добро дурно губите; коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите.—Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше, и все войско разбѣжалось.

По смыслу разсказа „Крестникъ", выходитъ, что человѣкъ, убившій въ горячности разбойника, занесшаго уже топоръ надъ его матерью, совершилъ „великій грѣхъ".

Мнѣ кажется, что разсматривать подобныя правила съ ихъ философской стороны совершенно излишне: надо лишь самого себя поставить въ ту обстановку, которую описываетъ гр. Толстой, и спросить себя: что я въ такомъ случаѣ буду дѣлать. Буду ли я, какъ дуракъ изъ сказки „Ивана Царевича", видя, что на моихъ глазахъ насилуютъ мою жену, смиренно упрашивать насильщика: „да оставайся, сердешный, совсѣмъ у насъ?" Буду ли я оставаться спокойнымъ и не противляющимся при убійствѣ моихъ дѣтей или матери? Я не могу оставаться спокойнымъ, и въ этомъ *не могу* — лучшій отвѣтъ на проповѣдь графа Толстого. Противъ возмущенія моего разсудка я еще въ силахъ бороться и въ силахъ подчинить его себѣ, но противъ возмущенія инстинкта, рефлекса, я такъ же безсиленъ, какъ безсиленъ не вздрогнуть, когда мнѣ неожиданно воткнули иголку въ спину, — безсиленъ не чихнуть, когда раздражили слизистую оболочку носа, не сжать зрачка, когда къ нему пододвинули свѣчу. Но инстинктъ, рефлексъ—это основаніе нашей человѣческой жизни, $^{9}/_{10}$ которой, кстати сказать, проходятъ въ совершенно безсознательныхъ процессахъ — и „уничтоживъ эту основу, я уничтожу самую возможность жизни", что, впрочемъ, блестяще высказано самимъ графомъ Толстымъ въ „Войнѣ и Мирѣ".

Переходимъ къ 5-му пункту ученія:

5) *Помогай ближнему и люби его*. Устанавливая это правило, гр. Толстой особенно колебался, особенно искалъ и мучился. Какъ и чѣмъ можно помогать ближнему? Его живое человѣческое сердце требовало подвиговъ самоотреченія и самопожертвованія, его аналитическій резонерствующій

разумъ ни на минуту не переставалъ мудрствовать лукаво и въ этомъ своемъ мудрствованіи лукавомъ то и дѣло сталкивался съ живымъ призывомъ живого человѣческаго сердца. Уже съ дѣтства Толстого больше всего привлекала практическая сторона христіанства — ученіе о любви, самоотреченіи, милосердіи. Казалось бы, это ученіе и должно было лечь въ основу всей нравственной его философіи, но резонирующій разумъ не позволяетъ такъ просто посмотрѣть на дѣло и, не придя въ сущности ни къ чему, доставляетъ своему владѣльцу лишь долгія муки безплодныхъ исканій. Всякій, я думаю, помнитъ, какъ Толстой, попавши однажды въ Ржановскій домъ въ Москвѣ — этотъ притонъ страшной нищеты, и притомъ нищеты безнадежной, не зналъ, что сдѣлать ему съ оставшимися у него 37-ю рублями. Этотъ эпизодъ вызвалъ у Михайловскаго горькую и блестящую страницу:

„Мы, говоритъ Н. К. Михайловскій, въ „Ржановомъ домѣ", въ самомъ центрѣ нищеты; она, хоть и пьяная и безобразная, но подлинная и несомнѣнная, кругомъ кишмя кишитъ. Гр. Толстому нужно отдѣлаться отъ 37 рублей, т. е. раздать ихъ. И посмотрите, какъ это оказывается трудно. Графъ и самъ раздумываетъ, и трактирщика Ивана Ѳедотыча на совѣтъ зоветъ, причемъ этотъ Иванъ Ѳедотычъ, эта піявица, сосущая и спаивающая нищету, оказывается и „добродушнымъ", и „добросовѣстнымъ". На совѣтъ приглашается еще и трактирный половой, и вотъ начинаются размышленія: куда дѣвать 37 рублей? Лакей предлагаетъ дать Парамоновнѣ, которая *„бываетъ и не ѣмши"*, но Иванъ Ѳедотычъ отвергаетъ Парамоновну, потому „загуливаетъ". Можно бы Спиридону Иванычу помочь, но и тутъ трактирщикъ находитъ препятствіе. Акулинѣ можно бы, да она „получаетъ". „Слѣпому", такъ тому самъ графъ не хочетъ: онъ его видѣлъ и слышалъ, какими онъ скверными словами ругается, и т. д. Согласитесь, что эта сцена поразительная и характерная; среди кишащей кругомъ нищеты графъ не знаетъ, какъ „отдѣлаться" отъ 37 рублей и все резонируетъ и резонируетъ, къ каковому занятію даже еще и трактирщика и полового привлекаетъ. *Неужели это живое чувство?* Пусть всякій, дѣйствительно простой сердцемъ человѣкъ пойдетъ съ 37 рублями въ карманѣ и съ рѣшимостью отъ нихъ отдѣлаться въ Ржановъ домъ, да посмотритъ хоть на Парамоновну, которая „бываетъ и не ѣмши"... А тутъ, помилуйте, „верстъ на тысячу въ окружности повѣстивъ свой добрый нравъ" и порѣшивъ важнѣйшіе вопросы наигуманнѣйшимъ образомъ, такъ безпокоятся о 37 рубляхъ и такъ стараются, чтобы они достались, пожалуй, и такой, которая не ѣмши, но чтобы не „загуливала", а добродѣтелью сіяла. Это за тридцать-то семь рублей еще и добродѣтель имъ подавай... Нѣтъ, какъ хотите, а живого непосредственнаго чувства тутъ маловато".

Въ концѣ концовъ гр. Толстой пришелъ къ выводу, что помогать ближнему деньгами нельзя, ибо деньги — зло; нельзя помогать и заступничествомъ, ибо это ведетъ къ противленію. — Чѣмъ-же помогать? — *Любовью...*

Когда начался въ Россіи голодъ 91—92 гг., гр. Толстой напечаталъ статью, въ которой признавались ненужными денежныя пожертвованія голодающимъ и отрицалось вообще всякое активное вмѣшательство въ

жизнь, вѣрнѣе смерть милліоновъ людей. Такъ говорилъ резонирующій умъ. Прошло немного дней, и мы видимъ Толстого въ самомъ центрѣ нищеты, раздающаго хлѣбъ и деньги, устраивающаго даровыя столовыя.

Такъ заставило сдѣлать глубоко-любящее человѣческое сердце.

Что же дѣлать въ концѣ-концовъ, какъ остаться чистымъ среди жизненной грязи, какъ быть нравственнымъ среди безнравственныхъ, правдивымъ среди лжи, христіаниномъ среди торжествующаго ученія міра? Всѣ эти вопросы можно соединить въ одинъ: какимъ же путемъ добиться счастья и душевнаго спокойствія, гармоніи между словомъ и дѣломъ, убѣжденіями и жизнью? Въ отвѣтъ на это гр. Толстой выставляетъ передъ нами идеалъ мужицкой трудовой жизни.

„На вопросъ, что нужно дѣлать? — пишетъ гр. Толстой, — явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно — мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я самъ могу сдѣлать... На вопросъ, нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ на землѣ, — оказалось, что все это ненужно, ибо человѣкъ, трудящійся самъ собой, естественно примыкаетъ къ существенному сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ, не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности той умственной дѣятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты сомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный. Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномѣрно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ,—ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ“.

Графъ Толстой предлагаетъ такое распредѣленіе дня:

„День всякаго человѣка самой пищей раздѣляется на 4 части или 4 упряжки, какъ называютъ это мужики: 1) до завтрака; 2) отъ завтрака до обѣда; 3) отъ обѣда до полдника и 4) отъ полдника до вечера. Дѣятельность человѣка, въ которой онъ по самому существу своему чувствуетъ потребность, тоже раздѣляетса на 4 рода: 1) дѣятельность мускульной силы, работа рукъ, ногъ, плечъ, спины — тяжелый трудъ, отъ котораго вспотѣешь; 2) дѣятельность пальцевъ и кисти рукъ — дѣятельность ловкости, мастерства; 3) дѣятельность ума и воображенія; 4) дѣятельность общенія съ другими людьми. Блага, которыми пользуется человѣкъ, тоже раздѣляются на 4 рода: всякій человѣкъ пользуется, во-первыхъ, произведеніями тяжелаго труда: хлѣбомъ, скотиной, постройками, колодцами, прудами и т. п.; во-вторыхъ—дѣятельностью ремесленнаго труда: одежей, сапогами, утварью и т. п.; въ-третьихъ—произведеніями умственной дѣятельности: наукъ, искусства; и въ-четвертыхъ—установленнымъ общеніемъ съ людьми. И мнѣ представилось, что лучше всего бы было чередовать занятія дня такъ, чтобы упражнять всѣ четыре способности человѣка и самому производить всѣ тѣ четыре рода благъ, которыми пользуются люди, такъ, чтобы одна часть дня — первая упряжка — была посвящена тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и четвертая—общенію съ людьми. Мнѣ представилось, что тогда только уничто-

жится то ложное раздѣленіе труда, которое существуетъ въ нашемъ обществѣ, и установится то справедливое раздѣленіе труда, которое не нарушаетъ счастія человѣка".

Общія замѣчанія объ ученіи гр. Толстого. Взявши это ученіе въ совокупности, вы видите, что оно имѣетъ нѣсколько разнообразныхъ источниковъ, изъ которыхъ первый есть: ненависть къ ученію міра во имя ученія Христа.

Мнѣ кажется, что этотъ источникъ самый существенный, а заключенное въ немъ противорѣчіе — самое конкретное и удобопонятное. Въ главѣ о писательской драмѣ мы видѣли, что заставляло Толстого признавать безполезными и даже вредными свои произведенія. Онъ дѣлалъ имъ очную ставку съ нуждами и потребностями народа, и на этой очной мучительной ставкѣ геніальныя художественныя произведенія ясно выражали свою виновность. Но признаніе безполезности и даже вредности достигло крайняго своего напряженія, когда гр. Толстой спросилъ себя: чему онъ служитъ, что проповѣдуетъ? Оказалось, что какъ самая его жизнь, такъ и всѣ его произведенія служатъ ученію міра и проповѣдуютъ *силу*. Онъ хотѣлъ быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ, онъ проповѣдывалъ прелесть семейной обезпеченной жизни, которую надо завоевать. Быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ — значитъ быть сильнѣе ихъ. Завоевать себѣ семейную обезпеченную жизнь можно лишь силой красоты, ума, дарованія, богатства. Его лучшіе герои выдѣляются то какъ хозяева, то какъ таланты, т. е. выдѣляются своей силой.

Онъ увѣровалъ въ Христа, и служеніе силѣ, проповѣдь силы показалась ему и преступной, и грѣховной.

Ученіе Христа — ученіе любви. Христосъ запретилъ своимъ ученикамъ называть кого бы то ни было погибшимъ и погибающимъ. Для него не существовало ни эллиновъ, ни іудеевъ, ни рабовъ, ни свободныхъ— онъ зналъ только людей. Въ жизни онъ воплощалъ лишь одинъ законъ— законъ любви.

Толстой, какъ христіанинъ, идетъ по той же дорогѣ. Его народные разсказы всѣ написаны на одну и ту же тему, что смиреніе, какъ законъ любви, выше какого бы то ни было другого закона, служа которому человѣкъ служитъ самому себѣ.

Это настроеніе Толстого превратилось въ философскую систему; онъ говоритъ:

„Религія есть установленное человѣкомъ между собой и вѣчнымъ и безконечнымъ міромъ или началомъ и первопричиной его извѣстное отношеніе.

„Изъ этого отвѣта на первый вопросъ самъ собою вытекаетъ и отвѣтъ на второй.

„Если религія есть установленное отношеніе человѣка къ міру, опредѣляющее смыслъ его жизни, то нравственность есть указаніе и разъясненіе той дѣятельности человѣка, которая сама собой вытекаетъ изъ того или другого отношенія человѣка къ міру. А такъ какъ основныхъ отношеній къ міру или началу его извѣстно намъ только два, если разсматривать языческое общественное отношеніе какъ распространеніе личнаго, или три, если разсматривать общественное языческое отношеніе,

какъ отдѣльное, то нравственныхъ ученій существуетъ только три: нравственное ученіе первобытное дикое, личное нравственное ученіе языческое или общественное, и нравственное ученіе христіанское, т. е. служеніе Богу—или божеское.

„Изъ перваго отношенія человѣка къ міру вытекаютъ общія всѣмъ языческимъ религіямъ ученія о нравственности, имѣющія въ своей основѣ стремленіе къ благу отдѣльной личности и потому опредѣляющія всѣ состоянія, дающія наибольшее благо личности и указывающія средства пріобрѣтенія этого блага.

„Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ нравственныя ученія: эпикурейское въ низшемъ проявленіи, ученіе нравственности магометанское, обѣщающее грубое благо личности на этомъ и на томъ свѣтѣ, и ученіе свѣтской утилитарной нравственности, имѣющей цѣлью благо личности только на этомъ свѣтѣ.

„Изъ того же ученія, ставящаго цѣлью жизни благо отдѣльнаго человѣка, а потому избавленіе отъ страданій личности, вытекаютъ нравственное ученіе буддизма въ его грубой формѣ и свѣтское ученіе пессимистическое.

„Изъ второго языческаго отношенія человѣка къ міру, ставящаго цѣлью жизни благо извѣстной совокупности личностей, вытекаютъ нравственныя ученія, требующія отъ человѣка служенія той совокупности, благо которой признается цѣлью жизни. По этому ученію пользованіе личнымъ благомъ допускается только въ той мѣрѣ, въ которой оно пріобрѣтается всею тою совокупностью, которая составляетъ религіозную основу жизни. Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ извѣстныя намъ нравственныя ученія древняго римскаго и греческаго міра, гдѣ личность всегда приносила себя въ жертву обществу, такъ же и нравственность китайская; изъ этого же отношенія вытекаетъ нравственность еврейская — подчиненіе своего блага благу избраннаго народа, и нравственность нашего времени, требующая жертвы личности для условнаго блага большинства. Изъ этого же отношенія къ міру вытекаетъ нравственность большинства женщинъ, жертвующихъ всею своею личностью для блага семьи и главное — дѣтей.

„Изъ третьяго, христіанскаго, отношенія къ міру, состоящаго въ признаніи человѣкомъ себя орудіемъ высшей воли для исполненія ея цѣлей, вытекаютъ и соотвѣтствующія этому пониманію жизни нравственныя ученія, уясняющія зависимость человѣка отъ высшей воли и опредѣляющія требованія этой воли. Изъ этого отношенія человѣка къ міру вытекаютъ всѣ высшія, извѣстныя человѣчеству нравственныя ученія: пифагорійское, стоическое, буддійское, браминское, таосійское въ ихъ высшемъ проявленіи и христіанское въ его настоящемъ смыслѣ, требующее отреченія отъ личной воли и отъ блага не только личнаго, но и семейнаго и общественнаго во имя исполненія открытой намъ въ нашемъ сознаніи воли того, кто послалъ насъ въ жизнь. Изъ этого другого или третьяго отношенія къ безконечному міру или началу его вытекаетъ дѣйствительная, нелицемѣрная нравственность каждаго человѣка, несмотря на то, что онъ номинально исповѣдуетъ или проповѣдуетъ какъ нравственность, или чѣмъ хочетъ казаться.

„Такъ что человѣкъ, признающій сущность своего отношенія къ міру въ пріобрѣтеніи для себя наибольшаго блага, сколько бы онъ ни гово-

рилъ о томъ, что онъ считаетъ нравственнымъ жить для семьи, для общества, для государства, для человѣчества или для исполненія воли Бога, можетъ искусно притворяться предъ людьми, обманывая ихъ, но дѣйствительнымъ мотивомъ его дѣятельности будетъ всегда только благо его личности, такъ что, когда представится необходимость выбора, онъ пожертвуетъ не своей личностью для семьи, для государства, для исполненія воли Бога, а всѣмъ для себя, потому что, видя смыслъ своей жизни только въ благѣ своей личности, онъ не можетъ поступать иначе до тѣхъ поръ, пока не измѣнитъ своего отношенія къ міру" („Сѣверный Вѣстникъ", январь 1893).

Толстой не считается и не хочетъ считаться ни съ исторіей нашей жизни, ни съ устройствомъ нашего организма. Онъ теперь такъ же безусловно вѣритъ въ силу человѣческаго разума и воли, какъ прежде, въ эпоху „Войны и Мира", безусловно отрицалъ ее. Онъ убѣждаетъ насъ любить и вѣрить, и думаетъ, что мы станемъ любить и вѣрить, разъ мы поймемъ, какъ преступна и злобна наша жизнь, основанная на стремленіи къ силѣ, на преклоненіи передъ силой, на служеніи силѣ.

Гамлету казалось порою, что одинъ ударъ ножа можетъ прекратить всѣ его муки, колебанія, сомнѣнія. Толстому кажется, что одно усиліе воли и пониманія переродитъ насъ и нашу жизнь. Онъ и говоритъ поэтому: „одумайтесь".

Одуматься всегда хорошо. Возражать противъ того, что надо одуматься—было бы преступно. Но такъ ли это спасительно? Во-первыхъ, кто можетъ одуматься? Я допускаю, что у Толстого милліонъ читателей. Изъ этого милліона пусть 100 тысячъ, т. е. десятая часть, пойдутъ по его стопамъ. Но что же могутъ эти 100 тысячъ сдѣлать съ 50 вѣками исторіи, тысячами милліонами человѣчества, устройствомъ организма и наслѣдственностью? Толстой не признаетъ наслѣдственности, какъ Руссо; онъ думаетъ, что человѣкъ родится свободнымъ, чистымъ и добрымъ — ну, а какъ наслѣдственность существуетъ, ну, а какъ человѣкъ родится не свободнымъ, не чистымъ, не добрымъ? Вѣдь это послѣднее предположеніе справедливѣе. Толстой вѣруетъ, что разумъ такъ же легко можетъ справиться съ инстинктами, какъ человѣкъ съ муравьемъ. О такой силѣ разума исторія не говоритъ ничего, а говоритъ какъ разъ наоборотъ. Не было эпохи, когда люди не понимали, что ихъ жизнь страшно далека отъ совершенства, и не было эпохи, когда это пониманіе совершенно перерождало бы ихъ.

Когда-то Толстой приравнивалъ отдѣльнаго человѣка къ безконечно-малой величинѣ—дифференціалу, т. е. геометрическому непротяженному центру. Это была крайность, но крайность гораздо болѣе близкая къ истинѣ, чѣмъ та, въ которую онъ вдался теперь. „Дифференціалъ" исторіи превратился въ титана, свободно двигающаго горами... Когда-то Толстой всѣмъ существомъ своимъ принадлежалъ теоріи исторической необходимости. Теперь вмѣсто необходимости передъ нами всевозрождающая сила любви, вѣры, пониманія. Человѣкъ, дойдя до бездонной пропасти, въ испугѣ поворачиваетъ въ сторону прямо противоположную и думаетъ, что теперь нашелъ истинный путь? А вдругъ и тамъ пропасть еще глубже, еще мрачнѣе...

Встаньте, повторяю, на точку зрѣнія возможности и невозможности, потому что, нѣтъ нѣтъ, на нее становится самъ Толстой. Любовь—выше, чище, могущественнѣе денегъ. Это несомнѣнно. Но можно ли было помочь любовью 17-ти милліонамъ голодающихъ? Безбрачіе, учитъ Толстой въ „Крейцеровой Сонатѣ" выше брака. Зачѣмъ же въ Послѣсловіи онъ говоритъ: „могій вмѣстити да вмѣститъ" и только? Если все дѣло въ томъ, чтобы вмѣстилъ могій вмѣстить, то ученіе превращается въ обыкновенную проповѣдь морали, спасительность которой относительна.

Въ проповѣди Толстого есть одна сторона, къ которой нельзя не отнестись съ полнымъ уваженіемъ и любовью. Никто такъ рѣзко, какъ онъ, не выставлялъ еще противорѣчій нашей жизни. Но какъ избавиться отъ этихъ противорѣчій? Разрубить ли Гордіевъ узелъ или развязать его? Разрубить—лучше, пріятнѣе, честнѣе, но это невозможно. А разъ невозможно, то...

Жить, какъ живется? спроситъ читатель.

Такой выводъ дѣлаетъ и самъ Л. Толстой. Но этотъ выводъ совершенно несправедливъ.

Говорить, что необходимо признавать прошлое и считаться съ условіями исторіи, ея традиціей, привычками и устройствомъ организма, зломъ и добромъ нашей жизни, нашими страстями и инстинктами—не значитъ проповѣдывать квіэтизмъ. Кромѣ многихъ грѣховъ у человѣка есть и еще одинъ неискупимый—грѣхъ самонадѣянности.

Это грѣхъ всякаго безусловнаго нравственнаго ученія.

Я не буду останавливаться на многочисленныхъ противорѣчіяхъ въ ученіи графа Толстого и лишь упомяну о нѣкоторыхъ самыхъ важныхъ и бросающихся въ глаза. Возьмите его ученіе о женщинахъ. Въ 1884 г. онъ писалъ, напр.: „идеальная женщина, по мнѣ, будетъ та, которая, усвоивъ высшее міросозерцаніе своего времени, отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному въ нее призванію—родитъ, выкормитъ и воспитаетъ наибольшее количество дѣтей, способныхъ работать для людей, по усвоенному ею міросозерцанію..." Итакъ рожать, какъ можно больше рожать. Перечтите теперь „Крейцерову сонату". Смыслъ ея совершенно ясенъ; выходитъ, что самое лучшее совсѣмъ не рожать, и идеальной женщиной оказывается уже не та, которая отдается своему непреодолимо въ нее вложенному призванію, а та, которая это самое призваніе уничтожитъ или разрушитъ въ себѣ.

Противорѣчіе это самое любопытное именно потому, что тутъ рѣчь идетъ о жизни и смерти. Чего собственно хочетъ Толстой—жизни ли для человѣчества или смерти? Положа руку на сердце — я этого не знаю и сомнѣваюсь, чтобы кто-нибудь это зналъ и могъ безъ колебанія отвѣтить на поставленный вопросъ. Проповѣдуя упорно—трудовую жизнь, физическую работу, любовь, Толстой, повидимому, проповѣдуетъ жизнь и вѣритъ, что счастливое существованіе человѣка на землѣ не только возможно, но и необходимо; онъ ставитъ каждому ясную и опредѣленную цѣль: нравственное усовершенствованіе; онъ пишетъ страстныя страницы въ защиту того, что хорошая христіанская жизнь легче, чѣмъ та, которую мы ведемъ. Послѣ этого появляется „Крейцерова соната" и въ Ясную Поляну летятъ десятки и сотни вопросовъ: „что лучше: жить или умирать? „Крейцерова

соната“ всѣми безъ колебанія была признана за проповѣдь смерти. Въ „Послѣсловіи“ Толстой идетъ на компромиссъ и говоритъ, что безбрачіе есть идеалъ, вполнѣ неосуществимый, какъ и всѣ идеалы. *Раньше* ничего подобнаго Толстой никогда не высказывалъ и всегда смотрѣлъ на свое ученіе какъ на такое, которое можетъ быть осуществлено полностью и даже немедленно.

Такія противорѣчія меня нисколько не удивляютъ; удивительно, если бы ихъ не было. Въ началѣ 60-хъ годовъ Толстой недоумѣвалъ, кому у кого учиться—намъ ли у народа или народу у насъ, и защищалъ и то и другое мнѣніе; въ „Войнѣ и Мирѣ“ онъ, низведя личность человѣка до дифференціала исторіи, вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдуетъ личное и семейное счастье, какъ лучшее изъ всего, и въ сущности, какъ художникъ, впадаетъ въ еще болѣе рѣзкое противорѣчіе съ собой какъ мыслителемъ, и, удѣляя радостямъ и страданіямъ своихъ дифференціаловъ столько блестящихъ страницъ, такъ успѣваетъ заинтересовать ими читателя, что этотъ послѣдній очень груститъ, когда одинъ дифференціалъ умираетъ, или радуется, когда другая дефференціалка выходитъ замужъ. На почвѣ философіи „Войны и Мира“ можетъ быть создана лишь свифтовская сатира или Comèdie de la vie humaine. Но графъ Толстой такъ серьезно копается въ душѣ своихъ дифференціаловъ, что эта душа пріобрѣтаетъ несоизмѣримую важность.

Утверждали нѣкогда, что графъ Толстой — великій художникъ и плохой мыслитель. Это совершенно несправедливо: какъ мыслитель, графъ Толстой величина крупная. Онъ блестящій діалектикъ, его мысли всегда оригинальны и глубокое его громадное образованіе несомнѣнно. Его противорѣчія не тѣ, которыя то и дѣло бываютъ у человѣка, плохо думающаго; а *противорѣчія живого человѣческаго сердца, руководимаго, однако, болѣзненно скептическимъ умомъ.*

Существуютъ формулы въ химіи, въ нравственности, въ общественной жизни. Существуютъ люди, для которыхъ вся жизнь есть формула, хотя бы вродѣ: блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ... Для этихъ людей формула необходима, какъ пища, питье и одежда. Она указываетъ имъ, что сказать, какъ ступить, когда сѣсть, когда улыбнуться и даже—какъ любить; а больше всего она указываетъ, какъ жить, не мучаясь ни нравственными, ни иными противорѣчіями. Формула спасительна: руководясь ею, человѣкъ можетъ быть спокойнымъ и неунывающимъ. Онъ знаетъ, что родителей надо любить, Бога бояться, начальству повиноваться безпрекословно, въ обществѣ держать себя весело, — знаетъ, что не нами міръ начался и не нами этотъ міръ кончится. Формула играетъ для него ту же роль, какъ рельсы для локомотива: и ѣхать легко, и въ сторону никогда никуда свернуть невозможно. Съ формулой тепло, какъ въ шубѣ или у печки, весело, какъ за стаканомъ вина, чувствуешь себя легко и пріятно, какъ въ дружеской компаніи.

Но никогда ни одна формула не могла подчинить себѣ Толстого. Онъ отбросилъ формулу личнаго и семейнаго счастья, формулу воспринятаго ученія; онъ ищетъ истины, какъ Лиръ искалъ покоя въ ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сдѣлать безумными всѣхъ. Тяжело, мучительно жить безъ формулы. Вы, имѣя милліонъ де-

негъ и всемірную славу, знаете, что сдѣлать по формулѣ; но безъ нея, безъ этой спасительной няни, убаюкивающей и успокаивающей во снѣ— что дѣлать вамъ? Законно́ ли мое счастье? Не преступна ли моя жизнь? Не вредны ли мои дѣла? Ни комфортъ, ни любовь, ни уваженіе не даютъ покоя ищущей душѣ. Судьба Толстого — судьба Агасфера. Таинственный голосъ ежеминутно слышится ему и говоритъ: иди... ищи... иди... ищи... Онъ идетъ и ищетъ. Идетъ въ великолѣпные салоны и находитъ тамъ Борисовъ Друбецкихъ, Вронскихъ, Карениныхъ; идетъ въ помѣстья и находитъ тамъ Ростовыхъ, Нехлюдовыхъ, Болконскихъ; идетъ „къ нимъ" въ народъ, къ Поликушкамъ, героямъ Севастополя... А голосъ не умолкаетъ ни на минуту и прежніе таинственные: „иди.... ищи... иди... ищи..." слышатся постоянно. Путникъ усталъ: онъ видитъ, что дорога безконечна, что ея черная лента, какъ былинная змѣя норманновъ, обвиваетъ весь міръ, что въ ея громадномъ кольцѣ нельзя найти начала, исходной точки, что самая жизнь это потокъ, несущійся въ пропасть,—онъ хочетъ отдохнуть, забыться, хочетъ убить себя. Но надо итти... Запыленный, измученный, онъ поднимается опять, съ ужасомъ смотря все въ ту же и ту же роковую загадку бытія...

Передъ нами грандіозная картина вѣчнаго безпокойнаго исканія... По легендѣ Агасферъ попадаетъ, наконецъ, въ Іерусалимъ въ ту роковую минуту, когда Сила предавала распятію и смерти Любовь... Агасферъ вмѣстѣ съ ликующей рабской толпой идетъ по пыльной раскаленной улицѣ, взбирается на Голгоѳу и вдругъ чувствуетъ, что на него упалъ кроткій, страдальческій взглядъ, полный милосердія, состраданія, жалости. Это что-то новое, это уже не прежній повелительный голосъ: иди—ищи... Этотъ взглядъ обѣщаетъ отраду и надежду... „И Христосъ, — заканчиваетъ легенда,—возложилъ на Агасфера крестъ свой..." На Голгоѳѣ Агасферъ остановился и впервые почувствовалъ миръ въ душѣ, этой измученной, надломленной душѣ...

Такова исторія Толстого. Отъ него требуютъ какихъ-то формулъ, упрекаютъ его за противорѣчія. Онъ не можетъ дать формулы: онъ — вѣчное исканіе, частичка того же потока, который мы зовемъ жизнью. Развѣ этотъ потокъ можетъ остановиться?..

1894 г.

Борьба съ развратомъ культуры.

Руссо и Толстой.

Готовясь къ какому-нибудь важному дѣлу, стихійно предчувствуя приближеніе роковой минуты пересмотра и обновленія всей жизни человѣчества, народъ, общество обыкновенно выдѣляетъ изъ себя суровыхъ „судій", читающихъ въ сердцахъ людей страницы „злобы и порока". Эти судьи неподкупны въ своей нравственной прямолинейности и требовательности, ими владѣетъ жажда обновленія, глубокая ненависть ко всему извращенному. И бываетъ это, говорю я, передъ роковыми минутами крушенія или обновляющаго переворота. Руководимое безсознательнымъ инстинктомъ самосохраненія и безсознательно понимая, что путь лжи, путь красивыхъ словъ, до содержанія которыхъ никому нѣтъ дѣла, путь легкомысленной игры нравственными устоями ведетъ къ гибели—народъ и общество въ лицѣ выдѣляемыхъ имъ изъ себя „судій" стремится возстановить равновѣсіе между внутреннимъ содержаніемъ жизни и ея внѣшними формами, между словомъ и сущностью, убѣжденіями и поступками. Это дни, когда нравственно серьезная мысль, неподкупная, фанатически честная и страстно преслѣдующая свою задачу обновленія и очищенія жизни отказывается отъ всякихъ компромиссовъ и даже отъ всякаго снисхожденія, и настойчиво добирается до того, что скрыто подъ блестящей внѣшностью, какая дѣйствительность таится подъ красными словами и въ какой степени нарушено равновѣсіе между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что должно быть. Здѣсь горе всѣмъ лжебогамъ, всѣмъ кумирамъ и идоламъ минуты. Здѣсь требованіе расплаты за неисполненныя обѣщанія. Въ одинъ изъ этихъ дней судныхъ встрѣтились когда-то Сократъ и афиняне, въ другой — католическое духовенство и реформаторы, въ третій— Руссо и культурные парижане. Мы русскіе переживаемъ теперь свою „встрѣчу" съ ученіемъ и проповѣдью Толстого.

Задача предлагаемой статьи опредѣлить: къ чему сводятся требованія пересмотра нравственныхъ и общественныхъ цѣнностей, произведеннаго 100 лѣтъ тому назадъ во Франціи Руссо, а теперь въ Россіи производимаго Толстымъ.

Мы выбираемъ Руссо и Толстого потому, во-первыхъ, что они самые крупные изъ своихъ современниковъ и потому, во-вторыхъ, что между ними поразительно много общаго.

„Соціальныя перемѣны, говоритъ Морлей, которыхъ требуютъ различные противники старыхъ порядковъ ничто иное, какъ выраженіе глубокаго измѣненія нравственныхъ идей, а эти нравственныя идеи направлены къ тому, чтобы сдѣлать жизнь болѣе безыскусственной... Подобно такимъ стремленіямъ, возникающимъ въ сердцѣ индивидуума, и стремленія охватывающія цѣлую эпоху, исходятъ изъ *страстнаго желанія устранить то, что стѣсняетъ жизнь*. Мысль Руссо исходитъ изъ этого центра. *Упрощеніе* религіи посредствомъ ея очищенія отъ множества заблужденій, упрощеніе соціальныхъ отношеній посредствомъ идеи равенства, упрощеніе литературы и искусствъ посредствомъ постояннаго обращенія къ природѣ, упрощеніе морали посредствомъ трудолюбивой жизни и воздержности — вотъ, что было идеаломъ и цѣлью для революціонеровъ и вотъ чѣмъ объясняется господство Руссо надъ умами цѣлаго поколѣнія"... [1]).

Здѣсь Морлей очень удачно схватываетъ центральный пунктъ ученія Руссо. Въ этой жаждѣ упрощенія, принимавшаго у Толстого, хотя временно и случайно форму *опрощенія*, въ этомъ настойчивомъ требованіи пересмотра всѣхъ нравственныхъ цѣнностей, — скрыто какое-то смутное предчувствіе и великое стремленіе, свойственное лишь рубежамъ и водораздѣламъ историческихъ эпохъ. И, быть можетъ, далеко не случайность то, что Толстой и Руссо, такъ непохожіе другъ на друга, — такія даже діаметральныя противоположности во многомъ — говорятъ тѣми же словами о тѣхъ же вопросахъ.

Оба они — высшій цвѣтъ и самые блестящіе представители утонченно развитой группы писателей говорятъ или, по крайней мѣрѣ, стараются говорить намъ отъ лица массы. Эта „масса" стала необходимымъ элементомъ ихъ мышленія.

„Если въ настоящее время,—заканчиваетъ Морлей свою предварительную характеристику Руссо,—кто-нибудь считаетъ потеряннымъ тотъ день, въ который онъ не подумалъ о тяжелой жизни на чердакахъ и въ лачугахъ, о заброшенныхъ дѣтяхъ, о женщинахъ, втоптанныхъ въ грязь грубою безсердечностью большихъ городовъ — этимъ мы обязаны Руссо, который подалъ сигналъ къ новой и великой борьбѣ изъ-за интересовъ всего человѣчества... Изъ его сочиненій Европа впервые познакомилась съ странными отголосками и слабыми отраженіями, исходившими изъ этой тьмы, въ которой вращаются простолюдины. Дѣло науки — расчищать путь къ знанію и къ разрѣшенію общественныхъ вопросовъ; ея дѣло подготовлять и организовать. Но современное общество не малымъ обязано и тому, кто помогалъ выясненію задачи, надписывая огненными буквами надъ роскошными обѣденными столами богачей, что цивилизація до сихъ поръ есть не болѣе, какъ обманъ, и внушая цѣлому поколѣнію мужчинъ и женщинъ твердую рѣшимость скорѣе погибнуть, чѣмъ жить въ средѣ общества, допускающаго такой порядокъ вещей..."

Слишкомъ легко сообразить, въ какой степени эта характеристика подходитъ къ Толстому. Не мало „огненныхъ словъ" написано и имъ, не разъ, а десятки разъ говорилъ и доказывалъ онъ намъ, что наша расфранченная цивилизація есть ложь и обманъ, не разъ, а опять таки

---

[1]) Дж. Морлей, „Руссо". Перев. Невѣдомскаго, стран. 4.

десятокъ разъ, слышали мы крикъ и вопль его возмущенной совѣсти: „такъ жить нельзя". И странный чудный былъ этотъ крикъ и вопль, выходившій изъ роскошнаго дома отъ человѣка, владѣющаго милліонами, прославленнаго на весь міръ, родовитаго русскаго барина, прямо таки пресыщеннаго исключительно счастливой *личной* жизнью...

Самое важное, что обще и Руссо и Толстому это, конечно, то, что въ ихъ произведеніяхъ ясно и ярко просвѣчиваетъ высшій утопическій идеалъ, который въ теченіе не только вѣковъ, а и тысячелѣтій преслѣдовалъ мечту человѣчества. Это — жизнь *согласно съ природой*. Съ лучезарныхъ высотъ этого идеала до людей доносилась всегда струя бодрящаго воздуха и они подъ разными именами—„Республики", „Страны солнца", „Утопіи" рисовали себѣ какую-то чудную и заманчивую землю, гдѣ, среди простора и шири, въ вѣчномъ свѣтѣ солнца, человѣкъ живетъ, повинуясь лишь законамъ и руководству природы.

Всякій разъ, когда ложь культурнаго человѣчества достигала невыносимой степени— изъ отвращенія къ ней и ужаса передъ ней,—человѣчество вызывало передъ собой эту самую дорогую свою мечту, и въ ней какъ бы находило свое обновленіе. О ней говорили стоики и Сенека; она была предвѣстницей реформаціи и шла съ ней долго рука объ руку, оплодотворяя ее, повышая ея уровень; скептическій Вольтеръ вывелъ на сцену своего Гурона, но никто не облюбовалъ ее съ такой силой, никто не высказалъ ее съ такой страстью, какъ искалѣченный, изломанный, изолгавшійся и въ то же время стихійно правдивый Руссо.

Руссо высказалъ ее для XVIII-го вѣка и западной Европы, Толстой— для XIX-го и больше всего для насъ, русскихъ людей. Въ разной формѣ передъ нами тѣ же идеи, тотъ же исходный пунктъ и странно — почти тѣ же слова.

Я заранѣе предупреждаю, впрочемъ, что не буду говорить ничего о прямомъ вліяніи Руссо на Толстого, хотя оно, несомнѣнно, и могло бы явиться темой небезъинтереснаго изслѣдованія.

Мы знаемъ, что Толстой зачитывался Руссо еще въ юности, сохранилъ особенную исключительную даже привязанность къ его произведеніямъ въ теченіе всей своей жизни,—но слишкомъ уже наивно говорить о прямомъ вліяніи на великаго писателя земли русской какой бы то ни было *книги*. Такихъ людей, какъ Руссо и Толстой, ихъ мысли и настроенія создаютъ не печатные станки, ихъ прежде и больше всего создаетъ стихія исторической и общественной жизни. Они—голоса эпохи, выразители ея духа, у нихъ все свое, хотя бы и похожее на высказанное раньше другими. Ихъ слова, мысли, настроеніе—органическія, изъ таинственной глубины народной и общественной жизни. Что происходитъ тамъ внизу, въ массахъ и въ каждомъ изъ насъ—все это сосредоточивается въ нихъ.

И странно, такъ непохожіе, такъ часто другъ другу въ жизни своей противоположные,—одинъ плебей и пролетарій, другой—кровный русскій баринъ, — стремятся къ тому же упрощенію. Объясняйте, какъ великое предчувствіе... Чего? И относительно Руссо мы еще не знаемъ этого, потому что въ теченіе ста слишкомъ лѣтъ видимъ лишь прелюдіи какой-то готовящейся европейской трагедіи, — что же можемъ знать мы относительно Толстого?...

Казалось бы, повторяю, что общаго? Одинъ — плебей, пролетарій, гражданинъ маленькой республики, гдѣ онъ никогда не имѣлъ ни значенія, ни вѣсу, всю жизнь нищій. Другой — потомокъ барскаго рода, къ услугамъ котораго съ самаго дѣтства были готовы всѣ блага и приспособленія культурной жизни. Одинъ вѣчный скиталецъ, не имѣвшій всю жизнь ни угла, ни пристанища, другой—осѣдлый русскій помѣщикъ. Одинъ самъ называетъ свою жизнь „исключительно счастливой личной жизнью", жизнь другого, безъ преувеличенія, можетъ быть названа исключительно несчастной. Стихія одного—вся масса трудящихся и обремененныхъ, стихія другого—поколѣнія властныхъ и сильныхъ людей, истинныхъ господъ жизни. И вмѣстѣ съ тѣмъ, повторяю, совпаденіе ихъ мыслей часто поразительно, ихъ настроеніе то и дѣло то же самое, ихъ исходный пунктъ одинъ у обоихъ. Я не обѣщаю до конца разобраться въ этой странности, потому что задача моей статьи другая, но я все же постараюсь показать, почему, хотя и разными путями, оба—и Руссо и Толстой—пришли къ обоготворенію того же *равенства* [1]) между людьми.

Путь Толстого — отъ возстанія противъ лжи и условностей культурной общественности, отъ мечты о жизни согласно съ природой, отъ сознанія, что счастье—это быть съ природой, къ увлеченію и даже преклоненію передъ общинно-земледѣльческимъ строемъ и мужикомъ-общинникомъ—чтобы завершиться въ идеалѣ *всемірнаго христіанскаго братства*.

Путь Руссо отъ того же исходнаго пункта, но, конечно, безъ „круга" въ сторону мужика—къ *общественному договору*.

Оба они ненавидятъ всѣ тѣ стѣсненія и оковы, которыя общественная жизнь налагаетъ на человѣка. Обоимъ имъ пришлось вынести тяжелую борьбу за свою инвидуальность, за независимость своего „я". Но не свобода индивидуальности, не свобода личнаго творчества является предметомъ ихъ завѣтныхъ думъ, а, какъ я только что сказалъ — *равенство*. Не интересы культуры, развитія, совершенствованія защищаютъ они и не во имя ихъ они ведутъ своими жгучими и важными словами борьбу съ окружающимъ,—они защищаютъ равенство и ведутъ борьбу за него.

Они въ своемъ конечномъ идеалѣ скорѣе *уравнители*, чѣмъ *упростители*. Равенство людей—ихъ догматъ, ихъ мечта, ихъ идеалъ.

Высшее, художественно-совершенное созданіе барской русской жизни, вмѣстившій въ себя все ея довольство, ея любовь къ природѣ, муки ея совѣсти, привычку къ господству и власти, всѣ ея противорѣчія, всю ея пресыщенность и жажду обновленія, всю ея мораль господъ и „самобичеванія"—Левъ Толстой въ этомъ своемъ обоготвореніи равенства сошелся съ великимъ нищимъ бродягой и скитальцемъ—Руссо.

Муки привилегированной совѣсти и ужасъ смерти довели Толстого

---

[1]) См.—ниже. Пока же замѣчу, что, если въ глазахъ Руссо неравенство было, прежде всего, несправедливостью и *обидой*, то въ глазахъ Толстого—*грѣхомъ*, противъ котораго возмущалась и возмущается еще и теперь его совѣсть. Это два разныхъ отношенія, вызванныя различіемъ происхожденія и соціальнаго воспитанія. Руссо—пролетарій, Толстой—кающійся дворянинъ. И, конечно, уже a priori мы можемъ ожидать отъ Руссо по адресу неравенства больше истиннаго раздраженія и негодованія, чѣмъ отъ Толстого. Для послѣдняго это все же „сладкій грѣхъ", избавиться отъ соблазновъ котораго ему стоило великаго труда и героическихъ усилій.

до этого. Смерть уравниваетъ всѣхъ и въ этомъ истина. Наша задача воплотить эту истину въ жизни и дѣйствительности, какъ воплощена она уже въ идеалѣ всемірнаго христіанства и русской земледѣльческой общины.

Болѣе прямымъ и простымъ путемъ пришелъ къ тому же Руссо. Совѣсти не за что было мучить его, но ненависть, поколѣніями и вѣками накопившаяся въ сердцѣ всѣхъ трудящихся и обремененныхъ, слишкомъ страдавшихъ отъ неравенства стараго европейскаго строя — замѣнила ее. Онъ — человѣкъ запада, человѣкъ дисциплинированной мысли воплотилъ свою мечту въ утопіи маленькой *политической* общины, въ утопіи общественнаго договора.

Пятьдесятъ лѣтъ литературной дѣятельности Толстого—это коренной пересмотръ представленій нашего ума, стремленій нашей воли, правилъ нашего личнаго поведенія и формъ нашего общежитія. За этимъ пересмотромъ, особенно послѣднія 20 лѣтъ, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили не только мы, русскіе люди, но и вся Европа, весь міръ. Передъ лицомъ своего сознанія и совѣсти, „великій писатель земли русской" провелъ едва ли не всѣ вопросы, интересующіе и мучащіе современнаго человѣка—о наукѣ и искусствѣ, о любви къ женщинѣ, о семейной жизни, объ общественной дѣятельности, о правдѣ и неправдѣ нашего времени, о пищѣ и развлеченіяхъ,—и по каждому поводу высказалъ свой приговоръ, часто суровый и прямолинейный, всегда оригинальный и глубокомысленный, подсказанный ему огромнымъ жизненнымъ опытомъ и настойчивымъ, добивающимся до корня дѣла, умомъ.

Толстой въ полномъ смыслѣ этого слова „учитель жизни". Онъ постоянно даетъ совѣты и указанія; онъ громитъ неправду и обличаетъ ложь; не обманываясь спокойной или блестящей внѣшностью, онъ ищетъ того, что скрывается за нею и обыкновенно находитъ неожиданное, возмущающее душу, находитъ рабство и униженіе человѣка, находитъ, какъ, напр. въ нашемъ искусствѣ, — каторжный трудъ тысячъ и даже милліоновъ людей, обезпечивающій пустое и даже вредное развлеченіе богатыхъ и праздныхъ. И въ этомъ случаѣ онъ безпощаденъ...

Исполненный негодованія и обиды за униженнаго человѣка онъ не считается съ нашими предразсудками, привязанностями, кумирами и идолами: рѣзкіе приговоры возмущенной совѣсти, жгучія слова, взывающія къ стыду и раскаянію, упреки и угрозы—вотъ что мы слышимъ отъ него.

И, странно, Толстому въ концѣ концовъ мы прощаемъ все. Нѣтъ человѣка, которому бы мы прощали такъ много, какъ ему. Въ немъ скрыта какая-то стихійная сила очарованія и геніальной наивности. „Огромный онъ",—говоритъ Г. И. Успенскій,—и всѣ мы чувствуемъ, что онъ дѣйствительно огромный. Огромный и влекущій къ себѣ. Часто обижающій своей прямолинейностью, слишкомъ требовательный, онъ подкупаетъ и подчиняетъ своей искренностью. За каждымъ его словомъ чувствуется мучительная работа мысли и совѣсти, чувствуется страстное желаніе сдѣлать счастливой и радостной нашу печальную и унылую жизнь. Только Толстой могъ высказать о наукѣ, искусствѣ, любви къ женщинѣ то, что онъ высказалъ, только онъ имѣлъ право на это, только ему это подходитъ. Каждое его слово „органическое", не выдуманное, не навѣянное, не сказанное къ случаю, а пережитое, вышедшее изъ самой глубини

его существа. Онъ не хочетъ нравиться, онъ хочетъ только говорить правду, что думаетъ и что чувствуетъ. И зная Толстого, мы знаемъ, что его правда должна быть сурова и прямолинейна. „Это человѣкъ хорошаго роста“, писалъ про него когда-то Тургеневъ для своихъ парижскихъ знакомыхъ, „могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенскою жизнью. Не совсѣмъ правильныя черты лица обличаютъ умъ необыкновенный“. Но вѣдь то же самое вы можете сказать и про слогъ Толстого и про всѣ его мысли. И слогъ и мысли одинаково „могучаго сложенія“, „дюжіе“, не совсѣмъ правильные по формѣ, обличаютъ необыкновенный умъ, и въ то же время въ нихъ есть что-то такое особенное, я бы сказалъ „практическое“, „трезвое“, что стремится къ опрощенію, или, что быть можетъ подсказано жизнью, испытавшей всѣ соблазны и уже пресытившейся ими. Это вотъ особенное, что есть у Толстого, исполнено самаго безпощаднаго, часто негодующаго, и зло-саркастическаго отношенія къ нашей расфранченной культурѣ, ея турнюрамъ и фижмамъ, ея бѣлиламъ и румянамъ, ея забавамъ, „ея ужасно важнымъ дѣламъ и вопросамъ“. Толстой часто какъ будто стоитъ въ сторонѣ и печально улыбается, наблюдая, какъ мы живемъ, нервничаемъ, терзаемся, развлекаемся... „Все это пустое, ненужное, все это не то“, говоритъ онъ не только словами своими, но и всей фигурой. „Все это лишнія цѣпи, лишнее бремя и для души каждаго изъ насъ и для массы трудящагося народа. Надо упрощать жизнь, ибо большая часть нашихъ потребностей искусственныя. Они созданы нашимъ барствомъ, прихотями, капризами нашего воображенія, просвѣщенностью. Естественны лишь тѣ потребности, отъ которыхъ зависитъ сохраненіе жизни и ея здоровья. Остальныя искусственны и развратны. Онѣ выросли на почвѣ неравенства, возможности эксплуатировать чужой трудъ. Только этотъ чужой трудъ и возможность безконтрольнаго распоряженія имъ позволяютъ нашей наукѣ тратить главныя силы свои на удовлетворенія пустого любопытства, а нашему искусству — служить потѣхой сытыхъ и праздныхъ и совершенствоваться въ техническихъ тонкостяхъ“... Мы пишемъ цѣлые трактаты объ эстетическомъ воспитаніи общества, носимся съ танцами, музыкой, живописью, а Толстой, для котораго это эстетическое воспитаніе прежде всего въ природѣ,—въ любви къ природѣ, въ пониманіи ея могучей жизнерадостной силы, ея вѣчнаго творчества,—пишетъ на этотъ счетъ вотъ что: „Сотни тысячъ людей съ молодыхъ лѣтъ посвящаютъ всѣ свои силы на то, чтобы выучиться очень быстро вертѣть ногами (танцоры); другіе (музыканты) на то, чтобы выучиться очень быстро перебирать клавиши или струны; третьи на то, чтобы умѣть рисовать красками и писать все, что они увидятъ; четвертые на то, чтобы умѣть перевернуть фразу на всякіе лады и ко всякому слову подыскать риѳму...“ Виртуозы вездѣ замѣняютъ геніевъ и дарованіе. Искусственное вытѣснило естественное и неизбѣжно становится развратнымъ. Наши газеты отводятъ балету столько же мѣста, сколько реформѣ средней школы, и даже больше, а для Толстого „балетъ, въ которомъ полуобнаженныя женщины дѣлаютъ сладострастныя движенія, переплетаются въ разныя чувственныя гирлянды, есть прямо развратное представленіе. Такъ что никакъ не поймешь, на кого это разсчитано“. Въ модной оперѣ Толстой увидѣлъ прежде всего индѣйца въ желтыхъ лаки-

рованныхъ ботинкахъ. Прочтите его изложеніе „Нибелунговъ“ Вагнера и вы будете покатываться отъ смѣху [1]). У насъ написаны вороха книгъ о величіи грековъ. Греки для Толстого „полудикій, рабовладѣльческій народецъ, очень хорошо изображавшій наготу человѣческаго тѣла и строившій приличныя на видъ зданія“. По поводу всей нашей современной литературы онъ сказалъ: „Чего она такъ виртоузничаетъ. Совсѣмъ этого не надо. Пусть проще говорятъ, что признаютъ и что отрицаютъ. Надо бы весь этотъ туманъ словъ и настроеній разогнать какъ-нибудь, а то ничего не видно“. И т. д., и т. д. Печальная улыбка то и дѣло появляется на лицѣ Толстого и постоянно переходитъ въ сердитый и горькій сарказмъ, какъ, напр., во многихъ и во многихъ сценахъ „Воскресенія“. Расфранченной, неискренней, забывшей о народѣ и нервничающей барынѣ—культурѣ жестоко достается отъ „дюжаго“, свыкшагося съ деревенской жизнью, героя-богатыря нашей литературы,—Льва Николаевича Толстого.

Вѣрный своему идеалу самодостаточнаго человѣка, своимъ личнымъ трудомъ удовлетворяющаго свои простыя, т. е. нужныя для поддержанія жизни и здоровья, потребности,—Толстой стремится все упрощать. Нашъ языкъ, наше искусство, наши привязанности, вся наша жизнь представляется ему оторванной отъ своей почвы—жизни народа, ненужно сложной, запутанной, полной лишней суеты, хлопотъ, безтолковыхъ тревогъ, лишнихъ привязанностей и уже совсѣмъ безобразной, возмущающей душу, злобы и жестокости. Надо проще, надо какъ можно ближе къ природѣ, къ естественнымъ потребностямъ, къ естественнымъ влеченіямъ человѣка,—безъ этихъ капризовъ и прихотей, потому что они, эти капризы и прихоти, это утонченное искусство, эти барскія забавы, слишкомъ дорого стоятъ многомилліонной трудящейся массѣ. Сотни тысячъ и милліоны рабочихъ часовъ нужно потратить на то, чтобы индѣйцы продефелировали передъ нами на сценѣ въ желтыхъ лакированныхъ ботинкахъ или чтобы балерины разсыпались передъ нами „букетами и гирляндами“. У насъ все сведено къ совершенству техники, къ блеску внѣшней формы. Техника стала виртуозной, до того сложной, что мы запутались въ ней,—утеряли естественный вкусъ, естественное чутье. Мы уже не знаемъ, что въ дѣйствительности хорошо, и часто напыщенное, фальшивое, неискреннее увлекаетъ насъ гораздо больше дѣйствительно прекраснаго и величаваго въ своей простотѣ произведенія искусства. Надо проще, гораздо проще, ближе къ природѣ. Мы мучаемся надъ вопросомъ: „какъ выбрать?“ „что лучше?“ А между тѣмъ „для человѣка съ неизвращеннымъ вкусомъ, для рабочаго негородского это такъ же легко, какъ легко животному съ неиспорченнымъ чутьемъ найти въ лѣсу или полѣ изъ тысячъ слѣдовъ тотъ одинъ слѣдъ, который нуженъ ему. Животное безъ ошибки найдетъ то, что ему нужно: такъ и человѣкъ, если только естественныя свойства его природы не извращены въ немъ, изъ тысячъ предметовъ безошибочно избираетъ истинный предметъ искусства, который ему нуженъ, заражая его чувствомъ, испытаннымъ художникомъ; но не такъ это для людей съ испорченнымъ воспитаніемъ и жизнью вкусомъ“ [2])... Такъ и вся жизнь.

---

[1]) „Что такое искусство“, стр. 241—243.
[2]) Тамъ же, стр. 163.

Мы внесли въ нее столько извращенныхъ потребностей, такъ усложнили ее, обставивъ столькими условностями естественное проявленіе любого чувства, что блуждаетъ въ ней, какъ въ лабиринтѣ, и совершенно забыли указанія великой матери-природы. А между тѣмъ великая мать-природа зоветъ насъ къ радости и счастью, свободѣ и братству. Помните ли этотъ гимнъ природѣ, травѣ, солнцу, птичьему пѣнію, которымъ Толстой начинаетъ свое „Воскресеніе"? Это гимнъ—одно изъ величайшихъ произведеній „религіознаго" искусства и исповѣданіе вѣры великаго художника,—той вѣры, которую отъ юныхъ дней пронесъ онъ до сѣдинъ черезъ всѣ испытанія жизни, вѣры чистой и радостной, вѣчно юной, какъ вѣчно юно восходящее солнце и вѣчно юны зиждущія силы природы. Дивныя слова: „веселы были и растенія, и птицы, и насѣкомыя, и дѣти. Но люди, большіе, взрослые люди не переставали обманывать и мучить другъ друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота Божьяго міра, данныя для блага всѣхъ существъ,—красота располагающая къ миру, согласію и любви,—а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать другъ надъ другомъ [1]). Умиленіе и восторгъ передъ природой и упрекъ властолюбивому человѣку — это весь Толстой. Прослѣдить зарожденіе этой жажды простого и естественнаго у Толстого, ея развитіе, формы, въ которыя она воплощалась въ разное время — значитъ разгадать поэму и драму его жизни. Потому что въ этомъ главное, центральное, потому что это то, возлѣ чего сосредоточивались всѣ его исканія смысла жизни и средствъ ея обновленія. Въ концѣ концовъ передъ нами рядъ рѣшеній, часто случайныхъ и противорѣчивыхъ, имѣющихъ, однако, какъ суть и ядро свое одинъ общій множитель, который мы можемъ взять за скобки. Это множитель—тотъ же, что у Руссо, у всѣхъ великихъ мечтателей и утопистовъ: *надо жить согласно съ природой и совѣстью, т. е. голосомъ природы внутри человѣка.* Во имя этого начала вся многолѣтняя борьба, все возстаніе противъ культуры и разума, всѣ безпокойныя исканія, весь гнѣвъ на науку, искусство, цивилизацію. И это то, что сдѣлало Толстого учителемъ жизни. Въ его проповѣди, рядомъ съ голосомъ измученной совѣсти, ищущей оправданія и удовлетворенія, рядомъ съ упреками и проклятіями той жизни, которая обращаетъ человѣка въ „средство"—ярко свѣтитъ высшій идеалъ. Этотъ высшій идеалъ — страна вѣчнаго солнца и свѣта, гдѣ всѣ веселы, т. е. живутъ въ радостномъ упоеніи взаимной близостью, братствомъ (т. е. христіанскимъ равенствомъ) и природой.

Таковъ Толстой въ самыхъ общихъ и крупныхъ чертахъ своихъ. Таковъ онъ въ своей безпощадной критикѣ и въ своемъ безпощадномъ отрицаніи окружающаго.

Но таковъ въ сущности и Руссо.

На нашу культуру оба они смотрятъ прежде всего и исключительно съ нравственной точки зрѣнія. Они спрашиваютъ себя: „можетъ ли въ

[1]) Воскресеніе, 2.

современной обстановкѣ, встрѣчая такія-то и такія явленія, совѣсть человѣка быть спокойной и удовлетворенной", и оба рѣшительно отвѣчаютъ „нѣтъ"!

Оба болѣзненно чутки къ неправдѣ общественныхъ отношеній и эта чуткость заставляетъ ихъ добираться до корня и сути вещей, до вопроса о томъ, чьимъ трудомъ обезпечена жизнь и счастье привилегированнаго меньшинства?

Какъ моралисты они не вступаютъ ни въ какіе переговоры со зломъ жизни. Зло есть зло. Никакія объясненія не могутъ оправдать его. Зло заслуживаетъ негодованія, проклятія, уничтоженія.

Оба не признаютъ никакихъ историческихъ толкованій. Историческая точка зрѣнія не свойственна ихъ уму. Зло, которому 1000 лѣтъ отъ роду нисколько не выигрываетъ отъ этого въ ихъ глазахъ. Хотя бы ему было и милліонъ лѣтъ, хотя бы въ основѣ его лежали тысячи смягчающихъ или оправдывающихъ вину обстоятельствъ — мириться съ нимъ нельзя.

Ихъ критика безпощадна и прямолинейна.

Она прямолинейна потому, что всякій фактъ, всякое явленіе жизни приводитъ къ трибуналу совѣсти. Совѣсть же никакого человѣческаго страданія, происходящаго въ интересахъ другого человѣка, оправдать не можетъ.

Она прямолинейна потому, что въ голосѣ своей совѣсти и Руссо и Толстой видятъ истинный, неподкупный голосъ природы, которая въ ихъ глазахъ осуществленная истина, добро и красота.

Она прямолинейна потому, что имѣетъ своимъ источникомъ представленіе о естественномъ человѣкѣ и о естественномъ правѣ. Естественный человѣкъ это прежде всего абсолютно свободный человѣкъ, поступающій лишь по велѣнію своего самозаконнаго нравственнаго сознанія, ни у кого не находящійся въ подчиненіи и никого не держащій въ кабалѣ; естественное право не дѣлаетъ уступокъ исторической необходимости, не считается съ процессомъ развитія и приспособленія. Оно основано не на сознаніи того что есть и было, а того что *должно* быть. Это „должно быть" нигдѣ въ дѣйствительности не осуществлено. Отсюда прямой выводъ, что дѣйствительность есть зло. Ихъ критика прямолинейна потому, что культурныя блага и завоеванія оцѣниваются ими прежде всего съ точки зрѣнія трудящейся массы.

И потому, наконецъ, что, по ихъ убѣжденію, главнымъ врагомъ свободы личности и счастья всѣхъ является принципъ частной собственности...

Ихъ разладъ съ окружающимъ начался очень рано и мнѣ необходимо остановиться съ возможной подробностью на первомъ его проявленіи. Толстой сразу же разошелся съ кружкомъ прославленныхъ петербургскихъ литераторовъ 50-хъ годовъ, куда онъ вступилъ своимъ человѣкомъ, Руссо— съ парижскими философами. И оба они пошли своей дорогой, дорогой великихъ, одинокихъ людей...

Отношеніе къ высшимъ представителямъ культуры.

Южный Сенъ-Прэ [1]), попавши въ Парижъ 24 лѣтъ, т. е. почти въ томъ же возрастѣ, какъ Толстой въ Петербургъ и, познакомившись съ кружками философовъ, литераторовъ, писалъ своей возлюбленной Юліи: „здѣсь, въ Парижѣ, восхищаютъ прежде всего знанія и умъ, которыми блещутъ бесѣды не только ученыхъ литераторовъ, но людей всѣхъ состояній и даже женщинъ; тонъ ихъ разговора простъ и плавенъ, онъ отличается ученостью безъ педанства, онъ веселъ безъ шума, искрененъ безъ натянутости". Но серьезный Сенъ-Прэ не поддается очарованію и сейчасъ же спрашиваетъ себя: „но чему же, въ сущности, поучаютъ эти бесѣды"? Научаютъ ли онѣ здраво судить о міровыхъ дѣлахъ, объ общественной пользѣ или, по крайней мѣрѣ, онѣ сближаютъ людей между собой? „Ничего подобнаго, моя Юлія: онѣ учатъ ловко защищать дѣло неправды и разрушать при помощи философіи всѣ основанія добродѣтели; онѣ учатъ прикрашивать такими софизмами свои страсти и предразсудки и давать заблужденію модный видъ". Утомленный этимъ развратомъ слова, Сенъ-Прэ восклицаетъ въ концѣ письма: „до сихъ поръ я видѣлъ много масокъ, когда же увижу людей"?,. Онъ старается, однако, поближе присмотрѣться къ салонной жизни и вотъ странное обидное, что онъ постоянно встрѣчаетъ: „Меня, въ этихъ избранныхъ обществахъ—разсказываетъ онъ Юліи въ дальнѣйшихъ письмахъ, особенно поражаетъ то, что, если между гостями и выдѣлится человѣкъ 6, чтобы пріятно провести время, то они, несмотря на свою близость, не могутъ провести часу безъ того, чтобы не привлечь къ своему разговору половины Парижа. Какъ будто имъ нечего сказать о себѣ другъ другу и будто между ними нѣтъ никого, кто бы заслуживалъ вниманія". Старушонка сплетня, забравшаяся въ компанію философовъ, очень оскорбляетъ, какъ видите, строгаго Сенъ-Прэ. Лично онъ не выноситъ злого, металлическаго блеска ея глазъ, сдержанной улыбки, полныхъ яду замѣчаній, высказанныхъ съ видомъ дѣтской наивности и доброжелательства, ея шопота, подавленнаго смѣха, ея злораднаго веселья. Онъ бы съ радостью удалился къ себѣ въ Валлійскую деревню, въ среду простыхъ и молчаливыхъ людей, своимъ трудомъ обезпечивающихъ себѣ скромную жизнь, но жажда все знать и отдать себѣ отчетъ въ томъ, что происходитъ на міровой сценѣ Парижа, заставляетъ его смотрѣть пристальнѣе, слушать больше. „Здѣсь, пишетъ онъ предмету своихъ думъ и вожделѣній, все той же Юліи—вся мораль есть одно пустословіе, можно быть строгимъ въ теоріи, не опасаясь ея примѣненія на практикѣ". „Любимымъ предметомъ ихъ мирныхъ бесѣдъ служитъ чувство: однако, подъ этимъ словомъ не надо понимать сердечнаго изліянія любви или дружбы,—это было бы въ высшей степени „пошло": они разсматриваютъ чувство въ смыслѣ великихъ общихъ началъ, причемъ это понятіе проходитъ сквозь квинтъ-эссенцію всѣхъ метафизическихъ тонкостей... Могутъ сказать, что я никогда въ жизни не слыхалъ такихъ

[1]) Герой „Новой Элоизы". Романъ этотъ написанъ Руссо въ промежутокъ 1757—1761 гг. Цитируя по переводу Кончаловскаго.

многословныхъ трактатовъ о чувствѣ. Никогда я меньше не понималъ того, что говорили о немъ. О, Юлія! Наши грубыя сердца не знали ничего изъ этихъ прекрасныхъ истинъ; но я опасаюсь, что свѣтскіе люди такъ же мало понимаютъ чувство, какъ ученый педантъ—Гомера; они приписываютъ ему тысячи воображаемыхъ красотъ, не замѣчая дѣйствительныхъ. Такимъ образомъ все свое чувство они тратятъ на умъ и столько проявляютъ его въ разговорахъ, что у нихъ не остается его для примѣненія въ жизни. Къ счастію чувство замѣняется здѣсь приличіемъ и они дѣлаютъ изъ приличія почти то же, что заставляетъ человѣка дѣлать чувствительность, по крайней мѣрѣ, въ томъ случаѣ, когда доброе дѣло не требуетъ особенныхъ неудобствъ, которымъ и подчиняются, чтобы заставить хорошо говорить о себѣ; но, когда требуется продолжительная жертва. тогда прощай чувство—приличіе не идетъ такъ далеко". Очевидно, что Сенъ-Прэ постепенно добрался или добирается до корня вещей—до *тщеславія* и *приличія*, которыя и являются истинными руководителями всесвѣтныхъ философовъ, все равно, какъ выгода и тщеславіе являются, по мнѣнію юнаго Толстого, истинными руководителями петербургскихъ литераторовъ. Дальше Сенъ-Прэ опять возвращается къ разврату слова: „ихъ языкъ—говоритъ онъ, есть не что иное, какъ пустая формула, по которой можно судить не о нравахъ, а только о тонѣ, который господствуетъ въ Парижѣ. Такимъ образомъ можно научиться ихъ разговорамъ, но по нимъ нельзя опредѣлить ихъ характера"... Грозныя негодующія ноты начинаютъ все больше проникатъ въ его разсказы: „Съ какой стороны ни разсматривать эту жизнь, въ ней все представляется болтовней, вздоромъ, словами, не имѣющими никакого значенія. На сценѣ, какъ и въ свѣтѣ, съ какимъ вниманіемъ ни слушай, ничего не узнаешь, что тамъ происходитъ. Да и нужно ли знать? Разъ человѣкъ хорошо говоритъ, къ чему справляться объ его поступкахъ,—не все ли онъ сдѣлалъ? Развѣ не по словамъ судятъ о немъ? Здѣсь честнымъ человѣкомъ считается не тотъ, кто совершаетъ честные поступки, но тотъ, кто хорошо говоритъ"...

Свободны ли по крайней мѣрѣ эти тщеславные, кичащіеся своимъ разумомъ краснорѣчивые люди? Нѣтъ, въ дѣйствительности они рабы и только рабы. Они и въ цѣпяхъ общественнаго мнѣнія и въ кабалѣ у него. „Трудно повѣрить",—пишетъ Сенъ-Прэ,—„до какой степени все, что они называютъ поступкомъ, измѣрено, опредѣлено и взвѣшено; все, что исходитъ изъ области чувства, подведено подъ извѣстныя рамки... Ни одинъ человѣкъ не смѣетъ быть самимъ собой. Первое правило общественной мудрости заключается въ формулѣ: надо поступать такъ, какъ поступаютъ другіе. Слова „это принято, это не принято" составляютъ верховный кодексъ житейской мудрости".

Увлеченный бурнымъ потокомъ своей личной жизни, Сенъ-Прэ даетъ лишь общую характеристику парижской жизни и жизни прославленныхъ философовъ. Но его сарказмы, его тонкая, не столько злая, сколько *печальная* иронія позволяютъ намъ заглянуть въ темныя глубины кальвинистской души самого Руссо, его тоску при видѣ себя окруженнымъ жизнью, оторвавшеюся отъ Бога и природы,—и людьми, построившими всѣ свои поступки и стремленія на тщеславіи и красивомъ словѣ. Все

это заслуживаетъ полнаго вашего вниманія. Здѣсь — обратная сторона медали, обратная сторона великаго вѣка „просвѣщенія“ и всякаго вѣка, гдѣ исканія прекраснаго и справедливаго не слиты между собой...

„Здѣсь—продолжаетъ Сенъ-Прэ [1])—гдѣ вся мораль есть одно пустословіе, можно быть строгимъ, въ теоріи, не опасаясь ея примѣненія, и никто не разсердится, если, желая смирить гордость философа, ставятъ добродѣтель на такую высоту, что даже самый мудрый человѣкъ не можетъ ея достигнуть. Наконецъ, здѣсь всѣ, какъ мужчины, такъ и женщины, наученные свѣтскимъ опытомъ и особенно руководясь своею совѣстью, имѣютъ самое дурное представленіе о человѣческомъ родѣ вообще; ихъ мрачная философія изъ тщеславія унижаетъ человѣческую природу, всегда отыскивая въ какомъ-нибудь порокѣ причину хорошаго поступка; такимъ образомъ они на основаніи своей испорченности, клевещутъ на сердце человѣка вообще, оправдываютъ такимъ образомъ собственныя дурныя дѣла и даже получаютъ право считать себя лучше и выше другихъ“...

Искренній тонъ приведенныхъ строкъ достаточно ясно говоритъ намъ, что со стороны Руссо это не простая бутада. Здѣсь слышится рядомъ съ возмущеніемъ — печаль и тоска. Какъ могутъ на самомъ дѣлѣ люди, чьимъ умомъ и изрѣченіями восхищается весь міръ — довольствоваться въ своей жизни лишь правилами приличія и считать себя хорошо и честно живущими, разъ общественное мнѣніе на ихъ сторонѣ?..

Возмущеніе Руссо вызвано жизнью культурныхъ классовъ общества. Отъ этихъ культурныхъ классовъ онъ не отдѣляетъ и той группы, которая составляла ихъ гордость и дѣйствительную красоту—группу философовъ. Быть можетъ, это односторонне, быть можетъ, это крайность, — но если это и такъ, то все же и крайность и односторонность *сверхъ—личны*, если можно такъ выразиться. И въ нихъ слышенъ голосъ эпохи, слишкомъ уже ясно предчувствующей дни обновленія и живущей ими. Среди софистовъ, съ которыми враждовалъ Сократъ, среди блестящихъ представителей гуманизма или французскаго просвѣщенія или нашего барства, нашихъ „людей 40-хъ годовъ“, съ которыми, въ свою очередь, враждовали Ноксъ и Кальвинъ, Руссо и нашъ Чернышевскій, были несомнѣнно геніальные люди, но все же Серветъ для Кальвина — преступникъ достойный костра, les Holbachiens [2]) для Руссо — шулеры слова и мысли, а о нашихъ людяхъ 40-хъ годовъ, то есть цвѣтѣ нашей старо-барской интеллигенціи Чернышевскій отозвался такъ: „что вы, — говорилъ онъ Герцену, — заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ, дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тунеядцевъ à la Онѣгинъ... Извольте видѣть, они образовались *иначе;* имъ міръ, ихъ окружающій слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ... замараетъ руки, замараютъ ноги... То ли дѣло стонать въ несчастномъ положеніи и при томъ спокойно ѣсть и пить“...

Сенъ-Прэ выражается еще не такъ рѣзко, но все же тѣхъ добавленій, которыя сдѣлалъ къ его характеристикѣ Руссо („Confessions“,

[1]) Новая Элоиза, ч. II, письмо XVII.

[2]) Всѣхъ своихъ враговъ философовъ Руссо прозвалъ „гольбаховцами“ — послѣдователями совсѣмъ неученаго барона Гольбаха. Въ этой кличкѣ, особенно, если оттѣнять послѣдній слогъ, есть много злого и презрительнаго: chiens — собаки.

livre XII) я приводить не буду: въ нихъ дѣйствительно слишкомъ уже слышны личная обида и личное раздраженіе болѣзненно подозрительнаго, хотя все же до конца геніальнаго человѣка.

Но вотъ болѣе стройныя, хотя одинаково правдивыя строки, написаны Эмилемъ („Emile et Sophie ou les solitaiares") послѣ двухлѣтняго пребыванія въ парижскихъ салонахъ: „Мое сердце, — пишетъ Эмиль своему бывшему воспитателю,—незамѣтно изнашивалось... Оно становилось холоднымъ и безсильнымъ. Моральный и чувствительный жаргонъ занялъ у меня мѣсто дѣйствительнаго чувства. Я сталъ человѣкомъ любезнымъ безъ нѣжности, стоикомъ безъ добродѣтели, мудрецомъ, занятымъ глупостями,—отъ вашего Эмиля во мнѣ не осталось ничего, кромѣ имени и фразъ (К. Карелинъ, ц. к., стран. 87).

...Послѣ севастопольской компаніи Толстой вернулся въ Петербургъ и вошелъ своимъ человѣкомъ въ высшіе литературные круги. Его ласкали, за нимъ ухаживали, но самъ онъ былъ настроенъ рѣзко и непримиримо. Во всемъ онъ видѣлъ неискренность, лицемѣріе, красивыя фразы, скрывавшія отсутствіе убѣжденій, и все это высказывалъ прямо въ глаза всѣмъ и каждому.

„Я, разсказываетъ Фетъ, только разъ видѣлъ Льва Николаевича Толстого вечеромъ у Некрасова, и съ первой же минуты замѣтилъ въ молодомъ Толстомъ рѣшительную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій".

„Я не могу признавать, говоритъ, напримѣръ, Левъ Николаевичъ Тургеневу, что высказанное вами, было вашимъ убѣжденіемъ. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: „Пока я живъ, никто сюда не войдетъ". Вотъ это убѣжденіе. А вы другъ отъ друга стараетесь скрыть сущность вашихъ мыслей и называется это убѣжденіемъ".—„Зачѣмъ же вы къ намъ идете?" задыхаясь спрашиваетъ Тургеневъ. „Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! И праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденія".

Очевидно, Толстой относился къ петербургскимъ литераторамъ съ той же точки зрѣнія, какъ Сенъ-Прэ къ парижскимъ философамъ, — только гораздо болѣе рѣзко и вызывающе. Какъ разъ это подтверждаютъ и воспоминанія Григоровича: „Вы себѣ представить не можете, какія тутъ (на вечерахъ у Некрасова) были сцены... Ахъ, Боже мой! Тургеневъ пищитъ, пищитъ, зажметъ рукою горло и съ глазами умирающей газели прошепчетъ: „Не могу больше. . у меня бронхитъ. — Бронхитъ... ворчитъ Толстой вслѣдъ. — бронхитъ — воображаемая болѣзнь... бронхитъ—это металлъ"... У Некрасова душа замираетъ"... Въ предупрежденіе катастрофы Д. Григоровичъ подходитъ къ Толстому: „Голубчикъ Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, какъ онъ васъ цѣнитъ и любитъ! — Я не позволю ему ничего дѣлать мнѣ на зло, говоритъ Толстой съ раздувающимися ноздрями. — Это вотъ онъ нарочно теперь ходитъ взадъ и впередъ мимо меня и виляетъ своими демократическими ляжками"... Демократическія ляжки... это рѣзко и грубо, но, мнѣ кажется, стоитъ, да оно

и не трудно отдать себѣ ясный отчетъ въ этомъ выраженіи. Убѣжденія въ Тургеневѣ Толстой отрицалъ, но признавалъ, какъ видно, „демократическія ляжки", обладающія къ тому же способностью вызывающимъ образомъ „вилять". О какихъ тутъ убѣжденіяхъ могла итти рѣчь въ кружкѣ передовыхъ литераторовъ средины 50-хъ годовъ — это понятно. То была эпоха народности, народничанья, народолюбія. Вопросъ о крестьянахъ былъ у всѣхъ на умѣ и на языкѣ. Всѣ говорили о великихъ силахъ, таящихся въ народной массѣ, о великихъ качествахъ сердца, сохраняемыхъ русскимъ мужикомъ, о скрытыхъ въ немъ талантахъ, о его приверженности къ Божьей правдѣ и пр., и пр. Тургеневъ былъ несомнѣнно однимъ изъ самыхъ краснорѣчивыхъ ораторовъ на эти темы. Не даромъ же онъ заканчивалъ въ это время свои „Записка Охотника" и приводилъ этимъ въ исполненіе свою великую ганнибалову клятву — бороться со своимъ врагомъ, крѣпостнымъ правомъ, до его послѣдняго издыханія. И онъ говорилъ на вечеринкахъ то же, конечно, что высказывалъ постоянно въ своихъ письмахъ этого времени, — что русскому народу надо отдѣлаться отъ рабства, что только при свободномъ строѣ развернутся его богатыя силы, что онъ, Тургеневъ, любитъ этотъ простой народъ, вѣритъ въ его будущее и т. д.

Такимъ убѣжденіямъ Толстой не вѣрилъ. Такое народолюбіе казалось ему слишкомъ „словеснымъ", ни къ чему не обязывающимъ, разрѣшающимся лишь въ прянныхъ словахъ. Онъ называлъ убѣжденіемъ лишь ту мысль, которую человѣкъ воплощаетъ въ своихъ поступкахъ, проводитъ въ жизнь. Если ты любишь народъ, иди и живи съ нимъ, учи его и учись у него; если ты считаешь народъ лучше, выше, нравственнѣе интеллигенціи, живи такъ, какъ живетъ мужикъ, какъ живетъ вся эта сѣрая масса. Вотъ что дѣйствительно можно назвать демократическими убѣжденіями; а разъ все ограничивается словами, — то нѣтъ демократическихъ убѣжденій, а есть только демократическія ляжки.

Впослѣдствіи, черезъ 25 лѣтъ, Толстой собралъ воедино петербургскія впечатлѣнія своей юности, и вотъ картина, какая вышла изъ-подъ его пера:

„Мнѣ, — разсказываетъ гр. Толстой, — было 26 лѣтъ, когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли, какъ своего, льстили мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы, художники, поэты. Наше призваніе учить людей, не зная чему: художникъ-де и поэтъ учатъ безсознательно. Я считался чуднымъ художникомъ и поэтомъ и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я, художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартиры, женщины, общество, у меня была слава: значитъ то, чему я училъ, было хорошо. Теорія эта о развитіи жизни и значеніи поэзіи была вѣра, и я былъ однимъ изъ жрецовъ ея. Быть жре-

цомъ ея было очень пріятно и выгодно. И я довольно долго жилъ въ этой вѣрѣ, не сомнѣваясь въ ея искренности. Но на второй и особенно на третій годъ такой жизни я сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою. Одни изъ нихъ говорили: „Мы самые хорошіе и полезные учители; мы учимъ тому, что нужно, а другіе учатъ неправильно". А другіе говорили: „Нѣтъ, мы настоящіе, а вы учите неправильно". И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга.

Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ. Я понялъ, что въ своемъ самообольщеніи мы не замѣчали, что ничего не знаемъ, что мы не знаемъ самаго главнаго, что на самый простой и, вмѣстѣ, естественно важный—вопросъ жизни: что хорошо, что дурно — мы, не умѣемъ найти никакого точнаго отвѣта. И вотъ мы, не зная этого единственно важнаго въ жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая другъ друга, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга, съ тѣмъ, чтобы и меня похвалили, иногда же раздражаясь другъ противъ друга — совершенно, какъ въ сумасшедшемъ домѣ. И я, смутно чувствуя ложь эту, не зная, гдѣ истина, страдалъ, но не имѣлъ духа отречься отъ тщеславнаго чина художника, поэта, учителя, — и гордость моя, и сумасшедшая увѣренность, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему, все болѣе и болѣе болѣзненно развивались. Такъ я ждалъ, предаваясь этому безумію, еще шесть лѣтъ".

Какъ это рѣзко, какъ это прямо и въ сущности какъ это близко къ истинѣ, особенно, если мы припомнимъ словесный, неискренній характеръ литературы 50-хъ годовъ, къ счастью, уже сходившей со сцены и очищавшей свое мѣсто другой, гдѣ слова дѣйствительно соотвѣтствовали убѣжденію, гдѣ вся совокупность ихъ и ими выраженныхъ любви, ненависти, нравственныхъ обязательствъ обращались въ исповѣданіе вѣры, въ религію... Какъ бы то ни было, слишкомъ даже ясно, чего искалъ Толстой въ человѣкѣ. Онъ искалъ правды и органическаго, то-есть такого, что дѣйствительно руководитъ имъ, что управляетъ его жизнью. Но вмѣсто этой правды, этого органическаго, онъ находилъ ложь и лицемѣріе или пустыя красивыя слова, которыя никого ни къ чему не обязывали. Ну, что на самомъ дѣлѣ значили демократическія тирады, кто самъ въ ту же самую минуту былъ рабовладѣльцемъ и наказывалъ, продавалъ, закладывалъ и перезакладывалъ своихъ крестьянъ? Въ глазахъ Толстого они не значили ничего и были лишь обидой и оскорбленіемъ нравственному достоинству человѣка. Онъ видѣлъ передъ собой странное, но обычное для культурной жизни зрѣлище—видѣлъ стихію слова, отдѣлившуюся отъ стихіи человѣка. Слово стало жить самостоятельною жизнью. Оно складывалось въ фразы, періоды, звучало любовью и ненавистью, ласкало слухъ своими нѣжными звуками, волновало сердце, тревожило умъ, вызывало смѣхъ, негодованіе,—и, странно, за этимъ словомъ не видно было человѣка—или еще чаще—человѣкъ, творецъ этого слова, былъ совершенно чуждымъ и постороннимъ своему порожденію. Слово стало маской человѣка, средствомъ скрывать настоящія свои влеченія, все то органическое, стихійное, что, однако, руководитъ поступками, опредѣляетъ жизнь, т. е.

природу. И рѣзко, грозно возсталъ Толстой противъ этого разврата, проявляя свою огромную, непримиримую требовательность къ окружающему.

Люди высшей культуры не удовлетворяли Толстого, какъ не удовлетворяла его въ концѣ концовъ и высшая культурная работа — писательство. Въ то время онъ только смутно начиналъ заподозрѣвать его правоту. Его могучая, яркая, вылитая изъ бронзы индивидуальность не укладывалась въ обычныя рамки. Его тѣшили похвалы, восторги, лесть, — но жить ими онъ не могъ. Эта стихія слова, оторвавшаяся отъ стихіи жизни, смущала его. Онъ чуялъ въ ней что-то неправое, какое-то „преступленіе" противъ истинныхъ требованій природы, чуялъ въ ней что-то стѣсняющее истинную свободу человѣка. Не въ этомъ, т. е. въ словахъ и писательствѣ, или не только въ этомъ должна проявляться личность и не такъ, какъ она проявлялась въ 50-хъ годахъ. Вѣдь все это время, онъ находился уже подъ обаяніемъ природы, ея красотъ и той человѣческой жизни, которая близка къ природѣ. Своими „Казаками" подчеркнулъ онъ это, и въ этой повѣсти больше всего фигурой дяди Ерошки...

Но согласитесь ли вы признать теперь вмѣстѣ со мной, что въ этомъ захваленномъ литераторѣ, человѣкѣ высшаго круга 26-и 28-и лѣтнемъ графѣ Л. Н. Толстомъ растетъ и зрѣетъ какая-то огромная мысль; какой-то важный и серьезный голосъ твердитъ ему постоянно, что окружающая его жизнь, какъ ни пріятна она ему лично, — „не то", что она призракъ и ложь рядомъ съ той дѣйствительно истинной, жизнью, которая одна можетъ удовлетворить человѣка... Толстой недоволенъ, говоритъ рѣзко, часто грубо, не изъ-за желанія обидѣть другихъ, а потому, что онъ недоволенъ собой... Могучее и неотразимое чувство тянетъ его въ другую среду, другую обстановку...

И, конечно, здѣсь, въ этомъ возстаніи противъ условностей литературной жизни и литературной профессіи начало пути, начало потока. Отчасти въ севастопольскихъ разсказахъ, а больше всего въ *Казакахъ*, Толстой уже, какъ первое и самое важное, выдвигаетъ на сцену самого себя, свое гордое „я". И это „я", хотя одинокое, но могучее, полное необыкновенныхъ силъ, возстаетъ противъ общепринятаго, противъ того, что даетъ удовлетвореніе и счастіе другимъ.

Жизнь согласно съ природой.

Возстаніе противъ культуры во имя природы, противъ искусственной во имя естественнаго, противъ *внѣшняго* человѣка, скрытаго словами, приличіями, вѣжливостью, условностью и всѣми доспѣхами цивилизованной лжи во имя человѣка *внутренняго*;—противъ роскоши во имя простоты нравовъ и добродѣтели,—противъ знанія, питающаго пустое любопытство и ребяческую любознательность во имя знанія отвѣчающаго на вопросы „какъ жить и что дѣлать?"; -- противъ разсудка во имя инстинкта и непосредственнаго чувства,—весь этотъ рядъ мелкихъ стычекъ и случайныхъ замѣчаній, великолѣпныхъ трактатовъ и крупныхъ битвъ съ философами и раціоналистами,—все это и у Руссо и у Толстого вращается возлѣ главной оси ихъ мысли и воли,—возлѣ ненависти къ разврату, порожденному

неравенствомъ. Въ нихъ обоихъ много пуританскаго, кальвинистскаго—я бы сказалъ даже раскольничьей или сектантской нетерпимости. Чистота, правда, искренность жизни—вотъ чего они ищутъ, что проповѣдуютъ, къ чему стремятся.

Главный, исконный врагъ ихъ—это *развратъ* жизни, корни котораго въ *неравенствѣ* людей. Источникъ ихъ возмущеннаго вдохновенія—въ борьбѣ съ нимъ, въ ненависти къ нему. Это тотъ чортъ, который всегда и всюду преслѣдуетъ ихъ, который имъ мѣшаетъ на каждомъ шагу. Они видятъ его въ театрѣ, въ романахъ, въ музыкѣ, въ наукѣ, въ общественной жизни культурныхъ классовъ, въ лжи, облѣпившей современнаго человѣка и затягивающей его въ свое болото.

Они борются съ развратомъ и только съ развратомъ. Развратомъ же въ концѣ концовъ они считаютъ не только жизнь, полную искусственныхъ потребностей, но и всякую жизнь вообще, созданную общественнымъ неравенствомъ, привиллегіями, возможностью эксплуатировать для себя чужой трудъ. Это самый важный пунктъ ихъ ученія, ихъ проповѣди.

Они понимаютъ подъ развратомъ все, что мѣшаетъ человѣку быть самимъ собой, что заставляетъ его лгать, унижаться, лицемѣрить. Искусственный культурный человѣкъ въ ихъ глазахъ прежде всего лжецъ и развратникъ. Онъ лжетъ изъ-за выгоды и расчета, изъ тщеславія, изъ страха, онъ лжетъ ради соблюденія приличій. Онъ одинаково лжетъ въ своихъ словахъ и поступкахъ. Онъ лжетъ и всею жизнью своей, потому что это жизнь на чужой счетъ, за счетъ чужого труда и чужого счастья. То, что въ немъ дѣйствительно истиннаго—его натура, стихійныя его влеченія, его инстинктъ и непосредственное чувство молчатъ въ немъ. Они задавлены воспитаніемъ, страхомъ жизни, сѣтью приличій и обычаевъ, сводомъ узаконеній, стремленіемъ къ власти, богатству, почестямъ.

Истина жизни въ томъ, чтобы быть самимъ собой и отдѣлаться отъ великаго гипноза культурной обстановки, ея внушеній, удаляющихъ отъ простыхъ потребностей, замѣнившей природу безобразными каменными лабиринтами городовъ, непосредственную радость жизни—скрытымъ карьеризмомъ или жестокой борьбой за существованіе...

Только что поселившемуся на Кавказѣ артиллерійскому юнкеру Оленину (одному изъ воплощеній Толстого) какъ нельзя болѣе „ясною казалось та ложь, въ которой онъ жилъ прежде и которая уже тамъ (въ столицѣ) возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смѣшна"...

„Какъ мы всѣ гадки и жалки, пишетъ онъ своимъ московскимъ пріятелямъ.—Вы знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собою: вѣчные, неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была выйти первая женщина, изъ рукъ своего Творца, — и тогда ясно станетъ, кто себя губитъ, кто живетъ въ правдѣ или во лжи, вы, или я. Когда бы Вы знали, какъ мнѣ мерзки и жалки вы въ своемъ обольщеніи! Мнѣ пишутъ письма соболѣзнованія, боятся, что я погибну, зарывшись въ этой глуши; говорятъ про меня: онъ загрубѣетъ, отъ всего отстанетъ, и, чего добраго, женится на казачкѣ. Какъ страшно! Въ самомъ дѣлѣ не погубить бы мнѣ себя, тогда какъ на мою долю могло

выпасть великое счастье стать мужемъ графини Б., камергеромъ или дворянскимъ предводителемъ... Поймите одно или вѣрьте одному: надо видѣть и понять, что такое правда и красота, и въ прахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія. Счастье это быть съ природою, видѣть ее, говорить съ нею"...

Истинный герой казаковъ—дядя Ерошка великолѣпный экземпляръ естественнаго человѣка. Онъ разговариваетъ, пока говорится, и любитъ, пока любится. Никакихъ обязательствъ и никакого подчиненія ни людямъ, ни идеямъ. Онъ самъ, всегда самъ, „какимъ вышелъ изъ рукъ Творца". Правда, онъ немножко лукавитъ съ бариномъ Оленинымъ и обираетъ его; но что станете дѣлать, если тотъ самъ напрашивается на такія операціи? Продѣлываетъ все это дядя Ероша насмѣшливо и свысока. Собой онъ не торгуетъ—нѣтъ. Всегда и во всемъ, повторяю, онъ самъ. Что хочу—вотъ его законъ. Цѣльность личности, прямолинейность и неподкупность ея въ немъ полная, и вотъ человѣкъ, на котораго, и даже на чье слово, можно положиться. Не ради тщеславія и своихъ извращенныхъ потребностей живетъ онъ. Могучая, просторная природа нашла въ немъ временное свое воплощеніе и только ея голосу покоренъ онъ. Покоренъ во всемъ зломъ и добромъ,—больше добромъ, потому что природа для Толстого добра и прекрасна. Не даромъ этотъ самый Ерошка отгоняетъ отъ огня бабочку, онъ, который выставляетъ едва ли не верховнымъ правиломъ жизни свое наивное и глубокомысленное „хучь съ звѣря примѣръ взять"...

„Жизнь Ерошки такъ же, какъ жизнь полудикихъ чеченцевъ, наполнена любовью къ природѣ, праздности, грабежу и войнѣ. Онъ самъ говоритъ о себѣ съ простодушной гордостью: „я молодецъ, пьяница, воръ, охотникъ... Я человѣкъ веселый, я всѣхъ люблю, я—Ерошка.

„Это безсознательный русскій философъ-циникъ. Онъ чувствуетъ себя столь безгранично свободнымъ, какъ и русскій баринъ Оленинъ. Также ничего не признаетъ и ни во что не вѣритъ. Живетъ внѣ человѣческихъ законовъ, внѣ добра и зла. Татарскіе муллы и старовѣры уставщики возбуждаютъ въ немъ одинаково спокойную презрительную насмѣшку.

„По моему—все одно. Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хоть съ звѣря примѣръ возьми. Онъ и въ татарскомъ камышѣ, и въ нашемъ живетъ. Что Богъ далъ, то и лопаетъ. А наши говорятъ, что за это мы будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, что все одна фальшь. Сдохнешь—трава выростетъ.

„Онъ умѣетъ быть по своему добрымъ и нѣжнымъ. Любитъ онъ все живое, всякую Божью тварь... Онъ отгоняетъ ночныхъ бабочекъ, которыя вьются надъ колышущимся огнемъ свѣчи и попадаютъ въ него. „Дура, дура! Куда летишь? Дура, дура! Онъ приподнялся и своими толстыми пальцами сталъ отгонять бабочекъ" (Д. С. Мережковскій „Левъ Толстой и Достоевскій" т. I стр. 24—25).

Эти казаки и этотъ дядя Ерошка должны пріобрѣсти въ нашихъ глазахъ особенное значеніе, если мы припомнимъ, что въ это время (т. е. въ пятидесятые годы) вопросы *паденія* человѣка подъ вліяніемъ культурнаго разврата и того привиллегированнаго положенія, которое позволяетъ ему, ничего не дѣлая, жить на чужой счетъ, особенно интересовали Толстого. Имъ посвятилъ онъ цѣлую серію превосходныхъ разсказовъ, объединен-

мыхъ общей идеей. Здѣсь, въ разсказѣ маркера — трагическая судьба юноши Нехлюдова, котораго затянули трактиръ и билліардъ и довели до самоубійства. Въ „Двухъ Гусарахъ“ — ярко выступаетъ до корня волосъ испорченный и развращенный юноша, самый низкій образецъ развратника— развратникъ разсчетливый. Въ „Привалѣ“—говоритъ и дѣйствуетъ культурный проходимецъ, дрянный и тщеславный, хамъ и лакей до глубины души, несмотря на свое образованіе и т. д.

Культурный человѣкъ вездѣ противопоставляется человѣку природы. крестьянину, простому солдату и всегда къ невыгодѣ своей.

Это больше чѣмъ демократизмъ и народолюбіе; это жажда искреннихъ чувствъ и правдивой жизни.

Это возстаніе противъ разврата и лжи.

Читая „Казаковъ“, вы въ каждомъ словѣ Ерошки, Лукашки, Марины чувствуете столько здоровья, столько свѣжаго воздуха, столько простора и шири, столько „я самъ человѣкъ“ въ каждомъ звукѣ, произнесенномъ имъ, въ каждомъ его движеніи,—что это чтеніе какъ бы выводитъ васъ изъ духоты въ степь, лѣсъ, на берегъ рѣки, въ горную долину. Каждое слово примитивныхъ героевъ Толстого здорово, сильно, оно пахнетъ травой и лѣсомъ, оно правдиво, потому что въ немъ—„*самъ* человѣкъ и *весь* человѣкъ“.

Около нихъ рядъ культурныхъ проходимцевъ, юркихъ, тщеславныхъ, озлобленныхъ и, несомнѣнно, дрянныхъ особенной дрянностью безсильныхъ и похотливыхъ людей. Въ сравненіи съ ними „воръ, пьяница, веселый человѣкъ“ дядя Ерошка выростаетъ въ дѣйствительно крупную фигуру, примитивные пороки которой совершенно исчезаютъ за благородствомъ и искренностью его характера.

Обращаюсь къ Руссо.

Сущность всѣхъ пережитыхъ Сенъ-Прэ парижскихъ впечатлѣній сводится къ тому, что среди „всякаго рода философствованія, гуманности, вѣжливости и возвышенныхъ правилъ—у насъ есть лишь обманчивая и суетная внѣшность, честь безъ добродѣтели, разумъ безъ мудрости и удовольствіе безъ счастья“...

За блестящими, фантастическими картинами парижской жизни передъ мечтой Сенъ-Прэ вырисовывается, какъ тихая пристань, жизнь съ своей возлюбленной Юліей среди честныхъ и суровыхъ валлійцевъ. Но самъ Руссо видѣлъ, конечно, гораздо больше Сенъ-Прэ, или чѣмъ онъ счелъ нужнымъ выказать въ своей Новой Элоизѣ. Онъ видѣлъ, какъ видитъ теперь и Толстой, что наступило время пересмотра всѣхъ нравственныхъ и общественныхъ цѣнностей, что надо отдать себѣ отчетъ въ томъ, что есть истинное правительство, истинная семья и добродѣтель. Онъ ясно понималъ всю неправду и произволъ ancien régime'a, т. е. стараго порядка дореволюціонной Франціи, всю испорченность аристократіи, всѣ хищническія наклонности и фарисейское лицемѣріе мѣщанства. Какъ великій коррективъ, какъ воплощеніе своей жажды свободы, какъ рѣзкій упрекъ культурѣ и государству — онъ создалъ образъ естественнаго человѣка [1]).

[1]) Большинство современниковъ, кстати сказать, увидѣли въ этомъ лишь декламаціи и упражненіе въ краснорѣчіи. Только Вольтеръ за словами Руссо почуялъ Робеспьера, Сенъ-Жюста и другихъ уравнителей. Отсюда это ожесточеніе противъ Руссо. (См. Карелинъ „Ж. Руссо“).

Культурный человѣкъ извращенъ. Въ культурномъ обществѣ никто не смѣетъ быть самимъ собой. А между тѣмъ въ этомъ быть самимъ собой — свобода, счастье и истина.

Смѣетъ быть самимъ собою только естественный человѣкъ. Этотъ живетъ за свой счетъ и за свой страхъ. Этотъ не нуждается ни въ чужомъ трудѣ для удовлетворенія своихъ потребностей, ни въ чужой волѣ и руководствѣ, чтобы жить.

Естественный человѣкъ Руссо — нѣчто еще менѣе сложное чѣмъ дядя Ерошка или Blonde Bestie Нитцще — крѣпокъ физически, выносливъ, доволенъ малымъ, „Наѣвшись подъ дубомъ (NB. Руссо стѣсняется прибавить: „желудями") тутъ же подъ нимъ высыпается", имѣетъ самыя ограниченныя потребности, не знаетъ никакихъ привязанностей, не знаетъ страха смерти — этого проклятаго дара культурной жизни, — долгой утомительной и для самого человѣка и для его окружающихъ старости, ни отъ кого ничего не наслѣдуетъ и никому ничего не передаетъ въ наслѣдство, не заботится о своихъ дѣтяхъ и при случайной встрѣчѣ не распознаетъ даже ихъ, ни отъ кого не зависитъ, обходится безъ жилья, безъ очага, безъ семьи и безъ собственности, — для него свобода, самая безграничная, такая же стихія, какъ земля и воздухъ...

Естественный человѣкъ — „животное, менѣе сильное чѣмъ одни, менѣе проворное, чѣмъ другія животныя, но въ общемъ организованное выгоднѣе всѣхъ".

„Онъ не умѣетъ говорить, не знаетъ употребленія огня, не имѣетъ никакихъ орудій, кромѣ попадающихся подъ руку камней и палокъ. Такіе первобытные люди были настолько же равны между собой, какъ дикія животныя одной породы, и такъ же здоровы, какъ всѣ неприрученные и не преслѣдуемые человѣкомъ звѣри. Они имѣли острый слухъ, обоняніе и зрѣніе и были очень ловки, потому что, не зная иныхъ орудій, кромѣ собственнаго тѣла, они дѣлали изъ него такое разнообразное употребленіе, къ которому мы, за отсутствіемъ упражненія, потеряли способность".

Но въ такомъ случаѣ онъ жестокъ, онъ звѣрь? О, нѣтъ, отвѣчаетъ Руссо. Природа полна страданія и состраданія. Естественная, стихійная жалость живетъ въ первобытномъ человѣкѣ, и, покорный ей, онъ дѣйствительно прекрасенъ, дѣйствительно человѣкъ. А ей онъ покоренъ, какъ и всѣмъ другимъ своимъ влеченіямъ, потому, что онъ смѣетъ быть самимъ собой. Вся задача Руссо къ тому, чтобы доказать не только возможность, но и необходимость состраданія въ несложной психикѣ естественнаго человѣка. Эта жалость не имѣетъ ничего общаго съ разсудочной холодной жалостью культурнаго человѣка, которая повинуется больше всего приличію и выгодѣ, но боится жертвы. У первобытнаго человѣка она кроется въ сердцѣ. Она органическая и потому могучая. Она не просто спасаетъ отъ ненужныхъ жестокостей, она вынуждаетъ на непосредственную помощь слабому; она слѣпа и прекрасна и является не только великимъ коррективомъ чувству самосохраненія, но часто преодолѣваетъ его, ведетъ къ жертвѣ собой, къ смерти...

Этой стихійной могучей жалости, хотя совершенно неорганизованной — мы бы сказали лишь рефлективно проявляющейся — культура, ци-

вилизація ставитъ лишь препятствіе и извращаетъ ее. Она вводитъ ее въ рамки приличія и благоразумія, ея непосредственный порывъ дѣлаетъ расчетливымъ и потому мелкимъ. Неспособный думать о будущемъ, незнакомый ни съ ужасомъ смерти, ни съ опасеніями за завтрашній день, естественный человѣкъ весь отдается стихійному порыву и, когда это нужно, бросается головой въ омутъ. Онъ знаетъ то, чего не знаемъ мы, культурные люди, — знаетъ *жалость до конца,* жалость ко всякой страдающей твари, ко всякому одушевленію. И мѣра этой жалости ему неизвѣстна. Съ неподражаемой ироніей Руссо говоритъ по этому поводу:

„Только опасности, грозящія всему обществу, нарушаютъ спокойный сонъ философа и заставляютъ его не въ урочный часъ подниматься съ постели. Зато можно безнаказанно задушить ближняго подъ окнами его спальни: ему достаточно вложить пальцы въ уши и сочинить нѣсколько силлогизмовъ, чтобы заставить замолчать природу, которая возмущается въ немъ и хочетъ поставить его въ положеніе гибнущаго. Дикій человѣкъ не обладаетъ этими великолѣпными талантами, и, влѣдствіе недостатка благоразумія и разсужденія онъ всегда, очертя голову, бросается на зовъ человѣколюбія". (Sur l'inégalité, p. 72).

Могучему стихійному чувству жалости, органически присущему естественному состоянію—испорченному, развращенному, дисциплинированному культурой и посаженному ею на веревочку — Руссо поетъ свои гимны. Жалость и состраданіе для него вотъ истинно человѣческое, прекрасное и великое, все равно какъ для Толстого, любовь.

„Руссо открываетъ въ мірѣ страданіе. Страданіе снова, какъ въ средніе вѣка становится основной нотой человѣческой жизни. Страданіе— первый урокъ жизни, которому научается ребенокъ. Страданіе есть содержаніе всей исторіи человѣчества. Чуткость къ страданію, отзывчивость на него, способность ставить себя въ положеніе страдающаго — есть *состраданіе.* Какъ новый Будда, Руссо сдѣлалъ страданіе и состраніе міровымъ вопросомъ. Сострадание въ глазахъ Руссо, источникъ всѣхъ благородныхъ порывовъ и всѣхъ соціальныхъ добродѣтелей".

„Состраданіе, говоритъ Руссо, основано на способности человѣка отожествлять себя съ лицомъ страдающимъ; но эта способность, чрезвычайно сильная въ естественномъ состояніи, суживается по мѣрѣ того, какъ развивается въ человѣкѣ способность размышлять и человѣчество вступаетъ въ періодъ разсудочнаго развитія. Разумъ порождаетъ себялюбіе, размышленіе укрѣпляетъ его; оно отдѣляетъ человѣка отъ всего, что его огорчаетъ и тревожитъ. „Философствованіе изолируетъ человѣка... Подъ его вліяніемъ она шепчетъ при видѣ страдающаго: „погибай. какъ знаешь, а я въ безопасности"...

Какъ Руссо понималъ потерю естественнаго состоянія?

Я уже говорилъ выше, какъ своеобразно понимаютъ Руссо и Толстой природу. Оба страстно любятъ ее, какъ художники и восхищаются ей. Въ ней своя правда, своя справедливость. Всякое дѣйствіе вызываетъ равное ему противодѣйствіе, всякая сила производитъ лишь соразмѣрную ей ра-

боту. Изъ зерна пшеницы не можетъ вырости ячменя, худое сѣмя не дастъ хорошаго растенія, а каменистая почва не возраститъ хлѣба. Природа и все, что близко къ ней, не знаютъ лукавства и хитрости человѣческаго разума и извращенности человѣческой воли. Въ ней нѣтъ лжи, разврата, ненужной жестокости, нѣтъ желанія власти...

Человѣческая природа, кромѣ того, исполнена состраданія и симпатіи. Общество—расширенная симпатія — говоритъ Руссо. Цѣль общественной жизни—братское единеніе—учитъ Толстой.

Люди были счастливы, когда слушались голоса своей природы, когда инстинктъ и непосредственное чувство руководили ими. Но что же вывело ихъ изъ этого блаженнаго состоянія?

Отвѣтъ Руссо поражаетъ своей основательностью. Онъ даетъ цѣлую картину паденія человѣка, потому что исторія для него—только паденіе.

„Пока люди — говоритъ Руссо — довольствовались своими грубыми шалашами, пока они ограничивались тѣмъ, что сшивали себѣ одежды изъ звѣриныхъ шкуръ съ помощью заостренныхъ предметовъ или рыбныхъ костей, покрывали свое тѣло перьями и раковинами, окрашивали его въ различные цвѣта... однимъ словомъ, пока они занимались только такой работой, которая подъ силу одному человѣку, и такими искусствами, для которыхъ достаточно рукъ одного человѣка, они были свободны, здоровы, добры и счатсливы настолько, насколько это было возможно при ихъ природномъ тѣлосложеніи и наслаждались пріятностью независимыхъ другъ къ другу отношеній. Но съ той минуты, когда человѣку понадобилась помощь другихъ, когда онъ, замѣтивъ, что не худо для себя одного приберечь запасы, достаточные для двоихъ, исчезло равенство, возникла собственность, трудъ сдѣлался необходимостью, а обширные лѣса превратились въ улыбающіяся равнины, которыя нужно было орошать человѣческимъ потомъ и на которыхъ рабство и нищета вскорѣ вслѣдъ затѣмъ стали произрастать вмѣстѣ съ жатвой“...

Эта великолѣпная и характерная схема. Тамъ гдѣ-то въ далекомъ прошломъ за рядомъ вѣковъ и поколѣній — золотой вѣкъ, естественное состояніе блаженства, а затѣмъ — длинный путь паденія и несчастій. Странно, что ни на одномъ историческомъ періодѣ Руссо не останавливается съ чувствомъ радости и удовлетворенія. Такихъ историческихъ періодовъ для него не существуетъ. Напротивъ — зло растетъ и совершенствуется и причина его — въ *раздѣленіи труда*. Говоря его собственными словами, все было хорошо, пока люди занимались только такой работой, которая подъ силу одному человѣку и такими искусствами, для которыхъ достаточно рукъ одного человѣка“... (Морлей, III).

Раздѣленіе труда породило частную собственность. Оно же удовлетворило ту потребность и жажду развитія, которая, какъ проклятіе и болѣзнь, живетъ въ человѣкѣ, нашептываетъ ему властолюбивыя грезы, обманчивыя надежды стать царемъ и богомъ природы, заставляетъ испытывать тысячи невѣрныхъ путей и, въ своемъ ослѣпленіи миражами, воздвигать вавилонскую башню искусства и науки, государства, теряя въ этой безумной работѣ единственно цѣнное—свою свободу.

„Обработка металла и земледѣліе—вотъ тѣ великія движущія силы, которыя произвели этотъ переворотъ. Въ глазахъ поэта золото и серебро,

а въ глазахъ философа желѣзо и зерновой хлѣбъ цивилизовали человѣка, и погубили человѣчзскій родъ... Изъ воздѣлыванія земли возникла необходимость ея раздѣленія, и отсюда возникла и собственность во всѣхъ ея видахъ. Изъ собственности—гражданское общество. Первый человѣкъ, огородившій участокъ земли, вообразившій, что имѣетъ право сказать: это мое и, нашедшій такихъ людей, которые ему повѣрили въ этомъ, былъ настоящимъ основателемъ гражданскаго общества"—и всѣхъ тѣхъ бѣдъ, преступленій, войнъ, убійствъ—которыя ему сопутствуютъ.

Раздѣленіе труда уничтожило равенство между людьми. Благодаря ему они стали нужны другъ другу, вступили во взаимныя близкія отношенія, которыя сейчасъ же отлились въ форму подчиненія и власти. Но, разумѣется, чтобы этотъ процессъ сталъ возможенъ, населеніе должно было въ значительной степени возрасти.

Руссо нисколько не скрываетъ отъ себя, что отсюда же всѣ такъ называемые культурные успѣхи человѣчества. Естественное состояніе — неподвижно. Прогрессъ и совершенствованіе ненужны ему—при немъ не возможны. „Знакомый съ очень немногими страстями и довольствующійся самимъ собою дикарь... чувствовалъ только свои дѣйствительныя нужды, смотрѣлъ только на то, что казалось ему интереснымъ, а его интеллигенція была также не развита, какъ и его тщеславіе. Если онъ случайно дѣлалъ какое-нибудь открытіе, онъ не былъ въ состояніи сообщить о немъ другимъ, потому что онъ даже не былъ въ состояніи узнать своихъ дѣтей. Искусство погибало вмѣстѣ съ изобрѣтателемъ. Не было ни воспитанія, ни прогресса; поколѣнія слѣдовали одно за другимъ безъ всякой пользы, а такъ какъ каждое изъ нихъ имѣло все одну и ту же точку исхода, то вѣка протекали во всей грубости первобытныхъ временъ. Человѣческая раса успѣла состариться, а человѣкъ все еще оставался ребенкомъ" (Морлей, 109. Oeuvres v.).

Раздѣленіе труда породило культурные успѣхи человѣчества, частную собственность—и вмѣстѣ съ тѣмъ отняло то безцѣнное, что составляетъ истинную красоту естественнаго состоянія—*равенство* между людьми, такъ легко уживавшееся съ абсолютной свободой личности.

Диссертація о неравенствѣ обращается такимъ образомъ въ гимнъ равенству, въ жгучій упрекъ людямъ за то, что, забывъ о естественномъ состояніи, они раздѣлились на высшихъ и низшихъ, на господъ и рабовъ, и создали жизнь жестокую, полную неправды и ужасовъ, лицемѣрія, лжи и разврата.

Толстой, который то оправдывалъ жизнь, считая все, что происходитъ единственно возможнымъ, а значитъ и необходимымъ, то негодовалъ на развратъ культурныхъ классовъ, противопоставляя ему идиллію казацкой или мужицкой жизни, то думалъ, что жизнь, *вся* жизнь заражена въ самомъ корнѣ своемъ и, слѣдовательно, есть ложь, обманъ и скверная, неизвѣстно кѣмъ разыгранная надъ людьми, шутка, то думалъ (думаетъ и теперь), что каждую данную минуту люди, *захотѣвъ* и *повѣривъ*, понявъ всю окружающую ихъ ложь и неправду, сразу сбросятъ съ себя иго ихъ—никогда не рисовалъ эволюціонной картины паденія человѣчества.

Но онъ могъ бы сказать вмѣстѣ съ Руссо, что вмѣстѣ съ раздѣленіемъ труда, образованіемъ частной собственности, появленіемъ неравенства, возможности нанимать и эксплуатировать своего ближняго — „исторія вступила на страшный и ложный путь". Что онъ страшенъ и ложенъ, — объ этомъ громко и ярко свидѣтельствуютъ и ужасное положеніе закабаленныхъ массъ, закабаленныхъ столько же при крѣпостномъ правѣ, сколько при капиталистическомъ хозяйствѣ—и глубокое недовольство, доходящее до отчаянія самого человѣка, хотя бы онъ и пользовался всѣми благами, такъ называемой культуры и цивилизаціи.

Органическая мечта Толстого—это счастье людей. Въ земномъ счастьѣ видитъ онъ ихъ назначеніе. Это „счастье" не мыслится имъ никогда какъ высшее, напряженное развитіе всѣхъ силъ и способностей, какъ вѣчное исканіе, борьба; счастье это довольство прежде всего, жизнь своимъ трудомъ, удовлетвореніе собственными руками своихъ несложныхъ потребностей, миръ съ своею совѣстью, который дѣйствительно возможенъ лишь разъ всѣ мы и каждый изъ насъ откажемся отъ удовольстія и выгодъ нанимать и эксплуатировать своего ближняго, властвовать надъ нимъ.

Въ этомъ идеалѣ, въ этой мечтѣ, въ этомъ мирѣ всего міра, хотя бы при условіи отказа отъ развитія, — къ которымъ Толстой постоянно возвращается, возлѣ которыхъ вѣчно кружится его мысль, онъ, быть можетъ, воплотилъ самую сущность своей славянской, старо-барской натуры, сходя въ этотъ духовный и матеріальный коллективизмъ, втиснулъ онъ свою безпокойную, вѣчно мятущуюся душу...

Всегда, каждую минуту, истина тутъ, рядомъ съ людьми. Она дана имъ въ природѣ и Евангеліи. Но люди не видятъ и не хотятъ видѣть ея. Рабы своихъ развратныхъ наклонностей, рабы другъ друга — они предпочитаютъ влачить свое жалкое существованіе, вмѣсто того, чтобы сразу сбросить его оковы. Они заперли себя въ каменные ящики городовъ, усовершенствовали до виртуозности технику своего искусства, создали цѣлый миражъ научныхъ истинъ, открытій, законовъ и морально обманываютъ себя, чтобы не блеснула въ глаза великая и страшная правда, что вся ихъ жизнь, построенная на эксплуатаціи чужого труда есть ложь въ корнѣ своемъ.

А истина тутъ рядомъ. Каждую минуту зоветъ она людей, каждую минуту доступна имъ.

Но люди смотрятъ и не видятъ, слушаютъ и не слышатъ.

Руссо и Толстой объ искусствахъ и наукѣ.

Намъ надо теперь обратиться къ взглядамъ Руссо и Толстого на искусство. Легко видѣть, что здѣсь самое важное, центральное, такъ какъ, на самомъ дѣлѣ въ искусствахъ и наукахъ сосредоточено все, чѣмъ человѣкъ наиболѣе отдѣлился отъ природы и чѣмъ онъ хочетъ въ концѣ-концовъ подчинить себѣ жизнь. Здѣсь наиболѣе *человѣческое*, здѣсь всѣ его надежды, всѣ мечты о всемогуществѣ, здѣсь самое яркое воплощеніе его религіозной мысли.

Близость и единодушіе Руссо и Толстого въ области этихъ взглядовъ поразительны. Повидимому, ими обоими владѣетъ тайная мысль, — которую, однако, они не всегда рѣшаются высказать съ полной откровенностью, что для человѣческаго счастья, какъ высшаго проявленія свободы и индивидуальности — ни искусство, ни науки не нужны, что въ современномъ своемъ видѣ они способны лишь развращать массу и служить однимъ изъ могущественнѣйшихъ орудій ея порабощенія, что въ лучшемъ случаѣ—они неизбѣжное зло.

Эти сужденія Руссо и Толстого извѣстны въ нашемъ обиходѣ подъ именемъ парадоксовъ, или, просто, дикихъ сужденій. И, конечно, едва ли кто возметься защищать ихъ во всей цѣлости, тѣмъ болѣе очевидно, что, какъ для Руссо, такъ и для Толстого и искусство и науки—самое дорогое, самое цѣнное и прекрасное, что есть въ человѣческой жизни. Если они ненавидятъ ихъ, то потому лишь, что слишкомъ любятъ. Весь цѣнный смыслъ ихъ жизни въ томъ, что они творятъ и мыслятъ; проклиная мысль и творчество, они, конечно, идутъ противъ себя. Сказать, что они недосмотрѣли—нельзя: они слишкомъ проницательны. Истинная причина такого психологическаго парадокса гораздо глубже.

Она прежде всего въ ихъ *религіозномъ* отношеніи и къ своей личной жизни и къ жизни людей вообще. Для обоихъ, жизнь—страшна и отвѣтственна. Въ ней каждое слово — поступокъ, каждый поступокъ — дѣло, за которое человѣкъ отвѣчаетъ передъ судомъ своей совѣсти и передъ счастьемъ народа, массы. Вся жизнь обращается въ служеніе. всякое слово въ молитву, всякій поступокъ — или въ обиду, наносимую святынѣ человѣческой личности или въ утвержденіе этой святыни.

Они отшатнулись отъ высшихъ представителей культуры, философовъ и писателей, потому что видѣли, что въ жизни тѣхъ не было религіи, т. е. такого „дѣла, которое являлось бы въ ихъ глазахъ самымъ цѣннымъ и важнымъ и, отказавшись отъ котораго, они не могли бы продолжать жить". Они видѣли слишкомъ много тщеславія, легкомыслія, игры словами, продажи, разсчета, карьеризма въ дѣятельности, которая была и не могла быть въ ихъ глазахъ ничѣмъ инымъ, какъ служеніемъ.

Они не представляютъ себѣ жизни „такъ просто"; оба они чувствуютъ, что за ней долженъ быть „страшный судъ". Больше даже — этотъ страшный судъ всегда рядомъ съ человѣкомъ, всегда въ немъ самомъ. Это — его совѣсть. Избѣжать этого суда нельзя. И совѣсть властная и требовательная каждую минуту зоветъ человѣка къ отвѣту.

Первое, чего требовала совѣсть — это признанія равенства между людьми. Съ этой точки зрѣнія все, что исходитъ отъ привиллегированнаго меньшинства, все, что служитъ ему утѣхой, укрѣпляетъ его власть надъ людьми—незаконно. Второе—равное первому — требованіе совѣсти заключалось въ томъ, чтобы всѣ жили своимъ трудомъ и всякій получалъ за свой трудъ должное. Между тѣмъ за свой огромный трудъ на поддержаніе нашихъ наукъ и искусствъ—масса, народъ не получаютъ ничего. Мало того: искусства и науки, приспособленныя для забавы, прихоти, развлеченія, оправданія жизни и власти привиллегированнаго мѣщанства — прямо вредны для народа — массы. Они и закрѣпляютъ его кабалу, и развращаютъ его.

Эти то соображенія, въ которыхъ такъ много вѣрнаго, такъ много правды, которая обыкновенно замалчивается, и заставили Руссо и Толстого нашу науку и наше искусство признать однимъ изъ самыхъ блестящихъ, соблазнительныхъ и могущественныхъ проявленій культурнаго *разврата*. Въ наукахъ и искусствахъ ихъ исконный врагъ нашелъ самое прочное свое убѣжище.

Отсюда ихъ негодованіе, вся рѣзкость ихъ сужденій. Отсюда ихъ мечта о всенародномъ, религіозномъ искусствѣ, нужномъ массѣ, понятномъ ей и ей служащемъ.

Сущность диссертаціи Руссо объ „искусствахъ и наукахъ" сводится къ слѣдующему:

„Въ старыя времена, до появленія искусствъ, нравы людей были грубы, но натуральны. Различіе въ обращеніи и словахъ сейчасъ же обнаруживало различіе въ характерахъ. Мощная индивидуальность человѣка была откровенной и, не прячась ни за словами, ни за жестами, проявлялась во всей наготѣ и непосредственности, такъ что сразу же было видно, съ кѣмъ имѣешь дѣло. Теперь не то. Надъ нравами образованныхъ народовъ царитъ унизительное и обманчивое однообразіе, и умы людей какъ будто вылиты по одной формѣ. Поэтому мы никогда не знаемъ, съ кѣмъ собственно имѣемъ дѣло Человѣкъ научился лгать, скрывать свою грубость за изящными манерами, низость души своей за высокими и красивыми словами. Стихія слова и жестовъ отдѣлилась отъ стихіи его природы и легко можетъ ввести въ заблужденіе всякаго.

Исторія показываетъ, что съ появленіемъ на сцену искусствъ и науки, народы теряютъ свою первобытную мощь и легко становятся жертвою завоевателей. Такъ случилось съ египтянами, греками, римлянами по той же причинѣ хотя и въ разное время подпавшими подъ иго. Не это ли обстоятельство заставило мудрѣйшаго изъ грековъ, Сократа, всей силой своего обвиненія напасть на поэтовъ, ораторовъ и артистовъ? Пусть вспомнятъ, наконецъ, что не академикамъ и не философамъ, а простымъ рыбакамъ и ремесленникамъ Христосъ передалъ свое ученіе и свою власть.

Развитіе наукъ ведетъ къ накопленію огромнаго числа ненужныхъ истинъ, развитіе искусствъ—къ роскоши и упадку нравовъ.

Единственное нужное человѣку знаніе—это знаніе добра и зла. Но какое отношеніе имѣютъ къ нему астрономія, геометрія, физика, мораль? Развѣ, изучая ихъ, человѣкъ становится болѣе нравственнымъ, развѣ законъ притяженія выясняетъ ему, какъ надо поступить въ томъ или другомъ случаѣ? Никогда и нисколько. Вредъ же, приносимый науками, очевиденъ.

Науки вредны потому, что въ своемъ стремленіи къ истинѣ онѣ проходятъ черезъ тысячи заблужденій, изъ которыхъ, однако, каждое въ свое время одинаково считается истиной и претендуетъ вліять на жизнь и устраивать ее сообразно съ своими требованіями.

Науки вредны потому, что у нихъ нѣтъ никакихъ средствъ и возможности, доказать, что, сдѣланное ими открытіе, дѣйствительная и совершенная истина которая, не будетъ опровергнута на другой же день.

Науки вредны и потому, наконецъ, что нельзя поручиться за хорошее употребленіе и примѣненіе добытыхъ ими истинъ.

А между тѣмъ онѣ отвлекаютъ отъ прямого и полезнаго дѣла много силъ, много людей, обращая этихъ послѣднихъ въ безполезныхъ и уже поэтому самому вредныхъ гражданъ. Съ ними еще можно было бы примириться, если бы ими занимались умы божественные или такіе, какъ Сократъ, но оправдывать занятіе ими людей средней интеллигенціи, лишенныхъ дарованія—нельзя.

Такимъ образомъ, *при огромныхъ затратахъ людьми и средствами*, мы получаемъ отъ наукъ или ничтожные, или чисто отрицательные результаты.

Искусства ведутъ къ роскоши, подкапываются подъ высокія добродѣтели, оберегающія независимость націй, подъ простоту и независимость нравовъ. „Ваши дѣти посѣщаютъ дорого стоющія заведенія, гдѣ ихъ обучаютъ всему, кромѣ ихъ обязанностей. Они остаются невѣждами въ познаніи собственнаго языка, хотя и научаются говорить на чужомъ языкѣ, который въ цѣломъ мірѣ нигдѣ не употребляется; они пріобрѣтаютъ способность сочинять стихи, едва ли понимая, что пишутъ; не умѣя отличать истину отъ заблужденій, они обладаютъ искусствомъ съ помощью благовидныхъ аргументовъ дѣлаться нераспознаваемыми для другихъ, а если имъ говорятъ о Богѣ, это слово возбуждаетъ въ нихъ скорѣе ужасъ, чѣмъ благоговѣйный страхъ".

Въ знаменитомъ письмѣ къ д'Аламберу[1]) Руссо рѣзко высказывается противъ совѣта послѣдняго—устроить театръ въ Женевѣ. Ничего полезнаго, нравственно-воспитательнаго, возвышающаго душу, научающаго жить въ мірѣ и добродѣтели — Руссо въ современной ему сценѣ и даже сценѣ вообще не находитъ.

„Нравственное вліяніе театра никогда не можетъ быть благотворно само по себѣ, а между тѣмъ оно можетъ легко сдѣлаться чрезвычайно гибельнымъ. Привычка посѣщать театръ, *желаніе подражать стилю актеровъ*, трата денегъ, потеря времени, и т. д.—все это вещи вредныя сами по себѣ".

Театръ вноситъ въ простую неискушенную душу заразу желанія быть не тѣмъ, чѣмъ это предоставлено человѣку органическимъ строеніемъ его натуры. Наслушавшись красивыхъ фразъ, ознакомившись съ жизнью и борьбой чуждыхъ ему, но эффектныхъ и привлекательныхъ чувствъ и страстей, онъ понемногу перестаетъ быть самимъ собой, рядится въ чужіе костюмы и настроенія, употребляетъ чужіе слова и жесты. Это печально, тѣмъ болѣе, что истинный человѣкъ всегда *онъ самъ*.

Еще болѣе рѣзокъ въ своихъ приговорахъ Толстой. Его отношеніе къ современному искусству и наукѣ исполнены сарказма и печали и даже болѣе сарказма, чѣмъ печали. Онъ одинаково стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что „единственное знаніе нужное человѣку — это знаніе добра и зла" и что, при огромной затратѣ на наши искусства и науки людьми и средствами—выгоды ихъ для массы или ничтожны или отрицательны.

---

[1]) См. Oeuvres, vol. I: „Sur les sciences et les arts"; Lettre à M. Grimm, „Reponse au Roi de Pologne", Lettre à M. d'Alambert. Морлей, Ц. к., стр. 94—97.

„Нынче вѣдь куда ни пойди,—говоритъ онъ,—въ книжный магазинъ, въ посудный, ювелирный,—вездѣ искусство, и не какое-либо любительское, а патентованное съ дипломами и золотыми медалями. Пойдите въ театръ—тамъ опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задираетъ. И эта гадкая глупость не только не считается не приличнымъ дѣломъ, а напротивъ, возводится въ нѣчто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится даже въ газетахъ постоянное мѣсто, наряду съ величайшими міровыми событіями. Нѣкоторые же органы печати имѣютъ еще для этого и постоянныхъ цѣнителей, которые часто ночью, прямо изъ театра, ѣдутъ въ типографію и тамъ немедленно, при грохотѣ машинъ пишутъ свои впечатлѣнія, поспѣшая, дабы міръ заутра могъ уже знать, какъ именно вчера такая-то госпожа въ такомъ-то театрѣ ноги вверхъ задирала“ („Сергѣенко“, стр. 16).

Современное намъ искусство Толстой выводитъ изъ эпохи возрожденія—той эпохи, когда культурные и привиллегированные классы окончательно отдѣлились отъ народа, и утеряли всякую способность и склонность къ религіозному мышленію.

Въ лучшемъ и несомнѣнно великомъ произведеніи послѣднихъ лѣтъ, „Что такое искусство“ Толстой подробно развиваетъ эти взгляды. Здѣсь я могу передать ихъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ.

„Всегда во всякое время и во всякомъ человѣческомъ обществѣ есть общее всѣмъ людямъ этого общества *религіозное сознаніе* того, что хорошо и что дурно и это то религіозное сознаніе и опредѣляетъ достоинство чувствъ передаваемыхъ искусствомъ. И потому всегда у всѣхъ народовъ искусство, передававшее чувства, вытекающія изъ общаго людямъ этого народа религіознаго сознанія, признавалось хорошимъ и поощрялось“...

Въ средніе вѣка „искусство было настоящимъ искусствомъ, потому что соотвѣтствовало религіозному міровоззрѣнію народа, среди котораго оно возникло.

„Художники среднихъ вѣковъ, живя той же основой чувствъ, религіей, какъ и массы народа, передавая испытываемыя ими чувства и настроенія въ архитектурѣ, скульптурѣ, живописи, музыкѣ, поэзіи, драмѣ, были истинными художниками, и дѣятельность ихъ, основываясь на высшемъ, доступномъ тому времени и раздѣляемомъ всѣмъ народомъ пониманіи, была хотя и низкимъ для нашего времени, но все-таки истиннымъ и общимъ всему народу искусствомъ.

„И такъ это было до того времени, пока не явилось въ высшихъ, богатыхъ, болѣе образованныхъ сословіяхъ европейскаго общества сомнѣніе въ истинности того пониманія жизни, которое выражалось католицизмомъ. Когда же послѣ Крестовыхъ походовъ, высшаго развитія папской власти и злоупотребленій ею, послѣ ознакомленія съ мудростью древнихъ, люди богатыхъ классовъ, съ одной стороны, увидали разумную ясность ученія древнихъ мудрецовъ, — съ другой стороны, увидали несоотвѣтствіе господствующаго ученія съ ученіемъ Христа, люди эти высшихъ богатыхъ классовъ потеряли возможность вѣрить, какъ прежде, въ католическое ученіе.

„И вотъ среди этихъ-то (утерявшихъ вѣру) людей стало выростать искусство, расцѣниваемое уже не по тому, насколько оно выражаетъ

чувства, вытекающія изъ религіознаго сознанія людей, а только потому насколько оно красиво; другими словами — насколько оно доставляетъ наслажденіе".

Оно перестало быть искусствомъ истиннымъ, которое *всенародно* выражаетъ высшее религіозное миросозерцаніе общества и стало искусствомъ развратнымъ, которое служитъ только привиллегированнымъ.

„Съ тѣхъ поръ,—продолжаетъ Толстой,—какъ высшія сословія христіанскихъ народовъ потеряли вѣру въ церковное христіанство, искусство высшихъ классовъ отдѣлилось отъ искусства всего народа и стало два искусства: искусство народное и искусство господское" (стр. 78).

Между ними — пропасть взаимнаго непониманія.

Господское искусство „могло возникнуть только на рабствѣ народныхъ массъ и можетъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока будетъ это рабство — и того, что только при условіи напряженнаго труда рабочихъ, спеціалисты-писатели, музыканты, танцоры, актеры — могутъ доходить до той утонченной степени совершенства, до которой они доходятъ и могутъ производить свои утонченныя произведенія искусства и что только при этихъ условіяхъ можетъ быть утонченная публика, цѣнящая эти произведенія. Освободите рабовъ капитала и нельзя будетъ производить такого утонченнаго искусства" (стр. 26).

Господское искусство „совершенно не понятно для народа" (стр. 81).. „0,99 вашихъ европейскихъ людей, поколѣніе за поколѣніемъ, живутъ и умираютъ въ напряженномъ трудѣ, необходимомъ для производства нашего искусства, не пользуясь имъ" (стр. 79). „Чувства чести, патріотизма, влюбленія, составляющія главное содержаніе теперешняго искусства, вызываютъ въ человѣкѣ трудовомъ только недоумѣніе, презрѣніе или негодованіе" (82).

А между тѣмъ современное господское искусство стоитъ страшно дорого. Подсчетъ того, что оно стоитъ обращается у Толстого въ обвинительный актъ. „Для всякаго балета, цирка, оперы, оперетки, выставки, картины, концерта, печатанія книги нужна напряженная работа тысячъ и тысячъ людей, подневольно работающихъ часто губительную и унизительную работу" (стр. 13).

„На поддержаніе искусства тамъ, гдѣ на народное образованіе тратится только одна сотая того, что нужно для доставленія всему народу средствъ обученія, даются милліонныя субсидіи отъ правительства на академіи, консерваторіи, театры. Въ каждомъ большомъ городѣ строятся огромныя зданія для музеевъ, академій, консерваторій, драматическихъ школъ, для представленій и концертовъ. Сотни тысячъ рабочихъ — плотники, каменьщики, красильщики, столяры, обойщики, портные, парикмахеры, ювелиры, бронзовщики, наборщики — цѣлыя жизни проводятъ въ тяжеломъ трудѣ для удовлетворенія требованій искусства, такъ что едва ли есть какая-нибудь другая дѣятельность человѣческая, кромѣ военной, которая поглощала бы столько силъ, сколько эта.

Но мало того, что такіе огромные труды тратятся на эту дѣятельность,—на нее, такъ же, какъ на войну, тратятся прямо жизни человѣческія: сотни тысячъ людей съ молодыхъ лѣтъ посвящаютъ всѣ свои жизни на то, чтобы выучиться очень быстро вертѣть ногами (танцоры): другіе (му-

зыканты) на то, чтобы выучиться очень быстро перебирать клавиши или струны; третьи (живописцы) на то, чтобы умѣть рисовать красками и писать все, что они увидятъ; четвертые на то, чтобы умѣть перевернуть всякую фразу на всякіе лады и ко всякому слову подыскать риѳму. И такіе люди часто очень добрые, умные, способные на всякій полезный трудъ, дичаютъ въ этихъ исключительныхъ, одуряющихъ занятіяхъ и становятся тупыми ко всѣмъ серьезнымъ явленіямъ жизни, односторонними и вполнѣ довольными собой спеціалистами, умѣющими только вертѣть ногами, языкомъ или пальцами" (стр. 2—3).

И стоя такъ дорого, искусство служитъ лишь наслажденію праздныхъ. Стремясь удовлетворить ихъ „утонченный" т. т. пресыщенный вкусъ, оно, разумѣется, развращаетъ ихъ. Не боясь слова, Толстой прямо называетъ его блудницей:

„Какъ ни страшно это сказать, съ искусствомъ нашего круга и времени случилось то, что случается съ женщиной, которая свои женскія привлекательныя свойства, предназначенныя для материнства, продаетъ для удовольствія тѣхъ, которые льстятся на такія удовольствія.

Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей. И это сравненіе вѣрно до малѣйшихъ подробностей. Оно также неограничено временемъ, также разукрашено, такъ же всегда продажно, такъ же заманчиво и губительно.

Настоящее произведеніе искусства можетъ проявляться въ душѣ художника только изрѣдка, какъ плодъ предшествующей жизни, точно такъ же, какъ зачатіе ребенка матерью. Поддѣльное же искусство производится мастерами, ремесленниками — безостановочно, только бы были потребители.

Настоящее искусство не нуждается въ украшеніяхъ, какъ жена любящаго мужа. Поддѣльное искусство, какъ проститутка, должно быть всегда изукрашено.

Причиной появленія настоящаго искусства есть внутренняя потребность выразить накопившееся чувство, какъ для матери причина полового зачатія есть любовь. Причина поддѣльнаго искусства есть корысть, точно такъ же, какъ и проституція.

Послѣдствіе истиннаго искусства есть внесенное новое чувство въ обиходъ жизни, какъ послѣдствіе любви жены есть рожденіе новаго человѣка въ жизнь. Послѣдствіе поддѣльнаго искусства есть развращеніе человѣка, ненасытность удовольствій, ослабленіе духовныхъ силъ человѣка". (стр. 210—211).

Такъ что:

„если бы былъ поставленъ вопросъ о томъ, что лучше нашему христіанскому міру: лишиться ли *всего* того, что теперь считается искусствомъ, вмѣстѣ съ ложнымъ, и *всего* хорошаго, которое есть теперь, то я думаю, что всякій разумный и нравственный человѣкъ опять рѣшилъ бы вопросъ такъ же, какъ рѣшалъ его Платонъ для своей республики и рѣшали всѣ церковные христіанскіе и магометанскіе учители человѣчества, т. е. сказалъ бы: „лучше пускай не было бы никакого искусства, чѣмъ продолжалось бы то развращенное искусство, или подобіе его, которое есть теперь" (стр. 86).

Передъ нами — цѣлая философія исторіи, паденія человѣчества и роста его развращенности. Источникъ этой послѣдней въ общественномъ раздѣленіи труда — въ томъ, что высшія сословія выдѣлились изъ массы народа и зажили своей жизнью, исполненной праздности и невѣрія. Для своей утѣхи они создали науку [1]), отвѣчающую лишь на вопросы празднаго любопытства и утонченное искусство, служащее какъ блудница наслажденію и разврату.

Истинное искусство—всенародно, *понятно* и *доступно* всѣмъ. Оно „возникаетъ только тогда, когда какой-либо человѣкъ изъ народа, испытавъ сильное чувство имѣетъ потребность передать его людямъ". Оно просто и не требуетъ ни для своего созданія, ни для своего пониманія никакой спеціальной подготовки. Оно всѣмъ *нужно*, потому что, учивъ, какъ жить, выражаетъ высшее религіозное самосознаніе своего времени и, заражая людей тѣми же чувствами, укрѣпляетъ ихъ единеніе и братство. Оно не можетъ обратиться въ профессію, оно стихійный взрывъ человѣческаго творчества, стихійный отвѣтъ вдохновеннаго человѣка на вопросъ о смыслѣ жизни, служеніе истинному Богу, который есть—любовь, братство и равенство.

Борьба Толстого и Руссо за свое «я».

„Будь самимъ собой" — это Толстой зналъ едва ли не съ дѣтства. Правда, онъ то и дѣло рядился въ разные костюмы. Въ казанскомъ университетѣ передъ нами юноша, старающійся быть аристократомъ, презрительно и надменно обращающійся съ товарищами, которые ниже его по

[1]) Взгляды Толстого на науку очень близки къ его взглядамъ на искусство. Вотъ они въ афоризмахъ: „Людямъ надо жить. А для того, чтобы жить, имъ надо знать, *какъ жить*. И всѣ люди всегда—плохо ли, хорошо ли,—узнавали это, и сообразно съ этимъ знаніемъ жили, двигались впередъ, и это знаніе того, какъ должно жить людямъ, со временъ Солона, Моисея, Конфуція, считалось всегда наукой, самой наукой наукъ. И только въ наше время стало считаться, что наука о томъ, какъ надо жить, есть вовсе не наука, а что настоящая наука есть только наука опытная"... „Простой и разумный рабочій человѣкъ... предполагаетъ, что, если есть люди, которые всю жизнь учатся и за то, что онъ ихъ кормитъ и содержитъ, думаютъ за него, то, вѣроятно, люди эти заняты тѣмъ, чтобы изучать то, что нужно людямъ и ждетъ отъ науки, что она разрѣшитъ для него тѣ вопросы, отъ которыхъ зависитъ благо его и всѣхъ людей". Но наша наука изучаетъ не то, что нужно людямъ, а *все*... „Она изучаетъ книги, памятники, мертвыя тѣла. Ея знанія совершенно безполезны для тѣхъ людей, кто своимъ потомъ оплачиваетъ ея содержаніе". Но властное меньшинство взяло ее подъ свое покровительство, потому, что она оправдываетъ то, что есть и, кромѣ того, „удовлетворяетъ праздной любознательности, удивляетъ и обѣщаетъ имъ увеличеніе наслажденій". Увеличеніе власти человѣка надъ природой, которое обѣщаетъ наука, само по себѣ ни зло, ни добро, теперь же, оно несомнѣнно зло, потому, что „если устройство общества дурное, такъ какъ наше, гдѣ малое число людей властвуетъ надъ большинствомъ и угнетаетъ его, всякая побѣда надъ природой неизбѣжно послужитъ только къ увеличенію этой власти и этого угнетенія. Такъ оно и совершается".

Очевидно, что всѣ нападки Толстого на науку должны быть направлены лишь по адресу того властнаго меньшинства, которое присвоило себѣ блага знанія, какъ и всѣ другія блага жизни. Но характерна эта точка зрѣнія интересовъ массы, интересовъ тѣхъ, кто эту науку въ дѣйствительности содержитъ. Не менѣе характерно и требованіе обращенное къ наукѣ: проникнуться духомъ религіи (см. Толстой, т. XV; предисловіе къ брошюрѣ Карпентера).

общественному положенію и исповѣдующій смѣшное міросозерцаніе провинціально-аристократическаго салона. Затѣмъ Толстой превращается въ севастопольскаго офицера, наряду съ подвигами увлекается кутежомъ и картами, мечтаетъ о георгіевскомъ крестѣ и генеральствѣ, дальше — въ прославленнаго петербургскаго литератора съ тщеславнымъ міросозерцаніемъ и эгоистическими цѣлями; еще дальше—въ помѣщика культуртрегера, заводящаго школы и образцовое хозяйство; наконецъ—въ проповѣдника, жаждущаго отреченія, нравственной и религіозной правды жизни... Но все это внѣшность. Внутри—другое бурное и клокочущее.

Вся жизнь Толстого прошла въ исканіи смысла жизни. Онъ часто мѣнялъ свои рѣшенія и формулы, но никогда ни одна формула не могла цѣликомъ подчинить его себѣ. Онъ отбросилъ формулу личнаго и семейнаго счастья, формулы воспринятыхъ ученій; онъ ищетъ истины, которая успокоила бы муки его привиллегированной совѣсти, какъ Лиръ искалъ покоя въ ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сдѣлать безумными всѣхъ... Тяжело, мучительно жить безъ формулы. Вы, имѣя большія деньги и всемірную славу, знаете, что дѣлать по формулѣ, но безъ нея, этой авторитетной няни, убаюкивающей и успокаивающей даже во снѣ, что дѣлать вамъ? Законно ли мое счастье? Не преступна ли моя жизнь? Не вредны ли мои дѣла? Ни комфортъ, ни любовь, ни уваженіе не даютъ покоя ищущей душѣ. Тѣмъ болѣе, что на примиреніе Толстой не ходилъ и не пойдетъ никогда. Судьба Толстого—судьба Агасфера. Таинственный голосъ ежеминутно слышится ему и говоритъ: иди... ищи... иди... ищи... Это прежде всего голосъ совѣсти. Толстой идетъ и ищетъ. Идетъ въ великолѣпные салоны и находитъ тамъ Друбецкихъ, Берговъ, Вронскихъ, Карениныхъ; идетъ въ помѣстья и находитъ тамъ Ростовыхъ, Нехлюдовыхъ, Болконскихъ; идетъ „къ нимъ въ народъ", къ Поликушкамъ, героямъ Севастополя... А голосъ не умолкаетъ ни на минуту и прежніе таинственные: „иди... ищи... иди... ищи" слышатся постоянно. Путникъ усталъ. Онъ видитъ, что дорога безконечна, что ея черная лента, какъ былинная змѣя норманновъ, обвиваетъ весь міръ, что въ ея громадномъ кольцѣ нельзя найти начала, исходной точки, что самая жизнь—это потокъ, несущійся въ пропасть, — онъ хочетъ отдохнуть, забыться, хочетъ убить себя... Но надо итти. Запыленный, измученный онъ поднимается опять, съ ужасомъ смотря все въ ту же и ту же роковую загадку бытія [1]).

Какъ быть самимъ собой, какъ осуществить въ жизни *свою* правду, *свое* пониманіе ея обязанностей и отвѣтственности передъ ней, когда у этого гордаго человѣческаго „я" столько враговъ и враговъ могущественныхъ, когда столько силъ, съ вѣковымъ прошлымъ, за собой и съ реальною властью въ своемъ распоряженіи претендуютъ на господство надъ нимъ?

Но смыслъ и счастье—лишь въ независимости этого я, его свободѣ, въ удовлетворенности его нравственнаго самосознанія. Отдать его кому и чему-нибудь во власть — значитъ отказаться отъ высшей красоты и осмысленности человѣческаго существованія.

---

[1]) „Л. Н. Толстой, его жизнь и литературная дѣятельность. Біографическій очеркъ. Спб. 1902 г., 3-ье изд. Ф. Павленкова.

Толстой долго, упорно, настойчиво, порою съ муками и сомнѣніями, доводившими до мысли о самоубійствѣ, искалъ истиннаго воплощенія своего могучаго и многограннаго „я“. и шелъ, увлекаясь случайнымъ и ребяческимъ костюмомъ, но доводя всегда до конца свое увлеченіе. Студентъ-аристократъ, свѣтскій офицеръ, свѣтскій человѣкъ и писатель, помѣщикъ, семьянинъ и домостроитель, послушный ученикъ Сютяева, раздраженный „скопецъ“ Крейцеровой сонаты, исполненный благоволенія проповѣдникъ всемірнаго братства — все это лишь различныя его воплощенія. Какими только формулами не увлекался онъ и изъ какихъ только формулъ не создавалъ онъ себѣ кумира и катехизиса, но всегда тотчасъ же сбрасывалъ съ себя ихъ оковы, какъ только чувствовалъ, что они давятъ и стѣсняютъ его.

Канцелярской наукѣ, господствовавшей въ казанскомъ университетѣ онъ противопоставилъ свой юношескій, острый скептицизмъ; кружку свѣтскихъ писателей 50-ыхъ годовъ и свѣтскихъ женщинъ — Маринку и Ерошку; культурной жизни — жизнь согласно съ природой, помѣщику и барину—мужика, привиллегированному и богатому—нищаго Христа, религіозной традиціи—свою критику, обрядности—свою вѣру,—традиціи государственной—свое самосознаніе.

Прямо, криво, косо, увлекаясь, отказываясь отъ себя, проклиная и благословляя окружающее, онъ хотѣлъ только одного—быть самимъ собой, достигнуть полной гармоніи между словомъ и убѣжденіемъ, между убѣжденіемъ и жизнью, между жизнью и ея обстановкой, ея работой, ея отдыхомъ и забавой и своей нравственной природой, т. е. совѣстью.

Изъ біографіи Толстого, изъ долгаго ряда его исканій вы видите, какая это трудная задача. Противъ Толстого было если не все, то многое, стихійное и могучее, исторически сложившееся и, случалось, что онъ, графъ Толстой, великій писатель земли русской, аристократъ и крупный землевладѣлецъ, оставался одинокъ и еще подъ угрозой быть отданнымъ подъ опеку за выраженное желаніе раздать имѣніе нищимъ,—или, на нашемъ языкѣ, за расточительность...

Прочтите „Исповѣдь“. Здѣсь Толстой—титанъ борющійся съ богами, Прометей, прикованный къ скалѣ и встряхивающій своими цѣпями.

Аристократическое происхожденіе, графскій титулъ, богатство, связи, кругъ знакомыхъ, семья — все это обязывало къ извѣстному образу мыслей, къ извѣстному образу жизни. Все было противъ могучей жажды упрощенія, жажды жить не по требованію обычаевъ и приличій, а по требованію природы и совѣсти и, каждый шагъ приходилось брать съ боя. Между прочимъ Толстому пришлось познать всю глубину истины, скрытой въ евангельскомъ текстѣ—„враги человѣку домашніе его“.

Повторяю: вся философія Толстого, всѣ противорѣчія этой философіи, всѣ измѣны вчерашнему, во имя сегодняшняго новаго и лучшаго или такого, которое кажется лучшимъ, объясняются его жаждой духовнаго самосохраненія. Его жизнь—это тоже борьба за индивидуальность, за свое гордое, могучее, непримиримое „я“. Человѣкъ огромной энергіи, величайшей самоувѣренности, онъ не хочетъ и не можетъ допустить въ себѣ отсутствія цѣльнаго и гармоническаго міросозерцанія, онъ хочетъ знать и понимать все, а, главное, дѣлать и жить согласно своему пониманію.

Надо быть самимъ собой.

Но что же мѣшаетъ этому? Что, грозное и сильное, заставляетъ нашу совѣсть поступать вкривь и вкось, ханжить, лицемѣрить, оправдывать зло, радоваться своему теплому углу и, среди стоновъ голодныхъ и несчастныхъ, горделиво сознавать себя сытымъ и счастливымъ?

Всѣхъ своихъ враговъ Толстой объединилъ подъ общимъ именемъ „культуры". Большой городъ съ его рожновскими и ляпинскими домами, его трущобами и клоаками, гдѣ ютятся развратъ, нищета, безпризорная старость, пьянство и преступленіе, — наше искусство, непонятное народу, хотя и оплачиваемое его работой; — наша наука, удовлетворяющая лишь праздную любознательносгь, и оставляющая въ сторонѣ главные вопросы о томъ, какъ надо жить и что надо дѣлать;—наша семья и наши обычаи, наша одежда и наша пища, наши развлеченія и наша праздность, — возможность для насъ, привилегированныхъ, жить на чужой счетъ—все это культура и все служитъ удовлетворенію чувственности привиллегированныхъ.

Въ теченіе долгихъ лѣтъ своей жизни Толстой не дѣлалъ никакого различія между культурой, т. е. наукой, искусствомъ, формами семейной и государственной жизни—и развратомъ. Это были для него синонимы.

Захваченное похотью, жестокостью, грязной стихіей сладострастія и чувственности, тщеславіемъ, жаждой насилія и власти, лицемѣріемъ и ложью, дурманомъ никотина и алкоголя или дурманомъ успѣха, славы, накопленія — человѣческое „я" стирается, гибнетъ, а беззубый, насмѣшливый и праздный, похотливо жестокій развратъ обращаетъ его въ культурнаго проходимца.

Борьба за свободу и самостоятельность своего „я" слилась съ борьбой противъ разврата культуры, культуры вообще.

Развратъ — это ложь. Развратно все, что лживо, все, что не отвѣчаетъ истиннымъ потребностямъ и влеченіямъ человѣка, все, что ведетъ его совѣсть къ компромиссу, все, что позволяетъ ему жить чужимъ трудомъ и носить чужое лицо.

Настойчивая упрямая мысль Толстого — не блестящій фейерверкъ, а какое-то стальное сверло, буравящее гранитъ и его толщу,—разъ направившись на борьбу съ развратомъ, стремилась добраться сквозь толщу и пласты всякихъ „такъ принято", „такъ надо", такъ всегда „было и будетъ", такъ „всѣ дѣлаютъ" до самой сущности, до корней и нитей этого понятія. И она добралась. Изъ темнаго убѣжища, гдѣ за толщей и пластами нашихъ предразсудковъ, красивыхъ оправдывающихъ словъ, скрывалось чудовище — развратъ, она вытащила его на свѣтъ Божій, и, повторяя уже сдѣланное Руссо, прибила его къ позорному столбу. Чужой трудъ, чужое счастье, чужое здоровье и чужія силы—словомъ привилегіи и неравенства—вотъ источникъ разврата, а жизнь за счетъ всего этого чужого, ради удовлетворенія своего тщеславія, похоти — это и есть развратъ.

Отсюда главное правило Толстовскаго индивидуализма: жить своимъ трудомъ, за свой счетъ и страхъ, чтобы сохранить святыню своей личности.

Отсюда же первое и едва ли не единственное основаніе его обще-

ственной этики: воздать труду должное, т. е. уничтожить эксплуатацію массъ, все равно подъ какимъ бы знаменемъ—государственности или капитализма ни происходила эта эксплуатація.

Для борьбы за свою индивидуальность, для защиты своего „я“ у Руссо были еще болѣе внушительные мотивы, чѣмъ у Толстого. Онъ — великій плебей и великій пролетарій, попавшій въ общество герцоговъ и принцевъ крови, которые смотрѣли на него какъ на рѣдкаго звѣря. Его всячески соблазняли, чтобы онъ перешелъ на сторону праздныхъ и сильныхъ. Но Руссо остался вѣренъ себѣ. Несмотря на всѣ соблазны, онъ ни на минуту не прекращалъ войны съ „честными людьми хорошаго тона“, съ приличнымъ обществомъ. И тутъ онъ безпощаденъ. Его краснорѣчіе стихійно. Здѣсь ненависть вѣковъ и поколѣній, здѣсь злоба и негодованіе всѣхъ трудящихся и обремененныхъ. Здѣсь гордое могучее „я“, выступившее на защиту своего попираемаго достоинства, ревниво оберегавшее свое одиночество и независимость противъ соблазновъ лести, богатства, славы...

Его умъ, какъ умъ Толстого, не хочетъ и не можетъ остановиться на полъ-дорогѣ. Онъ идетъ до конца. Пораженный тѣми опустошеніями, которыя производятъ въ душѣ человѣка деспотизмъ обычаевъ, всемогущество двухъ маленькихъ словъ „такъ принято“, зависимость слабаго отъ сильнаго, возможность ложью и лицемѣріемъ обезпечить свою жизнь онъ рѣшительно говоритъ: „естественный человѣкъ выше и лучше“.

Это „выше и лучше“, этотъ панегирикъ всему естественному, этотъ гимнъ одиночеству и безпредѣльной свободѣ, это „te Deum“ человѣку сохраняющему свою личность, свое „я“ полностью въ добромъ и зломъ— Европа услышала отъ Руссо въ тѣ дни, когда жизнь ея скривилась совсѣмъ въ другую сторону, сторону рабства и зависимости человѣка. Чтобы выпрямить палку, онъ перегнулъ ее въ противоположномъ направленіи.

Пріобщившись къ великой мечтѣ о жизни согласно съ природой, т. е. соотвѣтственно истиннымъ влеченіямъ и истиннымъ потребностямъ своего организма, своей натуры—Руссо вскрылъ одинъ за другимъ большую часть софизмовъ своего времени и явился предтечей будущаго. Ибо великая мечта человѣчества не обманываетъ никогда.

Подчиняясь условіямъ времени, эту великую мечту Руссо воплощалъ то въ образѣ первобытнаго дикаря, то современнаго ему африканца, то суроваго трудолюбиваго валлонца или швейцарца. Воплощенія не всегда были удачны. Однако, поставьте ихъ рядомъ и для васъ окажется возможнымъ взять у нихъ за скобку нѣчто очень важное и существенное.

Это то, что естественный *человѣкъ живетъ за свой счетъ и за свой страхъ*. Дикарь высыпается подъ тѣмъ деревомъ, подъ которымъ наѣлся. Очевидно ни слуги, ни рабы не нужны ему. Пользованіе чужимъ трудомъ было бы для него лишь тяжелой обузой. Въ сущности оно невозможно для него.

Но одинаково невозможно для него и пользованіе чужой личностью. Онъ дѣлаетъ, что хочетъ. Всякій его поступокъ воплощаетъ лишь его личность, его чувство и его волю. Онъ не знаетъ, что значитъ приказывать, слушаться, желать понравиться, сдѣлать что-нибудь изъ страха

передъ другими. Онъ всегда самъ. Онъ не нуждается въ одобреніи, не ищетъ выгоды. Его потребности такъ ограничены, что его нельзя подкупить.

Онъ *самъ* передъ людьми, природой, Богомъ — онъ „всегда равный самому себѣ", не насилующій никого другого, не знающій насилія надъ собой.

Какъ и почему Толстой пошелъ на выучку къ мужику.

Природа не знаетъ лжи и разврата. Въ этомъ ея красота и величіе. Только жизнью возлѣ нея и согласно съ нею обезпечивается полная свобода и полная независимость человѣческаго „я"...

Это настроеніе *Казаковъ* и всей первой половины литературной дѣятельности Толстого.

Но мы знаемъ, что въ своей жизни онъ пережилъ великую духовную драму. Имя этой чисто русской великой драмы—„расплата съ народомъ и съ мужикомъ" за свои грѣхи, за грѣхи дѣдовъ и прадѣдовъ. Это странная драма „кающагося дворянина", драма возмущенной совѣсти. Воспитанный крѣпостнымъ трудомъ, баринъ, обремененный всяческими привелегіями, дошедшій до мысли о жизни за свой счетъ и за свой страхъ пережилъ ее съ особенной напряженностью и муками.

„Самъ вышедшій изъ родовитой среды,—говорю я въ другомъ мѣстѣ,— Толстой почти всю жизнь промучился надъ противорѣчіемъ между бариномъ и мужикомъ, особенно послѣ того, какъ ему пришлось побывать на севастопольскихъ бастіонахъ. Тутъ онъ научился уважать простыхъ людей, великихъ въ своемъ смиренномъ и молчаливомъ героизмѣ. Онъ понялъ, что чѣмъ-то онъ обязанъ передъ ними, что въ отношеніи ихъ у него на душѣ большой неоплатный долгъ и вскорѣ, въ началѣ 60-хъ годовъ, находясь еще во власти теоріи „усовершенствованія", онъ принялся учить крестьянскихъ дѣтей въ яснополянской школѣ. Но это ученіе быстро пріѣлось ему, какъ барская[1]) и ненужная затѣя, и онъ занялся своими хозяйственными и интеллигент-

---

[1]) Несмотря на теорію усовершенствованія, мировое посредничество, вѣру въ прогрессъ, несмотря на общее могучее увлеченіе раціонализмомъ—Толстой *и въ это время* (1861 г.) оставался вѣренъ своему основному, я бы сказалъ, стихійному настроенію. Это лучше всего доказывается его статьей „Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ?" Здѣсь Толстой высказываетъ слѣдующія мысли: „Какъ бы ни неправильно было развитіе ребенка, всегда еще остаются въ немъ *первобытныя черты гармоніи*". Еще умѣряя, по крайней мѣрѣ не содѣйствуя развитію, можно надѣяться получить хоть нѣкоторое приближеніе къ правильности и гармоніи. Но мы такъ увѣрены въ себѣ... такъ мало умѣемъ понимать и цѣнить *первобытную красоту ребенка*, что мы скорѣй... исправляемъ, воспитываемъ ребенка... Ребенка развиваютъ все дальше и дальше и все дальше удаляютъ отъ бывшаго и уничтоженнаго первообраза... *Идеалъ нашъ сзади, а не впереди* (NB. *курсивъ самого Толстого*). Воспитаніе портитъ, а не исправляетъ людей... Учить и воспитывать ребенка нельзя и безсмысленно по той простой причинѣ, что ребенокъ стоитъ ближе меня, ближе каждаго взрослаго къ тому *идеалу гармоніи, правды, красоты и добра*, до котораго я въ своей гордости хочу возвести его. Сознаніе этого идеала лежитъ въ немъ сильнѣе, чѣмъ во мнѣ" (т. IV, стр. 232—233).

Эти мысли почти тожественныя съ мыслями Руссо въ его „Эмилѣ". Въ нихъ же можно видѣть какъ бы предчувствіе „великой драмы опрощенія", пережитой Толстымъ въ восьмидесятыхъ годахъ, когда идеалъ жизни согласно съ природой замѣнился или лучше подмѣнился идеаломъ жить такъ, какъ живетъ мужикъ, какъ живетъ вся деревенская, общинно земледѣльческая Русь.

ными дѣлами. Только все же ни литературой, ни домашнимъ счастьемъ, ни великой славой, ни полнымъ успѣхомъ во всѣхъ дѣлахъ не могъ онъ вытравить стыда и совѣсти за свое привилегированное барское положеніе. И вотъ настала минута, когда стыдъ и совѣстливость всецѣло овладѣли его душой, когда онъ сталъ мечтать о самоубійствѣ, о раздачѣ имѣнія, когда онъ захотѣлъ стать мужикомъ, какъ всѣ мужики вокругъ него, когда онъ отрекся отъ своего художества и предалъ анафемѣ искусство и науку.

„Въ этой личной драмѣ Толстого всѣ мотивы, пережитые нашей интеллигенціей въ отношеніи къ народу. Сначала спокойное пользованіе дарами судьбы и чужимъ трудомъ крѣпостныхъ, потомъ уваженіе къ этой округлой, гармонической жизни мужика и его смиренному героизму, какое-то смутное пониманіе, что тревоги интеллигентнаго сердца могутъ прекратиться лишь, тогда, когда оно проникнется стихійнымъ міросозерцаніемъ народа, потомъ желаніе 60-хъ годовъ учить мужика, до себя поднять его и, наконецъ, упреки совѣсти за свое привилегированное положеніе и стремленіе учиться у народа правдѣ его трудовой жизни".

Совѣсть сначала неясно и смутно, а потомъ все громче и опредѣленнѣе говоритъ Толстому, что его образованіе, его личное счастье, его богатство и привилегированное положеніе—все это получено имъ за счетъ мужицкаго, крѣпостного труда, что въ этомъ смыслѣ его долгъ народу огроменъ, что надо расплатиться... И чѣмъ дольше онъ живетъ, тѣмъ все больше и громче, съ большими упреками, раздраженіемъ и негодованіемъ говоритъ возмущенная, проснувшаяся совѣсть объ отвѣтственности, о долгѣ передъ народной массой. Вспоминаются, конечно, грѣхи молодости, совершенные еще въ крѣпостныя времена, вспоминаются еще большіе грѣхи предковъ, ихъ „легкомысленный ребяческій развратъ", ихъ жестокость, расправы на конюшнѣ, а главное—вспоминается эта жизнь цѣлаго ряда поколѣній на счетъ крестьянской массы. Голосъ совѣсти на первомъ планѣ.

Къ этому прибавились муки сомнѣвающейся и невѣрующей мысли. Ужасомъ смерти повѣяло на Толстого при приближеніи старости, и были минуты, когда онъ терялъ голову и думалъ о самоубійствѣ. Все кругомъ было наполнено запахомъ тлѣна, могилы, разложенія. Могучее „я" терзалось въ мукахъ безсилія, видя себя на краю бездны, готовой поглотить его. Тѣмъ болѣе распалялась жажда уйти отъ самого себя, прислониться къ чему-нибудь огромному, вѣрному. И этимъ огромнымъ и вѣрнымъ была, конечно, стихія народной жизни.

Какъ бы утомленное своей борьбой за индивидуальность, могучее „я" Толстого не выдержало борьбы, не выдержало этого вѣчнаго боевого своего состоянія. Призракъ смерти [1]) наполнилъ и все его существо и

[1]) Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ мѣста для подробнаго психологическаго анализа. Но я еще разъ подчеркиваю этотъ ужасъ Толстого передъ смертью и огромную роль, которую онъ сыгралъ въ его жизни. Въ значительной степени тутъ виновато пресыщеніе, быть можетъ, даже подавленная религіозность, рисовавшая, однако, жизнь за гробомъ. Но мало этого. Можно спросить себя: кто и что умирало въ Толстомъ? Конечно, больше, чѣмъ онъ самъ. Умирала и умираетъ стихія старо-русской барской жизни, высшимъ представителемъ и наиболѣе художественнымъ воплощеніемъ которой въ ея гордынѣ и ея самобичеваніи является онъ самъ „Ужасъ смерти — голосъ вырожденія". И когда онъ заставляетъ блѣднѣть Толстого, мы что должны сводить? Счеты съ цѣлымъ сословіемъ.

Но, конечно, это лишь одна грань великаго человѣка и его жизни.

жизнь блѣднымъ ужасомъ. Великій гордый человѣкъ склонился передъ кумиромъ, но этотъ кумиръ былъ достоенъ его. Онъ склонился передъ стихіей русской общинно-земледѣльческой жизни, потому что эта стихія была въ немъ самомъ. Но, зная натуру Толстого, мы ни на минуту не должны даже допустить мысли, что это было *смиреніе*. На смиреніе, въ нашемъ обычномъ смыслѣ слова, Толстой совершенно неспособенъ. Въ крайнемъ случаѣ — это смиреніе раскольника, протопопа Аввакума, смиреніе самосожигателя [1]).

Теперь ясно, что многое въ этой драмѣ было лишь временными закоулками мысли. Вѣдь то, что разсказано ниже въ немногихъ словахъ— представляетъ собою очень сложную и долгую драму внутренней жизни Толстого, тянувшуюся слишкомъ 20 лѣтъ. Она развивалась и разыгрывалась напряженно и нудно, она совершила полный курсъ отъ сознанія неправоты и рабства своей личной жизни къ сознанію неправоты и рабства жизни общественной. Она имѣла свои уклоненія и перемѣны, неизбѣжныя въ дѣйствительной жизни. Это было напряженное и нудное исканіе той правды общественной и личной, которая мирилась съ совѣстью человѣка, не отуманенной соображеніями о личной выгодѣ. Это было возстаніе противъ государства, которое постепенно приняло въ глазахъ Толстого значеніе и смыслъ „организованнаго насилія для эксплуатаціи труда народа и труда массъ и церкви, услужливо оправдывавшей и это насиліе и эту эксплуатацію". Это была виликолѣпная попытка вернуться къ христіанскому міропониманію и жизни, построенной на началахъ христіанской этики. Тутъ былъ цѣлый долгій періодъ, не скажу затменія, но какой-то узкой и ограниченной заботы о себѣ, о чистотѣ своего нравственнаго міра, — была боязнь запачкаться отъ соприкосновенія съ дѣйствительностью, причемъ вся проповѣдь Толстого сводилась къ отреченію отъ жизни. Проповѣдь эта создала, какъ извѣстно, безжизненное движеніе, родившееся чахлымъ и слабосильнымъ, съ выцвѣтшими глазами и дряхлымъ сердцемъ—нашу „толстовщину".

Голодъ 1891 г., въ борьбѣ съ которымъ Толстой принялъ такое большое и горячее участіе, вывелъ его изъ духовнаго одиночества и духовнаго маразма. Какъ только онъ явился въ голодающія мѣста, жизнь обнажила передъ нимъ язвы своей общественности. На своемъ своеобразномъ языкѣ онъ сообщалъ изъ Ефремоскаго уѣзда одному изъ своихъ знакомыхъ: „пишу теперь о голодѣ. Но выходитъ совсѣмъ не о голодѣ, а о нашемъ *грѣхѣ раздѣленія съ братьями*. И статья разростается, очень меня занимаетъ и становится нецензурною". Грѣхъ раздѣленія съ братьями—это, конечно, наши общественныя отношенія, къ анализу которыхъ Толстой и переходитъ постепенно начиная съ этого времени. Образцомъ же лучшей жизни остается пока крестьянская община.

Пытаясь нѣкогда резюмировать все главное, основное, пережитое и сказанное Толстымъ за этотъ долгій періодъ сближенія съ мужикомъ и преклоненія предъ нимъ, я писалъ слѣдующее:

---

[1]) Какъ плохо понимаютъ этотъ особый характеръ толстовскаго смиренія даже умные люди, видно хотя бы изъ слѣдующихъ словъ Анатоля Франса: „la cité de Tolstoï est celle de la resignation".—Святѣйшій Сѵнодъ въ своемъ отлученіи превосходно оцѣнилъ эту „резиньяцію"...

Все покаянное настроеніе, бывшее въ нашемъ барствѣ, по крайней мѣрѣ въ лучшихъ его представителяхъ, совѣсть которыхъ была смущена сначала крѣпостнымъ положеніемъ безправной массы, потомъ воспоминаніями объ этихъ мрачныхъ временахъ,—тѣхъ, кому не шелъ въ прокъ хлѣбъ, воздѣланный рабами, кто давалъ „ганнибалову клятву" бороться до конца съ ужасами крѣпостного строя Россіи,—все это сосредоточилось въ Толстомъ. Привиллегія его собственнаго положенія, его титулъ, его богатство,—вотъ что мучило его постоянно. За довольствомъ своей собственной жизни онъ лишь рѣдко могъ забывать, на чей счетъ оно куплено, чьими трудами обезпечивается. И не забывая объ этомъ, онъ казнился и тоской, и раскаяніемъ, и муками требовательной совѣсти. Какъ давно это началось! Еще юношей задумывается онъ надъ этими вопросами. Сначала, правда, простой народъ не существовалъ для него, но все же всегда при встрѣчѣ съ крестьянами и крестьянками онъ „испытывалъ *безсознательное сильное смущеніе*", потомъ, подъ вліяніемъ литературы XVIII вѣка, въ немъ развились филантропическія мысли, и онъ пишетъ: „Я выхожу изъ университета, чтобы посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ для нея. Главное зло (жизни) заключается въ самомъ жалкомъ, бѣдственномъ положеніи мужиковъ. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастьѣ этихъ семисотъ человѣкъ, за которыхъ я буду отвѣчать Богу"? Всей своей жизнью и дѣятельностью Толстой доказалъ, что въ этой юной и напыщенной фразѣ были не только красивыя слова „просвѣщеннаго абсолютизма", что это не просто цитата изъ Наказа или мемуаровъ Фридриха II-го. Ибо что такое вся философія, вся пропѣвѣдь Толстого, какъ не требованіе отъ русскаго помѣщика и барина расплатиться со своими крѣпостными, отъ привилегированнаго—съ массой униженныхъ и обиженныхъ, отъ нашей цивилизаціи — съ народомъ.

Въ концѣ этого долгаго періода сближенія съ мужикомъ и именно въ 1887 г. Толстому пришлось побывать въ московскихъ притонахъ и ночлежныхъ домахъ, между прочимъ и въ знаменитомъ ляпинскомъ домѣ. Картины нищеты и разврата поразили его. „И прежде, пишетъ онъ, чуждая мнѣ и странная городская жизнь — теперь опротивѣла такъ, что всѣ радости роскошной жизни, которыя прежде мнѣ казались радостями, стали для меня мученіемъ. И какъ я ни старался найти въ своей душѣ хоть какія-нибудь оправданія нашей жизни, я не могъ безъ раздраженія видѣть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто барски накрытаго стола, ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ, театровъ, собраній. Я не могъ не видѣть рядомъ съ этимъ голодныхъ, холодныхъ и униженныхъ жителей ляпинскаго дома" (Т. XIII).

Наша жизнь ушла изъ деревни въ городъ, забыла о простомъ крестьянскомъ обиходѣ, создала массу искусственныхъ потребностей, — и вотъ, зараженная развратомъ, она гноится. Эти ея гнойныя язвы — пріюты городского пролетаріата. Назадъ надо, въ деревню, надо вернуться къ земледѣльческому труду и устоямъ общинной жизни! Потому что „такъ (какъ мы) нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя!" (Т. XIII).

Это былъ уже не упрекъ, а крикъ и вопль возмущенной совѣсти. Тутъ на самомъ дѣлѣ „старикъ, въ блескѣ власти, всталъ могучій, какъ

гроза". Онъ проклялъ искусственную цивилизованную жизнь, онъ осмѣялъ мышленіе, лишенное нравственнаго содержанія, искусство, не одушевленное идеей служенія религіозному самосознанію... Назадъ въ деревню, потому что такъ нельзя жить.

Это—„назадъ въ деревню", „назадъ въ земледѣльческую общину", къ устоямъ крестьянской жизни, къ физическому труду, жизни на свѣжемъ воздухѣ—было, повторяю, крикомъ возмущенной совѣсти и отчаянія. Цивилизація основана на рабствѣ и нищетѣ массъ, все равно, какъ отдѣльная жизнь отдѣльнаго привелегированнаго человѣка, на эксплуатаціи чужого труда, на узаконенномъ грабежѣ — вотъ что понялъ Толстой. Въ этомъ обуявшемъ его ужасѣ передъ развратомъ жизни выяснилась первая и временно заслонившая собой всѣ остальныя задачи—задача спасти самого себя.

Все прошлое, всѣ впечатлѣнія жизни заставили увидѣть это спасеніе въ жизни, какъ она устроена мужикомъ.

Несомнѣнно, что онъ идеализировалъ и народъ, и мужика, и общину. Но вѣдь это такъ просто и естественно. Отъ жалости къ человѣку и отъ того, что чувствуешь свой грѣхъ передъ нимъ, до идеализаціи — одинъ шагъ. И въ этомъ Толстой не первый и не послѣдній, но, конечно, онъ больше и ярче другихъ.

Вѣдь, для огромнаго большинства хорошихъ русскихъ людей, чѣмъ была наша земледѣльческая община, не какъ фактъ нашей жизни, не какъ податная единица, а такъ, какъ она понималась нашей передовой интеллигенціей въ теченіе цѣлыхъ 50-ти лѣтъ? Это во всякомъ случаѣ совсѣмъ не стадія экономическаго развитія. Представленіе объ общинной жизни крестьянъ-землевладѣльцевъ всегда сливалось у насъ съ представленіемъ о такомъ строѣ, гдѣ находятъ себѣ воплощеніе лучшія общечеловѣческія стремленія, не суженныя, не озлобленныя борьбой за существованіе. Въ общинѣ мы видѣли всегда и гарантію нравственной индивидуальной свободы, и гарантію равноправнаго участія личности въ общинныхъ судахъ и сходахъ, и гарантію экономическаго благосостоянія всѣхъ членовъ; а кто не видѣлъ этого прямо и непосредственно въ дѣйствительности, тотъ все же смотрѣлъ на общину, какъ на лучшую переходную стадію къ такому полному благополучію.

Но съ обычной своей прямолинейностью Толстой пошелъ дальше другихъ. Если, разсуждалъ онъ, мужики лучше, чище, нравственнѣе насъ, то и надо во всемъ быть, какъ они... Онъ одѣлся въ крестьянскую одежду, сталъ заниматься крестьянской работой и теперь, чувствуя подъ ногами твердую почву, началъ жестокую борьбу противъ образованной и привилегированной жизни.

Въ перлъ созданія возвелъ онъ все, чему научила его деревня, община: и земледѣльческій трудъ, и простоту потребностей, и великую, молчаливую силу смиренія, какъ бы подтверждавшую христіанское „не противиться злому".

Лучше по-мужицки, по-дурацки, чѣмъ такъ, какъ мы живемъ. Безконечно лучше. Тамъ, въ этомъ общинно-земледѣльческомъ міросозерцаніи, спасеніе и истина. Смыслъ же его сводится къ тому, что не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ, что внутренняя свобода человѣка не зависитъ

отъ внѣшнихъ формъ его жизни, что настоящія основы жизни — нравственныя.

Съ особеннымъ удивленіемъ услышали мы отъ Толстого проповѣдь непротивленія злу и разсказъ о походѣ тараканскаго царя на дураково иваново царство. Тутъ, кажется, единственный разъ, когда мы разсердились на Толстого, особенно послѣ того, какъ въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Энгельгардту онъ заявилъ, что если бы зулусъ ворвался въ его домъ и на глазахъ сталъ рѣзать его ребенка, — онъ не противился бы. Но эти крайности только скрывали отъ насъ стремленіе Толстого выразить въ своей проповѣди стихію общинно земледѣльческой жизни, что, однако, было сдѣлано имъ.

„Поэзія Толстого развернула всю мощь и силу, всю нравственную красоту, все волевое содержаніе, всю гамму чувствъ идеи общины и мужика,—и въ то же время все ея жизненное практическое безсиліе. Исконная русская стихія высказалась въ немъ съ небывалою, неслыханною полнотой и смѣлостью. Она прокляла его устами искусственную цивилизованную жизнь, она устраняла мышленіе, лишенное нравственнаго содержанія, искусство, неодушевленное идеей служенія, разумъ, поскольку онъ хочетъ быть устроителемъ жизни, волю, по скольку она хочетъ власти надъ другими, — она дала послѣднее, грандіозное сраженіе западно-европейскому раціоналистическому міросозерцанію и въ концѣ-концовъ должна была отступить передъ исконнымъ своимъ врагомъ и пойти на уступки. О пораженіи тутъ не можетъ быть и рѣчи, тутъ, говорю я, можетъ быть рѣчь только объ отступленіи.

Эта многолѣтняя борьба Толстого съ западно-европейскимъ строемъ мысли, воли и чувства — во имя идеи русскаго мужика русской общины, зрѣлище грандіозное и поучительное. Толстой, какъ будто поставилъ себѣ цѣлью разрушить все дѣло Петра Великаго, стереть въ душѣ русскаго человѣка всѣ слѣды реформы, обособить его отъ всего міра и создать ему такую своеобразную жизнь, которая не вынесла бы, вѣроятно, ни одного дня столкновенія съ дѣйствительностью. Всѣ лучи чисто русскаго патріархальнаго настроенія, весь ореолъ, которымъ русскій народъ въ его прошломъ окружалъ отрѣшившихся отъ себя дурачковъ и юродивыхъ, все пониманіе красоты чисто растительной жизни, которая просто живетъ, но не размышляетъ по поводу себя, не мудрствуетъ,—страстное обожаніе природы и восторгъ передъ ея стихійной правдой—(не даромъ же Толстой, какъ и Радищевъ, какъ всѣ лучшіе люди изъ среды русскаго барства — поклонникъ Руссо) — все соединилось, какъ въ фокусѣ, чтобы создать картину той жизни, которую Толстой, съ вызывающей ироніей и съ обиднымъ пренебреженіемъ къ господствующему духу раціонализма, назвалъ царствомъ дураковъ. И ее, эту жизнь, онъ въ мечтахъ своихъ, очевидно, готовилъ для своего излюбленнаго народа, народа избранника, т. е. русскаго.

Въ такомъ идеалѣ вы ясно различаете два голоса — и голосъ русской земледѣльческой стихіи, и голосъ покаянія, наполнявшій чуткое сердце русскаго барина, такъ непосредственно связаннаго съ прошлымъ народной жизни — ея крѣпостнымъ состояніемъ. Мало отрадныхъ, возвышающихъ душу воспоминаній оставило оно, но много тревожащихъ и

раздражающихъ совѣсть и взывающихъ къ ней, говорящихъ: расплатись. Огромность долга требовала полной расплаты, безъ всякихъ компромиссовъ, безъ всякихъ сдѣлокъ. Все равно какъ русское барство для созданія своей довольной, обезпеченной жизни, полной высшихъ культурныхъ наслажденій взяло у мужика все—свободу, собственность, право на личное счастье, такъ тою же цѣною хотѣло оно расплатиться съ нимъ, отказавшись отъ всѣхъ построекъ надъ его жизнью, отъ всей ея красоты и роскоши, созданной вѣковымъ потомъ и трудомъ. Общинная, земледѣльческая жизнь русскаго народа продиктовала форму идеала, чувство раскаянія предписало ему свои законы.

Подчиняясь прежде всего этому чувству, Толстой ненавидитъ все, что стало достояніемъ привилегированныхъ, что помогаетъ имъ упрочить свою власть надъ другими, себѣ подобными, — надъ этой огромной неисчислимой массой рабовъ. Онъ громитъ науку, технику, искусство, все утонченное, просвѣщенное, наполняющее жизнь праздныхъ, создаетъ свое государство юродивыхъ, видитъ въ цивилизаціи источникъ всякаго зла и рабства и всѣ вопросы общественной жизни подчиняетъ голосу совѣсти. У него полное отсутствіе юридическаго и политическаго самосознанія, у него верховная, всѣмъ управляющая мечта о совмѣстной жизни людей, цементируемой лишь любовью, взаимнымъ довѣріемъ, но ни въ какомъ случаѣ не договоромъ. У него покаянная жажда уйти въ массу народа, растворить похотливые и властные порывы личной жизни въ *ея* жизни, стереть съ лица земли свое гордое, самонадѣянное, избалованное *я* и всего себя отдать въ распоряженіе стихіи — и вмѣстѣ съ этимъ у него то же стихійное самосознаніе, какъ и у русскаго народа, отрицающее силу отдѣльнаго „я“ и даже его право на существованіе.

Невѣріе въ человѣческое *я*, признаніе массоваго общиннаго разума, гораздо болѣе могущественнаго и правильнаго, чѣмъ отдѣльный человѣческій разумъ — вотъ аксіома славянофиловъ и аксіома Толстого. Но что такое массовый разумъ?—Это инстиктъ, это нравственная интуиція, это религіозное творчество,—пожалуй,—это все, что выливается въ искусствѣ. Но только не личность въ ея раціоналистическомъ правовомъ выраженіи.

Въ стихійномъ, массовомъ разумѣ—смыслъ и центральная пружина исторіи. „Только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды— училъ Тостой въ „Войнѣ и Мирѣ“—и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ процессѣ, никогда не понимаетъ его значенія. Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью („человѣческихъ усилій“). Въ другомъ мѣстѣ Толстой выражается еще рѣшительнѣе: „если допустить, что жизнь человѣческая управляется разумомъ, то уничтожается самая возможность жизни“.

Жизнь человѣческая управляется не разумомъ. Отрицаніе науки и техники, отрицаніе западно-европейской раціоналистической цивилизаціи, презрѣніе къ договору — отсюда. Вслѣдъ за Хомяковымъ Толстой все сводитъ къ вѣрѣ, въ ней одной видитъ онъ исходъ, спасеніе, истинную силу жизни. Вполнѣ послѣдовательно ставитъ онъ интуицію выше знанія, искусство выше науки, нравственность выше политики. Охъ хочетъ для человѣка свободы, даже безграничной свободы, но это совсѣмъ не та

свобода, которая влечетъ къ себѣ западно-европейскаго, гордаго своимъ разумомъ человѣка. Это свобода одинакова доступная и осуществимая на всѣхъ степеняхъ общественнаго развитія, это свобода „округлаго человѣка“ Платона Каратаева — раба фактически и юридически. Потому что, въ концѣ-концовъ, гораздо больше, чѣмъ свободы, Толстой хочетъ расплаты за грѣхи, хочетъ успокоенія своей возмущенной совѣсти.

Въ своей критикѣ окружающаго, Толстой всегда говоритъ отъ лица русской земледѣльчески-общинной жизни. Въ сущности больше, чѣмъ кто-нибудь другой онъ имѣетъ на это право. Насколько возможно это ему, кровному русскому барину, онъ дѣйствительно приблизился къ крестьянскому міру (преимущественно выразившемуся въ сектантствѣ и расколѣ) и оттого его окончательные итоги, его „мѣдные барельефы и бронзовыя фигуры“ особенно цѣнны.

По Толстому смыслъ нашего земледѣльчески-общиннаго міросозерцанія сводится къ тому, что не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ: что внутренняя истинная свобода человѣка не зависитъ отъ внѣшнихъ формъ его жизни, что истинныя основы жизни—нравственныя, продиктованныя взаимной любовью, сознаніемъ братства и равенства между людьми, а не юридическія или правовыя, т. е. обезпеченныя договоромъ, что цѣль жизни—въ осуществленіи общины первыхъ вѣковъ христіанства.

Это и есть какъ разъ то, что зовется русской мистикой. Тутъ отрицаніе культуры и юридическихъ нормъ жизни, какъ чего-то внѣшняго, „не противься злу“ и „Богъ есть любовь“.

Стихія Руссо и Толстого.

По опредѣленности мысли и настроенія Руссо счастливѣе Толстого. На свою стихію всегда опирался онъ и истиной для него было всегда то, что говорила она.

Стихія Толстого—стихія русскаго барина, русскаго кающагося дворянина. Въ ней нѣтъ ничего гармонически цѣльнаго, художественно законченнаго. Она растерзанная и расколотая по самому существу своему, съ перваго своего пробужденія и перваго своего лепета. Стихія Руссо—это *стихія гуманиста и пролетарія.*

Кающійся дворянинъ—это типъ, созданный процессомъ вырожденія помѣщичьяго сословія на Руси. Онъ дорогъ и близокъ намъ потому, что онъ нашъ—родной, потому что въ сферѣ артистическаго и художественнаго творчества онъ далъ безконечно много, если не создалъ, то развилъ и довелъ до совершенства нашу художественную литературу, создалъ особенное покаянное настроеніе, которое, слившись въ своихъ идеалахъ и конечныхъ цѣляхъ своихъ съ радикальнымъ народничествомъ, породило могучій литературный потокъ, отдѣльный отъ тѣхъ же потоковъ другихъ всемірно историческихъ народностей и имѣющій съ нимъ право на равное существованіе.

„Въ кающемся дворянинѣ прежде всего и слышнѣе всего голосъ совѣсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда тонкость вкуса, откуда благороднѣйшія побужденія и на все это у него готовъ

одинъ отвѣтъ: „все оттуда же, все изъ условій крѣпостного состоянія, въ которомъ цѣлые вѣка томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормилъ, одѣвалъ, услаждалъ всячески моихъ предковъ, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшнѣ, полнымъ пренебреженіемъ къ личности человѣка". Онъ можетъ, конечно, успокоить себя вотъ какимъ разсужденіемъ: „мои пріятели, крѣпостные Ѳедька и Яковъ, проданы, и этою цѣною оплачено мое воспитаніе: такимъ образомъ создался образованный, гуманный, развитой, либеральный молодой человѣкъ, который, выйдя на стезю жизни еще болѣе раширитъ сферу гуманности, образованности, развитія и либерализма", — но онъ не хочетъ, не можетъ сдѣлать этого. Его мучитъ совѣсть. Его тяготитъ дворянское происхожденіе. Онъ знаетъ, что долженъ искупить свою вину и вину предковъ". (Очерки изъ исторіи русской литературы XIX в. стран. XII).

Всѣ традиціи, полученныя Толстымъ вмѣстѣ съ титуломъ, положеніемъ, кровью были *противъ* его исканія правды и смысла жизни, противъ его пониманія задачъ и обязанности человѣка, какъ нравственнаго существа. И ему постоянно приходилось идти противъ своей барской наслѣдственности, противъ своей „шуйцы", какъ говоритъ г. Михайловскій. Въ этомъ отношеніи, повторяю, Руссо былъ счастливѣе.

Въ генеалогическомъ деревѣ Толстого значатся полководцы, начальники тайной канцеляріи, придворные, представители разныхъ видовъ государственной организаціи. Вотъ генеалогическое дерево Руссо:

„Предки Руссо переселились въ Женеву въ 1529 г. Три поколѣнія въ прямой линіи отдѣляли Жанъ-Жака отъ сына парижскаго книгопродавца Дадье Руссо, который былъ первымъ эмигрантомъ. Такимъ образомъ, протестантскія традиціи въ родѣ Руссо ведутъ свое начало отъ появленія протестантизма въ Европѣ и, повидимому, оказывали на всѣхъ членовъ рода такое же вліяніе, какое онѣ оказывали, въ совокупности съ другими мѣстными условіями и на прочихъ гражданъ идеальнаго протестантскаго государства"... „Жители Женевы отличались религіознымъ рвеніемъ, энергіей въ дѣлахъ самоуправленія, страстью къ свободѣ и склонностью къ умственной дѣятельности" (Морлей, I, с. 6 — 7).

Мы сразу же видимъ, такимъ образомъ, что великая стихія, изъ которой, какъ изъ мрамора, высѣчена могучая индивидуальность Руссо имѣетъ ясные и опредѣленные элементы: религіознаго протеста, республиканскаго общежитія и кальвинистской суровости нравовъ. Ни одному изъ этихъ элементовъ Руссо не пришлось противорѣчить ни своими словами, ни своими идеалами. Онъ шелъ по пути ими указанному, въ нихъ видѣлъ онъ великую для себя опору въ своемъ коренномъ пересмотрѣ окружающаго. Въ тѣхъ исполненныхъ умиленія и благодарности похвалахъ, съ какими онъ обращается къ своему отцу, предкамъ, родному городу, трудовой обстановкѣ дѣтства, строгимъ завѣтамъ о трудѣ и добродѣтели, вынесеннымъ имъ изъ маленькой республики, на торжище и міровую сцену Парижа — нѣтъ ничего неискренняго, на себя натасканнаго. Всему этому онъ, дѣйствительно, очень многимъ обязанъ, обязанъ значительной частью самого себя. Это были прочные устои его проповѣди, его критики. Въ этихъ устояхъ — источникъ его благородной гордости,

того высокаго и прекраснаго чувства собственнаго достоинства, которое пристыдило въ концѣ-концовъ даже моньсиньора парижскаго архіепископа: этотъ послѣдній, прочтя отвѣтъ Руссо на свою „экскомуникацію“ и запрещеніе „Эмиля“, послѣ этого никогда, ни разу въ теченіе всей жизни не говорилъ о Руссо, не произносилъ даже его имени...

Со стороны кальвиниста и республиканца, правнука человѣка, который, защищая свободу своей совѣсти и мысли, вынужденъ былъ бросить родину, обезпеченное положеніе, вѣрное занятіе и идти искать счастья въ глухомъ городѣ маленькой страны—со стороны нищаго и обиженнаго, какимъ былъ Руссо—понятна и естественна его ненависть въ привиллегированнымъ.

Въ могучихъ, выкованныхъ изъ благороднаго негодованія, словахъ Руссо, вы какъ бы слышите то настроеніе, которое создало европейскую реформацію, возмутило народъ противъ церкви и духовенства и дало крестьянамъ — такимъ, какъ Лютеръ или Цвингли — силу для борьбы съ папами. Когда онъ защищаетъ свое „естественное право“ думать и вѣрить согласно съ голосомъ своей природы и совѣсти, признавать справедливымъ и добрымъ лишь то, что признается такимъ его самозаконнымъ нравственнымъ сознаніемъ, когда святая неподкупность звучитъ въ его словахъ и, несмотря на пропасть столѣтія, способна и насъ заражать своимъ вдохновеніемъ и своей гордыней — въ немъ, очевидно, говоритъ тотъ же духъ, какъ и въ его прадѣдѣ эмигрантѣ или тѣхъ безвѣстныхъ пуританахъ, которые въ 1628 г., забравши женъ и малолѣтнихъ дѣтей, на старомъ кораблѣ пустились съ пѣніемъ псалмовъ и гимновъ черезъ океанъ, въ невѣдомую тогда и дикую Америку, лишь бы отстоять свое право думать и вѣрить по своему.

Соціальное, сословное положеніе Руссо, все равно какъ историческое прошлое его стихіи, въ значительной степени объясняетъ его мечты, идеалы и критику, его любовь и ненависть.

Богъ знаетъ какихъ усилій стоило Толстому приблизиться къ мужику, къ простому человѣку. Руссо это далось сразу.

„Онъ поздно выяснилъ себѣ и высказалъ въ литературѣ свои плебейскія мысли, но всегда, неизмѣнно сохранялъ плебейскія (пролетарскія чувства). Внезапно пріобрѣтя всемірную славу, онъ сдѣлалъ изъ нея пьедесталъ плебейства. Самая гордость его, громадная гордость, была, по справедливому замѣчанію Брюнетьера, гордостью не писателя, а плебея.

„Въ Западной Европѣ давно уже не требуется такихъ героическихъ средствъ, чтобы дать писателю возможность взглянуть на общественную жизнь со стороны низшаго класса... Но въ то время, когда, при отсутствіи самосознанія въ низшихъ классахъ, такая точка зрѣнія обрекала на одиночество, а знаменитость широко открывала двери хорошаго общества для того, чтобы тогда ни на минуту не заразиться настроеніемъ этого общества, и, ставъ такимъ писателемъ, съ которымъ заигрывали короли, принцы и герцоги, сохранить нетронутой свою гордость плебея— нужна была, повидимому, вся исключительность судьбы Руссо“ [1]).

[1]) Карелинъ. Ж. Ж. Руссо. Замѣчу, что это одна изъ лучшихъ книгъ о Руссо на русскомъ языкѣ. Великій женевецъ разсматривается здѣсь какъ первая ласточка европейскаго пролетаріата. На протяженіи этой статьи мнѣ не разъ приходилось обращаться къ этой книгѣ.

Оттого-то Руссо всегда вѣренъ своему настроенію. Оттого-то, разъ выйдя на путь обличенія культуры, онъ уже не сворачивалъ съ него, ибо этотъ путь былъ онъ самъ и воспитавшая его соціальная стихія...

Но Толстой — это что-то особенное. Съ самаго начала, съ дней юности онъ расколотъ на двое. Еще студентомъ онъ носитъ бобровую шинель, презираетъ все разночинное, свысока смотритъ на товарищей, не имѣющихъ собственной запряжки, и въ тоже время занимается рѣзкимъ и ярымъ отрицаніемъ всего окружающаго. Потомъ онъ мечтаетъ о флигель-адъютантствѣ и каждымъ словомъ своимъ утверждаетъ, что мужикъ, солдатъ, рабочій—выше культурнаго человѣка. Онъ баринъ, кровный русскій баринъ, создаетъ проповѣдь опрощенія и равенства. И не надо думать, что барство, барская стихія, барскіе вкусы, привязанности, вся барская связка чувствъ — что-нибудь мимолетное и случайное въ его стихіи. Напротивъ: онъ баринъ съ головы до ногъ, every inch a king, и въ тѣхъ упрекахъ, которые раздавались по его адресу, будто онъ „во Христѣ барствуетъ" — есть кое что [1]) справедливое. Вся исторія его перерожденія какъ нельзя лучше это доказываетъ... Онъ—кающійся дворянинъ.

Задача кающагося дворянина въ томъ, чтобы подрубить тотъ самый сукъ, на которомъ сидѣли его предки и такъ или иначе все еще сидитъ онъ самъ. Такими людьми какъ Герценъ, Некрасовъ, Щедринъ, Толстой— эта задача исполнена блестяще. Но вмѣстѣ съ тѣмъ на двое расколотая стихія постоянно даетъ чувствовать себя, отражается въ безконечныхъ, часто обидныхъ противорѣчіяхъ, дѣлаетъ работу мысли нудной и смутной, окрашиваетъ весь жизненный путь тоской, разочарованіемъ, меланхоліей,—часто отчаяніемъ. Рядомъ съ возрождающимъ негодованіемъ, и страстнымъ порывомъ къ правдѣ — въ томъ, что создано этой стихіей, слышится голосъ вырожденія, пресыщенности, устали...

Но не здѣсь ли и источникъ той жажды *абсолютнаго*, которое характеризуетъ литературу нашихъ кающихся дворянъ. Въ ихъ словахъ и желаніяхъ—фанатизмъ покаянія, полнота отреченія отъ себя. Они выступаютъ на сцену съ головой, посыпанной пепломъ, въ растерзанныхъ одеждахъ, они всенародно бичуютъ себя, и Боже—какъ любятъ они въ своихъ мечтахъ народъ, какая въ нихъ жажда слиться съ нимъ, и искупить своимъ отреченіемъ грѣхи прошлаго. О! эта совѣсть возмущенная и требовательная... Она не прощаетъ и не забываетъ ничего! День за днемъ, часъ за часомъ перебираетъ она всю прошлую и настоящую жизнь, она не брезгуетъ подробностями ѣды, питья, одежды, развлеченій и отдыха, копается во всѣхъ тайнахъ и интимныхъ углахъ семейной жизни и каждую минуту готова осудить, проклясть, пойти на жертву и подвигъ...

Въ проповѣдническихъ произведеніяхъ Толстого мысли и настроеніе кающагося дворянства отлились въ мѣдные барельефы, въ вѣчные образы. Совѣсть преслѣдуемая по пятамъ, заставила сбросить съ себя барскую одежду, взяться за сапожное шило и соху, отказаться отъ собственности— отъ своихъ художественныхъ созданій, которыя онъ проклялъ.

---

[1]) Кое что и очень немногое. Но когда г. Мережковскій утверждаетъ будто „Толстой зоветъ насъ въ крестьянское, а въ сущности помѣщичье царство" — это уже ложь. Въ *помѣщичье* царство Толстой не зоветъ насъ.

И она же предписала ему жажду абсолютнаго. Онъ не идетъ ни на какіе компромиссы, уступки, соглашенія. Онъ непримиримъ, онъ исполненъ страсти фанатизма, жажды пророчества и проповѣди. Онъ не шелъ къ церкви и ни разу не покаялся въ своемъ отрицаніи. Недавно маленькій человѣкъ—Мережковскій, вызывающе говорилъ: „мы еще увидимъ, какимъ окажется Толстой въ послѣднюю минуту". Ясно: тутъ былъ намекъ на то, что въ послѣднюю минуту Толстой сробѣетъ. Но недолго спустя послѣ этого ребяческаго вызова, Толстой дѣйствительно умиралъ. Онъ какъ бы заглянулъ въ ту бездну, куда скатывается человѣчество. Но духъ его не смутился, и мысль его не потускнѣла...

Однако, на двое расколотая стихія постоянно даетъ себя знать. Вы видите ее въ этомъ нудномъ исканіи правды, въ огромности этихъ окольныхъ путей, по которымъ Толстой приходитъ къ самымъ элементарнымъ истинамъ, въ исключительномъ его вниманіи къ самому себѣ, въ его проповѣди непротивленія злу, которая отразила все непониманіе Толстымъ современнаго настроенія массы, въ властолюбивыхъ порывахъ его мысли. Все такое простое и ясное для нищаго Руссо—все это для Толстого высшая алгебра...

Конечный идеалъ.

Руссо хотѣлъ общаго равенства для всѣхъ и справедливости. Его совѣсть и его нравственное самосознаніе одинаково не мирились ни съ какой обидой, наносимой человѣкомъ человѣку и во всемъ блескѣ власти, во всей грозѣ негодованія возставали противъ привиллегій и эксплуатаціи. Но думать о томъ, что человѣчество въ подъемѣ религіознаго чувства и вдохновенія можетъ перешагнуть въ царство Божіе здѣсь на землѣ, какъ-то думаетъ Толстой—онъ не могъ. Въ немъ та же страстность, то же увлеченіе, тотъ же геній, но нѣтъ наивности генія, которая продиктовала такъ много страницъ великому писателю земли русской.

Мы знаемъ его жизнь. Если жизнь Толстого исключительно счастливая, то жизнь Руссо — исключительно несчастная. Она представляетъ собою рядъ обидъ, униженій героической борьбы за цѣлость и независимость своего „я", которое онъ одинаково оберегалъ, какъ святыню. Красивая и „милая" подробность: на вершинѣ міровой славы Руссо продолжалъ заниматься перепиской нотъ, зарабатывая на этомъ гроши, лишь бы не зависѣть отъ подачекъ своихъ сильныхъ и властныхъ поклонниковъ. Раньше этого, совсѣмъ нищій и безъ завтрашняго дня, онъ отказался отъ предложенной ему пенсіи за оперу.

Въ Руссо говорила здоровая стихія гордой нищеты, свободолюбивой религіозной мысли, маленькой республики, еще не вступавшей тогда на путь неравенства и разложенія. Это стихія была его добрымъ геніемъ. „Въ его словахъ впервые звучалъ голосъ европейскаго пролетаріата".

Однажды съ блестящей компаніей парижанъ Руссо отправился смотрѣть деревенскую ярмарку. Кто-то вздумалъ купить и бросить въ толпу крестьянъ нѣсколько пряниковъ. Его примѣру послѣдовали другіе. Всѣмъ показалось очень забавнымъ смотрѣть, какъ крестьяне спѣшили толкая

и давя другъ друга, подбирать перепачканные въ пыли куски. Подъ вліяніемъ ложнаго стыда, разсказываетъ Руссо, и онъ, какъ другіе, купилъ и бросилъ нѣсколько пряниковъ, но тяжелое чувство скоро заставило его отдѣлиться отъ общества и уйти бродить. Вникнувъ въ свое ощущеніе, онъ понялъ, сколько въ этой сценѣ было насмѣшливаго презрѣнія съ одной стороны и сколько рабскаго униженія со стороны крестьянъ, готовыхъ калѣчить другъ друга изъ-за брошеннаго въ грязь угощенія. (Карелинъ, 14. Confessions).

Сцена характерная, но нисколько не исключительная, одна изъ тѣхъ, которыя Руссо наблюдалъ десятками и сотнями. Если теперь она такъ возмутила и пристыдила его, то потому, между прочимъ, что онъ понялъ, какъ самому ему не разъ, а много разъ приходилось играть унизительную роль крестьянина, дерущагося съ своими друзьями и сосѣдями изъ-за брошеннаго въ грязь угощенія.

Нищій плебей онъ вынесъ слишкомъ много обидъ, презрительныхъ взглядовъ, ударовъ хлыстомъ по своему самолюбію и достоинству, униженій, видѣлъ, что его считаютъ существомъ другой кости и породы, что доступное человѣку со шпагой никогда не можетъ быть доступно ему, и онъ сталъ неравенство и привиллегію считать не только врагами тѣхъ, отъ имени которыхъ онъ говорилъ передъ блестящей публикой парижскихъ салоновъ и всѣмъ міромъ, но и личными своими врагами. И онъ обоготворилъ равенство, одна мысль о которомъ выводила изъ себя всю пропитанную сословнымъ и кастовымъ духомъ дореволюціонную Францію.

Потомъ онъ въ своей жизни увидѣлъ другое, не менѣе страшное. Однажды утромъ онъ проснулся знаменитымъ человѣкомъ, чье имя было на языкѣ „всего Парижа". Его окружили, и стали ухаживать за нимъ и предлагать ему свою дружбу люди, которые наканунѣ сочли бы унизительнымъ для себя считать его въ числѣ своихъ знакомыхъ. Они восторгались его дарованіями, жадно ловили каждое его слово, тщеславились его вниманіемъ. Но онъ былъ слишкомъ чутокъ, чтобы не понять простой причины такой перемѣны: онъ попалъ въ славу. Изъ окружавшихъ его людей никто серіозно не увлекался ни его идеями, ни его настроніемъ. „Весь Парижъ" съ увлеченіемъ прочелъ его диссертацію о неравенствѣ и успокоился на мысли, что это красивый парадоксъ, неосуществимая мечта, одна изъ многочисленныхъ въ то время утопій. Ни глубокаго стона ни серьезнаго проклятія, ни раздраженія и негодованія отъ котораго скоро вздрогнулъ міръ—не услышалъ и не различилъ никто (кромѣ, быть можетъ, Вольтера) за этими краснорѣчивыми фразами. „Красивый порадоксъ! — это забавно. Бранятъ насъ!—еще забавнѣе",—говорили герои блестящихъ парижскихъ салоновъ. Руссо понялъ, что на него смотрятъ прежде всего какъ на заморскаго звѣря, на трехглазую ящерицу, на забавника, понялъ, что онъ съ своимъ гнѣвомъ и святою печалью — лишь острая приправа за столомъ пресыщенныхъ и праздныхъ, и ощетинился еще болѣе. И новая обида, горшая первой еще возвысила въ его глазахъ кумиръ—равенство, въ проповѣди котораго таилось достаточно скрытой силы, чтобы заставить философовъ и бароновъ понять наконецъ, что жизнь человѣка и его вдохновенное творчество не всегда могутъ служить лишь для забавы, и въ качествѣ одной изъ острыхъ приправъ.

Проповѣдь равенства была самой ненавистной и разрушающей во Франціи XVIII в., въ ней таился жгучій сарказмъ, жестокая гроза.

Руссо, конечно, не выбиралъ ее. Она была подсказана всей его жизнью; его предками—протестантами, отказавшимися отъ Бога богатыхъ и сильныхъ, Бога,—разодѣтаго въ красныя и фіолетовыя одежды, Бога—разговарившаго только съ епископами и попами—и нашедшими своего, одѣтаго въ рубище, Бога; его согражданами, женевцами, благочестиво отплевывавшими при одномъ словѣ привиллегія; его любовью къ природѣ; его ненавистью къ рабству; его измученнымъ искалѣченнымъ духомъ, мечтавшимъ объ успоконеніи въ обществѣ, гдѣ всѣ равны, а значитъ, гдѣ нѣтъ мѣста борьбѣ, зависти, честолюбію, спорамъ за славу и вліяніе, за лучшее или первое мѣсто.

Вдохновляемый идеей равенства, онъ создалъ свой „Общественный договоръ".

Это уже не естественное состояніе и не та блаженная жизнь, которая слѣдовала за нимъ въ первобытныхъ общинахъ, — это политическій союзъ, устроенный въ интересахъ всѣхъ договаривающихся. „Условія этого договора... несмотря на то, что, быть можетъ, никогда не были формально высказаны, повсюду одинаковы, повсюду молчаливо принимаются и признаются до того времени, когда съ нарушеніемъ общественнаго договора, каждый снова вступаетъ на свои естественныя права, снова возвращается къ естественной свободѣ, теряя ту условную свободу, ради которой онъ отказался отъ естественной".

Общественный договоръ—эта петля и путы, которыя каждый надѣлъ на себя ради того, чтобы избѣжать худшаго. „Худшее" же грозило людямъ въ то время, когда они, выйдя изъ естественнаго состоянія, стали нуждаться другъ въ другѣ, а раздѣленіе труда породило между ними неравенство. Тогда они вели безпрерывную ожесточенную борьбу, причемъ на одной сторонѣ стояло меньшинство богатыхъ, на другой — масса людей, обладавшихъ лишь физической силой. Чтобы обезпечить себя отъ насилія и охранить свое имущество, люди отказались отъ своей безграничной свободы естественнаго состоянія и промѣняли ее на условную свободу общественнаго договора.

Законодательная власть по смыслу этого договора принадлежитъ всему народу. Она—проявленіе общей воли, или, вѣрнѣе, воли большинства, которому меньшинство обязано подчиняться такъ же безпрекословно, какъ и отдѣльный человѣкъ. Всѣ заботы Руссо направлены къ тому, чтобы обезпечить свободное и независимое проявленіе этой общей воли. Каждый долженъ прямо и непосредственно подавать свой голосъ въ народныхъ собраніяхъ. Общая воля — только сумма отдѣльныхъ „да" и отдѣльныхъ „нѣтъ".

Это въ сущности устройство древнихъ республикъ, но рабства нѣтъ. Здѣсь всѣ равны, потому что существуетъ всеобщая подача голосовъ и потому еще, что всѣ одинаково рабы общей воли. Разъ высказанная — она законъ для всѣхъ.

Руссо прекрасно понимаетъ, что неравенство имуществъ можетъ повести и къ политическому неравенству. Онъ предупреждаетъ противъ его опасностей и совѣтуетъ ставить предѣлы накопленію. Народныя собра-

нія и общая подача голосовъ въ его глазахъ не призракъ и не фикція лишь въ томъ случаѣ, если въ обществѣ нѣтъ ни богачей, ни нищихъ.

Въ имущественномъ отношеніи въ такомъ обществѣ, разъ оно желаетъ быть прочнымъ, долженъ преобладать средній типъ. Преобладаніе этого типа—лучшій залогъ общаго равенства. „Не можетъ имѣть законовъ богатая страна. Фактически законы полезны всегда лишь собственникамъ и вредны тѣмъ, кто ничего не имѣетъ, поэтому общественный строй можетъ быть выгоденъ тѣмъ людямъ лишь въ томъ случаѣ, когда всѣ имѣютъ что-нибудь и никто не имѣетъ ничего лишняго". Но совершенно уже невозможно сохраненіе законнаго строя тамъ, гдѣ есть граждане достаточно богатые, чтобы подкупить другихъ, и достаточно бѣдные, чтобы быть вынужденными продавать свои голоса. А эти два состоянія нераздѣльны: гдѣ есть богачи, тамъ есть и соотвѣтствующіе имъ голодные и нищіе.

Уравненіе имуществъ—первое неизбѣжное слѣдствіе посылокъ общественнаго договора. Но Руссо идетъ дальше. Врагами равенства являются не только богатые, но и безнравственные, всѣ нарушающіе общую волю, всѣ, для которыхъ она—не святыня, всѣ невѣрующіе.

Общество имѣетъ право жизни и смерти надъ индивидуумомъ. „Общественный договоръ имѣетъ цѣлью сохраненіе (cunservation) договаривающихся. Кто хочетъ сохранить свою жизнь при помощи другихъ, обязанъ жертвовать ею ради этихъ послѣднихъ, когда это надо [1]). Жизнь гражданина принадлежитъ обществу и дѣло послѣдняго опредѣлить, когда и въ какой степени распорядиться ею.

Предѣлы власти общества надъ личностью устанавливаются соображеніями общественной пользы. „Для общества—государства очень важно, чтобы гражданинъ держался религіи, заставляющей его любить свои обязанности. Догматы этой религіи лишь въ той степени могутъ подлежать контролю государства, въ какой они опредѣляютъ нравственность гражданина и вліяютъ на исполненіе имъ своихъ обязанностей къ другимъ" [2]).

„Есть, продолжаетъ Руссо, исповѣданіе вѣры чисто гражданское, катехизисъ котораго устанавливается государствомъ. Оно относится не столько къ религіознымъ догмамъ, сколько имѣетъ въ виду чувства общественности, не любя которыхъ, нельзя быть ни хорошимъ гражданиномъ, ни подданымъ. Никого нельзя заставить вѣрить въ этотъ катехизисъ (les articles), но каждаго невѣрующаго можно изгнать изъ государства—изгнать не какъ нечестивца, но какъ человѣка противо-общественнаго, неспособнаго искренно любить законы, справедливость и приносить себя въ жертву долгу. Тотъ, который призналъ публично эти догмы, а затѣмъ ведетъ себя какъ невѣрующій въ нихъ—подлежитъ смерти".

Словомъ, законъ самосохраненія отдаетъ человѣка въ жертву обществу. Ради самосохраненія нужно бороться не только съ имущественнымъ неравенствомъ, но и всякимъ рѣзкимъ различіемъ въ мнѣніяхъ и исповѣданіяхъ вѣры. Средній типъ во всемъ—пусть будетъ преобладающимъ.

---

[1]) Oeuvres completes t. III „Contrat social". Карелинъ Ж. Ж. Руссо, гл. III; Морлей: Contrat Social l. II ch. V.

[2]) C. S. l. IV ch. VIII.

Таланты и геніи опасны. Опасно все выходящее изъ уровня. Равенство всѣхъ единственное условіе прочности общественнаго организма.

Этому равенству принесена въ жертву свобода личности.

Странно, что въ Руссо—этой, первой ласточкѣ европейскаго пролетаріата, слышно уже утомленіе. Въ этомъ виновата, конечно, его личная, исключительно несчастная жизнь. Онъ съ самаго начала раненный и загнанный левъ, ревъ котораго вызываетъ содраганіе, но глаза котораго смежаются усталостью и болью. Онъ ненавидитъ культуру, его пугаетъ жажда совершенствованія, борьба, стремленіе; его золотой вѣкъ позади; впереди — лишь печальная необходимость жить... Онъ утомленъ, надорванъ съ самаго начала. Только отрицаніе дѣлаетъ изъ него бойца... Но онъ не вѣритъ...

Въ общественномъ договорѣ ему приходится выбирать между равенствомъ и свободой: онъ выбираетъ равенство. Онъ понимаетъ, что начало свободы неразлучно съ началомъ борьбы, стремленія, перемѣны. Все это страшно. Онъ выбираетъ равенство и строитъ грозную плотину человѣческому творчеству. Впереди все равно ничего нѣтъ, кромѣ печальной необходимости жить.

Равенство—божественно, потому что оно создано природой. Только человѣкъ, это развращенное животное, осмѣлился посягнуть на него и за это онъ изгнанъ изъ рая, въ которомъ пребывали его дикіе предки. Но равенство разрушено и теперь, чтобы возстановить его, надо пожертвовать свободой, но свободой всѣхъ и каждаго. Это будетъ равенство рабовъ.

Вы спросите, какъ могучая, гордая индивидуальность могла мириться съ такимъ идеаломъ? Она не мирилась пожалуй, она возставала противъ него, но Руссо не видѣлъ въ свое время другого средства для побѣды надъ ненавистнымъ зломъ.

Онъ, первая ласточка, прилетѣлъ слишкомъ рано. Онъ былъ одинокъ отъ колыбели до могилы. Онъ не зналъ, онъ не могъ знать, что будетъ кумиромъ и властелиномъ на другой же день послѣ своей смерти. Его современники добили его, внушивъ ему мысль, что его идеи лишь красивыя и оригинальныя теоретическія соображенія, неосуществимыя мечты и грезы, художественныя созданія парадоксальнаго ума. Напуганный великимъ дерзновеніемъ своей мысли и своимъ одиночествомъ, разбитый и искалѣченный духовно и физически, онъ, какъ смертельно раненный левъ, думалъ только о томъ, гдѣ бы ему умереть въ полномъ и гордомъ одиночествѣ, серьезно и тайно отъ безстыдныхъ и торжествующихъ взглядовъ своихъ враговъ. И дерзновенію своей мысли онъ далъ умереть въ общественномъ договорѣ, тамъ онъ похоронилъ его, т. е. лучшее свое *я*, но похоронилъ, задушивъ предварительно своего врага-неравенство...

Порожденное ростомъ населенія, раздѣленіемъ труда, собственностью, лукавствомъ человѣческаго ума, жаждой власти и господства—оно выродилось въ развратъ. Этотъ развратъ не похоть, это развратъ жизни за чужой счетъ и чужое счастье. И ненавидя его всѣмъ кальвинизмомъ, всѣмъ цѣломудріемъ своей совѣстливой натуры, Руссо обоготворилъ равенство...

Къ тому же, но другимъ путемъ, пришелъ Толстой. Какъ кающійся дворянинъ онъ проклялъ свое привиллегированное положеніе и духомъ своимъ прилѣпился къ жизни мужика общинника. Въ ней воплощенное равенство вплоть до уничтоженія всякой индивидуальности.

„Общинная земледѣльческая стихія это скорѣе—отрицаніе личности, чѣмъ признаніе ея—писалъ я въ другомъ мѣстѣ. Первобытное земледѣліе, все зависящее отъ случая, отъ дождя и солнца, отъ всего независящаго отъ человѣка, собственно можетъ внушить вѣру во что угодно только не въ личныя усилія... Община своимъ властнымъ принципомъ „какъ міръ" приписываетъ отдѣльному человѣку то же невѣріе въ себя, развиваетъ его стадные инстинкты, склонность къ стадному мышленію и вѣрѣ."

И такимъ-то міросозерцаніемъ, хотя преимущественно въ его сектантской, раскольничьей формѣ пытался увлечься Толстой и, одно время, можно было даже думать, что онъ увлекается имъ до конца. Онъ пишетъ о походѣ тараканскаго царя на „дураковъ иванова царства" и рисуетъ намъ либерала просвѣтителя въ образѣ комическаго шутовского чорта.

Въ общинной жизни, ея вѣковыхъ, патріархальныхъ укладахъ, въ ея крѣпкой, представлявшейся исключительно моральной (въ дѣйствительности—морально экономической) связью между людьми, въ ея смиренномъ фатализмѣ „какъ Богъ", Толстой видѣлъ что-то абсолютно законченное, не нуждающееся ни въ какихъ перемѣнахъ, и на это прокрустово ложе думалъ онъ уложить свое могучее „я". И ему грезился весь міръ, объятый той же общинно земледѣльческой дремотой, пребывающій въ разумномъ невѣжествѣ. Это та же нирванна личности, та же нирванна личнаго творчества.

Теперь Толстой является передъ нами космополитомъ.

Но разумѣется, какъ русскій человѣкъ, какъ представитель русской національной стихіи — ни о какихъ „гарантіяхъ", ни о какомъ политическомъ строѣ — Толстой и теперь не мечтаетъ. Изъ глубины прошлаго съ нимъ говорила общинная земледѣльческая Русь, та же общинная Русь окружала его съ дѣтства. Послушный ея голосу, онъ сказалъ: „всѣ люди, разъ они хотятъ быть счастливыми, должны устроиться такъ, какъ устроился въ нашей общинѣ русскій мужикъ". Онъ повторилъ мечту славянофиловъ и нашихъ народниковъ. Вмѣстѣ съ ними онъ могъ бы сказать: „всякій политическій строй жизни, укрѣпленный законами—проченъ лишь извнѣ. Законы прикрываютъ насиліе слабаго надъ сильнымъ, прикрываютъ разъединеніе людей. Законы не дѣлаютъ насъ друзьями и товарищами, не заставляютъ и не могутъ заставить насъ любить другъ друга. Они создаютъ лишь формальную связь между людьми и скрываютъ внушаемымъ имъ страхомъ наказанія ту ненависть, злобу, зависть, которыя таятся подъ этой формальной связью. Нужна не эта послѣдняя, а любовь, довѣріе, дружба, какъ цементъ общежитія". Политическія гарантіи, законъ, общественный договоръ—все это совершенно не мирится со стихіей Толстого. Не ими думаетъ онъ бороться съ главнымъ врагомъ своимъ, неравенствомъ. Всѣ мѣры, которыя могутъ быть съ этой цѣлью предприняты государствомъ—не соблазняютъ его и не внушаютъ никакого довѣрія. Онъ анархистъ (теоретикъ конечно), который всѣ обязательства государства, закона, права хочетъ замѣнить обязательствами *совѣсти и рели-*

гіознаго самосознанія. Государство въ его глазахъ—организованное насиліе, средство держать массу въ подчиненіи у меньшинства. Нужно не государство, а община, созданная взаимной любовью и дружбой между людьми.

И по прежнему, какъ и въ молодые годы, Толстой не мирится ни съ какою ложью, или фальшью. Онъ возставалъ когда-то противъ красивыхъ словъ и самодовольства петербургскихъ литераторовъ,—возстаетъ онъ и теперь. Обойти Толстого, обмануть его словами нельзя. Онъ знаетъ теперь, что самое важное, и сурово говоритъ намъ: „не то". И это „не то" такое же суровое и грозное, воплощенное въ такія же жгучія слова, какъ и раньше.

Жизнь своимъ трудомъ по свободнымъ влеченіямъ натуры осталась его идеаломъ, т. е. жизнь на свой счетъ и свой страхъ, а не за счетъ чужого труда и чужихъ страданій.

Ему кажется, что только о возрожденіи мечтаютъ и земля и люди, что пока лишь какое-то странное недоразумѣніе виситъ надъ жизнью и мѣшаетъ ей стать такой любящей и радостной, исполненной ласки и благоволенія, какой бы она должна была быть въ дѣйствительности, какой она хочетъ и можетъ быть. Совсѣмъ не къ злобѣ, человѣконенавистничеству, взаимной борьбѣ предназначены земля и люди, а къ тому полному блаженству, той „оргіастической" радости жизни, которой, по мнѣнію Толстого, наслаждаются животныя и растенія. Не мракомъ и холодомъ, не скорбью, не отчаяньемъ, а напротивъ, свѣтомъ и радостью исполнена вселенная. Какъ, какимъ путемъ отошли люди отъ истиннаго пути, что заставило ихъ заниматься не только ненужными, но и прямо вредными для себя дѣлами, почему просторъ полей и лѣсовъ бросили они для душной городской жизни, почему здоровое и „истинное земледѣліе" смѣнили они на трудъ истощающій? Почему—это безразлично — но это зло, противъ котораго возстаетъ природа человѣка и примириться съ которымъ она не можетъ и не должна.

Но—часъ близокъ.—Совѣсть человѣка и высшее религіозное самосознаніе должны проснуться въ немъ.

Что же скажутъ они?

„Религіозное самосознаніе нашего времени, въ самомъ общемъ практическомъ приложеніи его, есть сознаніе того, что наше благо и матеріальное, и духовное, и отдѣльное, и общее, и временное, и вѣчное, заключается въ братской жизни всѣхъ людей, въ любовномъ единеніи нашемъ между собой. Сознаніе это выражено и всѣми лучшими людьми прошедшаго времени и не только повторяется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ лучшими людьми нашего времени, но и служитъ уже руководящей нитью всей сложной работы человѣчества, состоящей съ одной стороны въ уничтоженіи физическихъ и нравственныхъ преградъ, мѣшающихъ единенію людей, а съ другой — въ установленіи тѣхъ общихъ всѣмъ людямъ началъ, которыя могутъ и должны соединять людей въ одно братство".

Выяснять это высшее религіозное самосознаніе и служить ему—вотъ задача всѣхъ и каждаго, вотъ задача искусства и науки, которыя только въ такомъ случаѣ станутъ истинными, для всѣхъ и каждаго важными и интересными.

Неравенство для Толстого, какъ и для Руссо, основное зло жизни. Изъ него развратъ культуры, ненавистныя привиллегіи, пошлая и принижающая жизнь на чужой счетъ и за чужой страхъ. Но спасеніе не въ общественномъ договорѣ и не въ договорахъ вообще, а въ проникновеніи религіозно нравственнымъ сознаніемъ единства и братства всѣхъ людей всего міра, всѣхъ прошлыхъ, настоящихъ и будущихъ поколѣній. Увлекательная картина изъ жизни первыхъ христіанъ рисуется Толстому и онъ вѣритъ (скорѣе: страстно хочетъ), что она повторится и теперь...

„И они постоянно пребывали въ ученіи апостоловъ, въ общеніи и преломленіи хлѣба и въ молитвахъ.

„Былъ же страхъ во всякой душѣ; и много чудесъ и знаменій совершилось черезъ апостоловъ въ Іерусалимѣ.

„Всѣ же вѣрующіе были вмѣстѣ и имѣли все общее.

„И продавали имѣнія и всякую собственность и раздѣляли всѣмъ, смотря по нуждѣ каждаго.

„И каждый день единодушно пребывали въ храмѣ и, преломляя по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца,

„Хваля Бога и находясь въ любви у всего народа" (Дѣянія, гл. 2, ст. 42—47).

Итоги.

Своей критикой, своей борьбой за индивидуальность, своимъ напряженнымъ исканіемъ смысла и правды жизни, непримиримой гордыней своего духа, ищущаго опоры лишь въ самозаконномъ нравственномъ сознаніи — Толстой не только нашъ, онъ, — конечно, одинъ изъ героевъ общечеловѣческой мысли.

Онъ предъявилъ жизни абсолютныя, безусловныя требованія и свелъ ихъ къ идеалу христіанско-земледѣльческой общины и христіанско-земледѣльческаго братства. Этимъ идеаломъ онъ „осуществилъ" необходимыя условія счастья, какъ пользованія всѣми доступными человѣку благами и цѣнностями духовной жизни. Онъ обѣщаетъ людямъ наслажденіе трудомъ, братствомъ, взаимной любовью, довольствомъ и равенствомъ. Въ его общинѣ возможно, вѣроятно, каждую минуту сказать: „мгновеніе! остановись!"

Натура религіозная, большую часть жизни проведшій въ исканіи Бога и дошедшій до полнаго его отрицанія, все равно, какъ и отрицанія церкви съ ея сложной формальной организаціей—онъ преклонился, однако, передъ Христомъ и любовью. Одинъ изъ немногихъ — онъ осмыслилъ, что значитъ признаніе: Бога, какъ Провидѣнія нѣтъ. Съ ужасомъ понялъ онъ, что земля и люди предоставлены самимъ себѣ, что имъ неоткуда ждать помощи и защиты, что всѣ счеты наши съ загробнымъ міромъ покончены. И въ этомъ полномъ своемъ атеизмѣ онъ нашелъ выходъ— въ любви.

Съ нимъ какъ бы оправдалось то, что чуялось когда-то Достоевскому:

„Люди остались одни: великая прежняя идея оставила ихъ; великій источникъ силъ, до сихъ поръ питавшій и грѣвшій ихъ, отходилъ, какъ

то величавое зовущее солнце въ картинѣ Клода Лоррена, но это былъ уже какъ бы послѣдній день человѣчества. И люди вдругъ поняли, что они остались совсѣмъ одни, и разомъ почувствовали великое сиротство... Я никогда не могъ вообразить себѣ людей оглупѣвшими и неблагодарными. Осиротѣвшіе люди тотчасъ же стали бы прижиматься другъ къ другу тѣснѣе и любовнѣе: схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляютъ все другъ для друга! Исчезла бы великая идея безсмертія, и приходилось бы замѣнить ее; и весь великій избытокъ прежней любви къ Тому, который и былъ Безсмертіе, обратился бы у всѣхъ на природу, на міръ, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и въ той мѣрѣ, въ какой постепенно сознавали бы свою проходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замѣчать и открыли бы въ природѣ такія явленія и тайны, какихъ и не предполагали прежде, ибо смотрѣли бы на природу новыми глазами, взглядомъ любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спѣшили бы цѣловать другъ друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у нихъ остается. Они работали бы другъ на друга, и каждый отдавалъ бы всѣмъ все свое состояніе и тѣмъ однимъ бымъ бы счастливъ. Каждый ребенокъ зналъ бы и чувствовалъ, что всякій на землѣ — ему, какъ отецъ и мать. „Пусть—завтра послѣдній день мой, думалъ бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся всѣ они, а послѣ нихъ дѣти ихъ" — и эта мысль, что они останутся, все такъ же любя и трепеща другъ за друга, замѣнила бы мысль о загробной встрѣчѣ. О, они торопились бы любить, чтобъ затушить великую грусть въ своихъ сердцахъ. Они были бы горды и смѣлы за себя, но сдѣлались бы робкими другъ за друга; каждый трепеталъ бы за жизнь и за счастіе каждаго. Они стали бы нѣжны другъ къ другу и не стыдились бы того, какъ теперь, и ласкали бы другъ друга, какъ дѣти. Встрѣчаясь, смотрѣли бы другъ на друга съ глубокимъ и осмысленнымъ взглядомъ, и во взглядахъ ихъ была бы любовь и грусть... (Достоевскій, т. 8, ч. II, стр. 483—484).

Смыслъ этой христіанско-атеистической идеи осуществилъ Толстой въ своей жизни и проповѣди (больше, конечно, проповѣди, чѣмъ жизни). Когда его исканія привели къ полному отказу отъ вѣры въ Провидѣніе, онъ, повторяю, возлюбилъ Христа, какъ идеалъ человѣка и всю свою неудовлетворенную любовь къ Божеству обратилъ на людей...

Этой любви онъ придалъ высшую форму этическаго коммунизма, потому что понялъ всю непримиримую враждебность любви и частной собственности.

И вотъ Толстой и черезъ прошлые грѣхи своего класса, сознаніе которыхъ живетъ въ немъ, и черезъ сознаніе грѣховности своей личной привиллегированной жизни, и черезъ свою любовь къ природѣ, — которая всегда заставляла его ощущать наибольшую полноту и радость жизни и служила въ его глазахъ воплощеніемъ стихійной правды, молчаливо упрекавшей исполненную лжи, обмановъ и лицемѣрія жизнь людей,—и черезъ идеализацію мужицкой общинной жизни приходитъ къ неотразимо для него привлекательной мечтѣ о *нравственномъ коммунизмѣ* людского обще-

житія. Онъ—его коммунизмъ—нравственный потому, что осуществляется не законами и постановленіями, не стихійнымъ развитіемъ и стихійнымъ же примиреніемъ противорѣчій, а подчиненіемъ всей жизни одному верховному началу — любви. Богъ есть любовь. Въ этой формулѣ долженъ сосредоточиться весь смыслъ жизни, весь кодексъ, все уложеніе. Чтобы принять ее, люди должны горѣть постояннымъ религіознымъ воодушевленіемъ, которое дѣлало бы ничтожными и презрѣнными въ ихъ глазахъ всѣ блага міра и которое въ сущности одно способно переступить черезъ великій Символъ эгоизма, самосохраненія, себялюбія и любви къ дѣтямъ, стремленія къ почету и власти, т. е. черезъ собственность. Это нравственный коммунизмъ [1]) еще и потому, что онъ никакъ не ограничивается областью матеріальныхъ благъ, и охватываетъ жизнь людей гораздо шире и глубже. Подъ его господствомъ — общій строй жизни, общіе предметы любви, вѣры и поклоненія. Здѣсь нѣтъ личной мысли и личной воли, тутъ все общее, въ единое слитое и нераздѣльное. Тутъ царство общиннаго разума, о величіи котораго когда-то съ такимъ краснорѣчіемъ говорили славянофилы, полный, но стихійный отказъ личности отъ самой себя и возможное для человѣка приближеніе къ жизни природы.

Это свое міропониманіе и этотъ свой идеалъ, ставшій космополитическимъ, послѣ того, какъ Толстой рѣшилъ, что всѣ „вѣры" одинаково ложны и истинна лишь своя вѣра каждаго отдѣльнаго человѣка—онъ противопоставилъ государственному и капиталистическому строю нашей жизни. Въ основѣ этого послѣдняго онъ одинаково увидѣлъ рабство массы, народа и отвергъ его, какъ злое проявленіе человѣческаго себялюбія, насилія, эксплуатаціи.

Быть можетъ, въ томъ, что онъ весь, во весь свой ростъ, со всей любовью своей къ общинно-земледѣльческой жизни, всѣми велѣніями своей неугомонной совѣсти, всѣмъ нравственнымъ своимъ самосознаніемъ *противъ капитализма* — въ этомъ и заключается значительная и важная часть его проповѣди. Въ капитализмѣ Толстой увидѣлъ полное разъединеніе людей, порабощеніе массъ, замѣну деревни городомъ, всего естественнаго искусственнымъ и возненавидѣлъ его всей силой своего могучаго духа...

Но съ тѣмъ же государствомъ, тою же церковью, тѣмъ же зарождающимся капитализмомъ боролся въ свое время и Руссо. Противъ нихъ возставала и его совѣсть, обоготворившая святыню человѣка и святыню человѣческой личности. Понимая, что истинная свобода людей несовмѣстима съ собственностью, онъ употребилъ всѣ свои усилія, чтобы оградить общество отъ опасностей ея роста. Свободный человѣкъ для него это тотъ, кто не имѣетъ ничего своего. Самое общество возможно лишь въ томъ случаѣ, если всѣ члены его приблизительно равны въ имущественномъ отношеніи: неравенство имуществъ ведетъ къ рабству.

Въ концѣ-концовъ: оба они, и Толстой и Руссо, возстали во имя свободнаго человѣка. Если этого свободнаго человѣка они не видѣли

---

[1]) Проповѣди нравственнаго коммунизма, т. е. коммунизма, продиктованнаго религіознымъ самосознаніемъ, посвящены всѣ учительскіе труды Толстого, особенно XIII-ый и XIV-ый томы его сочиненій.

около себя, то увидѣли они его и почувствовали больше и прежде всего въ самихъ себѣ. Оба они не были приспособлены для обычныхъ формулъ—компромиссовъ и для рутинной колеи. Голосъ своей совѣсти, продиктовавшей имъ, что человѣкъ не можетъ быть средствомъ, противопоставили они государственной, церковной и общественно экономической организаціи, и, подвергнувъ полному коренному пересмотру всѣ ея основанія, отвергли ее. Они увидѣли, что эти основанія—трудъ народа, расточаемый привиллегированнымъ меньшинствомъ.

Они оба хотѣли для человѣка безграничной свободы и нашли ее въ жизни согласно съ природой. Они признали, что отсутствіе собственности и насилія надъ себѣ подобными только и могутъ обезпечить такую свободу. Мечта о ней преслѣдовала ихъ всю жизнь, потому что только подобная свобода дѣйствительно могла удовлетворить требованіямъ ихъ исключительно обостреннаго индивидуализма. И оба въ то время должны были отказаться отъ этой самой дорогой своей мечты, потому что почувствовали, что ея тяжести не можетъ пока вынести никакая общественность. Свободу принесли они въ жертву равенству, и равенство стало ихъ кумиромъ. Обиды своего „плебейства" и непримиримый духъ кальвинизма вложилъ Руссо въ проповѣдь равенства,—на мукахъ своей привиллегированной совѣсти развелъ Толстой огромный костеръ и сжегъ въ немъ всѣ предразсудки своей среды, всѣ обманы нашей общественности, держащей въ рабствѣ большинство. Идея равенства продиктовала Руссо его „Общественный договоръ", а Толстому—его утопію всемірно христіанской земледѣльческой общины. Во имя равенства прокляли они самые дорогіе плоды нашей цивилизаціи — искусство и науку и отказались отъ развитія, которое не даетъ счастья. Всѣ ихъ заботы о земномъ блаженствѣ равныхъ людей, а не о завоеваніи культуры. Ихъ совѣсть не можетъ оправдать ни одной человѣческой жертвы приносимой ради этой послѣдней.

„*Неравенство*" и прежде всего, конечно, неравенство матеріальныхъ силъ, лежащее въ основѣ нашей цивилизаціи, связали они *съ ея ложью и развратомъ*. И это величайшая заслуга ихъ критической мысли. Съ изумительнымъ искусствомъ доказали они, что жизнь на чужой счетъ и возможность такой жизни есть первый и главный источникъ лжи и разврата нашей общественности.

Эта вотъ ихъ мысль не забудется никогда, какъ не забудется вообще вся ихъ критика, весь ихъ пересмотръ.

Возможно, что во имя идеи развитія и совершенствованія мы должны отказаться отъ большой части ихъ положительной программы. Но какъ бы ни сложилась наша жизнь, на какіе бы компромиссы не вызвала насъ суровая дѣйствительность—ихъ пересмотръ основаній нашей общественности будетъ служить навсегда коррективомъ нашей мысли. Это — пересмотръ неподкупной совѣсти. И онъ знаменуетъ собою наступленіе важныхъ перемѣнъ и несомнѣнно отвѣчаетъ ощущаемой нами глубочайшей и стихійной жажды обновленія.

Позволю себѣ, поэтому, закончить статью тѣми же словами какими я началъ ее...

Готовясь къ какому-нибудь важному дѣлу, стихійно предчувствуя приближеніе роковой минуты пересмотра и обновленія всей жизни чело-

вѣчества, народъ, общество обыкновенно выдѣляетъ изъ себя суровыхъ „судій“, читающихъ въ сердцахъ людей страницы „злобы и порока“. Эти судьи неподкупны въ своей нравственной прямолинейности и требовательности, ими владѣетъ жажда обновленія, глубокая ненависть ко всему извращенному. И бываетъ это, говорю я, передъ роковыми минутами крушенія или обновляющаго переворота. Руководимое безсознательнымъ инстинктомъ самосохраненія и безсознательно понимая, что путь лжи, путь красивыхъ словъ, до содержанія которыхъ никому нѣтъ дѣла, путь легкомысленной игры нравственными устоями ведетъ къ гибели — народъ и общество въ лицѣ выдѣляемыхъ имъ изъ себя „судій“ стремится возстановить равновѣсіе между внутреннимъ содержаніемъ жизни и ея внѣшними формами, между словомъ и сущностью, убѣжденіями и поступками. Это дни, когда нравственно серьезная мысль, неподкупная, фанатически честная и страстно преслѣдующая свою задачу обновленія и очищенія жизни, отказывается отъ всякихъ компромиссовъ и даже отъ всякаго снисхожденія, и настойчиво добирается до того, что скрыто подъ блестящей внѣшностью, какая дѣйствительность таится подъ красными словами и въ какой степени нарушено равновѣсіе между тѣмъ, что есть и тѣмъ, что должно быть. Здѣсь горе всѣмъ лжебогамъ, всѣмъ кумирамъ и идоламъ минуты. Здѣсь требованіе расплаты за неисполненныя обѣщанія. Въ одинъ изъ этихъ дней судныхъ встрѣтились когда-то Сократъ и афиняне, въ другой — католическое духовенство и реформаторы, въ третій — Руссо и культурные парижане. Мы, русскіе, переживаемъ теперь свою „встрѣчу“ съ ученіемъ и проповѣдью Толстого.

1903 г.

На вершинѣ славы.

Въ новой фазѣ своихъ вѣрованій Толстой началъ раздавать свое имущество, вести простую трудовую жизнь, усиленно работать съ крестьянами въ полѣ и писать для нихъ книги. Появляются изданія „Посредника“ и народныя его книжки милліонами расходятся по всей Россіи. Въ 1886 году онъ говорилъ Данилевскому: „Болѣе 30 лѣтъ назадъ, когда нѣкоторые нынѣшніе писатели, въ томъ числѣ и я, начинали только работать, въ стомилліонномъ русскомъ государствѣ грамотные считались десятками тысячъ; теперь послѣ размноженія сельскихъ и городскихъ школъ они, по всей вѣроятности, считаются милліонами. И эти милліоны русскихъ грамотныхъ стоятъ передъ нами, какъ голодные галчаты, съ раскрытыми ртами и говорятъ намъ: „господа родные писатели, бросьте намъ въ эти рты достойной васъ и насъ умственной пищи; напишите для насъ, жаждущихъ живого литературнаго слова; избавьте насъ отъ все тѣхъ же лубочныхъ Ерусланов Лазаревичей, Милордовъ, Георговъ и прочей рыночной пищи“. Простой и честный русскій народъ стоитъ того, чтобы мы отвѣтили на призывъ его доброй и правдивой души. Я объ этомъ много думалъ и рѣшился по мѣрѣ силъ попытаться на этомъ поприщѣ“. Попытки Толстого положили начало цѣлой обширной уже литературы для народа, которая съ каждымъ днемъ все болѣе расширяется, но, къ сожалѣнію, еще и до настоящей минуты не выработала себѣ опредѣленной цѣли и направленія. Проповѣдь смиренія, ненависти и презрѣнія къ умственному труду и т. д. — не рѣдкость въ этихъ грошевыхъ сѣробумажныхъ книжечкахъ.

Но это одна сторона его жизни; другая, во всякомъ случаѣ не менѣе важная, есть личныя его сношенія съ людьми. Сотни посѣтителей со всѣхъ концовъ Россіи, Европы и Америки ежедневно приходятъ къ нему со своими сомнѣніями, страданіями, нерѣшенными вопросами и, подобно покойному Всеволоду Гаршину, уходятъ съ добрымъ чувствомъ, болѣе примиренные съ жизнью. Еще большая масса людей обращается къ нему письменно и изъ Сибири, и изъ Америки, и на каждое серьезное письмо онъ шлетъ задушевный отвѣтъ.

Нѣтъ той газеты, нѣтъ того журнала, ни въ Европѣ, ни въ Америкѣ, которые не посвящали бы ему своихъ столбцовъ и зорко не слѣдили бы за каждымъ словомъ, выходящимъ изъ подъ его пера. Совершенно справедливо замѣчаетъ Н. Н. Страховъ, говоря: „Большую долю

всемірной извѣстности Толстого нужно приписать не его художественнымъ произведеніямъ, а именно тому религіозно-нравственному перевороту, который въ немъ совершился и смыслъ котораго онъ стремился высказать и своими писаніями, и своею жизнью". Какъ бы мы ни судили объ этомъ переворотѣ, но очевидно, образованный міръ былъ пораженъ зрѣлищемъ человѣка, въ которомъ съ такою силою, безъ всякихъ внѣшнихъ толчковъ, сказались вѣчные запросы души человѣческой. Нужно отдать людямъ честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь ихъ любопытства и уваженія въ такой степени, какъ та душевная исторія, которая совершилась и совершается предъ ихъ глазами въ Ясной Полянѣ. Нѣкто Лиліенбахъ высказываетъ слѣдующее: „во всѣхъ образованныхъ слояхъ обоихъ полушарій Толстой является любимымъ писателемъ". Поль Флоберъ сравниваетъ его съ Шекспиромъ, а Матью Арнольдъ считаетъ его самой мощной силой въ области литературы. Посмотримъ же, какъ живетъ теперь Левъ Николаевичъ. Любопытную картину этой жизни даетъ намъ В. Г. въ своемъ описаніи посѣщенія Ясной Поляны.

„Прибывъ въ Ясную Поляну,—говоритъ онъ,—я засталъ Льва Николаевича за кладкой печи у одной вдовы крестьянки. Я спрашивалъ у встрѣчныхъ крестьянъ, не видали ли они Льва Николаевича? Мужики мнѣ отвѣчали съ особеннымъ удовольствіемъ, что графъ уже на работѣ. Войдя въ указанную избу, я засталъ Льва Николаевича передъ печкой. Онъ былъ погруженъ въ работу и лишь изрѣдка перекидывался словомъ съ хозяйкой. Еслибы я раньше не видѣлъ Толстого, я бы на этотъ разъ могъ его принять за кого-нибудь изъ деревенскихъ рабочихъ. Его грязная, вымазанная сажей и глиной бѣлая рубашка, ремешокъ вмѣсто пояса, просторные крестьянскіе сапоги, по голенище запачканные въ глинѣ, вполнѣ гармонировали съ красивой головой и широкой спиной, на которой выступалъ сквозь рубашку обильный трудовой потъ. Хозяйка же, безъ малѣйшаго раболѣпства, даже можно сказать по товарищески, подавала ему совѣты и вѣроятно въ трудѣ Льва Николаевича не видѣла ничего особеннаго: ей просто помогалъ добрый человѣкъ".

„Послѣ завтрака Л. Н. пошелъ читать или писать и часа черезъ полтора пришелъ къ той избѣ, гдѣ намѣревался поставить крышу на сараѣ. Онъ оказался въ томъ же нарядѣ, исключая блузы, которую онъ перемѣнилъ на болѣе чистую. Вѣроятно, всякому извѣстно, что Л. Н. денежной помощи нуждающемуся человѣку не признаетъ, но у себя въ деревнѣ онъ старается принести посильную помощь крестьянамъ личнымъ трудомъ, доставленіемъ матеріала для построекъ и для посѣва".

Теперь является вопросъ: почему же Л. Н. предпочитаетъ помогать крестьянамъ не деньгами? и этотъ вопросъ задалъ ему В. Г., увидавъ, что дочь графа работаетъ на полѣ одного изъ бѣдныхъ крестьянъ.

„Я думаю,—сказалъ ему Толстой, — что обязанность каждаго человѣка работать для другихъ, кто нуждается въ помощи, и работать по крайней мѣрѣ часть дня своими руками. Лучше работать для бѣднаго и съ бѣднымъ въ его особомъ занятіи, нежели работать на высшемъ, болѣе высокомъ, и пожалуй, болѣе вознагражденномъ интеллектуальномъ полѣ и давать бѣднымъ результаты. Въ первомъ случаѣ вы не только помогаете тѣмъ, кто нуждается въ помощи, но вы показываете, что вы не считаете

ихъ прозаическую работу ниже своего достоинства, т. е. вы научаете ихъ самоуваженію. Если же вы работаете исключительно на вашемъ болѣе высокомъ интеллектуальномъ полѣ и даете бѣдняку результатъ вашего труда, какъ вы давали бы милостыню нищему, то вы поощряете лѣность и подчиненность; вы устанавливаете соціальное, сословное различіе между вами и принимающими вашу милостыню, вы разрушаете въ немъ уваженіе и довѣріе къ себѣ".

Вернемся къ воспоминаніямъ В. Г. „Итакъ Л. Н. отправился послѣ завтрака класть крышу на сараѣ бѣдной деревенской вдовы, которой, по примѣру Л. Н., пришелъ помогать сосѣдъ-мужикъ и еще какой-то паренекъ. Этотъ мужикъ, Прокофій, худой, истощенный, заправлялъ работами, и дѣйствительно, входя въ роль, командовалъ, какъ слѣдуетъ, безъ стѣсненія. Льву Николаевичу нравилась его новая работа. Онъ съ видимымъ наслажденіемъ подпиливалъ бревна, вырубалъ гнѣзда для стропилъ, обстругивалъ деревянные гвозди. При постановкѣ стропилъ Л. Н. высказалъ значительную силу и ловкость, перетаскивая громадныя бревна и поднимая ихъ вверхъ. Л. Н. строилъ сарай *въ первый разъ и относился* къ этой работѣ съ той же любовью, какъ и къ кладкѣ печи на краю деревни.

„Всякій день, пока я былъ у Л. Н., онъ послѣ завтрака отправлялся на деревню доканчивать вдовій сарай и возвращался домой поздно. Работалъ онъ неутомимо, такъ что Прокофій не разъ съ сердечнымъ удовольствіемъ говорилъ: „Ишь, ишь, куда полѣзъ дѣдъ. И не смается". Всѣ, кому нужно было видѣть Льва Николаевича, являлись къ нему въ деревню и тутъ же, или помогая ему, или просто сидя на бревнышкахъ среди навоза, бесѣдовали съ нимъ. Во время отдыха, около пяти часовъ, если Л. Н. не уходилъ домой, всѣ усаживались въ ближайшей избѣ и, утоляя свой голодъ хлѣбомъ и квасомъ, снова разсуждали о явленіи борьбы за существованіе и проч.". Въ заключеніе В. Г. говоритъ: „Нужно удивляться Толстому въ его умѣніи распредѣлять свое рабочее время. Постоянно занятый физическимъ трудомъ, развлекаемый массою посѣтителей знакомыхъ и незнакомыхъ, онъ находилъ время отвѣчать на письма, читать, думать и писать самыя разнообразныя вещи, начиная съ разсказовъ для народа и кончая разсужденіями на тему міровыхъ вопросовъ".

Рафаилъ Лёвенфельдъ, посѣтившій Л. Н. въ 1890 году, разсказываетъ, что во время его пребыванія Л. Н. ежедневно отправлялся работать въ полѣ, гдѣ рядомъ съ нимъ помогала крестьянкамъ и дочь его Марья Львовна, и ежедневно къ нему являлись различные посѣтители; то приходила дѣвушка изъ деревни, то пріѣзжали за „Крейцеровой сонатой", то просто издалека являлась какая-нибудь барышня, чтобы увидать его и пожать ему руку. Тутъ же пришелъ изъ дальней деревни крестьянинъ посовѣтываться съ нимъ о домашнихъ дѣлахъ. Левъ Николаевичъ, внимательно выслушавъ крестьянина, обстоятельно разъяснилъ ему, какъ нужно, по его мнѣнію, во всѣхъ затруднявшихъ его случаяхъ поступать согласно ученію Христа, и крестьянинъ, тронутый до слезъ, удалился, обѣщаясь исполнить все такъ, какъ посовѣтывалъ ему Л. Толстой.

Голодный годъ (1891—92) г. прибавилъ новую блестящую страницу къ біографіи Толстого, которой я и позволю себѣ заключить свой очеркъ. Мы видѣли, какъ онъ училъ и искалъ правды, какъ переходилъ онъ отъ служенія силѣ къ служенію труду и наконецъ—любви. Любовь завершила цикль развитія и осѣнила своимъ крыломъ могучую больную душу...

Исторія голоднаго года еще слишкомъ на памяти у всѣхъ насъ, чтобы надо было ее разсказывать. Мы видѣли грустное и печальное зрѣлище громадныхъ пространствъ, занесенныхъ снѣгомъ, подъ которымъ безъ одежды, безъ пищи, безъ дровъ, безъ слова жалобы, а съ тихой покорностью умирали сотни и тысячи людей, не зная зачѣмъ они жили, еще меньше зная зачѣмъ они умираютъ... Мы въ это время устраивали филантропическія чтенія и филантропическіе танцы, мы грустили, что такъ все это нехорошо вышло, мы почувствовали въ душѣ обновляющую силу состраданія—увы не надолго, но мы не знали что дѣлать. Толстой первый нашелъ выходъ. Вмѣстѣ съ своею семьей онъ первый отправился въ самую среду голодающихъ и, пользуясь своимъ славнымъ именемъ, кормилъ въ устроенныхъ имъ столовыхъ сотни и тысячи людей. Онъ ни на минуту не покидалъ своего поста. Пожертвованія шли къ нему со всѣхъ концовъ Россіи, Европы, Америки. Онъ сдѣлалъ, что могъ, спасая близкихъ отъ голодной смерти.

Наперекоръ своему ученію, онъ бралъ деньги, раздавалъ деньги, помогалъ деньгами. Такъ горячій ключъ, занесенный снѣгомъ, пробиваетъ ледяную кору и жаркой грѣющей струей вырывается наружу. Такъ любящее человѣческое сердце, замолкшее подъ холоднымъ резонерствомъ, начинаетъ биться съ прежней силой любви и состраданія, несмотря на ледяную кору логическихъ аргументовъ, разъ это сердце есть, разъ оно способно любить, сострадать.

1894 г.

Въ Ясной Полянѣ.

1-го іюня, въ 10 часовъ утра, послѣ безсонной ночи, проведенной въ скверной гостинницѣ, я сидѣлъ на курскомъ вокзалѣ въ Тулѣ, и размышлялъ, какъ добраться до Ясной Поляны. На первый утренній поѣздъ въ Козлово-Засѣку—ближайшій къ Ясной Полянѣ полустанокъ, я опоздалъ. Слѣдующій поѣздъ отправлялся лишь въ половинѣ третьяго. Я недоумѣвалъ, что дѣлать, тѣмъ болѣе, что нетерпѣніе видѣть Толстого дошло до послѣдней степени, и я инстинктивно чувствовалъ, что лучше не выберешь времени, какъ явиться къ нему въ праздникъ, послѣ полудня. Къ счастью, выручилъ буфетчикъ и посовѣтовалъ взять извозчика за 6 руб. въ оба конца, немедленно же отправился въ путь „по Россіи на извозчикѣ"...

Солнце палило, но съ поднятымъ верхомъ ѣхать было хорошо. Сначала мы потащились въ гору, по длинной улицѣ какой-то слободы, обогнули красивый садъ и долго ѣхали мимо какихъ-то великолѣпнѣйшихъ построекъ, горделиво возвышавшихся на гребнѣ пологаго холма. Постройки напоминали не то феодальный замокъ, не то лѣтній дворецъ какого-нибудь вельможи, а оказались просто-на-просто очистнымъ виннымъ складомъ. Миновавъ его, мы выѣхали къ курскому шоссе и нѣсколько верстъ тянулись параллельно ему, сухимъ, хорошо укатаннымъ проселкомъ. Я съ любопытствомъ осматривался кругомъ: въ этой вотъ природѣ, среди этихъ картинъ выросъ и провелъ большую часть своей жизни Л. Н. Толстой. Вѣроятно, въ годъ его рожденія (1818 г.) вмѣсто шоссе была просто дорога, вѣроятно, мосты черезъ овраги были не такіе прочные, тамъ и здѣсь не попадались на глаза „чайные буфеты", не торчали фабричныя трубы (5 — 6 на 16 верстъ), но остальное, главное все то же самое. Холмы и холмы. Не очень высокіе, но огромные, тяжелые, точно каждый изъ нихъ—могильный курганъ надъ цѣлымъ поколѣніемъ, надъ отдѣльнымъ народомъ. Всѣ склоны въ хлѣбахъ, очень хорошихъ на видъ. Шоссе бѣжитъ снизу вверхъ и сверху внизъ, перебрасывается черезъ маленькія рѣчки. Лѣсовъ мало: такъ, рощи, остатки парковъ. Дорога оживленная. Много разнаго народа снуетъ по ней и пѣшаго и коннаго. Бредутъ богомольцы, вѣроятно, въ Кіевъ, бодро шагаетъ странникъ съ птичьей физіономіей, съ огромной длинной палкой въ рукѣ, съ тяжелой котомкой за спиной; немало велосипедистовъ изъ города и изъ окрестныхъ дачъ. Дорога для велосипеда хорошая, и только одинъ крутой подъемъ на Косую гору, верстахъ въ девяти отъ Тулы. Природа

не богатая, не роскошная. Ничѣмъ не поражаетъ, даже горизонтъ не глубокій и не заманчивый. Мало разнообразія: одинъ холмъ похожъ на другой, точно они отпечатаны съ того же клише. Въ сторонѣ—небольшія деревни съ приземистыми избами, крытыми соломой. Между холмами попадаются неглубокіе овраги... Что еще? Да, я вспомнилъ, что Толстой любитъ горы. Среди нихъ по его словамъ, человѣкъ чувствуетъ себя увѣреннѣе и сильнѣе. Онъ дѣятельнѣе. Его мысль уже, но опредѣленнѣе. Вѣра ярче и фантастичнѣе. Ближе къ Богу, къ небу, и подъ вліяніемъ постоянныхъ неожиданностей вродѣ водопадовъ, пропастей, горныхъ обваловъ, раскатистаго эхо—человѣкъ болѣе склоненъ ощущать вокругъ себя таинственное. Какъ-будто, ни то, ни се. Ни степной лѣни, ни горной энергіи, ни горнаго фанатизма, ни степной расплывчатой мистики, пропадающей въ туманной дали. Съ горки на горку, какъ-нибудь, куда-нибудь, ни то, ни се... Но зато чудный воздухъ, свѣжая, хотя и скромная зелень, сравнительное малолюдство и сравнительный просторъ.

Я старался развлечься всѣми этими мыслями и наблюденіями отъ главной и тревожной думы: увижу ли Толстого и какъ увижу? Пустятъ ли еще къ нему, — потому что за послѣднее время ходили по газетамъ слухи, что Толстой избѣгаетъ разговаривать съ литераторами, чтобы не волноваться. Наряду съ нетерпѣливымъ томленіемъ, маленькій бѣсенокъ-анархистъ, копошащійся въ душѣ современнаго человѣка, осмѣивалъ всю эту поѣздку или паломничество, шепталъ что-то о барствѣ во Христѣ и другія глупости. Къ счастью опять налетѣлъ дождь и освѣжилъ меня совершенно уставшаго и разморенного. Иначе подъ впечатлѣніемъ путаницы и растерянности мысли я хотѣлъ было сказать извозчику: „назадъ"... Верстахъ въ двухъ отъ Ясной Поляны мы опять свернули въ проселокъ. Скоро показался и ясно-полянскій паркъ, который я сейчасъ же узналъ по двумъ широкимъ каменнымъ башенкамъ, стоящимъ у его входа.

Налѣво, за въѣздомъ въ паркъ, сейчасъ же, — большой прудъ, въ которомъ полощются яснополянскія бабы и ребятишки. Надъ прудомъ огромныя старыя ветлы, каждая чуть не два обхвата... Дорога по парку идетъ все время вверхъ. За аллеями, очевидно, особеннаго ухода нѣтъ, и онѣ едва поддерживаются. Все производитъ впечатлѣніе стараго, запущеннаго сада, съ оврагами и ложбинами, поросшими буйно кустарникомъ. Недалеко отъ дома разбитъ большой фруктовый садъ. Миновавъ его, мы неожиданно и неловко очутились въ цвѣтникѣ, возлѣ балкона. Я остановилъ извозчика, слѣзъ съ него и передалъ на имя Льва Николаевича небольшую записку такого содержанія:

„Левъ Николаевичъ, очень прошу небольшой бесѣды съ вами, если только это возможно по состоянію вашихъ занятій и здоровья. Никоимъ образомъ не собираюсь утруждать васъ, но есть небольшое дѣло, требующее свиданія: въ письмо же это дѣло не укладывается"...

Надо еще сказать, что по какому-то странному недосмотру я написалъ эти строки на томъ самомъ листкѣ почтовой бумаги, гдѣ дѣлалъ свои замѣтки о посѣщеніи Хитрова рынка... Какъ это случилось, даже понять не могу...

Я присѣлъ на балконѣ на бѣлый рѣшетчатый стулъ возлѣ большого семейнаго стола, на которомъ, очевидно, только что отзавтракали, — и ждалъ. Впрочемъ, ждать пришлось недолго.

Черезъ 2—3 минуты на балконѣ показался маленькій, сухонькій старичекъ, одѣтый совсѣмъ по домашнему: въ бѣлой ночной рубашкѣ, запущенной въ брюки, съ подтяжками поверхъ, въ лѣтнихъ легкихъ брюкахъ, затасканной шляпѣ на головѣ и съ палочкой въ рукахъ. Тѣлодвиженія скорыя, бодрыя; выговоръ совершенно ясный; голосъ безъ всякой хрипоты... Въ этомъ старичкѣ мнѣ нетрудно было узнать Льва Николаевича. Я смущенно поздоровался.

— Здравствуйте, здравствуйте, — быстро заговорилъ Левъ Николаевичъ, протягивая руку... — О какихъ тутъ босякахъ вы пишите? Это интересно. Присядьте и раскажите мнѣ...

Увидѣвъ въ его рукахъ свое письмо, я догадался, въ чемъ дѣло, и наскоро передалъ, что былъ, по дорогѣ, на Хитровомъ рынкѣ, говорилъ съ босяками...

— Что за охота—не понимаю. Ну, что тамъ интереснаго? Босякъ, какъ босякъ. Всегда они были, долго еще будутъ... Пьянствуютъ, лѣнтяйничаютъ и ничего больше. Выдумали тоже моду — босяки, — не безъ раздраженія сказалъ Толстой...

— Пожалуй, Левъ Николаевичъ, оно такъ и есть. Только все же Хитровъ рынокъ — это та самая пропасть, та яма, куда не мало нашего брата, вольнаго интеллигента, сваливается... Ну, и страшно и хочется заглянуть туда, а заглянешь—голова кружится...

— Такъ вѣдь это простое любопытство и даже нехорошее любопытство, потому что сваливаться туда совсѣмъ не надо. И заглядывать, пожалуй, не слѣдуетъ, разъ никакого дѣла нѣтъ. Такъ, мода... А, кстати, если вы не устали, пойдемте-ка пройдемся.

Мы пошли въ паркъ. Левъ Николаевичъ продолжалъ ворчать:

— Босяка выдумали... Ничего не нашли лучше... Потерянные люди, съ которыми ничего не подѣлаешь и подѣлать нельзя, и какъ это не надоѣло возиться съ ними—не понимаю...

— Что они потерянные — это они сами знаютъ. Вотъ Коноваловъ говоритъ у Горькаго: „особый намъ счетъ нуженъ... и законы особые... очень строгіе законы, чтобы насъ искоренить изъ жизни... Потому пользы отъ насъ нѣтъ“... Только, мнѣ думается, что тутъ дѣло совсѣмъ даже не въ реальномъ босякѣ, а въ томъ, что его разукрасили ницшеанствомъ, анархизмомъ, дали ему силу плюнуть на нашу скуку и лицемѣріе, а пожалуй, воплотили въ немъ и наше отчаяніе.

— Что это наше? Вотъ у меня, напримѣръ, никакого отчаянія нѣтъ, хотя черезъ 2 мѣсяца мнѣ исполнится 75 лѣтъ.

— Наше, Левъ Николаевичъ, значитъ — интеллигентное...

— Ну да, конечно... У интеллигенціи, кромѣ другихъ скверныхъ привычекъ, есть еще привычка носиться съ своимъ отчаяніемъ... Въ концѣ-концовъ это только скучно и нисколько не умно. Какихъ-то пятнадцать человѣкъ, засѣдающихъ въ петербургскихъ редакціяхъ, выдумываютъ то свою вѣру, то свое отчаяніе и серьезно думаютъ, что это для кого-нибудь и для чего-нибудь важно и поучительно... Надѣюсь, вы не думаете, что

вся мудрость жизни сосредототочена въ петербургскихъ редакціяхъ—рѣзко обратился ко мнѣ Толстой.

— Самъ пребываю въ нихъ лѣтъ 10, а мудрости, Левъ Николаевичъ, не замѣчалъ — отвѣчалъ я.

— Ну, это еще хорошо... Вѣдь смѣшно, право. Въ Россіи 130 милліоновъ людей, которые не знаютъ ни отчаянія, ни босячества, ни петербургскихъ редакцій. Живутъ эти люди, и многіе изъ нихъ стараются хорошо жить, какъ можно лучше, по божьи. Вотъ у меня въ кабинетѣ сидитъ Новиковъ, простой мужикъ. Умница замѣчательный. Я васъ съ нимъ познакомлю, а вы потолкуйте съ нимъ хорошенько и увидите, что это вотъ важно, а совсѣмъ не вашъ босякъ, не ваше отчаяніе...

Толстой шелъ скоро, ничуть не задыхаясь, то и дѣло неожиданно останавливался и смотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза, что меня очень смущало. Я замѣтилъ, что мои возраженія ему совсѣмъ не нравятся, вызываютъ даже какія-то раздраженныя нотки въ его голосѣ, и я сталъ на ихъ счетъ гораздо осторожнѣе.

— Итакъ, что же... Отчаяніе?—спросилъ Толстой, въ упоръ смотря на меня...

— Ну, это, быть можетъ, слишкомъ сильно сказано... А что грѣха таить, Левъ Николаевичъ, скучненько какъ-то. Ждешь, ждешь этого давно обѣщаннаго обновленія жизни, простора какого-нибудь для себя, своей работы, для другихъ. Вмѣсто этого, жизнь еле плетется по тинѣ и кочкамъ, грязная, усталая, жестокая—отъ того, что, быть можетъ, слишкомъ она измучена или кружитъ по сторонамъ, точно ее бѣсъ какой водитъ...

— И ужъ, повѣрьте, оттуда, откуда вы ждете обновленія и простора—вы никогда его не дождетесь. Всѣ ваши надежды вы возлагаете или на какую-нибудь случайность, или на всемірную войну — что ужъ совсѣмъ безобразно—или на что-нибудь вообще, что *внѣ* васъ. Это вотъ большая ошибка, не отказавшись отъ которой, вы никогда не поймете ни смысла, ни красоты жизни. Начинайте съ себя. Нѣтъ въ жизни никого и ничего сильнѣе человѣка, когда онъ захочетъ быть свободнымъ и сильнымъ. Ему надо только понять, что никого и ничего нѣтъ сильнѣе его. И разъ онъ это понялъ, ничто и никто ему ни въ чемъ не помѣха, не указъ... Быть собой, по своему вѣрить и думать—развѣ это такъ трудно, развѣ это невозможно при какихъ бы то ни было обстоятельствамъ и условіяхъ?..

— Охъ, какъ все это трудно, и какая сила нужна для всего этого!—совершенно искренне вырвалось у меня...

— Разумѣется, безъ силъ ничего подѣлать нельзя... Развѣ опуститься до Хитрова рынка—сказалъ Толстой.—Но сила есть въ каждомъ изъ насъ, въ каждомъ человѣкѣ ея заложено столько, что себя-то привести въ порядокъ онъ всегда можетъ...

— Въ униженіи онъ, Левъ Николаевичъ, въ грязи...

— Откопать себя надо и въ себя повѣрить... Вамъ это, кажется, и не можетъ не казаться труднымъ, потому что весь вашъ горизонтъ—стѣны петербургскихъ редакцій, гдѣ вы варитесь въ собственномъ соку. Выйдите-ка оттуда на просторъ, посмотрите, чѣмъ живутъ и чего ищутъ 130 милліоновъ народа. А вѣдь они несомнѣнно живутъ, несомнѣнно

ищутъ, только видѣть вы этого не умѣете, а, пожалуй, и не хотите. Просто вамъ это не интересно... Читаю ваши журналы...

Левъ Николаевичъ развелъ руками, а я насторожился.

— Ну, вотъ читаю я ваши журналы... Издаются, пишутся и печатаются они въ Петербургѣ и Москвѣ. Съ обложкой спорить не стану. Но всегда кажется мнѣ, что издаются и пишутся они не въ Петербургѣ и Москвѣ, горделиво ставящихъ себя во главѣ Россіи, а гдѣ-нибудь въ самой глухой провинціи, откуда въ три года ни до какого государства не доскачешь. Право, такъ... Какая-то печать глубокаго, наивнаго провинціализма лежитъ на всѣхъ этихъ столичныхъ писаніяхъ и, скажу, провинціализма дурного тона... Ни выбрать чего-нибудь важнаго и интереснаго для всѣхъ они не умѣютъ и не умѣютъ остановиться на этомъ важномъ и интересномъ... Самое для нихъ главное и большое — это, очевидно, то, что происходитъ въ ихъ собственныхъ литературныхъ приходахъ и кварталахъ. Объ этомъ они готовы звонить безъ конца съ тѣмъ же усердіемъ, съ какимъ провинціалы обсасываютъ каждое свое происшествіе и каждую сплетню. Ужасно раздуваютъ событіе какое-нибудь, вродѣ того, что Боголѣповъ написалъ статью, гдѣ сказалъ то-то и то-то, а Нелѣповъ написалъ на эту статью возраженіе... И шумятъ и волнуются... Никогда не могъ я понять, почему это важно, что написалъ Боголѣповъ и что возразилъ Нелѣповъ. Потомъ снявши шапки, приподнявшись и шопотомъ начинаютъ—Богъ знаетъ, въ который разъ — пережевывать то, что сказали Бѣлинскій, Добролюбовъ, Михайловскій... Это, скажите, пожалуйста, кому нужно? Вѣдь дѣлать изъ Бѣлинскаго и Добролюбова какихъ-то пророковъ и апостоловъ по меньшей мѣрѣ смѣшно. Совсѣмъ изъ-за нихъ готовы забыть, что дѣйствительно великаго и существеннаго надумано и написано людьми у насъ въ Россіи, а еще больше въ Европѣ и Азіи... Совсѣмъ, говорю я, какъ провинціалы, которые департаментскаго курьера принимаютъ за генерала. Скучно это, и надо вамъ всѣмъ на свѣжій воздухъ...

Конечно, многія изъ этихъ словъ Толстого мнѣ было очень тяжело слушать, и многое могъ бы я возразить ему на это. Я молчалъ и ждалъ...

— Что это я такъ разговорился сегодня?—продолжалъ Толстой...— Ну, все равно... Возьмите хотя бы русскую литературу. Какая она большая, какъ жадно и настойчиво искала она всегда Бога и смысла жизни, какъ любила народъ и вѣрила въ него! Но въ лучшемъ и цѣнномъ, она если не забыта, то почти не упоминается. На сценѣ то, что выдвинуто модой, минутой, днемъ, — или великіе люди маленькихъ литературныхъ приходовъ... А впрочемъ, Богъ съ ними совсѣмъ. Посмотрите, какая рожь... Вотъ тутъ вчера я вырвалъ колосъ поразительно высокій, какого еще не видалъ въ своей жизни. Вернулся домой и смѣрилъ: три аршина шесть вершковъ. Ничего подобнаго не запомню... Вотъ и этотъ пожалуй такой же будетъ...

Толстой долго и любовно смотрѣлъ на выколосившееся поле... Что-то особенное, милое, торжественное было у него на лицѣ, какая-то чуть-чуть затуманенная, любовная пристальность во взглядѣ... Кто же знаетъ, кто можетъ сказать, что въ такія вотъ минуты происходитъ въ душѣ великаго человѣка, какая тайна общенія съ природой происходитъ тамъ, тайна претворенія вотъ этого буйнаго молодого хлѣба, этихъ зеленыхъ полей,

этого свѣжаго чуднаго воздуха въ мечту о мирѣ всего міра, счастьи всѣхъ, здоровой человѣческой жизни вообще!..

Толстой снялъ шляпу, смахнулъ платкомъ съ лица какую-то думу и обыкновеннымъ своимъ скорымъ голосомъ сказалъ:

— Да, читаютъ не то, что слѣдуетъ... Гоголя только къ юбилею вспомнили, Тургенева какъ будто совсѣмъ забыли... Вы о чемъ теперь пишете?—спросилъ онъ меня.

— Больше о текущемъ. Написалъ восторженную статью о „На днѣ"...

— Это, пожалуй, и напрасно. Эти босяки, въ плащахъ, въ шляпахъ со страусовыми перьями и при шпагахъ могли бы уже набить оскомину... А еще о чемъ?

— О „Въ туманѣ" Андреева. Пришлось въ сущности отвѣтить на массу писемъ въ редакцію, которыя вызвалъ этотъ разсказъ...

— Какія письма?

— Почти такія же, какое помѣстила Софья Андреевна въ „Новомъ Времени". Я возразилъ, какъ могъ...

— Это вотъ слѣдовало сдѣлать. Андрееву ли или кому другому, во всякомъ случаѣ слѣдовало бы указать на фактъ этой ранней похотливости и того отвратительнаго выхода, который онъ себѣ находитъ. У Андреева это сдѣлано грубовато, но въ общемъ хорошо. Ну, еще что?..

— Только-что закончилъ статью, гдѣ провожу параллель между вами и Руссо... Поразительно, какія у васъ схожія, почти что тѣ-же мысли...

Толстой сразу оживился...

— Конечно, конечно. Руссо я любилъ всю жизнь, съ самой юности и всегда имъ увлекался. Мнѣ думается, что вся литература XIX вѣка, весь ея реализмъ отъ него. Для своего времени его „Исповѣдь" была откровеніемъ. Это огромная вещь. Пусть онъ былъ боленъ и раздраженъ, но его стремленіе къ правдѣ, къ тому, чтобы освободиться отъ литературныхъ прикрасъ, несомнѣнно. И онъ достигъ многаго.

— Вы, Л. Н., знакомы съ кругомъ нашихъ читателей... Кого бы имъ рекомендовать?.. Они частенько запрашиваютъ...

— То-то вотъ и горе, что собственно никого рекомендовать нельзя и не надо. Хорошаго много, очень много, но дѣйствительно хорошо только то, что искалъ человѣкъ, что ему особенно нужно въ данный моментъ. Важно, чтобы книга отвѣчала на запросы и серьезные запросы человѣка. А они у каждаго въ разные моменты разные. Главное, чтобы онъ искалъ отвѣтовъ; тогда и понимается и запоминается легко... Главное, чтобы такая-то вотъ книга была ему нужна. Помню, когда въ 61 году вышло Положеніе о крестьянахъ, я шесть мѣсяцевъ читалъ и перечитывалъ его и не могъ запомнить ни строчки, а когда самъ сталъ мировымъ посредникомъ, то что-то очень скоро зналъ то же Положеніе чуть-ли не наизусть. Словомъ, чтобы указать книгу надо знать читателя, и чего онъ ищетъ...

Я почти обидѣлся, когда по дорогѣ показалась традиціовная, такъ уныло обязательная, почти бутафорская, при каждой бесѣдѣ съ Толстымъ— Татьяна, или Прасковья, или Дарья, вообще какая-то яснополянская крестьянка съ двумя карапузами въ рубашенкахъ.

Татьяна, или Прасковья, или Дарья, остановилась и сказала: „здравствуйте, ваше сіятельство“...

— Здравствуй, Татьяна... Какъ живешь?

— Слава Богу, ваше сіятельство...

Въ это время одинъ изъ карапузовъ, покраснѣвши до бѣлковъ и понатужившись до слезъ, вмѣшался въ бесѣду.

— У дядьки Саска есть...

— Что онъ говоритъ?—переспросилъ Толстой.

— У брата сынъ Сашка родился,—пояснила Татьяна...

— Да?.. Ну, до свиданья, Татьяна...

Мы опять свернули въ паркъ и пошли его окраиной... У меня все время вертѣлся на языкѣ вопросъ объ индивидуалистическомъ теченіи нашей мысли и о трещинахъ, которыя уже дало оно съ перваго дня своего существованія. Но я не зналъ, какъ приступить къ дѣлу. Въ присутствіи Толстого всѣ эти измы кажутся какими-то пустыми и очень маленькими. Я подошелъ издалека...

— Мнѣ говорили, Л. Н., что у васъ былъ С. Б—овъ?..

— Какъ же, былъ. Говорилъ много и красно, только я ничего не понялъ. Метафизика и метафизика. Зачѣмъ она, когда и такъ все просто и ясно?—Что же, это интересуетъ васъ?

— Боюсь, что въ моемъ интересѣ много профессіональнаго, но — очень...

— Говорите...

Я сказалъ,—очень, впрочемъ, коротко и, боюсь, довольно неясно,— что думалъ. Сказалъ прежде всего о томъ, что индивидуализмъ явился къ намъ въ гости совершенно неожиданно, что всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ мы носились съ отрицаніемъ личности, съ низведеніемъ ея къ „quantité negligéable“, а теперь видимъ въ ней конецъ и начало. Сказать дальше, что эта самая личность, переживая медовый мѣсяцъ своего признанія и книжнаго самодержавія, хромаетъ, однако, на обѣ ноги, ищетъ, бѣдная, поручителей и куда бы ей прислониться—то къ православію, то къ метафизикѣ Фихте, то къ ницшеанству по переводу и изданію Клюкина... Сказалъ еще, что въ этомъ смыслѣ особенно характерны произведенія Горькаго и Андреева, — Горькаго потому, что у него все яснѣе нотка меланхоліи, устали,—Андреева потому, что онъ говоритъ объ ужасѣ одиночества этой гордой, самозаконной личности, о стихійныхъ безднахъ, которыя открываются передъ ней, о стѣнѣ, высящейся на ея дорогѣ.

— Да, да, конечно,—прервалъ меня Толстой, — все это есть и все это неизбѣжно, потому что путь, который избрали индивидуалисты, какъ вы ихъ называете, совершенно неправильный... Свою проповѣдь автономности и самозаконности и пр. они соединяютъ то съ богословской схоластикой, то съ метафизикой, то съ схоластикой марксизма. Между тѣмъ единственно, на что можетъ и долженъ опереться человѣкъ—это Богъ...

— Провидѣніе, Левъ Николаевичъ?

— Я говорю: Богъ... Мысль о Богѣ, который есть любовь, должна быть источникомъ и обновленія и возрожденія... Кромѣ этой мысли, не надо ничего. Вотъ я только что получилъ письмо отъ одного муфтія изъ Индіи. Вы знаете, магометанство тамъ очень сильно и все распростра-

няется. Но не магометанство Корана, а очищенное, раціоналистическое. Ну, вотъ этотъ муфтій пишетъ мнѣ, какъ удачно идетъ его проповѣдь, сколько новыхъ сторонниковъ пріобрѣтаетъ онъ ежедневно. Настоящихъ, хорошихъ сторонниковъ. Имъ не надо ни магометова голубя, ни горнаго камня — Каабы, ни рая съ гуріями. Имъ достаточно одной чистой идеи Божества, наполняющаго собою міръ, и потому, что у человѣка эта идея есть, что она живетъ въ немъ, онъ прямо не можетъ дѣлать то нехорошее и похотливое, что дѣлалъ раньше, и не можетъ жить такъ распущенно и безалаберно, какъ жилъ до того... Это вотъ, думается мнѣ, настоящее. Я еще не успѣлъ отвѣтить муфтію, но собираюсь написать ему, что все мое сочувствіе на его сторонѣ.

—...Мнѣ кажется это такимъ яснымъ,—продолжалъ Левъ Николаевичъ, раздѣльно выговаривая каждое слово, — что разъ Богъ, идея Бога будетъ жить въ душѣ человѣка, ему не придется искать никакой опоры. Если насъ томитъ жизнь, если то и дѣло вы близки къ отчаянію, если все окружающее кажется вамъ нелѣпымъ — то первая ваша обязанность откопать тотъ ключъ, который есть и можетъ быть въ душѣ каждаго человѣка. Почувствовавъ въ себѣ Бога, вы этимъ самымъ становитесь уже другимъ. И разъ вы достигли этого, то вамъ уже не нужно ни приказаній, ни руководства, вамъ нужно только быть самимъ собой. Въ этомъ вамъ никогда, никто, ничѣмъ помѣшать не можетъ и съ Богомъ въ душѣ вамъ ничто не страшно...

— Какъ я вѣрю, какъ я знаю, что это такъ, и какъ бы хотѣлось мнѣ, чтобы и передъ всѣми людьми засвѣтила та же истина! Въ ней исходъ, въ ней спасеніе. Я дѣлаю, что могу, ради общаго признанія этой мысли, но, такая простая и ясная, она все же лишь съ великимъ трудомъ прокладываетъ себѣ путь... Будь она у васъ, вы никогда бы не говорили о томленіи своей жизни, какъ не говорю о немъ я, хотя раньше одинаково оно жило во мнѣ... Но душа перестала чадить, когда вышла она на просторъ и увидѣла надъ собой небо и звѣзды... Мнѣ хорошо, мнѣ слишкомъ даже хорошо, и если я о чемъ жалѣю, то о томъ лишь, что слишкомъ мало страдалъ... Это мое страданіе придало бы еще больше цѣны, еще больше значенія моимъ мыслямъ, которыя я высказываю для всѣхъ"...

Толстой дѣйствительно разговорился. Я боялся, какъ бы это не утомило его, и не поднималъ уже никакихъ вопросовъ... Но онъ продолжалъ самъ...

— Вы — марксистъ или были марксистомъ... Что за печальное заблужденіе отдать человѣка въ жертву чему-то общему, стихійному и случайному!.. Это не только невѣрно, нелѣпо, но, въ сущности, и ничтожно. Посмотрите, какъ въ сущности быстро и самъ собою разсѣялся марксизмъ. Никто даже и не боролся съ нимъ, а просто люди поняли, что жить этимъ книжнымъ увлеченіемъ совершенно нельзя. Тутъ дѣйствительно нечѣмъ жить. Въ свое время я хотѣлъ было писать о немъ и противъ него, но когда взялся за перо, то увидѣлъ, что и писать уже не о чемъ. Все равно, какъ при вѣтрѣ поставишь аппаратъ на облако, а облака уже нѣтъ.

— Въ скобкахъ, Л. Н., замѣчу, что если вообще нужно предисловіе къ марксизму, то въ извѣстномъ смыслѣ лучшаго, чѣмъ ваша философія исторіи—VIII-й томъ „Войны и мира“ — даже и не выдумаешь. Тамъ вы тоже низводите человѣка къ дифференціалу исторіи и говорите, что историческій процессъ будетъ понятъ нами лишь послѣ того, какъ мы научимся интегрировать, брать суммы этихъ безконечно малыхъ величинъ, т. е. людей и ихъ поступковъ. По существу мысль чисто марксистская.

Толстой не отвѣчалъ ничего и, пройдя немного шаговъ, заговорилъ о рабочемъ вопросѣ.

— Мнѣ жаль, что я такъ поздно взялся за него. Давно бы слѣдовало и хочется теперь высказаться такъ, чтобы не осталось ничего недоговореннаго... Это очень большой и важный вопросъ, въ которомъ ужасно много путаницы.

— Я читалъ много вашего объ этомъ и знаю, что рабочаго вопроса собственно для васъ не существуетъ.

— Ну да... И, конечно, не согласны?...

— Не согласенъ со многимъ, Левъ Николаевичъ,—таиться не стану...

Я уже не разъ во время бесѣды замѣчалъ, что всякое несогласіе и возраженіе очень непріятно дѣйствуютъ на Толстого. Онъ раздражается и говоритъ зло, красиво, съ воодушевленіемъ. Здѣсь онъ доказывалъ невозможность стачекъ, безуміе какихъ бы то ни было баррикадъ и революціонныхъ попытокъ, говорилъ о Чингисханахъ съ телеграфами, о томъ, что парижскій макадамъ (щебенная мостовая) сдѣлалъ немыслимыми баррикады и о томъ, что такой „макадамъ теперь вездѣ и повсюду“...

Я, впрочемъ, думаю, что эту часть моего разговора съ Толстымъ читатель гораздо съ большимъ интересомъ и съ гораздо большей пользой для себя прочтетъ въ „Русской Старинѣ“ 1953 года. Ограничусь поэтому нѣсколькими пояснительными замѣчаніями.

Въ данную минуту Толстой полемизируетъ съ очень сильными, многочисленными и самоувѣренными противниками. Въ чемъ сущность этой полемики, читатель пойметъ въ первой же фразы только что законченной имъ работы, не имѣющей еще заглавія и подписанной 9-мъ мая текущаго года.

Вотъ эта первая фраза:

„Въ обращеніи моемъ къ рабочему народу, — пишетъ Толстой, — я высказалъ мысль о томъ, что для того, чтобы рабочимъ избавиться отъ своего угнетенія, имъ нужно самимъ перестать жить такъ, какъ они живутъ теперь, *борясь съ ближними для своего личнаго блага*, а жить по евангельскому правилу: поступать такъ, какъ хочешь, чтобы поступали съ тобой“.

Дальше Толстой жалуется на то, что это, его обращеніе назвали утопіей, а его самого—утопистомъ и мечтателемъ.

Между тѣмъ онъ думаетъ, что указанный имъ путь единственно вѣрный, такъ какъ парижскій макадамъ сдѣлалъ невозможнымъ баррикады.

Надо рабочимъ, какъ и всѣмъ другимъ людямъ, перестать бороться съ внѣшними условіями жизни и обратить все вниманіе на борьбу съ собой. Надо прежде всего перестать принимать участіе въ злѣ и насиліи жизни, перестать стремиться къ личному благу, которое въ наши дни понимается, какъ всяческое удовлетвореніе похоти.

Рабочій вопросъ есть вопросъ *нравственный*, а не политическій. Это главная мысль Толстого; оттого-то эпиграфомъ къ своему труду онъ взялъ слова Шелли: „Величайшимъ бѣдствіемъ въ умственной жизни народовъ надо считать тотъ моментъ, когда политическая наука отдѣлилась отъ нравственной“ [1]).

„Соціализмъ“, которымъ прельщаютъ рабочихъ—не выходъ, потому что соціализмъ уже отжилъ свое время.

— И самое его ученіе и выставленный имъ идеалъ годны лишь для человѣка, у котораго нѣтъ живого бога въ душѣ [2]).

— Соціализмъ [3]) немыслимъ безъ принужденія. Какъ говоритъ Жоресъ: „разъ или два мы оставимъ безъ вниманія, что человѣкъ не идетъ работать, но на третій разъ мы заставимъ итти“—такъ говорятъ и остальные. Принужденіе необходимо и естественно входитъ въ его программу. Но съ нимъ, въ какой бы то ни было дозѣ и съ какими бы то ни было ограниченіями, религіозное самосознаніе мириться не можетъ. Духовное существо человѣка не можетъ подчиниться какому бы то ни было принужденію ради какихъ бы то ни было матеріальныхъ цѣлей...

...Саженяхъ въ 50-ти изъ-за вѣтвей показался бѣлый барскій домъ. Мы возвращались тою же дорогой, какой вышли изъ него. Какъ это часто бываетъ, тѣ же предметы вернули къ тѣмъ же мыслямъ и темамъ. Левъ Николаевичъ опять заговорилъ о новыхъ писателяхъ.

— Я кое кого изъ нихъ очень люблю, какъ людей, потому что они хорошіе. Талантъ у нихъ есть, но Богъ знаетъ, что они съ нимъ дѣлаютъ, или лучше сказать, что дѣлаютъ съ нимъ газеты, критика, публика... Такъ превознести—вѣдь это что же такое?...

— Нервное время, Л. Н... Всѣ сразу хотятъ найти ключъ ко всѣмъ замкамъ и одну разгадку всѣхъ загадокъ. Ну, и набрасываются...

— Рекламное время... Ничего подобнаго я не видѣлъ за всю свою жизнь. Ни о Тургеневѣ, ни о Герценѣ никогда такъ не кричали... Это

---

[1]) Эту мысль Толстой въ разговорѣ иллюстрировалъ послѣднимъ сербскимъ переворотомъ. „Вотъ чистая политика, сказалъ онъ, и посмотрите, какое безобразіе! Перебили Обреновичей и кричатъ во все горло: „да здравствуютъ Карагеоргіевичи“... Даже не понимаютъ сами, что весь этотъ переворотъ — скверная и жестокая игра, по формѣ похожая на игру въ „Ваньку-Встаньку“... Ванька упалъ, Ванька всталъ“. *С.*

[2]) Еще разъ: все это лишь отрывки мыслей Толстого. Читателю нечего и думать составлять по нимъ какое-нибудь цѣльное представленіе о его взглядахъ на рабочій вопросъ... Но все же онъ долженъ понимать, что Толстой никогда не проповѣдывалъ подчиненія факту, какъ онъ есть. Фактъ современнаго капитализма въ его глазахъ есть нѣчто, что надо преодолѣть, устранившись отъ его идеаловъ. Но обычные пути Толстой совершенно отрицаетъ. Главное заблужденіе рабочихъ въ его глазахъ то, что они, борясь съ капитализмомъ, подчинились однако, его духу, ставятъ на первомъ планѣ матеріальныя цѣли и матеріальныя средства. *С.*

[3]) Соціализмъ — одна изъ формъ государственности, политическаго устройства. Весь моралізмъ и вся мечта Толстого о безпредѣльной свободѣ религіозной личности (религіозный анархизмъ) противъ него. *С.*

печально прежде всего потому, что, выдумывая себѣ кумировъ и „писанія“, люди какъ ширмами закрываютъ отъ себя настоящую живую жизнь. А въ ней столько поучительнаго и бодрящаго... Ну, пойдемте, я познакомлю васъ съ Новиковымъ...

Мы прошли въ библіотеку. Здѣсь сидѣло нѣсколько человѣкъ. Завязался общій разговоръ о народѣ, въ которомъ Левъ Николаевичъ почти не принималъ участія. Молчалъ и я, слишкомъ полный предыдущей бесѣдой. Черезъ полчаса одинъ изъ гостей сталъ собираться домой. Поднялся и я. Толстой удерживалъ, предлагалъ отдохнуть, пообѣдать. Но я поблагодарилъ и распрощался.

У меня было три важныхъ причины торопиться.

Во-первыхъ, въ домѣ ждали одного изъ сыновей Льва Николаевича—Михаила Львовича. Его вещи уже прибыли и, увидѣвъ ихъ, Толстой сталъ нервничать и все справлялся: „не ѣдетъ ли Миша?“

Во-вторыхъ, я стараюсь держаться сократовскаго правила: не наѣдаться до сыта. Мнѣ было такъ хорошо въ Ясной Полянѣ, что хотѣлось увести самое милое впечатлѣніе. Я боялся оставаться, чтобы не испортить его. Мало ли что могло случиться: могло, напр., вырваться какое нибудь неосторожное, ненужное слово, за которое потомъ пришлось бы казниться.

Въ-третьихъ, я торопился записать подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ слышанное отъ Толстого. Я разсчитывалъ сдѣлать это въ Тулѣ до отхода вечерняго поѣзда въ Москву.

Поблагодаривъ Льва Николаевича и попросивъ у него разрѣшенія побывать еще какъ нибудь—я съ М. С. Новиковымъ сѣлъ на извозчика и поѣхалъ въ Тулу...

Всю дорогу мы проговорили о Толстомъ, котораго мой спутникъ лично и близко знаетъ уже 7 лѣтъ...

Еще о томъ же.

И *ему* черезъ какой-нибудь мѣсяцъ 75 лѣтъ! (Родился Л. Н. въ 1828 г. 28 августа),—невольно думалось мнѣ.

Эти 2—3 часа разговора съ Толстымъ навсегда, конечно, останутся однимъ изъ самыхъ цѣнныхъ воспоминаній моей жизни. Современному человѣку вообще такъ рѣдко удается проникнуться благоговѣніемъ къ чему-нибудь земному и даже сверхъ-земному, онъ до того привыкъ все критиковать, во всемъ сомнѣваться, видѣть во всемъ прежде всего дурную и слабую сторону, что чувство благоговѣнія становится постепенно сказкой и преданіемъ миновавшихъ дней. А между тѣмъ безъ него жизнь не полна, и стоитъ только сказать себѣ, что нѣтъ ничего, что было бы выше тебя, чтобы она—эта жизнь обратилась въ скучную безсмыслицу.

Думаю, что каждому изъ живущихъ теперь и особенно пишущихъ, Толстой могъ бы напомнить, что есть вотъ тутъ рядомъ съ нимъ, въ

Ясной Полянѣ, всего въ двухстахъ верстахъ отъ Москвы, нѣкто большій, чѣмъ онъ самъ. Это авторъ „Войны и Мира", а быть можетъ чего-то и важнѣе, чѣмъ „Война и Миръ"—красивой и умной человѣческой жизни.

„Огромный онъ" — говорилъ про Толстого Успенскій, и какъ онъ былъ правъ! И кажется Толстой огромнымъ не только, когда читаешь его произведенія, но,—что гораздо рѣже, а пожалуй и совсѣмъ рѣдко — когда видишь и слышишь его.

Я видѣлъ прежде всего передъ собой здоровую, красивую старость. Никакихъ признаковъ одряхлѣнія, усталости, разочарованности,—и это въ наше время, когда большинство начинаетъ дряхлѣть и уставать съ 30-тилѣтняго возраста и съ этой же поры подкрашивать свои волосы, лицо и мысли, чтобы казаться моложе, бодрѣе, интереснѣе. Толстому совершенно нечего заботиться объ этомъ. Наканунѣ 75-й годовщины своего рожденія онъ въ сущности такой же, какимъ, по разсказамъ знавшихъ его, онъ былъ много лѣтъ тому назадъ. Сухой, средняго роста старикъ, онъ держится почти прямо, его походка, рѣчь, жесты быстрые; его рѣчь полна не только ума, но и остроумія; въ спорѣ онъ, какъ раньше, всегда готовъ на сарказмъ. Я какъ-то промолвился о нашей усталости, о нашей разочарованности...

— Позвольте узнать, чьей это „нашей?" иронически спросилъ Толстой.

Я пояснилъ, что „нашей" означаетъ — „извѣстной доли интеллигенціи".

— А!.. Ну вотъ, кто меня меньше всего интересуетъ и о комъ я меньше всего думаю — это о „вашей" интеллигенціи... Какое мнѣ дѣло до этой кучки людей, живущихъ „по журналу" и по газетѣ и принимающей за жизнь свои слова и разговоры. Совсѣмъ другое—народъ, 130-ти милліонная масса людей, на который „ваша" интеллигенція и смотрѣть не хочетъ. А не мѣшало бы. Тутъ вотъ на самомъ дѣлѣ все интересно и поучительно и съ каждымъ днемъ все больше. Тутъ люди ищутъ правды и смысла жизни и не по книгамъ, а испытаніями на собственной шкурѣ. А тамъ что же это такое? Прочелъ одну статью и нашелъ правду, прочелъ другую—и опять потерялъ эту самую правду.

Недовѣріе къ интеллигенціи у Толстого постоянное, упорное. Оно тянется красною нитью черезъ всю его жизнь. Онъ хочетъ дѣла, а не разговоровъ, хочетъ настоящихъ, доподлинныхъ, выработанныхъ жизнью чувствъ, а не чувствъ, натасканныхъ на себя, и быть можетъ преувеличенно винитъ въ этомъ интеллигенцію.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ трудно и требовать отъ кого-нибудь болѣе пристальнаго вниманія къ интеллигентнымъ дѣламъ, чѣмъ то, которое проявляетъ Толстой. Объ однихъ направленіяхъ современной жизни онъ говоритъ какъ о печальныхъ, хотя невольныхъ ошибкахъ, о другихъ съ раздраженіемъ, о третьихъ съ усмѣшкой, увѣряя, что ничего не можетъ въ нихъ понять, хотя и отдаетъ должную справедливость краснорѣчію ихъ защитниковъ. „Пріѣзжалъ ко мнѣ сюда С. Н. Б., сказалъ онъ, и долго разъяснялъ мнѣ что-то. Я слушалъ его и вспоминалъ слова Вольтера: „когда тотъ, кто говоритъ, не понимаетъ того, что онъ говоритъ, а тотъ, кто слушаетъ, не понимаетъ, что ему говорятъ—это метафизика—

c'est pe la métaphysique"... Современная литература очень волнуетъ его. Онъ противъ увлеченія босяками и босячествомъ, особенно такими босяками, которые являются передъ читателемъ „въ страусовыхъ перьяхъ и чуть ли не при шпагѣ", онъ недоволенъ одинаково и тѣмъ, что многіе беллетристы пишутъ драмы; онъ очень одобряетъ разсказъ Л. Андреева „Въ туманѣ"[1]) и думаетъ, что слѣдовало сказать то, что сказалъ его авторъ, хотя не все въ такой излишне грубой формѣ. „Съ дѣтьми вообще надо быть откровеннѣе и проще, не лицемѣрить и не жеманничать. Помните, Руссо одобрялъ одну даму, которая на вопросъ своего маленькаго сына, гдѣ матери берутъ своихъ дѣтей, спокойно отвѣчала ему: elles les p... ssent avec douleur... Я согласенъ съ Руссо"... Между прочимъ по поводу современной литературы Толстой сдѣлалъ то важное замѣчаніе, что она окружена скишкомъ большимъ шумомъ и крикомъ, въ чемъ повинны прежде всего газеты, которыя готовы изъ каждаго разсказа „устроить дѣло Дрейфуса". „Охъ ужъ эти газеты! Никогда не знаютъ ни въ чемъ мѣры. Въ каждой чепухѣ готовы видѣть новое слово и откровеніе... Этотъ шумъ и крикъ, эти неумѣренныя похвалы могутъ только вредить писателю, особенно молодому. Совсѣмъ этого не надо. Въ наше время было иначе, и ни я, ни Тургеневъ не испытывали ничего подобнаго". Погоня за новымъ невольно заставляетъ забывать старое, цѣнное. „Посмотрите, продолжалъ Толстой: Гоголя вспомнили лишь по случаю юбилея... О Тургеневѣ какъ будто и совсѣмъ не хотятъ вспомнить, а между тѣмъ у него много прекрасныхъ вещей". Я замѣтилъ при этомъ, что Толстой какъ-то особенно дружески и ласково говоритъ о Тургеневѣ... Но, конечно, главный интересъ Толстого все же не здѣсь—не въ литературѣ и не въ современныхъ настроеніяхъ современной мысли, а тамъ, гдѣ массы ищутъ правды и смысла жизни. Онъ съ удовольствіемъ разсказывалъ о только что полученномъ имъ письмѣ индійскаго муфтія, который сообщаетъ ему объ успѣхахъ раціоналистическаго движенія среди магометанъ, вырабатывающихъ себѣ чистую идею Божества. „И представьте себѣ, что когда эта чистая идея западаетъ въ душу человѣка, — этого достаточно, чтобы онъ уже пересталъ быть тѣмъ, чѣмъ былъ вчера, и дѣлалъ то грязное, преступное и пошлое, что онъ легко дѣлалъ еще наканунѣ. Это мнѣ очень нравится и какъ нельзя лучше подтверждаетъ мои соображенія". Еще больше вниманія со стороны Толстого привлекаетъ къ себѣ рабочій вопросъ, полемикой по которому онъ занятъ теперь весь.

Во всякомъ случаѣ масса и ея исканія „правды и смысла" играютъ въ глазахъ Толстого первенствующую роль. Чувство дѣйствительности, дѣйствительной жизни нисколько въ немъ не притупилось. Онъ изучаетъ жизнь и присматривается къ ней, имѣя сношенія со всѣмъ міромъ и людьми самаго разнообразнаго положенія. Въ то время, какъ я бродилъ съ нимъ по парку и полю, въ его кабинетѣ сидѣлъ крестьянинъ М. С. Н—ъ, которымъ Толстой не могъ нахвалиться. Хвалилъ же онъ его за то, что тотъ, несмотря ни на какія трудности, все же идетъ своей дорогой и живетъ по своей вѣрѣ и убѣжденію.

---

[1]) См. „Журналъ для всѣхъ" № 12. 1902 г.

Нашъ разговоръ перешелъ на послѣднюю книгу профессора Мечникова „Etudes sur la nature humaine“, которую авторъ только что прислалъ изъ Парижа Толстому. Книга эта, принадлежащая перу знаменитаго ученаго, на котораго весь міръ смотритъ какъ на преемника Пастера, проводитъ ту главную мысль, что величайшее несчастіе людей заключается въ несовершенствѣ ихъ физической организаціи, ихъ тѣла. Это несовершенство является какъ бы мѣшками съ пескомъ на ихъ ногахъ, мѣшаетъ ихъ развитію, создаетъ преждевременную старость и наполняетъ жизнь страданіями и болѣзнями. Средство и могущественное средство противъ такого зла есть. Это средство—наука. Мечниковъ не ставитъ ей никакихъ границъ. Онъ считаетъ ее способной разрѣшить всѣ нужные и важные для человѣка вопросы и обезпечить ему здѣсь на землѣ совершенно нормальное и здоровое существованіе. Этой вѣрой въ науку продиктованы лучшія страницы книги Мечникова. Онъ заканчиваетъ ее пожеланіемъ, чтобы наука заняла первенствующее положенія среди руководителей человѣчества и чтобы за ней были обезпечены свобода, вліяніе, власть. Книга „Etudes“ — во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательна. Но, очевидно, что Толстому она не нужна. Ближайшая задача Мечникова — продлить человѣческую жизнь, обезпечить людямъ здоровую, цвѣтущую, долгую старость—кажется Толстому совершенно излишней, вѣра въ науку—чрезмѣрной и ни на чемъ не основанной. „Я этой книги не прочелъ, а только просмотрѣлъ ее — сказалъ Толстой. И читать не буду. Все, что скажетъ и можетъ сказать Мечниковъ, я знаю. Онъ очень образованный и ученый человѣкъ, но онъ не понимаетъ того, что нужно людямъ. Горе не въ томъ, что мы живемъ мало времени, а въ томъ, что мы плохо живемъ, живемъ противъ себя и своей совѣсти. Мы наполняемъ свою жизнь дѣлами, которыхъ не надо было бы дѣлать, или тратимъ ее на шумиху словъ. Одно надо, чтобы проснулось сердце человѣческое, и чтобы тамъ засвѣтила мысль о Богѣ. Чтобы эту вотъ мысль человѣкъ призналъ единственнымъ своимъ руководителемъ, единственной властью надъ собой и жилъ по ея указанію“.

Толстому за послѣдніе годы пришлось прочесть, вѣроятно, тысячи страницъ, порицающихъ его взглядъ на науку, его отношеніе къ ней. Онъ остается, однако, вѣренъ своей мысли, что человѣку нужна не наука, а богопознаніе. Въ его міросозерцаніи наукѣ мѣста нѣтъ. Наука не дѣлаетъ и не можетъ сдѣлать людей лучшими, чѣмъ они есть въ настоящее время, и поэтому, несмотря на всѣ свои претензіи и обѣщанія, она безполезна. Жизнь надо измѣнить потому, что она исполнена зла и неправды, но это измѣненіе должно быть произведено каждымъ за свой счетъ и страхъ. Помощи ждать не откуда. Никто и ни въ чемъ не можетъ помочь человѣку, разъ онъ самъ не возьмется за это дѣло. Пусть онъ пойметъ, что есть зло, пусть онъ устранится отъ этого зла, отъ всякаго участія въ немъ, отъ всякаго прикосновенія къ нему. Зло поддерживается нами же, то нашимъ равнодушіемъ, то нашей прямой работой на увеличеніе его силы. Мы негодуемъ на него, проклинаемъ его, во всякомъ случаѣ видимъ его, но отчасти по малодушію, отчасти по невѣжеству держимся или около него, или въ немъ, пользуясь его выгодами, тратя свои силы и свои способности на его упроченіе. Единственный путь уйти

отъ зла, оставить его одинокимъ: тогда, безъ нашей поддержки, оно вымретъ само собою. Когда не будетъ развратниковъ, не будетъ и разврата. Безъ насильниковъ нѣтъ и не можетъ быть насилія на землѣ. Зло существуетъ или потому, что мы прямо работаемъ для его упроченія или потому, что мы соглашаемся пользоваться его выгодами. Нуженъ всемірный общій „бойкотъ" противъ зла и неправды, всемірное, общее удаленіе отъ него, всемірное общее неучастіе въ немъ, всемірная, общая неприкосновенность къ нему.

Не разрѣшаю вопроса объ осуществимости такой мечты. Я говорю одно: она грандіозна и смѣла. Въ ней Толстой вѣренъ себѣ. Его нисколько не смущаетъ мысль, что онъ идетъ почти противъ всѣхъ, противъ, во всякомъ случаѣ, не только уже модныхъ, но и господствующихъ теченій и настроеній жизни. Въ то время, какъ всѣ эти господствующія теченія и настроенія исходятъ изъ мысли, что для побѣды надъ зломъ нужна прямая борьба съ нимъ, овладѣніе занятыми имъ позиціями, — Толстой утверждаетъ, что слѣдуетъ „начать съ другого конца". Этотъ другой конецъ — самъ человѣкъ, которому надо „открыть себя изъ подъ груды всякихъ предразсудковъ, суевѣрій, довѣриться голосу своей совѣсти и освѣтить свою жизнь чистой идеей Божества"... „Неправда жизни, чтобы быть дѣйствительно уничтоженной, должна быть уничтожена не силою, а *сознаніемъ* людей"—говоритъ онъ. Сколько тутъ вѣры въ человѣка!.. Толстому кажется, что только о возрожденіи мечтаютъ земля и люди, что пока лишь недостатокъ пониманія, недостатокъ уваженія къ себѣ и вѣры въ себя мѣшаетъ жизни стать любящей и радостной, исполненной ласки и благоволенія, какой бы она должна была быть въ дѣйствительности, какой она хочетъ и можетъ быть. Совсѣмъ не къ злобѣ, человѣконенавистничеству, взаимной борьбѣ предназначены земля и люди, а къ тому полному блаженству, той оргіастической радости жизни, которой, по мнѣнію Толстого, наслаждаются животныя и растенія. Не мракомъ и холодомъ, не скорбью и отчаяніемъ, а, напротивъ, свѣтомъ и радостью исполнена вселенная. Какъ, какимъ путемъ отошли люди отъ истиннаго пути, что заставило ихъ заниматься не только не нужными, но и прямо вредными для себя дѣлами, почему просторъ полей и лѣсовъ бросили они для душной городской жизни, почему здоровье и „истинное земледѣліе" перемѣнили они на трудъ истощающій? Почему — это другой вопросъ, но все это—зло, противъ котораго возстаетъ природа человѣка и примириться съ которымъ она не можетъ и не должна. Теперь, уже часъ близокъ. Совѣсть человѣка и религіозное самосознаніе проснутся въ немъ и поведутъ его по истинному пути... Такъ учитъ Толстой и опять, говорю я, въ этомъ своемъ ученіи онъ одинъ, если не противъ всѣхъ, то противъ огромнаго большинства людей. Одинъ съ своей мыслью, своей мечтой, на своей дорогѣ, какъ раньше и всегда. Какъ-то канцелярской наукѣ, господствовавшей въ Казанскомъ университетѣ, онъ противопоставилъ свой юношескій острый скептицизмъ; потомъ кружку свѣтскихъ людей, писателей и женщинъ — примитивныхъ героевъ своей повѣсти „Казаки"; дальше, культурной жизни — жизнь согласно съ природой: помѣщику и барину—мужика, привиллегированному и богатому человѣку—нищету первыхъ послѣдователей Христа; затѣмъ, идеалу борьбы—

свое непротивленіе злу, религіозной традиціи — свою критику, невѣрію— свою вѣру... Всегда, въ сущности, одинъ, всегда самъ по себѣ...

Когда я слушалъ Толстого и вспоминалъ все это,—удивительно красивая поэма самостоятельной и самобытной человѣческой жизни вырисовывалась предо мною. Эта поэма завершается, но не завершилась еще, къ счастью. Въ ней нѣтъ старости, т. е. того зла жизни, при одной мысли о которомъ душа человѣка наполняется холодомъ и ужасомъ. Толстой не только никого не тяготитъ, онъ всѣмъ нуженъ, потому что и теперь съ его мнѣніями приходится считаться всякому, кто интересуется важнѣйшими вопросами человѣческой жизни. Его умственная энергія не слабѣетъ нисколько, и, занявшись рабочимъ вопросомъ, онъ отдалъ ему все свое вниманіе, понимая, что это одинъ изъ самыхъ запутанныхъ узловъ современности. Конечно, и его рѣшаетъ онъ по своему, отрицаетъ какую бы то ни было пользу насилія и проповѣдуетъ „недѣланіе зла", т. е. чтобы люди перестали создавать или участвовать въ созданіи капитала, и каждый занялся бы трудомъ лично для себя, для удовлетворенія самыхъ простыхъ и неотложныхъ потребностей. Правъ ли онъ—это вопросъ другой. Важно, что онъ старается отозваться на всѣ запросы современной жизни, что она по прежнему волнуетъ его, и онъ спѣшитъ высказаться, стараясь пробудить „вѣру въ себя" у каждаго человѣка и вдохнуть во взаимныя отношенія людей миръ, любовь, согласіе. Быть можетъ, жизнь идетъ и пойдетъ другой дорогой, чѣмъ та, которая представляется Толстому, быть можетъ вся его ошибка въ томъ, что онъ слишкомъ вѣритъ въ человѣка и могущество его сознанія, но каждому, хотя нѣсколько знакомому и съ личной жизнью Толстого и настоящей ея обстановкой, понятно и естественно, что ничего другого проповѣдывать онъ и не можетъ. Какая-то удивительная тишина, миръ, спокойствіе, довольство разлиты по Ясной Полянѣ. Тутъ нѣтъ, конечно, ни крикливой роскоши, ни глупыхъ затѣй вродѣ мраморныхъ половъ въ конюшняхъ. Здѣсь все просто, если хотите даже скромно, но такая „скромность" доступна, конечно, только Толстому, изъ чьей жизни устранены всѣ заботы и страхи, такъ опошливающіе обычное человѣческое существованіе, и который окруженъ міровой славой. Здѣсь все просто и въ то же время все цѣнно, потому что окружено исторіей, воспоминаніями, начиная отъ двухъ башенокъ при въѣздѣ въ яснополянскій паркъ, помнящихъ еще XVIII-ое столѣтіе, и кончая этой мебелью, на которой сидѣли люди всѣмъ интересные и вели съ Толстымъ значительныя и опять-таки для всѣхъ интересныя бесѣды. Одинъ шкафъ съ письмами, которыя Толстой давнымъ-давно получаетъ со всѣхъ концовъ міра и копіями собственныхъ его отвѣтовъ на эти письма представляетъ нѣчто ни съ чѣмъ несравнимое по своей цѣнности и навѣрно заключаетъ въ себѣ матеріалы для многихъ и многихъ поучительнѣйшихъ страницъ изъ исторіи современной мысли. Вѣдь Толстому „исповѣдывались" и простые и крупные люди и исповѣдывались такъ, какъ, вѣроятно, никому и никогда въ своей жизни. Здѣсь все прочно, домовито; на каждомъ шагу видны еще слѣды стараго дворянскаго гнѣзда; здѣсь ничто не напоминаетъ гостиницы, какъ въ обстановкѣ огромнаго большинства людей нашего времени, здѣсь свое поле, свой домъ, свой паркъ, и надъ всѣмъ этимъ рѣютъ тѣни прошлаго, отцовъ и дѣдовъ. Здѣсь все говоритъ

о связи и при томъ крѣпкой связи съ минувшимъ и будущимъ. Быстрый и шумный потокъ жизни, играющій какъ щепками отдѣльными существованіями людей и все смывающій на своемъ пути, не оставляя за собой ничего, что говорило бы о страданіяхъ и радостяхъ цѣлыхъ поколѣній, какъ будто задержался здѣсь, разлился широко и ровно, и вы видите и чувствуете передъ собой жизнь двухъ столѣтій и, еще яснѣе, конечно, долгую жизнь самого Льва Николаевича. Старое русское барство, русское дворянское гнѣздо здѣсь красиво соединилось съ аристократизмомъ мысли. Эти два вѣка, которые существуетъ Ясная Поляна, даютъ всему, что въ ней, видъ увѣренности и прочности, особой величавости, и крикливая пошлая суета жизни не смѣетъ проникнуть сюда. Миръ, довольство, спокойствіе разлито вокругъ и въ великолѣпныхъ поляхъ, и въ огромныхъ деревьяхъ парка, вѣчно разсказывающихъ другъ другу, должно быть, какія-то старыя тихія сказки—и въ удивительно ясныхъ, дѣтски-откровенныхъ глазахъ самого Толстого. Онъ чувствуетъ себя превосходно, онъ исполненъ благоволенія ко всему живому, онъ любитъ молодыя колосья, дѣтей, всю эту жизнь, какъ сумрачный океанъ окружающій Ясную Поляну, и лишь порою будто тѣнь отъ облака на это свѣтлое, залитое солнцемъ существованіе набѣгаетъ мысль, что жизнь прошла слишкомъ хорошо и что въ ней было такъ мало страданія...

— Мнѣ хорошо, очень хорошо, сказалъ Толстой,—и если чего жаль, такъ того лишь, что я не пострадалъ за свои мысли...

Но тѣнь отъ облака быстро проносится, и опять надъ головой прозрачное, лучезарное небо.

Іюнь 1903 года.

Исторія одной интеллигентной колоніи.

Принципы интеллигентныхъ колонистовъ.

Русская литература, какъ это извѣстно, не создала ни одной утопіи вродѣ утопіи Мора или Кампанеллы. Мы не будемъ долго останавливаться на вопросѣ, почему это такъ,—причина слишкомъ очевидна и объяснить ее можно въ двухъ словахъ: русская мысль до самаго послѣдняго времени питалась утопіями запада. Ни для кого не новость, что у насъ были фурьеристы, сенъ-симонисты, оуэнисты, которые и мечтали то о фаланстерахъ, то о производительныхъ ассоціаціяхъ, то объ общинахъ во вкусѣ отца Анфантена.

Но явился Толстой. Не особенно умѣло, за то очень энергично поставилъ онъ вопросъ о правдѣ и неправдѣ жизни. Ему показалось даже, что онъ нашелъ воплощеніе правды въ мужицкой жизни. Онъ сталъ проповѣдывать ее, и кое-кто откликнулся. Эти „кое-кто“ были немногочисленными. Едва ли они и могутъ быть многочисленнными. Вѣдь если отдѣлить отъ ученія Толстого его субъективный элементъ, то что же останется? Гдѣ научное и философское обоснованіе догматовъ? Этого то и нѣтъ прежде всего. Говоря правду или ошибаясь — безразлично—Толстой всегда разсуждаетъ, какъ моралистъ. Передъ его глазами носится извѣстный, лично ему принадлежащій идеалъ. Съ точки зрѣнія этого идеала онъ критикуетъ современность и оправдываетъ рекомендуемыя имъ правила жизни. Такой критики и такого оправданія недостаточно. Мыслящій умъ потребуетъ большаго. Онъ захочетъ привести свою нравственность и все міросозерцаніе вообще въ связь съ философіей и наукой. Въ такомъ случаѣ ему придется оставить Толстого въ покоѣ и обратиться къ другимъ, болѣе компетентнымъ источникамъ. Повторяю, единственнымъ методомъ аргументаціи знаменитаго писателя является извѣстно: „не по хорошему милъ, а по милу хорошъ“. Милое и оказывается хорошимъ.

Какъ бы то ни было, кое кто ученіемъ Толстого увлекся, и попытался осуществить его на практикѣ. Желаніе было, несомнѣнно, хорошее, искреннее, но участь выпала горькая. Но откладывая на время приговоръ, постараемся поближе ознакомиться съ интеллигентной колоніей—во всякомъ случаѣ характернымъ явленіемъ современной намъ жизни. Мы жалѣемъ только, что не въ состояніи дать читателю безусловно полнаго описанія жизни колонистовъ и ихъ принциповъ. Несмотря на то, что счастливая случайность сосредоточила въ нашихъ рукахъ немалое число документовъ въ формѣ дневниковъ, писемъ, отчетовъ, составленныхъ даже иниціато-

рами дѣла,—до возможности прослѣдить это дѣло шагъ за шагомъ въ его ростѣ, упадкѣ и кризисахъ—еще очень далеко. Все же надѣемся, что читатель не останется совсѣмъ ни причемъ и, быть можетъ, не безъ любопытства просмотритъ нижеслѣдующія страницы...

Начнемъ съ вопроса о *цѣли*, которая преслѣдуется интеллигентными колонистами. Въ рѣчи, произнесенной 1-го января 1887 года въ одной изъ колоній, цѣль эта выясняется слѣдующимъ образомъ:

„Все современное намъ общество, говорилъ, между прочимъ, ораторъ,—ушло цѣликомъ въ служеніе формѣ. Культъ ея мы видимъ повсюду, на какую бы отрасль общественной дѣятельности не обратили мы нашего вниманія. Ясно и очевидно, что *положеніе* всегда оказывается сильнѣе человѣческаго нутра, и я лишь съ трудомъ представляю себѣ условія, которыя позволяли бы проявляться этому самому нутру. Не буду повторять слишкомъ уже старыя жалобы на нашихъ чиновниковъ. Это жрецы формы по преимуществу, особенно упорные по традиціи, по лѣни, иногда по невѣжеству. Не буду также говорить о нашей торговопромышленной дѣятельности, совершенно подчиняющей себѣ отдѣльнаго человѣка. Спрошу просто на просто: гдѣ та работа, которая исходила бы изъ нутра, а не была тяжелой, непріятной и даже часто проклинаемой необходимостью? Особенно это вѣрно по отношенію къ нашей интеллигенціи, которая переписываетъ бумаги, выдергиваетъ зубы, обучаетъ „языкамъ и предметамъ" и проч., почти никогда не любя своего дѣла, зачастую даже презирая его и, въ девяноста случаяхъ изъ ста, тяготясь имъ. Для всѣхъ васъ присутствующихъ все это вѣроятно совсѣмъ не новость, а изжитая истина, оставившая не мало глубокихъ, давай Богъ—чтобы залечимыхъ, ранъ въ душѣ. Форма одолѣла человѣка, и самая жизнь становится понемногу простой формальностью. Чтобы выяснить свою мысль, я скажу, что называю формальностью ту брачную жизнь, напримѣръ, которая поддерживается лишь для соблюденія приличія,—ту работу, которая, не удовлетворяя человѣка, совершается во имя денегъ, подъ ежеминутной угрозой голода, ту жизнь, наконецъ, гдѣ *человѣкъ не имѣетъ ни опредѣленной цѣли, ни опредѣленнаго мѣста, гдѣ онъ—случайный дѣятель, котораго всякій другой ежесекундно можетъ замѣнить, безъ вреда и пользы для дѣла*".

Ораторъ не останавливается долѣе на своей мысли о господствѣ формы въ современномъ обществѣ — мысли, во всякомъ случаѣ, богатой и плодотворной, и переходитъ прямо къ выводу;

„Результатъ этого безсмысленнаго, этого языческаго культа формы—на лицо. Мы видимъ почти полную потерю внутренняго смысла жизни, полное отсутствіе равновѣсія, справедливости и любви въ отношеніяхъ людей другъ къ другу. Иначе оно не можетъ и быть. Представьте себѣ душевное состояніе человѣка, у котораго слово и дѣло, убѣжденіе и дѣйствіе, требованія природы и общественнаго положенія находятся между собой въ постоянномъ непримиримомъ разладѣ. Вѣдь, если мы живемъ для чего-нибудь здѣсь на землѣ, то для того лишь, *чтобы работать и осуществлять этой самой работой какой-нибудь несомнѣнный нравственный*

идеалъ; но если работа перестала выражать человѣка, если онъ и работа— двѣ вещи совсѣмъ различныя и другъ другу постороннія; что тогда? Это разладъ коренной, органическій, никакими софизмами и самообманами нельзя его уничтожить, и вотъ его вліяніе отражается на каждомъ шагѣ, на каждомъ поступкѣ человѣка. За отступленіе отъ основнаго закона жизни, который требуетъ совершенствованія личности черезъ работу — налагается страшное наказаніе. Это наказаніе самой природы. Она отнимаетъ бодрость и вѣру, она доводитъ человѣка до отчаянія, ежеминутно внушая ему презрѣніе къ самому себѣ, недовольство собой и окружающимъ; равнодушнымъ или изстрадавшимся взглядомъ заставляетъ она его смотрѣть на міръ Божій, и этотъ міръ, утерявъ для него — для этого раздвоеннаго человѣка — свой смыслъ, свою красоту, свое величіе какъ Храма Господня, представляется ему безпорядочно нагроможденной кучей камней, голой пустыней, по которой такъ страшно, такъ утомительно страшно итти. Это уже не жизнь, а смерть!..“

„Братья и сестры, читаемъ мы дальше, — я живу убѣжденіемъ, что я, *лично я*, не смотря на всю свою малость и все ничтожество нуженъ для чего-нибудь, и что безъ меня жизнь обойтись не можетъ. Я знаю и вѣрую, что эта окружающая насъ жизнь одинаково не безтолковая, не нужная, не праздная вещь, которой могло бы и не быть, а храмъ Господень и въ этомъ храмѣ живетъ Онъ; Его-то справедливую мысль я обязанъ по мѣрѣ силъ и возможности осуществить здѣсь на землѣ. Могу ли я сдѣлать это? Обратитесь вы съ этими словами къ человѣку, на всю жизнь свою приставленному къ какому-нибудь колесу машины, и онъ не пойметъ васъ. Каждый шагъ его—есть постоянное внушеніе о собственномъ ничтожествѣ, о безплодности его усилій. Чувствуя себя безконечно малой величиной въ какомъ-то громадномъ чуждомъ ему дѣлѣ, видя себя порабощеннымъ мощными силами капитала, традиціи, государственности и еще болѣе мощной силой—борьбы за существованіе — человѣкъ какъ бы махнулъ рукою на жизнь и, утерявъ въ ней мѣсто свое, пересталъ видѣть въ ней серьезный нравственный долгъ, а видитъ лишь страшное, ежеминутно готовое проглотить его, чудовище. Человѣкъ не вѣритъ въ себя, человѣкъ только боится жизни, и не будь этой боязни, онъ бы въ недоумѣніи сложилъ руки свои и спросилъ: что же дѣлать?... Оно и понятно, почему все это такъ: передъ нами не человѣкъ, а *дробь* человѣка, одна милліардная цѣлостнаго, гармонически полнаго существа!“

Дальше мы видимъ горячую филиппику противъ раздѣленія труда. Ораторъ признаетъ это раздѣленіе *во времени*, такъ какъ нельзя же все дѣлать сразу, но онъ отрицаетъ его для человѣка. Смѣло формулируетъ онъ свою мысль словами: „каждый изъ насъ долженъ представлять своей жизнью полноту человѣческой дѣятельности. Не должно быть людей — плотниковъ, людей — писателей, должны быть просто люди, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, т. е. существа сознательно и путемъ работы стремящіеся осуществить нравственный идеалъ“.

Особенно несостоятельнымъ представляется оратору существованіе интеллигенціи, какъ отдѣльнаго класса Онъ даже очень невѣжливо выражается по этому поводу и говоритъ: „интеллигенція это не болѣе какъ уродство современной намъ жизни. Можно ли представить себѣ что-ни-

будь болѣе ненормальное и вредное! Развѣ можно жить одной мыслью, развѣ можно отрывать свою мысль отъ дѣйствительности? Интеллигентъ, какъ человѣкъ вообще, долженъ быть прежде всего работникомъ, быть же только мыслящимъ существомъ никто не имѣетъ права. За это жизнь наказываетъ очень строго. И что же представляетъ изъ себя большинство нашихъ интеллигентовъ?—*Прихвостней* капитализма, ни болѣе ни менѣе. И если интеллигентъ хочетъ быть самостоятельнымъ, то прежде всего онъ обязанъ отказаться отъ всѣхъ своихъ мечтаній насчетъ жалованья и найти оправданіе своего бытія въ непосредственной работѣ надъ землею".

Повидимому весь смыслъ критической части рѣчи оратора сводится вотъ къ чему:

Существуетъ несомнѣнная *рознь* между человѣкомъ и его работой. По существу своему работа должна представлять *выраженіе* человѣческаго „нутра" во внѣшнемъ мірѣ. Строго говоря, каждый работникъ долженъ быть художникомъ-творцомъ и представлять самого себя въ дѣлахъ своихъ. Но въ то же время работа есть простое средство, никоимъ образомъ не цѣль. Цѣль выше ея; эта цѣль заключается въ достиженіи нравственнаго совершенства жизни путемъ сознательнаго стремленія къ тому каждаго человѣка въ отдѣльности и всѣхъ вообще. При господствующемъ въ нашемъ обществѣ разладѣ между человѣкомъ и его дѣломъ, между членами того же самаго общества никогда такая высокая цѣль осуществлена быть не можетъ. Борьба за существованіе, духъ наживы, конкурренція—ведутъ къ враждѣ между людьми, а не миру, не дружеству; раздѣленіе труда и безсмысленное стояніе возлѣ колесика машины — ведутъ къ внутреннему разладу человѣка съ самимъ собою, къ невѣрію его въ самого себя, почему онъ и не мечтаетъ даже о чемъ-нибудь высокомъ, нравственномъ, идеальномъ, а живетъ и трудится лишь изъ страха нищеты и голода. „Блѣдный и измученный, понукаемый лишь жестокой необходимостью, съ трудомъ плетется онъ по житейской дорогѣ, и чудная красота жизни исчезла для него. Не храмъ Господній, полный великолѣпія, не лучезарный ликъ Спасителя служитъ руководствомъ человѣка, а борьба, жадность, деньги"...

„Что же дѣлать?—Тяжелый усиленный опытъ, продолжаетъ ораторъ, приводитъ людей, которымъ дорога духовная, идейная жизнь—къ убѣжденію, что только организаціей отдѣльныхъ общинъ и путемъ временнаго обособленія ихъ интересовъ отъ интересовъ окружающаго міра можно помочь и себѣ, и другимъ. Общество слишкомъ погрязло въ злѣ, сами мы слишкомъ слабы, чтобы дѣйствовать внутри кипящаго котла... И вотъ мы ушли. Но это не черствый эгоизмъ... Вѣдь личное благосостояніе гораздо удобнѣе устроить себѣ въ существующемъ мірѣ. Не для радости, самоуслажденія и веселья выдѣляемся мы изъ него, а для тяжелаго, упорнаго труда, какъ физическаго, такъ и нравственнаго.

„Итакъ, цѣль наша — осуществить такую общину, въ которой человѣкъ, при содѣйствіи своихъ товарищей-единомышленниковъ, могъ бы итти къ нравственному усовершенствованію: каждый человѣкъ въ отдѣльности, а слѣдовательно и вся община вмѣстѣ. Только *этимъ* путемъ, путемъ воздѣйствія на самого человѣка можно измѣнить господствующій порядокъ вещей, т. е. ту *страшную рознь*, существующую между людьми

ту страшную дисгармонію и неравенство въ положеніи отдѣльныхъ людей, которыя мы видимъ вокругъ себя. Вы спросите, почему именно итти къ нравственному усовершенствованію? Почему не къ умственному, физическому или эстетическому?.. Конечно, каждая изъ этихъ сторонъ будетъ нами преслѣдоваться по мѣрѣ силъ и возможности, но вѣдь для каждой изъ нихъ существуютъ уже спеціальныя учрежденія и мѣропріятія въ цивилизованномъ мірѣ, единственно, что игнорируется и оставляется безъ вниманія,—это нравственное совершенствованіе человѣка, какъ члена общечеловѣческой семьи, этотъ лучшій вѣнецъ, лучшая характеристика человѣка! Но вѣдь и цѣли нравственнаго совершенствованія бываютъ различныя: „для спасенія своей души"—говорятъ монастырскіе анахореты; „для полученія духовной независимости и свободы"—говорятъ буддисты... Мы же считаемъ необходимымъ нравственно совершенствоваться человѣку для *другихъ же людей*, для *того*, чтобы примѣромъ своимъ вліять на всѣхъ, соприкасающихся съ нами, для *того*, чтобы развивать въ себѣ такія стороны и свойства, которыя могли бы лечь въ основаніе иной, болѣе гармоничной, братской жизни между людьми. Община наша должна быть такова, чтобы всякій нравственно удрученный, усталый и измученный въ житейской борьбѣ человѣкъ, могъ найти въ нашей средѣ пріютъ и отдыхъ; чтобы всякій юный, не установившійся еще человѣкъ, ищущій правды, любви и добра, могъ окрѣпнуть у насъ въ своихъ идеалахъ, пріобрѣсти необходимые нравственные устои на своемъ жизненномъ пути, чтобы каждый изъ насъ и всѣ мы вкупѣ могли оказывать плодотворное вліяніе и внѣ нашей общины въ смыслѣ осуществленія въ мірѣ идеи любви, правды, и гармоніи.

„Какими же средствами думаемъ мы приблизиться къ намѣченной нами цѣли?..

„Однимъ изъ *главныхъ* средствъ мы считаемъ *воспитаніе ребятъ*, ибо ничто не исключаетъ въ такой мѣрѣ эгоизма, ничто не заставляетъ такъ серьезно вдумываться въ свои поступки и слова, какъ присутствіе ребятъ и желаніе воздѣйсвовать на нихъ благотворнымъ образомъ. Этотъ вѣчноживой, вѣчно-юный элементъ, всегда съ свѣжими запросами къ жизни, не даетъ заснуть, застыть на одной точкѣ и ведетъ роковымъ образомъ—если только честно относиться къ этому дѣлу—къ личному нравственному усовершенствованію.

„Не менѣе важнымъ стимуломъ для нравственнаго усовершенствованія и вмѣстѣ съ тѣмъ могучимъ средствомъ должна служить *взаимная братская помощь* всѣхъ участниковъ общины въ дѣлѣ искренняго, любовнаго и правдиваго указанія на недостатки другого, буде кто захочетъ воспользоваться этой помощью.

„*Артельная организація собственности и труда*, какъ элементъ противоположный эгоистическимъ тенденціямъ является тоже прямымъ средствомъ къ осуществленію желаемаго. Чѣмъ болѣе общихъ, нераздѣльныхъ интересовъ у людей, тѣмъ болѣе они сплачиваются, тѣмъ тѣснѣе сходятся они между собой и въ *нравственномъ* отношеніи, и наоборотъ, чѣмъ болѣе обособлены интересы, тѣмъ болѣе розни и взаимнаго непониманія между людьми. Твердая, неуклонная коллективность одна только и можетъ дать намъ силу и средства осуществить наши идеалы, сдѣлать ихъ достояніемъ

массы. Единоличныя попытки пропадаютъ безслѣдно и не носятъ въ себѣ элементовъ дальнѣйшаго органическаго развитія и роста.

„*Личный трудъ* составляетъ краеугольный камень нашего общежитія. Наша производительность, въ силу прошлаго нашего воспитанія, крайне ограничена; отсюда уже вытекаетъ для насъ *необходимость* съ одной стороны *уменьшить до крайняго минимума наши матеріальныя потребности*, чтобы не жить на чужой счетъ и не заставлять другого нести свою тяготу. Необходимость такого ограниченія своихъ потребностей становится еще очевиднѣе, когда примемъ во вниманіе ту массу умственныхъ и нравственныхъ потребностей, которыя мы имѣемъ и удовлетвореніе которыхъ мы ставимъ на первомъ планѣ. Къ тому же чѣмъ менѣе матеріальныхъ потребностей у человѣка, тѣмъ болѣе онъ становится свободнымъ и независимымъ въ духовномъ отношеніи. Съ другой стороны мы считаемъ необходимымъ *увеличить до максимума* нашу производительность, дабы имѣть возможность оказывать посильную помощь и матеріальными средствами нуждающимся въ ней. Для этой цѣли мы считаемъ полезнымъ организовать даже спеціальныя работы, результатъ которыхъ исключительно предназначался бы на дѣло помощи и поддержки людямъ и учрежденіямъ, стоящимъ внѣ нашей общины.

„Мы ожидаемъ отъ общины содѣйствія каждому изъ членовъ ея въ умственномъ и эстетическомъ отношеніяхъ; средствами для достиженія этого являются устройство коллективныхъ чтеній, систематическое сообщеніе другъ другу прочитаннаго или даже правильное сообща изученіе какого-нибудь научнаго предмета; коллективныя занятія музыкой, пѣніемъ. Вообще мы считаемъ необходимымъ въ дѣлѣ организаціи даже всей внѣшней стороны нашей жизни *постоянно считаться съ тѣми нравственными результатами*, которыхъ мы желаемъ достигнуть и будемъ стремиться *систематически организовать весь строй нашей жизни сообразно съ желаемымъ*.

„*Мы безусловно противъ всякаго насилія*, противъ всякихъ искусственныхъ мѣръ, клонящихся къ измѣненію существующаго строя въ обществѣ; а тѣмъ болѣе мы и противъ всякаго насилія личности въ нашей средѣ. Наравнѣ со всѣмъ, что было сказано нами выше, мы считаемъ безусловно необходимымъ *ревниво оберегать индивидуальность каждаго члена нашей общины* и всячески избѣгать какого бы то *ни было посягательства* на нее. Намѣченными нами мѣрами въ этомъ отношеніи являются: отдѣльныя индивидуальныя помѣщенія, выдѣленіе, насколько это окажется возможнымъ, въ безотчетное личное пользованіе продуктовъ труда, падающаго на долю каждаго, возможно большее предоставленіе свободнаго времени на личныя потребности въ теченіе дня и недѣли, періодическія каникулы на болѣе продолжительное время и пр. Помимо всего этого мы считаемъ неприкосновенность индивидуальности каждаго изъ нашихъ товарищей-общинниковъ единственнымъ прочнымъ основаніемъ для послѣдовательнаго, цѣльнаго развитія и *органическаго* роста всякой общины. Въ этомъ же смыслѣ *мы отрицаемъ и всяческій абсолютизмъ*, всякое утвержденіе незыблемыхъ, абсолютныхъ положеній, какъ начала, кладущаго печать смерти на *самобытный органическій* ростъ сознанія. Постоянное стремленіе и забота развить въ себѣ сознаніе и *неустанно* держать его въ актив-

номъ состояніи одно только и можетъ спасти общество отъ тѣхъ роковыхъ заблужденій и недоразумѣній, къ которымъ оно пришло.

„Поэтому, въ концѣ концовъ, товарищемъ для насъ можетъ быть только тотъ, кто вполнѣ сознательно приметъ идеалы и тѣ цѣли, къ осуществленію которыхъ мы стремимся".

Теперь, резюмируя все вышесказанное, мы въ краткихъ и общихъ словахъ повторимъ тѣ принципы, которые положены въ основаніе идеи интеллигентной колоніи.

Человѣкъ долженъ стремиться къ нравственному усовершенствованію. Это усовершенствованіе можетъ совершаться только черезъ посредство общины (или колоніи). Средства, которыми располагаетъ колонія, слѣд.: воспитаніе дѣтей, взаимная братская помощь, артельная организація собственности и труда, охрана индивидуальности каждаго изъ членовъ. И только этимъ путемъ, т. е. путемъ воздѣйствія на нравственную сторону человѣка, можно направить духъ времени по другому руслу. Толко этимъ путемъ, сохраняющимъ нравственную и умственную жизнь отдѣльной личности, путемъ примѣра, можно воздѣйствовать на окружающую среду, работать на пользу народа и тѣмъ выплачивать тотъ неоплатный долгъ, который лежитъ на интеллигенціи.

Быть можетъ, читатепь можетъ теперь согласиться съ мыслью, что упрекъ, дѣлаемый обыкновенно колонистамъ, будто бы они *исключительно* заботятся о спасеніи собственной души не совсѣмъ основателенъ. Изъ только что приведенной рѣчи можно видѣть скорѣе заботы не о спасеніи души, а *собственной своей человѣческой личности*, придавленной окружающимъ міромъ и пригнетенной. Эта личность затерялась среди мощныхъ сооруженій торговли, промышленности и государственнаго начала, и попыткой ея вернуться къ самой себѣ, подчинить себѣ жизнь, а не только постоянно подчиняться ей—и является интеллигентная колонія.

Эту точку зрѣнія на предметъ мы могли бы подтвердить многочисленными иллюстраціями изъ находящагося въ нашихъ рукахъ матеріала. Но это бы заняло слишкомъ много мѣста. Ограничимся пока слѣдующей выдержкой изъ дневника одного колониста, въ которомъ подробно разсказывается исторія его „обращенія". Выдержка — необходимо замѣтить—относится еще къ періоду колебанія, т. е. до поступленія въ колонію. „Есмь я, или нѣтъ меня? спрашиваетъ онъ между прочимъ и продолжаетъ:—не думайте ради Бога, что я шучу; слишкомъ изстрадался я и измучился, чтобы шутить! Но стоитъ мнѣ только взять книгу, чтобы увидѣть какъ жизнь представляетъ изъ себя или безличную эволюцію, или движеніе экономическихъ противорѣчій, при которой или при которомъ мнѣ, лично мнѣ, нѣтъ никакого мѣста. Я беру газету и вижу, какъ постепенно изо дня въ день все больше накопляется „электричество" или что тамъ въ европейской атмосферѣ, какъ готовится разразиться буря, съ громомъ и молніей, одна стрѣлка которой быть можетъ упадетъ и на мою бѣдную голову. Что же я то такое передъ этой европейской атмосферой? Увы... а между тѣмъ отъ нея зависитъ и моя жизнь. Я работаю вотъ уже нѣсколько лѣтъ самъ за той же конторкой. Я пишу милліонныя цифры и чую вокругъ себя милліонные обороты, гнетущія мое воображеніе своею громадностью. Но меня нѣтъ въ этомъ дѣлѣ и быть

можетъ завтра же изобрѣтутъ машину, которая великолѣпно замѣнить меня. Впрочемъ, быть можетъ, машинка уже изобрѣтена и эта машинка я самъ. И эта дикая мысль начинаетъ представляться мнѣ все болѣе основательной. Вѣдь если на мое мѣсто посадить другого, чуть чуть грамотнаго человѣка, вложить ему перо въ руки и заставить писать милліонныя цыфры, то кто замѣтитъ эту перемѣну? Развѣ не будутъ по прежнему стучать колеса нашихъ фабрикъ, развѣ не будетъ по прежнему жить и дышать и волноваться, переживать кризисы, пріобрѣтать деньги—наше „грандіозное предпріятіе"? У него есть своя физіономія, своя необходимая внутренняя связь съ міромъ... у меня—*человѣка*—нѣтъ ни своей физіономіи, ни необходимой внутренней связи ни съ чѣмъ!.. Есмь я, или нѣтъ меня? Просто удивительно съ какой жестокостью и какой послѣдовательностью жизнь ежеминутно внушаетъ мнѣ мысль о несомнѣнномъ моемъ ничтожествѣ и какъ величественно третируетъ она меня. Быть можетъ, я боленъ — очень можетъ быть, что я боленъ или, по крайней мѣрѣ, болѣзненно настроенъ, но мнѣ стоитъ только пройтись по столицѣ, чтобы убѣдиться въ собственномъ личномъ небытіи. Не про то говорю я, что не для меня эти милліоны, разбросанные на окнахъ лавокъ и магазиновъ, не для меня эти громадные дома и чудныя лошади. Богъ съ ними совсѣмъ: не нужны мнѣ они. Про то я говорю, что, проходя по улицамъ, встрѣчая суетливо движущихся, безпокойно торопливыхъ прохожихъ, я чую какую-то удивительно большую, удивительно—быть можетъ—интересную даже жизнь, не соблаговолившую удѣлить мнѣ ни одного квадратнаго фута. Не ненависть въ эти минуты поднимается въ сердцѣ моемъ, а тоска и пригнетенность. И мнѣ становится страшно. И кажется мнѣ, что громадная торжествующая колесница движется мнѣ на встрѣчу, еще минута—и она перерѣжетъ меня своими колесами"...

Повидимому, эта мысль о личномъ небытіи очень тревожила автора дневника, потому то онъ постоянно возвращался къ ней. „Меня нѣтъ и какое-то стыдливое ощущеніе постоянно овладѣваетъ мною. Надо ѣсть, пить, спать, ежеминутно надо заботиться о себѣ, но вѣдь, чтобы исполнять все это съ должнымъ спокойствіемъ и обходительностью, надо имѣть какое-нибудь внутренне сознаваемое право на жизнь. Но это право можетъ быть дано лишь работой, а у меня нѣтъ работы, а если есть, то такая, которая *внѣ* меня, которой я нисколько, ни на іоту не уважаю. И мнѣ совѣстно ѣсть, совѣстно пить, жить совѣстно. Господи, научи меня, что дѣлать мнѣ!"

Тѣ же самыя муки и томленія постоянно встрѣчаемъ мы и на страницахъ дневника, отмѣченныхъ религіознымъ настроеніемъ. Такъ, напримѣръ, мы читаемъ: „Безсмертіе души—высочайшее выраженіе личности".

Свой переходъ въ интеллигентную колонію авторъ дневника объясняетъ такимъ образомъ: „Колонія не цѣль въ самой себѣ и такою цѣлью быть не можетъ. Но я читалъ гдѣ-то, что прежде существовалъ чудный обычай предаваться посту и молитвѣ передъ важнымъ какимъ-нибудь начинаніемъ. Надо сосредоточиться, надо оцѣнить свои силы и способности, надо взвѣсить ихъ какъ можно тщательнѣе, и тогда уже браться за дѣло. Я хочу взяться за дѣло, за великое дѣло служенія народу, но я не знаю себя и боюсь приблизиться къ мужику, чтобы не

испортить его. Быть можетъ я слишкомъ дряблъ и ничтоженъ и не смѣю мечтать даже о томъ, чтобы сдѣлать кого-нибудь лучше, чѣмъ онъ есть. И я пойду въ колонію. Я знаю, что тамъ товарищи помогутъ мнѣ опредѣлиться, я знаю, что тамъ я увижу, есть ли во мнѣ сила воли, чтобы переносить матеріальныя лишенія, тяжелый физическія трудъ, есть ли во мнѣ любовь, чтобы поддерживать и охранять общежитіе. Мнѣ придется отказаться отъ комфорта и праздности, отъ легкаго самолюбія, отъ паскудныхъ привычекъ, созданныхъ городскою жизнью. Но я радостно смотрю впередъ. Пусть тяжелы будутъ дни испытанія, крупны капли пота... Мнѣ надо знать, есть ли во мнѣ *воля* и *любовь*. Безъ нихъ нѣтъ жизни"!..

Исторія одной колоніи.

Переходимъ теперь къ исторіи одной интеллигентной колоніи. Называть ее по имени и точно опредѣлять мѣсто ея нахожденія (она существуетъ поднесь) мы не имѣемъ ни малѣйшаго права, не имѣемъ мы одинаково права вдаваться въ нѣкоторыя интимныя подробности, о которыхъ сами колонисты ничего не разсказали въ своихъ отчетахъ. Но за исключеніемъ этого, въ распоряженіи нашемъ имѣется матеріалъ довольно полный. Только вотъ какая характерная черта этого матеріала. Колонисты, хотя бы интеллигентные, все же прежде всего хозяева. Они и землю пашутъ, и скотъ разводятъ, и вообще работаютъ по хозяйственной части. Мало того, хозяйство въ сущности лежитъ въ основаніи ихъ жизни, такъ какъ безъ него, т. е. безъ труда, никакого обновленія жизни проистечь не можетъ. Въ идеалѣ хозяйство очевидно должно быть хорошо. Между тѣмъ отчеты, которыми мы пользовались, удивительно бѣдны данными на счетъ хозяйственной жизни. Тамъ, напримѣръ, есть такія мѣста: *„годъ такой, число такое-то.* Разсуждали о томъ, что такое нравственность" и затѣмъ слѣдуютъ цѣлыя страницы, посвященныя изложенію взглядовъ различныхъ колонистовъ на эту интересную тему. Но относительно хозяйства собственно мы встрѣчаемъ лишь утвержденіе: „хозяйство идетъ плохо"; „хлѣбъ выгорѣлъ"; „дожди размыли канаву" и т. д.—т. е. отдѣльныя краткія фразы. Общее впечатлѣніе, получаемое отъ чтенія отчетовъ, таково, что хозяйство собственно ровно никого не интересовало, а хроническій дефицитъ не велъ ни къ какимъ мѣропріятіямъ. Всѣ интересы сосредоточились лишь на „идейной жизни", „дѣятельности духа", разсужденіяхъ на тему о томъ, что нравственно и безнравственно, мечтаніяхъ о новыхъ началахъ общежитія. Ясно, какъ должно было идти дѣло.

Но все же въ этой безхозяйственности не главная причина неудачи колонистовъ. Тяжелымъ опытомъ пришлось имъ убѣдиться какъ справедливы слова, сказанныя однимъ изъ нихъ при разставаніи съ товарищами: „Братья, добейтесь въ своей маленькой средѣ полной дружбы и единства, и тогда ваше дѣло сдѣлано".

Будемъ, однако, послѣдовательны.

Одинъ изъ первыхъ основателей колоніи, человѣкъ 60-хъ годовъ,

по выходѣ изъ университета, нѣкоторое время принималъ участіе въ мастерской, организованной на артельныхъ началахъ. Однако, дѣла мастерской, вслѣдствіе внутреннихъ неурядицъ, скоро разстроились, и онъ принужденъ былъ переѣхать въ У—скую губернію, гдѣ основывается община въ числѣ 6 человѣкъ, частью изъ старыхъ участниковъ мастерской, частью изъ новыхъ (3 мужч. и 3 женщ.). Они арендуютъ землю, но съ самаго начала обманутые относительно земли, терпятъ неудачу и рѣшаются переселиться въ П—скую губернію. На первыхъ порахъ имъ приходилось бороться не только съ внѣшними, неблагопріятными для нихъ, условіями, но приходилось еше достигать внутренняго единства, сплоченія и какъ они называли „ассимиляціи". Приспособленіе къ внѣшнимъ условіямъ представляло весьма трудную и даже невозможную задачу. П—ская губернія по отношенію къ климатическимъ и естественнымъ условіямъ была болѣе удобнымъ пунктомъ для колонистовъ. Въ перемѣнѣ мѣста, изъ одной губерніи въ другую, играло важную роль постоянное тяготѣніе къ югу, гдѣ природа благодарнѣе, гдѣ работа интеллигента, при лучшихъ условіяхъ физическаго труда, оказывалась болѣе осмысленною. Но за то иныя причины (какъ, напримѣръ, высокая арендная плата, характеръ окружающей жизни, извѣстныхъ устоевъ, установившихся прочно и въ то же время мѣшающихъ предпринятому дѣлу, развитіе кулачества, полицейскія преслѣдованія), все это вмѣстѣ являлось такимъ тормазомъ, что община рѣшила двинуться еще болѣе на югъ. Были посланы ходоки, которыя нашли мѣсто, и мысль, смутно бродившая еще въ бытность ихъ въ У—ской губерніи—и устроиться на Кавказѣ, послѣ многихъ мытарствъ осуществилась. Къ этому времени община увеличилась еще двумя. Одинъ изъ колонистовъ умеръ.

Мѣсто, гдѣ поселилась интеллигентная земледѣльческая колонія, было выбрано на берегу Чернаго моря. Это была возвышенность, постепенно понижающаяся къ морю. Протекающія рѣки образуютъ долину, въ которой расположены пашни и сѣнокосные луга.

Первымъ дѣломъ колонисты принялись за устройство своихъ жилищъ, расположивши ихъ на возвышенности, въ предупрежденіе лихорадокъ. Потомъ взялись за созданіе своего хозяйства и приведеніе его въ порядокъ. Матеріальныя ихъ средства были очень ограничены. Начались тяжелые дни, такъ какъ колоніи пришлось добывать самое необходимое для обезпеченія жизни, приходилось урѣзывать свои потребности до minimum'a. Тяжело было приспособляться къ незнакомымъ климатическимъ условіямъ, разрабатывать первобытную, дѣвственную почву; работы было очень много, надъ распредѣленіемъ ея задумываться не приходилось. Каждый видѣлъ самъ, что надо дѣлать... Но всѣ невзгоды колонисты перенесли, крѣпкіе своимъ внутреннимъ духомъ. Труды ихъ были вознаграждены,—они добыли теперь себѣ самое главное для существованія и уже въ недалекомъ будущемъ, думали они видѣть переходъ отъ „производительно-потребительной общины къ производительно-накопляющей". Начали вводить культуру табака и садить виноградники, увеличивать постройки и приспособлять ихъ къ новымъ потребностямъ. Все это дѣлалось своими собственными руками, такъ какъ наемный и батрачный трудъ былъ отвергнутъ.

Рабочій день распредѣлялся приблизительно такъ: съ восходомъ солнца (лѣтомъ часовъ съ 4-хъ) каждый принимался за работу: мужчины въ полѣ, женщины въ домѣ. Въ восемь часовъ первый отдыхъ за завтракомъ, состоявшимъ изъ чая или ячменнаго кофе. Въ 12 часовъ обѣдъ. Пища состояла изъ овощей, молочныхъ и мучныхъ продуктовъ, яицъ, рыбы, но мяса не употребляли и то только потому, что никто изъ колонистовъ не оказался способнымъ взять на себя обязанность бить скотъ, обращаться же къ постороннимъ „не позволяли принципы колоніи". Впрочемъ, отсутствіе мясной пищи не оказывало вреднаго вліянія, напротивъ всѣ чувствовали себя хорошо, и пріѣзжавшіе люди, часто изнуренные, въ продолженіи 2—3 мѣсяцевъ становились совершенно неузнаваемыми. Однако регламентаціи на счетъ потребленія мясной пищи не было, и если бы кто пожелалъ нарушить это правило, нашелъ бы возможнымъ покупать мясо, ему никто бы не сталъ въ этомъ препятствовать. Сонъ послѣ обѣда лѣтомъ являлся необходимымъ во время страдныхъ работъ; но зимой этой потребности не существовало.

Вечеромъ, часовъ въ 5 — 6, полдничали въ полѣ, а затѣмъ работали до конца дня, т. е. до заката солнца. Таковъ былъ обыкновенный порядокъ лѣтнихъ работъ.

Надо замѣтить, что физическій трудъ при мѣстныхъ климатическихъ условіяхъ не былъ очень обременителенъ вообще, а стало быть и для интеллигентнаго человѣка. Полевыя работы, которыя въ средней полосѣ Россіи должны заканчиваться въ три мѣсяца, въ данной мѣстности растягиваются мѣсяцевъ на шесть и болѣе, стало быть времени вдвое болѣе и трудъ *вдвое легче*. Мужчины пахали, косили, жали, жали и женщины; онѣ участвовали и въ уборкѣ сѣна. Всѣ домашнія работы лежали на послѣднихъ.

Во время лѣтнихъ работъ нельзя было и думать о какихъ-либо умственныхъ занятіяхъ, но за то зимой свободное время посвящалось чтенію и музыкѣ, такъ какъ у колонистовъ были довольно цѣнная библіотека и свой рояль.

Одной изъ главныхъ заботъ колоніи являлась забота о воспитаніи дѣтей. Воспитаніе велось на тѣхъ принципахъ, которые приняла колонія, т. е. чтобы въ дѣтяхъ воспитать людей, у которыхъ слово не отдѣлялось бы отъ дѣла. Кромѣ умственнаго ихъ развитія, что было поставлено на первомъ планѣ, рѣшено было съ возрастомъ вводить ихъ постепенно въ тѣ или другія обязанности по колоніи. Завели между прочимъ дневникъ, куда стали записывать все, касающееся воспитанія дѣтей. Колонисты рѣшили въ недалекомъ будущемъ открыть школу для сосѣднихъ крестьянъ, но дѣтей своихъ въ эту школу рѣшили не пускать, „чтобы не испортились"

Какъ извѣстно, въ П—ской губ. присоединились къ интеллигентной колоніи двое молодыхъ людей. Одинъ изъ нихъ очень скоро освоился съ основами внутренней жизни колоніи, вошелъ въ нее вполнѣ и „жилъ общей жизнью", а другой, наоборотъ, также вполнѣ симпатизировалъ членамъ общины, самъ, въ свою очередь являлся пріятнымъ и желательнымъ членомъ для общины, но онъ не могъ „проникнуться принципами общины и чувствовалъ въ себѣ отсутствіе

воли" [1]). Община, конечно, страдала отъ этого, и вотъ на общемъ совѣтѣ рѣшили полюбовно, что пусть этотъ членъ уѣдетъ изъ общины и на свободѣ разсудитъ, не находясь подъ вліяніемъ личныхъ симпатій, что ему лучше выбрать. Дѣйствительно, этотъ членъ уѣхалъ, поступилъ гдѣ то на службу и, пробывъ полгода, тутъ только оцѣнилъ общину и вернувшись сдѣлался вполнѣ членомъ ея.

Роль колоніи въ окружающей средѣ (крестьянствѣ) исключительно была культурная, о политической же роли никто и не думалъ. По мнѣнію колонистовъ, какъ мы уже видѣли ранѣе, эта роль главнымъ образомъ сводилась на пропаганду примѣромъ и дѣломъ новыхъ формъ сельско-хозяйственнаго труда, нравственныхъ правилъ. Общеніе съ крестьянами было постоянное; послѣдніе смотрѣли на колонистовъ, какъ на общинниковъ. Колонисты принимали участіе въ церковныхъ дѣлахъ, присутствовали на сходѣ.

Для мѣстнаго населенія предполагалось устроить постоянную больничку, аптеку, разводить лѣкарственныя травы и т. д. Но на первыхъ порахъ это были однѣ только предположенія, да иначе и быть не могло: какъ духовныя, такъ и матеріальныя силы колоніи были слабы, чтобы расширять ея дѣятельность. Такъ обстояло дѣло до 87 года, обстояло, какъ видитъ самъ читатель, скромно и тихо, скорѣе стоя на одномъ и томъ же мѣстѣ, чѣмъ двигаясь впередъ. Колонія за все это время ничего особенно оригинальнаго изъ себя не представляла. Ее нельзя и разсматривать иначе, какъ простую рабочую артель интеллигентныхъ людей, такъ сказать свободныхъ хлѣбопашцевъ, освободившихся, по ихъ собственному удачному выраженію, отъ крѣпостной зависимости капиталу. Хозяйственныя неудачи, постоянныя передвиженія съ мѣста на мѣсто, необходимость приспособляться къ новымъ условіямъ жизни, новому климату, особенное вниманіе со стороны полиціи, администраціи и проч., самая малочисленность членовъ, наконецъ, не позволяли разыграться мечтаніямъ, и артель оставалась артелью, болѣе строгой, чѣмъ у крестьянъ, но неособенно характерной.

Любопытно отмѣтить, что, несмотря на работу въ потѣ лица и всяческое стараніе, дефицитъ являлся аккуратно каждый годъ. Колонія получала субсидію и, по словамъ отчета, „всѣхъ насъ это мучило".

Наступилъ однако 1887 годъ и съ нимъ повѣяло новою жизнью. Ему, какъ это видно изъ „лѣтописей", предшествовала революція. Точныхъ данныхъ о ней не сохранилось, но вотъ нѣсколько строкъ, въ боль-

---

[1]) Любопытно было бы опредѣлить, въ чемъ проявлялось это „отсутствіе воли"? Къ сожалѣнію, отчетъ скромно умалчиваетъ объ этомъ, какъ и о многихъ другихъ очень важныхъ вещахъ. По всей вѣроятности въ „симпатичномъ молодомъ человѣкѣ" слишкомъ была вкоренена привычка къ интеллигентному времяпрепровожденію — т. е. къ плеванію въ потолокъ. А можетъ вліяло и другое что. Мы имѣемъ полное основаніе утверждать, что скучища въ колоніи царила невообразимая. Кромѣ рояля, книгъ и бесѣдъ не полагалось никакихъ развлеченій. Но рояль хороша, когда на ней хорошо играютъ, книги были по преимуществу серьезнаго „сельскохозяйственнаго содержанія", и темы для собесѣдованія очень скоро выдыхаются, разъ въ собесѣдованіяхъ принимаютъ участіе все тѣ же лица.

шей или меньшей степени объясняющихъ дѣло. „Въ это время далеко еще не всѣ колонисты имѣли опредѣленный, твердо установленный взглядъ на задачи жизни; у нѣкоторыхъ идея интеллигентной колоніи только что созрѣвала, но по мѣрѣ того, какъ она выяснялась, они уже не хотѣли мириться съ существующей организаціей. Имъ не нравилось, что ихъ хозяйство идетъ по обыкновенному пути всѣхъ остальныхъ хозяйствъ, что самая ихъ жизнь не задается идеальными цѣлями, а довольствуется лишь обиходными интересами. Открыто и прямо заявили они объ этомъ, а также о твердой своей рѣшимости начать новую, болѣе строгую и принципіальную жизнь. Отсюда расколъ. Одушевленныхъ высокими стремленіями оказалось только четыре человѣка. Всѣ остальные были уже утомлены упорной борьбой изъ-за куска хлѣба, прежній жаръ ихъ остылъ и увидѣвъ передъ собой новую, еще болѣе трудную работу, новыя, еще менѣе вѣрныя усилія—они предпочли совершенно удалиться“.

Распаденіе колоніи произошло, повидимому, безъ передрягъ и лишняго озлобленія. Вотъ и все, что мы знаемъ о немъ, если не считать маленькой подробности, взятой нами изъ письма одного изъ интеллигентныхъ колонистовъ, письма, относящагося къ этому времени: „вы знаете — пишетъ онъ, что у насъ „распаденіе“. Почему? Сказать трудно. У П—ыхъ (мужъ и жена) всѣ другія соображенія пересилены вдругъ нахлынувшимъ семейнымъ эгоизмомъ. Родился второй ребенокъ, ну и пошли опасенія. Какъ, молъ, это возможно держать младенцевъ внѣ гражданскаго общества, не снабдить ихъ должными документами, потомъ дипломами, воспитать чуть ли не въ коммунистическихъ началахъ и проч. тому подобное. Очевидное дѣло, по родительскому малодушію, стали загадывать чуть не за 20 лѣтъ впередъ, а такъ какъ тамъ все неизвѣстно, то значитъ и страшно. Поцѣловались, поплакали, ушли. Къ тому же и реформы у насъ готовятся по части болѣе строгой жизни“.

Какъ бы то ни было, къ октябрю 1886 г. осталось только четыре человѣка. Эти четверо составили изъ себя ядро будущей колоніи, которую предполагалось открыть уже на новыхъ основаніяхъ. Что же это за новыя основанія — читатель уже знаетъ по первой главѣ настоящей статьи. Къ сказанному тамъ необходимо прибавить *во-первыхъ*, стремленіе къ безусловному и полному духовному коммунизму, а *во-вторыхъ*, аскетическую тенденцію. По этому поводу въ отчетѣ (очевидно написанномъ однимъ изъ четырехъ) мы читаемъ: „По нашему искреннему убѣжденію, возможно полное ограниченіе матеріальныхъ потребностей не только желательно, но и необходимо для нашего нравственнаго благополучія. Евангеліе ясно высказывается за величайшую воздержанность, ибо у Вдохновителя его не было ничего общаго съ Мамономъ. Служащіе же Мамону *Ему* служить не могутъ. Если теперь мы правильно смотримъ на вещи, то для насъ очевидно, что не можетъ быть для человѣка высшаго идеала, какъ пріобрѣтеніе нравственной свободы. Но какая свобода возможна для того, кто пріучилъ свой вкусъ къ прихотливсму кушанью, свой взглядъ — къ разнообразію цвѣтовъ и красокъ, свой умъ—къ диллетантизму и легкомысленному упражненію въ софизмахъ? Въ наше время (а вѣроятно и всегда) такой человѣкъ вѣчно будетъ рабомъ своихъ похотей и прихотей, значитъ и рабомъ *всякой жизненной силы*, отнюдь не жрецомъ своей вѣры.

Онъ всегда будетъ малодушно жаловаться на жизнь, разъ не найдетъ въ ней достаточныхъ развлеченій, достаточной пищи для своего диллетантизма. Мы же думаемъ, что жизнь—серьезная, большая вещь, послѣ которой у всякаго—и слабаго и сильнаго—руки и ноги будутъ въ крови, и *должны быть*. Поэтому мы требуемъ полнаго воздержанія отъ всякаго излишества и возможное ограниченіе матеріальныхъ потребностей. Мы хотимъ также, чтобы и дѣти выростали въ привычкахъ правды и воздержанія, и капризъ ребенка, не вызванный болѣзнью — грѣхъ родителей его".

И такъ, теоретически вопросъ былъ рѣшенъ. Предполагалось учредить общежитіе, преслѣдующее опредѣленную нравственную цѣль. Практическая жизнь, однако, оказалась гораздо болѣе требовательной и далеко не такой податливой, какъ логика идей.

Старые члены—это ядро колоніи, сдѣлали прежде всего ту громадную ошибку, что, увлекшись мечтаніями о новой организаціи, пригласили къ себѣ нѣсколько человѣкъ въ „товарищи и братья", не справившись хорошенько, что это были за люди. Отчетъ, вообще очень скупой на отрицательныя характеристики, говоритъ о нихъ слѣдующее: „подборъ былъ не особенно тщательный. Большинство были люди изъ различныхъ общественныхъ сферъ, съ весьма неясными, иногда впрочемъ весьма хорошими стремленіями; были и другихъ свойствъ люди". Что это за другихъ свойствъ люди—отчетъ скромно умалчиваетъ, но одинъ изъ колонистовъ въ частномъ письмѣ выражается подробнѣе: Представьте себѣ, пишетъ онъ,—мы совершенно недоумѣваемъ, что дѣлать съ новыми людьми. Съ ними постоянно случаются то трагическіе, то комическіе эпизоды. Между прочимъ, явился къ намъ какой-то отставной военный писарь, и, такъ какъ мы никому не отказываемъ, то не отказали и ему, полагая, что совершенствованіе доступно каждому. Прошелъ однако день и этотъ самый писарь раздобылъ водки, напился пьянъ, потребовалъ бумаги и перо и принялся строчить доносъ, обвиняя насъ почти въ чернокнижіи и предлагая высшему начальству — насъ, колонистовъ, немедленно сослать на каторгу, а его, писаря, наградить за правильныя чувства... Но этотъ писарь пустяки. Что посовѣтуете дѣлать съ гг. диллетантами? Удивительный народъ,—милый, пріятный, честный, способный,—и рѣшительно никуда не годный. И жаль ихъ, и ничего съ ними не подѣлаешь. Никакъ, вѣдь, не могу понять, чего собственно ради наѣзжаютъ они къ намъ, а наѣзжаютъ. Съ другой стороны имъ дѣйствительно какъ будто хочется новую жизнь начать, съ другой—очевидно, что главный мотивъ ихъ появленія — это утомленіе отъ прежней жизни, жажда разнообразія хоть какого-нибудь и любопытство, ужасное, возмутительное, совсѣмъ корреспондендентское. Первые дни для нихъ на новомъ мѣстѣ — это постоянные восторги, постоянное сниманіе сливокъ. Ходятъ повсюду; на рѣчку любуются, подпрыгиваютъ и все реформаторскіе проекты сочиняютъ. Только отъ нихъ и слышишь: „фаланстеръ"!!! „религіозную коммуну"!!! „сенъ-симонистскую общину"!!! „полный аскетизмъ"!! А! пройдетъ мѣсяцъ-два и опять ихъ тянетъ туда—туда, въ эту туманную даль, за новыми впечатлѣніями, за старыми грѣхами... Есть, наконецъ, и совсѣмъ нестоющіе люди".

Понятно, что при такомъ разношерстномъ составѣ не только не могло быть и рѣчи о полной гармоніи и солидарности, но даже не было какихъ-либо общихъ стремленій въ умственной жизни. Четыре вышеупомянутые старыхъ члена, не сжившись порядкомъ съ остальными, „предполагая въ нихъ теченіе интеллектуальной жизни тождественнымъ, цѣли— одинаково созданными", стали поднимать и приводить въ жизнь такіе вопросы, которые были не подъ силу остальнымъ: напримѣръ, они стали требовать, ради не только физическаго, но и нравственнаго значенія,— ограниченія до минимума матеріальныхъ потребностей: или, напримѣръ, необходимости обсужденія общихъ дѣлъ и собраній для общихъ чтеній [1]); или, наконецъ, необходимости вести строгую запись расходовъ. Поднялись споры и дебаты. Пошли неудовольствія, ссоры, явныя и тайныя, послышались обвиненія въ насиліи.

Такой внутренній безпорядокъ естественно удручающимъ образомъ дѣйствовалъ на всѣхъ, а при невыработанности формъ общежитія, при полномъ разстройствѣ хозяйства онъ дѣлался невыносимымъ. „Только горячая вѣра и фанатическая любовь къ дѣлу, говорилъ одинъ изъ старыхъ членовъ,—помогли намъ не опустить руки при такомъ положеніи вещей, какое было тогда. Но, полагая всю силу въ объединеніи, мы зорко вникали въ душу каждаго, часто скорѣе чутьемъ, чѣмъ сознаніемъ понимали мы предложенія другого и съ безграничнымъ довѣріемъ поддерживали другъ друга!"

Между всѣми членами, за исключеніемъ вышеупомянутыхъ четырехъ, не было ни умственной, ни нравственной связи. Всякое начинаніе сопровождалось невниманіемъ или насмѣшкой, на общія бесѣды приходилось собирать новыхъ членовъ съ трудомъ; самыя бесѣды шли какъ-то формально, нѣкоторые члены считались съ другими своими работами, бывали попытки партіозности, даже, говоритъ отчетъ, „нашептываніе и сплетня имѣли мѣсто".

Эти событія въ жизни колоніи убѣдили членовъ, что необходимъ самый тщательный выборъ лицъ съ цѣлями, вкусами и наклонностями, подходящими къ данной общинѣ, необходимы тактичность и терпѣніе, чтобы постепенно, при посредствѣ самой жизни, вводить въ сознаніе желаемыя истины. Съ другой стороны, эти событія выдѣлили неподходящихъ людей. Одинъ изъ самыхъ вредныхъ для колоніи вскорѣ уѣхалъ, за нимъ послѣдовали и другіе.

Но во избѣжаніе повторенія подобныхъ печальныхъ событій и для того, чтобы цѣли, желанія и поступки колонистовъ получили желаемую окраску, было коллективно составлено изложеніе основныхъ положеній къ новому 1887 году и прочитано на новогоднемъ собраніи. Въ чемъ заключались эти положенія, намъ уже извѣстно, такъ какъ они цѣликомъ вошли въ ту главу, гдѣ мы говорили объ идеѣ интеллигентной колоніи.

Когда, такимъ образомъ, теоретически было выяснено всѣми основныя положенія общинной жизни, а „лишніе" люди удалились, начали шагъ за шагомъ проводить въ жизнь эти основные принципы и въ нѣкоторыхъ случаяхъ стала проявляться общность интересовъ.

---

[1]) Что же это были за члены, которые не доросли даже и до этого?!

„Начала проявляться солидарность другъ за друга, говоритъ отчетъ 1887 года, — когда всякій дурной поступокъ другого вызываетъ горечь, стыдъ; всякій хорошій—радость, подъемъ духа, словомъ началъ образовываться сплоченный, общественный организмъ. Полное довѣріе другъ къ другу, заботливость о каждомъ, отсутствіе какой бы то ни было попытки считаться работой съ другимъ, постоянно возрастающаяся потребность сближенія другъ съ другомъ въ общихъ бесѣдахъ, отсутствіе мелочности и грошоваго самолюбія—вотъ залогъ прочности нашей общины". Въ такихъ яркихъ и привлекательныхъ краскахъ описываетъ отчетъ то настроеніе, которое господствовало въ колоніи въ 1887 году.

Но, спроситъ любознательный и практически настроенный читатель, какъ шло въ это время хозяйство колоніи? Скромный на счетъ отрицательныхъ характеристикъ, отчетъ скроменъ и въ данномъ пунктѣ. Несомнѣнно только одно, что въ общемъ хозяйство шло не весьма успѣшно. Съ 10 октября 1887 года по 1 декабря 1888 года, продукты, произведенные самой общиной, оцѣнивались въ 449 р. 32 к. Куплено было продуктовъ на 535 р. 51 к. Всего на 19 потребителей 984 р. 83 к., а дефициту 535 р. 51 к., т. е. больше половины!

Всѣхъ участниковъ общины отъ начала ея существованія было 15. Изъ нихъ, какъ я уже говорилъ ранѣе, одинъ умеръ, трое, оказавшись неподходящими, послѣ описаннаго мною разлада, уѣхали; одинъ уѣхалъ на время. Всего осталось 10 человѣкъ. Кромѣ взрослыхъ колонія еще считала одного подростка и пятерыхъ дѣтей (шестой умеръ).

Распредѣленіе и ходъ работъ оставался тотъ же, какой былъ описанъ ранѣе. Порядокъ же завелся скорѣе у женщинъ, которыя назначали ежедневно дежурство. Колонисты жили въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ, которыя нѣсколько разъ предлагалось улучшить, и было кое что сдѣлано въ этомъ отношеніи. Предлагалось устроить совершенно особое помѣщеніе для временно пріѣзжающихъ и практикантовъ, а тѣхъ, которые готовились вступить въ общину, для выработки способности къ общежитію помѣщять въ общемъ зданіи; но все это не было исполнено за недостаткомъ средствъ. На первыхъ порахъ по основаніи общины было предложено однимъ изъ членовъ въ память этого событія посадить каждому по дереву и ежегодно праздновать этотъ день, пріурочивши его къ Пасхѣ. Но это предложеніе было встрѣчено враждебно и поднято на смѣхъ. Рѣшено было каждый выдающійся праздникъ освящать чтеніемъ и бесѣдой въ память выдающагося дѣятеля. Передъ Пасхой, на Страстной недѣлѣ, читалось Евангеліе и въ день усѣкновенія главы Іоанна Крестителя читали Иродіаду Флобера. „Впечатлѣніе получилось въ оба раза хорошее". Еще въ 1886 г. рѣшили собираться разъ въ недѣлю, но это рѣшеніе было осуществлено только въ 1887 г., когда чтенія и бесѣды происходили аккуратно, и все, происходившее на этихъ собраніяхъ, заносили въ протоколы. Кромѣ того, община установила два праздника; 1-го октября—экономическій праздникъ. Къ этому дню составлялся отчетъ экономическаго положенія колоніи за весь годъ; и второй праздникъ 1-го января, къ которому составляли отчетъ о духовной жизни. Рядомъ съ этими общими праздниками установили частныя празднованія рожденія каждаго члена, на которомъ читалась критическая совмѣстная оцѣнка его, записанная въ отдѣльный журналъ

для руководства какъ самому члену, такъ и обществу въ духовномъ развитіи и ростѣ каждаго. Ко дню рожденія каждаго изъ дѣтей также подготовлялась отчетность за весь годъ. Было рѣшено эти праздники не отличать особенной ѣдой и даже, если возможно, совсѣмъ не готовить пищу въ тотъ день, а готовить наканунѣ, чтобы праздничное настроеніе главнымъ образомъ сосредоточить на духовныхъ интересахъ, чтеніи, музыкѣ и бесѣдахъ, но это было исполнено только всего два раза. Вообще же относительно пищи было постановлено ограниченіе до минимума потребности. Это рѣшеніе, предложенное вначалѣ, вызвало, какъ извѣстно, большое неудовольствіе и даже ссору, но потомъ было принято. „Вначалѣ, говоритъ отчетъ, когда присутствовалъ (въ колоніи) элементъ, обладающій болѣе животными свойствами, слишкомъ много говорили объ ѣдѣ; съ удаленіемъ же этого элемента разговоръ объ ѣдѣ прекратился и только тогда имѣлъ мѣсто, когда рѣчь шла о пищѣ въ экономическомъ или гигіеническомъ отношеніяхъ". Вѣроятно, подобное замѣчаніе посылалось по адресу тѣхъ трехъ, которые оказались неподходящими подъ условія жизни колоніи.

Изъ фактовъ, характеризующихъ отношеніе колоніи къ „внѣшнему міру" (за исключеніемъ вопроса о гостяхъ и вообще о вновь пріѣзжихъ, о которомъ будетъ сказано ниже) можно привести слѣдующее постановленіе, недурно характеризующіе колонистовъ, именно, было рѣшено не заводить никакихъ сношеній съ внѣшнимъ міромъ до тѣхъ поръ, пока колонія не станетъ прочно на ноги. Хотѣли еще предпринять какую-либо общественную работу и результатъ этой работы отдавать во внѣшній міръ, но и это не было приведено въ исполненіе. Предложено же это было дѣлать *для удовлетворенія нравственнаго чувства.*

На нравственное усовершенствованіе членовъ колоніи направлены были всѣ усилія; большинство мѣръ, а также и вопросовъ относится къ этому. Предложена была коллективная публичная критика личности; это предложеніе, сначала вызвавшее къ себѣ несочувствіе, было впослѣдствіи принято и практиковалось не разъ впродолженіи года. Было предложено проредактировать слова пѣсенъ и несоотвѣтственныя выкинуть, но, однако, подобная редакція не состоялась. Хотя и было предложено уничтожить употребленіе водки и табаку, но водку оставили по причинѣ частыхъ лихорадокъ, а съ употребленіемъ табаку не могли, да и не хотѣли много бороться.

Замѣчалось небрежное отношеніе къ принципу личнаго труда (были случаи найма на работы постороннихъ) и даже былъ сдучай удержанія собственности въ своихъ рукахъ. Рѣшено было предоставлять членамъ вакаціонное время, но такъ какъ работы было очень много, то лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ нѣкоторые освобождались отъ нея.

Что же касается умственной жизни, то съ этой стороны колонисты страдали болѣе всего. На собранія для общихъ чтеній собирались вяло, неаккуратно и даже неохотно, на что между прочимъ жалуется годовой отчетъ. „Причина этого — читаемъ мы тамъ,—съ одной стороны лежитъ въ неравномѣрной научной подготовкѣ членовъ, въ непривычкѣ большинства изъ нихъ къ сомостоятельному мышленію, въ нѣкоторой лѣности

мысли; съ другой—въ незнакомстѣ съ высокимъ наслажденіемъ саморазвитія; но главная причина заключается въ недостаточно проникнутомъ и усвоенномъ сознаніи" (?). Отчетъ выражался кратко и не складно. Какъ понимать „проникнутое и усвоенное сознаніе"? Это слова безъ смысла и смыслъ ихъ можно уловить лишь на основаніи общихъ соображеній. Дѣло въ томъ, что, какъ знаетъ читатель, „центральные четверо" стремятся къ полной духовности. Они хотятъ поборотъ во чтобы то ни стало какъ въ самихъ себѣ, такъ и въ своихъ товарищахъ „унизительную зависимость духа отъ матеріальныхъ условій жизни". Поэтому „проникнутое и усвоенное сознаніе" обозначаетъ, вѣроятно, такое, которое, возвысившись надъ плотью, подчинивъ ее себѣ, находитъ высокое счастье въ особенной непрестанной работѣ.—Далѣе отчетъ посвящаетъ горячія строки вопросу необходимости умственнаго труда. Какъ средство пробудить и выработать способность *коллективнаго мышленія* предлагается:

1) Поочереди составлять конспекты.

2) Накопившіеся вопросы распредѣлять для разработки.

3) Всякую мысль, великую или малую, записывать и обсуждать.

Мѣры, надо согласиться, не особенно остроумныя. Но вотъ драгоцѣнное и характерное изреченіе: „отдѣльному человѣку, отдѣльному сознанію не дана истина и только гордость предполагаетъ противное. Все равно какъ въ мірѣ физическомъ, такъ и въ мірѣ умственномъ главный залогъ успѣха—коллективная работа, простое товарищеское сотрудничество. Какъ выясняется и ширится мысль, разъ она была высказана въ дружескомъ собраніи, разъ любовно разсмотрѣли ея и безъ соперничества, безъ раздраженія высказались откровенно по ея поводу. Чѣмъ больше народу оказалось на ея сторонѣ — тѣмъ, значитъ, она справедливѣе; «*только всеобщее согласіе можетъ ручаться за безусловную истинность мысли*».

Надѣюсь, что послѣ этихъ характерныхъ строкъ нечего болѣе объяснять, что такое духовный коммунизмъ, къ которому стремились „четверо".

Эти же четверо настойчиво проводили въ жизнь свои аскетическіе идеалы. Между прочимъ, на общихъ собраніяхъ ими были предложены вотъ какіе пункты на обсужденіе:

1. Желательно ли выработать въ себѣ привычку не возражать немедленно, когда дѣлаютъ замѣчанія, а напротивъ обратить свой взоръ внутрь себя и только спустя нѣсколько дней отвѣтить?

2. Необходимо ли развить въ себѣ способность повиновенія, какъ высшаго проявленія свободы духа?

3. Желательно строгое отношеніе къ слову и обѣщанію.

4. Желательно развить въ себѣ выдержку и никогда не бросать разъ начатаго дѣла.

Идеалисты эти „четверо"! Признаемся, не безъ большого любопытства слѣдили мы по краткому, къ сожалѣнію, отчету за тѣмъ, какъ развивалась ихъ мысль, какъ становилась она все болѣе упорной, упрямой, непримиримой. Неужели эти четверо забыли, кѣмъ окружены они? Неужели не распознали они этихъ диллетантовъ и этихъ „другого сорта и другихъ свойствъ" людей, окружавшихъ ихъ братское, плотное гнѣздо? Но они вѣрили и крохотные факты, что, напр., „одинъ изъ братьевъ бро-

силъ курить во имя свободы духа и личнаго самоусовершенствованія", поддерживали ихъ энергію и обманывали ихъ. Недостягаемый, быть можетъ, идеалъ строгой, нравственной жизни носился передъ ихъ умственнымъ взоромъ. Нетерпѣливо ждали они его осуществленія, не боясь насмѣшекъ и даже вражды. Они вѣрили. Сами они уже поднялись на нѣкоторую высоту, откуда всѣ эти мелочи—куреніе табаку, тщеславіе, диллетантизмъ, хорошая ѣда, увеселенія и пр. — казались имъ такими пустыми, такими презрѣнными. И они хотѣли, чтобы эти мелочи исчезли изъ окружающей ихъ жизни, они *требовали* этого. „Неужели шутка наша жизнь, неужели Богъ, создавшій ее, приказалъ намъ веселиться и плясать? Будетъ время для веселья, но не въ этомъ мірѣ съ проникающимъ его суровымъ нравственнымъ долгомъ. Ты, тщеславный, легковѣсный, диллетантски настроенный братъ, что скажешь ты Господу Богу на вопросъ о жизни твоей? Скажешь ли ты, что ты курилъ и плясалъ, или быть можетъ начнешь хвастать своими любовными побѣдами, перечислять проглоченныя и просмакованныя тобой кушанья? Увы! Всѣ познанія твои въ кулинарномъ искусствѣ, всѣ таланты твои по части похотливыхъ соблазновъ зачтутся тебѣ въ вѣчный минусъ... Обрати свой взоръ вглубь себя и открой намъ всѣмъ, твоимъ братьямъ и товарищамъ, душу свою. Вѣрь, что если тамъ найдется хоть искра хорошаго, мы поддержимъ дружескимъ дыханіемъ ея трепетъ, мы поможемъ возгорѣться свѣтильнику. Любовно, по мѣрѣ силы, не боясь лишеній, забывъ о себѣ, излечимъ мы твои наболѣвшія раны, и постараемся искоренить зло твоего сердца. Братъ, не замыкайся отъ насъ, не прячься за спину твоего личнаго самолюбія, будемъ едины, будемъ братья безъ тайнъ, секретовъ, со стыдомъ другъ передъ другомъ, но безъ укрывательства!"...

Братское единство аскетической общины—таковъ идеалъ четверыхъ и они дѣйствовали въ этомъ направленіи строго и неустанно. Зима въ 1887 году принесла имъ много радостей. Несомнѣнно, что это было время, когда одушевленіе овладѣло многими. Мы уже видѣли, что одинъ изъ братьевъ бросилъ курить, другая сестра перестала наряжаться. Вотъ и еще фактъ, занесенный въ отчетъ.

„Мы собрались вечеромъ и послѣ молитвы предложили товарищамъ вопросъ: зачѣмъ держатъ они при себѣ свои драгоцѣнности? Вмѣсто отвѣта всѣ братья разошлись по своимъ помѣщеніямъ и черезъ минуту на столѣ лежали часы, кольца, деньги, серьги. Все это было пожертвовано на общую пользу".

Переходимъ теперь къ исторіи 1888-го года.

Резюмируемъ вкратцѣ состояніе колоніи къ этому времени. Въ центрѣ мы видимъ „четырехъ". Эти четверо являются иниціаторами и руководителями остальной „братіи" по части движенія впередъ въ сторону аскетическаго идеала. Но формальной власти никакой они не имѣютъ. Вліяніе ихъ на остальныхъ—исключительно нравственное. Формальная же власть

находится въ рукахъ общаго собранія всѣхъ колонистовъ, которые вправѣ принять или отвергнуть любое изъ сдѣланныхъ предложеній и даже измѣнить „самый принципъ общежитія". Но очевидно, что даже общее собраніе ни въ какомъ случаѣ не можетъ поступать принудительно: оно уговариваетъ, убѣждаетъ. При рѣшительномъ разногласіи отщепенцы должны удаляться. Контроль за поведеніемъ любого изъ колонистовъ принадлежитъ каждому изъ его товарищей въ отдѣльности и всѣмъ вообще. Это самый важный пунктъ. Возможно *строгій и любовный* надзоръ за поведеніемъ, взаимное ограниченіе, взаимная помощь въ исправленіи и усовершенствованіи — излюбленный пунктъ мечтаній „четырехъ". По ихъ программѣ каждый, слѣдовательно, цензоръ и каждый подцензуренъ. Половая любовь и семья еще существуютъ, но „четверо" уже недовольны этимъ и ихъ аскетическое міросозерцаніе плохо уживается съ этимъ, развѣ какъ съ компромиссомъ и уступкой въ пользу человѣческой слабости и малодушія. Жизнь вообще устроена такъ, чтобы выработать въ колонистахъ привязанность къ коллективистическому принципу, въ обоихъ его проявленіяхъ— экономическомъ и духовномъ. Высшимъ авторитетомъ почитается Евангеліе. Что же касается до хозяйства, то идетъ оно, повидимому, очень неважно.

Новый 1888 г. начался при счастливыхъ предзнаменованіяхъ: первый день его былъ проведенъ въ „дружбѣ и любви". Прочли отчетъ о духовномъ состояніи колоніи и обсуждали взаимные недостатки безъ раздраженія. Затѣмъ собранія слѣдовали одно за другимъ. Между прочимъ рѣшено было обратить серьезное вниманіе на то, чтобы каждый въ присутствіи дѣтей старался относиться къ себѣ наивозможно строже, взвѣшивалъ и обдумывалъ свои слова и поступки. Каждый нравственно обязанъ сдѣлать замѣчанія и даже выговоръ другому, при несоблюденіи этого положенія. Выбранъ былъ старшина, на обязанности котораго возложено было наблюдать за выдержкой въ принятомъ на себя дѣлѣ и въ строгомъ отношеніи къ слову и обѣщанію. Были подняты вопросы объ *„активности"*, объ ограниченіи матеріальныхъ потребностей для нравственнаго самоусовершенствованія, выяснился вопросъ „что такое нравственность?"

Въ февралѣ мѣсяцѣ были составлены для пріѣзжающихъ новыхъ лицъ вопросы, въ виду выясненія солидарности ихъ съ основными положеніями общины [1]).

Одинъ членъ прочелъ объяснительную записку о „неравномѣрномъ распредѣленіи умственнаго и физическаго труда", вызванную недоволь-

---

[1]) 1. Почему именно къ намъ пріѣхалъ?

2. Почему не въ крестьянскую среду, гдѣ можетъ непосредственно принести пользу?

3. Къ чему клонятся симпатіи: къ общинной или индидуалистической жизни?

4. Какую разницу видитъ между общиной и ассоціаціей?

5. Какіе нравственные интересы стремится осуществить по отношенію къ внѣшнему міру?

6. Какъ смотритъ на самого себя по отношенію къ достиженію желаемыхъ результатовъ, и считаетъ ли нужнымъ вырабатывать въ себѣ извѣстныя свойства для достиженія этихъ результатовъ?

7. Какія свойства считаетъ нужнымъ пріобрѣсти и на какія средства разсчитываетъ для воздѣйствія и достиженія желаемыхъ результатовъ.

ствомъ нѣкоторыхъ лицъ ихъ односторонне направленною дѣятельностью. Собраніе высказалось, что на крайнюю спеціализацію труда въ своей общинѣ оно смотритъ, какъ на компромиссъ, руководствуясь главнымъ образомъ интересами хозяйства.

До апрѣля мѣсяца внутренняя работа среди колонистовъ усиленно шла впередъ. Были ежедневныя чтенія, живой обмѣнъ мыслей, замѣчалось самое живое участіе всѣхъ членовъ общины, какъ старыхъ, такъ и молодыхъ.

7-го марта перешли на лѣтнее положеніе, день прибавлялся, прибавлялись и работы по хозяйству, и уже не оставалось времени для чтенія. Въ половинѣ марта возвратился въ колонію изъ полугодового отсутствія одинъ старый членъ колоніи. Интересны слѣдующія слова отчета по этому случаю: „Полугодовое отсутствіе послѣдняго, непричастность его къ нашей повседневной жизни породило не отсталость его отъ насъ, не разладъ, а отсутствіе прежней гармоніи между нами. Ее нужно было снова пріобрѣсти, такъ какъ безъ этого условія полное пониманіе другъ друга немыслимо. Произошла задержка нашего движенія“ [1]).

Пріѣхали новые члены въ колонію, практиканты и нѣсколько лицъ, желающихъ ознакомиться съ этой своеобразной жизнью, которая на первыхъ порахъ производила на нихъ пріятное впечатлѣніе. Но потомъ дѣло пошло иначе. Вновь пріѣхавшіе находили, что не довольно сдѣлано, даже пожалуй ничего; были постоянные упреки съ безпорядкѣ и плохомъ веденіи хозяйства, обвиненія въ халатности, потому что есть капиталы за спиной, говорили, что все находится въ области благихъ пожеланій, что не ясно сформированы цѣли, не строго установлены формы жизни. Роптали и на распредѣленіе работъ. Вновь пріѣзжіе сгруппировались вмѣстѣ и составили вродѣ партіи противъ старыхъ членовъ колоніи.

„Было что то похоже, говоритъ отчетъ, на травлю насъ. Впечатлѣніе отъ всѣхъ собраній было удручающее.

„Мы терпѣли [2]), не собирались отдѣльно, чтобы не подать повода къ обособленности, но наконецъ не въ моготу пришло; мы рѣшили на страстной недѣлѣ собраться старикамъ отдѣльно... Пришли мы въ хатку, удрученные жгучимъ вопросомъ: „За что они насъ травятъ? Что мы имъ сдѣлали?“ Взяли Евангеліе и стали читать его... Нѣтъ просвѣтленія!.. Все таки горько!.. Еще стали читать; читали до тѣхъ поръ, пока на душѣ свѣтло стало, мы внутренне опять примирились со всѣми, подняли удрученный духъ свой и разошлись подкрѣпленные. Этимъ закончились наши задушевныя, интимныя собранія, заложенныя зимой. Больше они не повторялись и до сего дня!“

Лѣтнія работы поглощали все время. Относительно праздниковъ, которые прежде каждый посвящалъ своему развитію, стали особенно хлопотать, чтобы употреблять на веселье. „Появился игривый, легковѣсный тонъ, говоритъ отчетъ.—Вся жизнь получила видъ милаго общежитія, а не серьезнаго стремленія къ созданію новыхъ, лучшихъ формъ жизни“.

---

[1]) Прошу вообще читателя не обижаться на варварскій языкъ, которымъ написаны многія мѣста отчета. Не стоило бы ничего исправить эти мѣста, но я предпочелъ сохранить ихъ въ цѣлости и неприкосновенности для „колорита“.

[2]) Говорится въ отчетѣ за 1888 г.

Диллетантизмъ, очевидно, одолѣвалъ. Но и не одинъ онъ. Центральные четверо, задававшіе тонъ жизни колоніи, знать не хотѣли потребностей человѣческой природы. Имъ бы все работать и искоренять грѣхи въ сердцѣ своемъ. Они косились на смѣхъ, на забаву, на шутку. Они ходили постоянно унылы и мрачны, они раздражительно отвѣчали на вопросы, предполагая въ нихъ скрытую насмѣшку. Ихъ скучныя фигуры наводили тоску. Молодежь же веселилась. Надо, однако согласиться, что въ своей веселости они заходили немножко далеко. Такъ, мы встрѣчаемъ жалобы женщинъ на то, что къ нимъ относятся какъ къ женщинамъ, а не какъ къ товарищамъ. Было также заявлено о небрежномъ отношеніи къ вещамъ, принадлежавшимъ колоніи. Противъ всего этого принимались мѣры.

Вновь пріѣхавшіе, осмотрѣвшись, не находили того, что искали.

Одно лицо, уѣзжая изъ колоніи, объясняетъ свою неудовлетворенность, между прочимъ, слѣдующими причинами: 1) онъ не чувствуетъ въ себѣ силы къ тяжелому физическому труду; 2) присмотрѣвшись къ жизни колоніи, онъ относится теперь съ нѣкоторымъ недовѣріемъ къ самому принципу общинной жизни. „И это вѣрно, пишетъ онъ въ своемъ письмѣ, и здѣсь я говорю то, что думаю, что чувствую. Сомнѣнія есть—я ихъ и высказываю. Я думаю, что только истинная любовь можетъ связывать въ общины, и общины между собою должны быть связаны тою же любовью. Принявъ участіе въ вашей жизни, я сдѣлался невольнымъ наблюдателемъ ея, наблюдая же вашу жизнь, я вижу, какъ трудно даже намъ, горсточкѣ людей, имѣть истинную любовь между собою. Если же это намъ трудно, то что же сказать о большомъ числѣ людей, о цѣломъ человѣчествѣ? Если же людей не можетъ связывать любовь, то стало быть ихъ можетъ связывать только личный интересъ. Отсюда слѣдуетъ выводъ, что индувидуальная собственность необходима. Этими выводами я, конечно, не рѣшаю еще вопроса, я еще объ этомъ подумаю". Вотъ на какіе выводы навела жизнь интеллигентныхъ колонистовъ! Но это еще не все. Дальше въ томъ же письмѣ мы читаемъ: „Я думаю, что и другіе члены общины сомнѣваются въ истинности общинныхъ принциповъ, но не имѣютъ смѣлости высказать эти сомнѣнія прямо, открыто. И я думаю, что ваши собственные дѣти, воспитанные въ строгихъ принципахъ коммунизма, выскажутъ вамъ въ будущемъ то же, что сейчасъ высказалъ вамъ я". Другіе изъ гостей еще болѣе энергично отзывались о жизни колоніи. „Вся работа общины, говорили они,—сосредоточена внутри себя, безъ всякаго отношенія къ внѣшнему міру. Когда кончится такое уединеніе — неизвѣстно. Да и кончится ли когда нибудь? Вмѣсто обѣщаннаго свѣточа жизни получается какой-то монастырь. Сегодня возстаютъ на ѣду и питье, а завтра на веселье, потомъ на одежду и т. д. Но въ этомъ направленіи можно идти безъ конца и выхода въ дѣйствительности не предвидится". Обращаясь къ старымъ членамъ, эти пріѣзжіе говорили: „Сколько въ васъ гордости и гордости самой незаконной. Чего добились вы, устроивши свою колонію и предаваясь ежегодно и ежеминутно самоусовершенствованію? Только права презирать другихъ, которые представляются вамъ погрязшими во грѣхахъ. Но неужели, по вашему, это право законно? Ваши мрачныя фигуры наводятъ уныніе, въ вашихъ рѣчахъ лицемѣрное смиреніе. Богъ съ вами, оставайтесь одни!"

Такъ отзывались вновь пріѣхавшіе о колоніи. Да и среди колонистовъ было замѣтно охлажденіе. Въ концѣ іюля и августа начали отъѣзжать гости и практиканты. Между тѣмъ многіе стали страдать лихорадкой. Собранія хотя и были, но были вялы и носили, какъ говоритъ отчетъ, тонъ „нелюбовный, горькій".

Приближалось время готовиться къ годичному экономическому празднику 1-го октября. Однако, о немъ какъ бы забыли. „Ни напоминанія, ни просьбы потолковать о предстоящемъ праздникѣ не дѣйствовали, говоритъ отчетъ.—Какой-то мракъ, какое-то темное облако окутало насъ". Всѣ чувствовали себя неловко, непріятно. Наконецъ, только 12-го октября все было готово. Вечеромъ, въ 9 часовъ собрались вмѣстѣ, спѣли „Гремятъ хвалой". Тотчасъ же былъ поднятъ занавѣсъ, отдѣляющій залу отъ временно устроенной сцены, которая представляла изъ себя аллею; впереди разложены были образчики полученныхъ за годъ продуктовъ, въ глубинѣ стояла группа дѣтей, держа въ рукахъ модели сельскохозяйственныхъ орудій. И вся эта картина была освѣщена бенгальскимъ огнемъ. Цѣль картины — выставка сельскохозяйственныхъ продуктовъ; модели сельскохозяйственныхъ орудій — эмблема нашего направленія; группа дѣтей—идея органическаго развитія общины.

Утромъ при участіи дѣтей пропѣли нѣсколько пьесъ изъ репертуара церковнаго пѣнія, а послѣ завтрака приступили къ чтенію записокъ, напримѣръ, о томъ, что должно лечь въ основу сельскохозяйственной организаціи колоніи, о наемномъ трудѣ. Послѣдняя записка вызвала горячія пренія, которыя велись до 16-го числа. На другой день, 17-го октября, уѣхали остальные гости и колонисты остались одни. Можно было думать, что снова потечетъ тихая, интимная жизнь. Не тутъ-то было!

Ни пѣніе, ни чтеніе не удаются, говоритъ отчетъ.—Нѣтъ гармоническаго настроенія! На молодежь въ смыслѣ объединенія разсчитывать нечего; но вотъ горе, что между стариками какая-то стѣна! 7 мѣсяцевъ жизни внѣшней, практической, назойливость экономическихъ вопросовъ, отсутствіе интимныхъ собраній стариковъ по внутреннимъ духовнымъ вопросамъ общины — потушили еще лѣтомъ тлѣвшій огонекъ, поддерживаемый надеждою на зимнее время. Страданія были ужасны! Какъ звѣри въ клѣткѣ метались мы по одиночкѣ, ища выхода. Ни молитва, ни чтеніе, ни размышленія ничто не помогало. Нѣкоторые бросились искать просвѣтленія къ прошлому".

Всѣ почти стали говорить, что прежде, чѣмъ устраивать внутреннюю духовную жизнь, нужно заняться устройствомъ внѣшняго благосостоянія. „Прежде накормить надо, а потомъ книгу дать прочитать".

Новое направленіе одержало побѣду. И какъ результатъ этого явилось почти полное отсутствіе какихъ-либо вопросовъ, кромѣ практическихъ. „А если нѣтъ таковыхъ, заканчиваетъ отчетъ,—то анекдотцы или такъ — пустая болтовня. Въ это время перестали практиковать и отмѣнили многія хорошія постановленія прошлаго года".

Колонія очевидно распадалась. Несмотря на героическія усилія нѣкоторыхъ отдѣльныхъ людей, внутренняя гангрена разъѣдала жизнь общины. Эта гангрена—отсутствіе единодушія. Но его не могло и быть. Какой живой человѣкъ согласится уйти въ себя и только въ себя, зани-

маясь искорененіемъ грѣховности? Эта работа безконечна, къ тому же для совершенія ея такого полнаго отчужденія отъ міра совсѣмъ не нужно.

Мы постарались нарисовать, насколько возможно, полную картину жизни интеллигентной колоніи. Теперь должны упомянуть въ краткихъ словахъ о томъ, какія причины, по мнѣнію самихъ колонистовъ, мѣшали правильному развитію ихъ жизни.

Причины эти внѣшнія и внутреннія. Къ первымъ относятся:

1. Переутомленіе вслѣдствіе большой смѣны впечатлѣній, получаемыхъ отъ пріѣзда новыхъ лицъ.

2. Частыя лихорадки и тревога за больныхъ.

3. Практическіе неудачи, слѣдовавшія за колонистами по пятамъ.

„Вотъ причины внѣшняго свойства, говоритъ отчетъ,—достаточно сильныя, чтобы смущать людей внѣшняго міра. Но онѣ не достаточны чтобы смутить людей, берущихся за общественное дѣло, на знамени котораго было написано:

„Неустанноя борьба, стремленіе къ самоусовершенствованію ни для себя, а ради другихъ!“

Внутреннія причины колонисты формулировали такъ:

„Мы не проникнуты мыслью, что духовная жизнь должна главенствовать надъ матеріальной“.

Какъ слѣдствіе, отсюда должны вытекать слѣдующія мѣры:

1. Ограничить число вновь пріѣзжающихъ.

2. Дѣлать *чрезмѣрно-строгій выборъ* приглашенныхъ, изъ людей только идейныхъ съ альтруистическими задатками.

3. Кореннымъ членамъ нечего тратить силы на привлеченіе молодежи къ своей организаціи жизни, а *неуклонно* продолжать свои частныя собранія (образовать совѣтъ коренныхъ членовъ).

4. А главное—самоусовершенствованіе при помощи единственнаго средства—религіи.

„Отведемъ для нашей духовной жизни надлежащее мѣсто и время, стряхнемъ съ себя всѣ заботы практическія, какъ въ домъ Божій войдемъ на наши духовныя собранія чинно, торжественно, созерцательно, священнодѣйствуя; и мы получимъ и объединеніе, и силу, и крѣпость на весь страдный годъ!.. Мы должны объединиться... иначе горе намъ! Мы сами падемъ, разрозненные, предъ тяжестью невзгодъ. Не о себѣ хлопочемъ, Господи! Помоги намъ!“

Этими словами заканчивается отчетъ 1888-го года. Можемъ и мы закончить изложеніе нашей исторіи. Замѣтимъ лишь для интересующихся, что колонія существуетъ и поднесь, но сохранила лишь имя свое. Въ ней живутъ три-четыры семьи. Даже изъ четверыхъ центральныхъ остался лишь одинъ. На интеллигенцію колонисты совсѣмъ махнули рукой, совершенно прекратили пріемъ новыхъ членовъ, занимаются обученіемъ крестьянскихъ ребятишекъ въ школѣ и ждутъ у моря погоды.

1893 г.

Заключеніе.

Толстой началъ свою литературную дѣятельность въ 1851 г., выступивъ „Дѣтствомъ“ въ „Современникѣ“ Некрасова. „Дѣтство„ обратило на себя вниманіе, хотя преимущественно лишь въ кружкахъ, прикосновенныхъ къ литературѣ. „Севастопольскіе разсказы“ сдѣлали имя Толстого популярнымъ въ широкой публикѣ, но истинная слава послѣдовала лишь за „Войной и Миромъ“ (1865—69 г.). Въ Европу произведенія Толстого стали проникать лишь въ 70-хъ годахъ, хотя сначала довольно туго. Начало ученія относится къ 1881-году.

Таковъ послужной литературный списокъ графа Толстого, охватывающій собою періодъ 33-хъ лѣтъ. За эти 33 года русская публика смѣнила нѣсколько кумировъ, изъ которыхъ каждому въ свое время поклонялась до упаду. Въ 50-хъ годахъ первенствовалъ Тургеневъ, въ 60— Островскій, отчасти Тургеневъ и Писемскій, въ 70-хъ,—какъ ни странно такое сочетаніе именъ,—Достоевскій и Щедринъ, но 80-ые годы почти безраздѣльно прринадлежатъ Толстому, который, какъ было указано нами и выше, доставлялъ почти всю умственную пищу второй ихъ половинѣ.

Въ литературу эпитетъ „великій“ былъ пущенъ Тургеневымъ въ его предсмертномъ письмѣ къ Толстому. Толстой названъ здѣсь великимъ писателемъ земли русской. Тургеневъ, замѣтимъ, имѣетъ въ виду исключительно художественныя произведенія.

Подъ опредѣленіемъ Тургенева нельзя не подписаться, и величіе Толстого, какъ художника, не требуетъ доказательствъ. Мы и не будемъ этого доказывать и, основываясь отчасти на громадной критической литературѣ, отчасти на собственномъ изученіи, постараемся дать оцѣнку художественнаго дарованія Толстого, не надоѣдая читателю восторгомъ и восклицательными знаками.

Сначала о слогѣ. Это не слогъ Тургенева,—гладкій и полированный, носящій на себѣ слѣды тонкой ювелирной работы, красивый и легкій какъ афинскія постройки,—не слогъ Достоевскаго, нервный, пронизывающій, подчасъ растрепанный,—это слогъ всегда ясный, простой, сильный, украшенный мѣткими и оригинальными образами и почти всегда небрежный. Въ молодости Толстой заботился о красотѣ и изяществѣ языка: въ „Казакахъ“ (1861 г.) есть еще страницы стиля, но, начиная съ статей въ журналѣ „Ясная Поляна“, стиль исчезъ. Въ слогѣ Толстого есть много, что напоминаетъ характеристику его внѣшности, данную

какъ-то Тургеневымъ: „Это, писалъ Тургеневъ,—человѣкъ высокаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенскою жизнью (rustique). Не совсѣмъ правильныя черты лица обличаютъ умъ необыкновенный". Въ этомъ портретѣ вы какъ бы узнаете героя-богатыря, Микулу Селяниновича нашей литературы. Толстой на самомъ дѣлѣ не заботится о фразѣ и не боится сдѣлать стилистическую ошибку. Къ красивымъ, изящно построеннымъ фразамъ онъ питаетъ искреннее отвращеніе, и это отвращеніе появилось у него уже въ юности. Тогда онъ между прочимъ нападалъ на Пушкина за то, что тотъ писалъ стихами. Стиховъ Тостой не любитъ и теперь, хотя самъ два раза согрѣшилъ въ этомъ отношеніи—оба раза впрочемъ въ шутку. Стилистическихъ неправильностей можно найти не мало даже на лучшихъ страницахъ „Войны и Мира", но странно, этотъ не всегда красивый и всегда небрежный слогъ въ концѣ концовъ начинаетъ нравиться вамъ больше всякаго другого, все равно какъ некрасивое даже лицо любимой женщины нравится вамъ больше, чѣмъ лицо мадонны. Слогъ Толстого, какъ и все толстовское, подкупаетъ и порабощаетъ васъ своею мощью, запасомъ громадной заключенной въ немъ силы и наконецъ своей ясностью и точностью. „Разница между мною и Пушкинымъ та, говорилъ Толстой Берсу,—что Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится о томъ, будетъ ли она замѣчена и понята читателемъ, а я какъ бы пристаю къ читателю съ этою художественной подробностью, пока ясно не растолкую ее". Прибавить лишнюю вводную фразу или лишнее придаточное предложеніе Толстой не остерегается. Онъ пишетъ, точно домъ строитъ на каменномъ фундаментѣ, и знать не хочетъ, будетъ ли это красиво: главное, чтобы было тепло, удобно, прочно и, что за бѣда, если какой-нибудь флигель (придаточное предложеніе) выпятится впередъ?

Отсутствіе фразы въ стилѣ вводитъ насъ въ самую глубь психологіи Толстого какъ художника: онъ всегда и неизмѣнно искренній. Онъ пишетъ то, что думаетъ и только такъ, какъ думаетъ. Это очень важное обстоятельство, и не могу удержаться, чтобы не напомнить маленькаго остроумнаго разсужденія Берне на эту тему: „удивительная вещь этотъ письменный столъ, это перо, бумага и чернильница! Кажется, нѣтъ болѣе невинныхъ предметовъ, а между тѣмъ... Я знаю людей умныхъ, честныхъ, безусловно правдивыхъ, но стоитъ имъ только взять въ руки невинное перо, придвинуть къ себѣ невинный листъ бумаги и сѣсть за невинный письменный столъ, какъ сейчасъ же они начинаютъ писать не то, что думаютъ, или по крайней мѣрѣ не такъ, какъ думаютъ. Чтобы это значило—не знаю, но я знаю вотъ что: человѣкъ, который за письменнымъ столомъ не можетъ быть такъ-же искрененъ, какъ самъ съ собой, съ своимъ другомъ, съ любимою и преданною женщиною, никогда даже подъ угрозой личнаго знакомства съ Меттернихомъ, не долженъ садиться за невинный столъ и брать въ руки невинное перо. Моя статья—мое родное излюбленное дѣтище, а не любовница, купленная за деньги"... Такъ писать, какъ того требуетъ Берне, могутъ лишь литературные избранники, и даже не всѣ литературные избранники, потому что Цицеронъ, Петрарка, Гейне несомнѣнно дѣлали фразы. Чтобы передъ пись-

меннымъ столомъ сохранить полную искренность, не дать себя увлечь въ сторону стиля ни одной случайности—надо видѣть въ своихъ созданіяхъ родное дѣтище и понимать, что это дѣтище ищетъ правды и будетъ въ сущности живо лишь этой правдой. Небрежный въ слогѣ, Толстой по 30—40 разъ передѣлываетъ каждое свое произведеніе, а его гигантская эпопея „Война и Миръ" переправлялась и переписывалась семь разъ. Искренность всегда проста и въ сущности идеально простъ слогъ Толстого: его фразы, какъ вѣтви и листья дерева, располагаются свободно и просто, нисколько не заботясь, какое впечатлѣніе произведутъ они на глазъ просвѣщеннаго туриста.

Лишенный фресокъ и арабесокъ, слогъ Толстого эпически спокоенъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда нервности, присущей Достоевскому, нѣтъ лирическихъ порывовъ и даже лирическаго безпорядка многихъ страницъ Гоголя. Толстой пишетъ, какъ будто рѣшаетъ сложную математическую задачу со множествомъ неизвѣстныхъ, понимая, что пропустить что-нибудь, самую мелочь, самую простую подстановку, значитъ непремѣнно придти къ ошибкѣ и невѣрности. Эпическое спокойствіе изложенія есть одна изъ характернѣйшихъ особенностей художественнаго дарованія Толстого. Она зависитъ отъ многаго и прежде всего отъ громадной, почти феноменальной художественной памяти великаго писателя земли русской.

„Толстой помнитъ всѣ жизненные процессы такъ счастливо, что, вызывая ихъ изъ прошлаго въ своемъ воображеніи, онъ ихъ можетъ списывать съ дѣйствительности по-секундно, какъ если бы они развертывались передъ нимъ живьемъ и во всякую минуту останавливались по его волѣ передъ его умственнымъ взоромъ, чтобы онъ успѣвалъ захватить изъ нихъ всѣ необходимыя ему подробности. Понятно, поэтому, что поставленный лицомъ къ лицу съ этой волшебной ярко вспыхнувшей картиной въ качествѣ спокойнаго наблюдателя, Толстой можетъ, такъ сказать, сотворять минувшую дѣйствительность во второмъ экземплярѣ, безъ всякой фальши, пораждаемой забвеніемъ характернѣйшихъ частностей событія или, наоборотъ, — вызываемой важною окраской произвольными ретушами того, что когда-то было такъ просто и что невольно кажется изъ отдаленія чѣмъ-то непомѣрно значительнымъ. Часто бываетъ, что писатель въ своемъ отношеніи къ нѣкогда пережитому событію смѣшиваетъ впечатлѣнія прошлаго и переноситъ чувства, навѣянныя однимъ событіемъ, на другое, хотя и сродное съ изображаемымъ, но во многомъ отъ него отличное, — смѣшиваетъ различные источники радости, грусти, тревоги и т. д. Съ Толстымъ ничего подобнаго не можетъ случиться. Для него не существуетъ никакихъ обмановъ зрѣнія, когда онъ смотритъ въ переспективы прошлаго. Читая толстовское описаніе бала, смерти, дождя, родовъ, сраженія, переѣзда на дачу, раздумья въ кабинетѣ, вѣнчанія и т. д., — вы удивляетесь не только всеобъемлемости воспоминаній автора, но и упорной энергіи самаго описательнаго процесса. Этому художнику совсѣмъ невѣдомы такіе житейскіе факты, которые бы, несмотря на кажущуюся незначительность, не раскрыли бы въ себѣ, при ближайшемъ вниманіи, своихъ интересныхъ особенностей. Поэтому, за чтобы ни взялся Толстой, онъ можетъ вамъ дать цѣлую главу—и вы, ни мало не безпокоясь о пріостановившейся фабулѣ романа,—начинаете входить въ мате-

рію какого-нибудь самаго будничнаго эпизода съ неизмѣнно живымъ, возрастающимъ участіемъ".

„Спокойствіе и выдержка творческаго процесса у Толстого дѣлаютъ то, что въ предметахъ, неизбѣжно волнующихъ самого писателя, Толстой никогда не дѣлаетъ пропусковъ противъ жизни; сколько-бы ни была тяжела и мучительна тема,—Толстой никогда не утомится настолько, чтобы прозѣвать правду и придти, подъ вліяніемъ собственной надорванности, къ концу ранѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Такъ онъ провелъ Ивана Ильича черезъ всѣ мытарства долгаго умиранія, отъ простого ощущенія неловкости до нестерпимыхъ болей, сопровождаемыхъ безсознательнымъ, животнымъ выкрикиваньемъ одного лишь страшнаго звука „у! у!.." (*С. А. Андреевскій*).

Вторая причина эпическаго спокойствія изображенія — это выстраданная и выношенная страсть, которая чувствуется за каждой страницей, вышедшей изъ подъ пера Толстого. Изъ біографіи читатель видитъ, что если Толстой и выражаетъ просто свои мысли, то приходитъ онъ къ своимъ мыслямъ не только не просто, а путемъ самыхъ жестокихъ внутреннихъ мукъ. Не знаю, былъ ли онъ счасливъ когда-нибудь въ своей жизни: онъ о своемъ счастьѣ упоминаетъ только одинъ разъ въ письмѣ къ Фету двѣ недѣли послѣ свадьбы. А Левину, двойнику Толстого, его личное счастье постоянно кажется ненатуральнымъ, неестественнымъ, отчасти даже преступнымъ. Я думаю, всякій замѣчалъ или читалъ по крайней мѣрѣ, что сильные люди спокойны въ самые критическія минуты, хотя бы это было спокойствіе смерти. Признаюсь откровенно (б. м. это крайность), эпическій тонъ Толстого въ нѣкоторыхъ сценахъ, напримѣръ, въ сценѣ убійства Верещагина или смерти Андрея Болконскаго, напоминаетъ мнѣ спокойствіе могилы, въ которой бьется, рычитъ и корчится зарытый въ нее живой мертвецъ.

Третья причина эпическаго изложенія Толстого—его громадный аналитическій умственный аппаратъ. Эта особенность генія Толстого отмѣчена давно и блестяще проявилась уже въ „Дѣтствѣ"; кульминаціоннаго же пункта она достигла, по моему мнѣнію, въ „Смерти Ивана Ильича". Иностранные и русскіе критики зовутъ Толстого художникомъ анатомомъ и видятъ въ этихъ анатомическихъ пріемахъ творчества причину и силы, и слабости автора „Войны и Мира". Выступая въ печати съ своимъ пронизывающимъ психологическимъ анализомъ, Толстой рисковалъ быть непонятнымъ, потому, что наполняя свои страницы длинными монологами дѣйствующихъ лицъ—этими причудливыми молчаливыми бесѣдами людей про себя, Толстой создавалъ совершенно новый смѣлый пріемъ въ литературѣ: такихъ монологовъ до него не писалъ еще никто. Но онъ заставилъ слушать себя, заставилъ читателя, затаивъ дыханіе, слѣдить за безконечной вереницей мыслей, пробѣгающихъ въ головѣ его героевъ, за всѣми мимолетными настроеніями ихъ сердца, за всѣми прихотливыми арабескими ихъ фантазіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, почему въ крупныхъ произведеніяхъ Толстого нѣтъ, строго говоря, ни одного лица, которое мы могли бы любить или ненавидѣть? Ни Наташа Ростова, захватывающая сначала читательское сердце своей жизнерадостной молодостью, ни Пьеръ Безуховъ, этотъ толстый

добродушный умный человѣкъ, не могутъ стать нашими любимцами. Все равно какъ въ житейскихъ отношеніяхъ ни привязанность, ни дружба, ни любовь не устоятъ, разъ вскрыты всѣ душевные тайники любимаго человѣка, такъ и въ искусствѣ, въ романѣ. Герои Тургенева являются всегда передъ нами при нѣсколько фантастическомъ освѣщеніи, какъ бы при лунномъ свѣтѣ или свѣтѣ молніи; герои Толстого всегда, по счастливому выраженію С. А. Андреевскаго, ходятъ съ освѣщенными внутренностями, и въ концѣ-концовъ мы подъ очаровательной жизнерадостностью Наташи Ростовой видимъ лишь эгоизъ самки, за философіей Андрея Болконскаго—его сословную гордость, за достоинствами Безухаго—его самодовольство, иногда, какъ въ эпилогѣ, напримѣръ, просто даже обидное. Раньше мы видѣли, что громадный аналитическій аппаратъ Толстого роковымъ образомъ велъ его къ пессимизму и меланхоліи: Толстой слишкомъ всматривался въ себя и людей, чтобы не разглядѣть въ глубинѣ души каждаго изъ насъ чего-нибудь очень и очень далекаго отъ совершенства.

Такія-то стороны генія Толстого создали его стиль — этотъ ясный, точный стиль, привлекающій читателя не красотой, не изяществомъ, а своей силой, серьезностью, искренностью. Не торопясь, не нервничая, Толстой шагъ за шагомъ подчиняетъ себѣ воображеніе и умъ читателя; накладывая штрихъ на штрихъ, онъ рисуетъ своихъ героевъ, точно высѣкая изъ мрамора. Отъ каждаго удара молотка отдѣляется лишь нѣсколько пылинокъ камня; нужны сотни тысячъ этихъ ударовъ, чтобы изъ глыбы вышла фигура; нужны тысячи штриховъ, чтобы портретъ Толстого былъ готовъ. Какъ Гомеръ, описывая щитъ Ахиллеса, не пропускаетъ ни одной линіи, такъ и Толстой не пропускаетъ ничего изъ душевной жизни своихъ героевъ...

Онъ реалистъ въ полномъ смыслѣ этого слова, хотя его реализмъ имѣетъ много особенностей, носящихъ на себѣ рѣзкую печать огромной его индивидуальности. Французы, любящіе формулы, называютъ этотъ реализмъ „идеалистическимъ", противопоставляя его реалистическому натурализму Флобера, Зола, Мопассана. Посмотримъ, въ чемъ тутъ суть. Прежде всего замѣтимъ, что Толстой почти никогда не выдумываетъ. Большая часть его произведеній носитъ автобіографическій характеръ. Въ „Дѣтствѣ", „Отрочествѣ", „Юности" онъ разсказалъ свои собственныя дѣтство, отрочество и юность; въ „Утрѣ помѣщика"—свои собственныя неудачныя попытки осчастливить крестьянъ по программѣ просвѣщеннаго помѣщика; въ „Люцернѣ" — свои собственныя заграничныя впечатлѣнія, какъ въ севастопольскихъ разсказахъ то, что онъ видѣлъ въ дни знаменитой осады. „Война и Миръ" явилась плодомъ долгаго изученія историческихъ документовъ, относящихся къ 12-му году, и кромѣ того здѣсь масса лицъ, списанныхъ съ натуры. Пьеръ Безухой напримѣръ — одно изъ воплощеній самого Толстого; Марія Болконская — его мать, Николай Ростовъ — отецъ, и т. д. Разумѣется, Толстой то и дѣло отступаетъ отъ факта, но излишняго простора своему воображенію онъ не даетъ никогда. Въ „Аннѣ Карениной" мы видимъ то же самое, такъ какъ трудно не узнать въ Левинѣ самого Толстого, и извѣстная сцена объясненія въ любви между Левинымъ и Китти произошла въ дѣйствительности въ 1862-мъ году

между самимъ Толстымъ и Софіей Андреевной Берсъ, теперь графиней Толстой. Біографію Толстого можно смѣло написать по его собственнымъ произведеніямъ, и она выйдетъ полной особенно во всемъ, что касается душевной жизни великаго писателя. Не упоминаю уже объ „Исповѣди", гдѣ Толстой раскрылъ свою душу съ такою откровенностью, съ какой никто раньше его не дѣлалъ, даже Руссо, хвастающій искренностью въ своихъ Confessions, вся послѣдняя часть которыхъ оказывается однако бредомъ человѣка, страдающаго маніей преслѣдованія. Толстой разсказалъ намъ все—и крупное, и мелкое изъ своей жизни, не забылъ даже исторію своихъ собакъ Милки и Бульки, эпизода на медвѣжьей охотѣ, когда медвѣдица едва не разгрызла ему черепа, ни того, какъ онъ едва не попался въ плѣнъ на Кавказѣ. Эготизмъ Толстого постояненъ, и онъ ни на минуту не можетъ отказаться отъ него, даже когда выводитъ на сцену не себя а другихъ людей.

„Надъ печалями и радостями его лицъ всегда витаетъ все тотъ же знакомый намъ геній; мы знаемъ, что онъ, этотъ геній, разберетъ по косточкамъ каждое ихъ горе и каждую радость и дастъ намъ свои выводы о жизни, — выводы человѣка, одареннаго глубочайшимъ проникновеніемъ въ нѣдра дѣйствительности, который пронизываетъ эту дѣйствительность до самыхъ сокровенныхъ ея тайниковъ, побуждаемый неутомимымъ исканіемъ истины,—и который во всѣхъ направленіяхъ съ горечью наталкивается въ концѣ концовъ на зловѣщее сѣрое пятно, заслоняющее собою всякія дальнѣйшія исканія. *(С. А. Андреевскій).*

Толстой въ одной изъ самыхъ послѣднихъ своихъ статей, именно въ предисловіи къ переводу дневника Аміэля, замѣтилъ между прочимъ:

„Писатель вѣдь дорогъ и нуженъ намъ *только въ той мѣрѣ, въ которой онъ открываетъ намъ внутреннюю работу своей души*, само собою разумѣется, если работа эта новая, а не сдѣланная прежде. Что бы онъ ни писалъ: драму, ученое сочиненіе, повѣсть, философскій трактатъ, лирическое стихотвореніе, критику, сатиру,—намъ дорога въ произведеніи писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, въ которую онъ большею частью, да я думаю и всегда, уродуя ихъ, укладываетъ свои мысли и чувства".

Слова эти какъ нельзя лучше приложимы къ самому Толстому: намъ то онъ и дорогъ прежде всего потому, что открываетъ внутреннюю работу своей души, и работа эта дѣйствительно новая.

Итакъ, самонаблюденіе, никогда не покидающее Толстого, его собственная семейная хроника и историческіе документы, на изученіе которыхъ онъ тратитъ цѣлые годы—вотъ почва его реализма... Но, повторяю, это реализмъ особенный, уживающійся съ безмѣрною субъективностью и въ высшей степени оригинальнымъ идеализмомъ какъ въ научномъ, такъ и въ обыденномъ значеніи этого слова.

По словамъ Вогюэ, Толстой всегда остается „высшимъ судьей своихъ персонажей, какъ президентъ суда относительно подсудимыхъ". Типы Толстого одинъ изъ русскихъ критиковъ называетъ „замаскированными

приговорами". Это совершенно справедливо, и это нисколько не мѣшаетъ реализму. „Толстой, продолжаетъ Вогюэ, отводитъ мѣсто тривіальности, потому, что она встрѣчается въ жизни, и потому еще, что онъ желаетъ живописать жизнь во всей ея полнотѣ; но такъ какъ онъ не чувствуетъ пристрастія къ сюжетамъ тривіальнымъ, то онъ даетъ имъ мѣсто второстепенное, какое они занимаютъ и въ дѣйствительности. На улицѣ, въ гостяхъ, наталкиваешься иногда на отвратительные предметы; рѣдко гдѣ ихъ не встрѣтишь. Толстой показываетъ какъ разъ то, что слѣдуетъ, чтобы не заподозрили, что улица и домъ заранѣе прибраны". Не избѣгая т. н. соблазнительныхъ сценъ, Толстой однако отличается полнымъ цѣломудріемъ своей фантазіи, такъ что его произведенія, даже „Анну Каренину", можно дать любой неиспорченной дѣвушкѣ, не боясь, что чтеніе испортить ее. Если онъ то и дѣло изображаетъ пошлость, мелочность, эгоизмъ, чисто животныя ожесточенно половыя страсти—то кто же виноватъ въ этомъ. Но рядомъ съ этимъ онъ отводитъ то и дѣло мѣсто *героизму*—чувству, которое онъ, повидимому, наиболѣе цѣнитъ въ человѣкѣ. Та страсть, которую Фурье называлъ унитой (страстью единенія), страсть, возводящая въ высокую степень волю отдѣльнаго человѣка, и для Толстого, какъ для Фурье, является вѣнцомъ человѣческой природы.

Реалистъ до мозга костей, Толстой идеалистъ уже потому, что онъ всегда тенденціозенъ, что онъ всегда моралистъ. Моральный элементъ онъ считаетъ необходимымъ въ каждомъ художественномъ произведеніи; онъ винитъ Гете за отсутствіе этого моральнаго элемента и радуется, видя его у Лермонтова. Свой разрывъ съ петербургскими литературными кружками, гдѣ въ 50-хъ годахъ процвѣтало чистое искусство, Толстой объяснялъ гордыми словами: „Я буду писать, но не такъ какъ вы, потому что я знаю, *зачѣмъ* я буду писать". Зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы проповѣдывать, учить, потому что Толстой столько же художникъ, сколько моралистъ, философъ. Онъ хочетъ, какъ Сократъ, учить людей *благу*. Правда смыслъ этого блага часто мѣнялся втеченіе тридцати трехъ-лѣтней литературной дѣятельности, пройдя черезъ три момента опредѣленія; *силу*, обезпечивающую личное благо, *трудъ*—обезпечивающій общее благо, *любовь*, обезпечивающую блаженство. Мы еще вернемся ко всему этому, пока же замѣтимъ, что послѣдняя формула, къ которой пришелъ Толстой и которую онъ проповѣдуетъ, такова: „Миръ между людьми есть высшее доступное на землѣ благо людей".

Итакъ передъ нами художникъ и моралистъ, поэтъ и философъ, реалистъ и идеалистъ. Мы видѣли источники толстовскаго реализма, которые перечислили кажется всѣ, начиная съ огромной памяти и кончая изученіемъ историческихъ документовъ. Гдѣ же источники идеализма? Ихъ два:

1) *религіозность;*

2) *народничество.*

Изъ всего того, что написалъ Вогюэ о Толстомъ—а онъ написалъ очень много умнаго—мнѣ больше всего нравится одно блестящее развитое французскимъ критикомъ положеніе: „За всѣмъ, что изображено Толстымъ, говоритъ Вогюэ,—чувствуется присутствіе чего то огромнаго, страшнаго, таинственнаго"... Это присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго, поражаетъ французскаго критика, но оно не должно пора-

жать насъ, русскихъ читателей, потому что Толстого мы узнали послѣ Гоголя, Достоевскаго и—хотѣлось бы прибавить — Лермонтова. Это что то огромное, страшное, таинственное есть загадка человѣческой жизни. Позволю себѣ привести изъ „Войны и Мира“ страницу, которую справедливо считаютъ характернѣйшей для пониманія Толстого. Вотъ эта страница:

„Только выпивъ бутылку или двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тотъ запутанный, *страшный узелъ жизни*, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось. Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ обѣда и ужина, онъ безпрестанно видѣлъ этотъ узелъ какою-нибудь стороной его. Но только подъ вліяніемъ вина онъ говорилъ себѣ: „Это ничего. Это я распутаю—вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда,—я послѣ обдумаю все это!“ Но это *послѣ* никогда не наступало.

„Натощакъ, поутру, всѣ прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходилъ къ нему.

„Иногда Пьеръ вспоминалъ о слышанномъ имъ разсказѣ о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Нѣтъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умѣю!“ думалъ Пьеръ.—*Только бы не видѣть ее, эту страшную ее*».

Только бы не видѣть ее! Да развѣ вся драма жизни Толстого не въ этомъ восклицаніи? Развѣ не приходилось ему десятки, сотни разъ завидовать людямъ, у которыхъ на все готовыя формулы, на все готовыя меню—на обѣдъ и ужинъ, на любовь и бракъ, на радость и горе, на умъ и глупость?... Всю долгую жизнь смотрѣла на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь видѣлъ онъ передъ собой таинственную пропасть вѣчности. Онъ сказалъ недавно объ Аміэлѣ вотъ что:

„Впродолженіе всѣхъ 30-ти лѣтъ своего дневника онъ чувствуетъ то, что мы всѣ такъ старательно забываемъ,—то, что мы всѣ приговорены смерти и казнь наша только отсрочена... И отъ этого-то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга“.

Да, страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни Толстого. Онъ искалъ забвенія въ карточной игрѣ, въ кутежахъ, въ поцѣлуяхъ любимой женщины, въ низведеніи человѣческой личности, а значитъ и себя самого къ дифференціалу, т. е. безконечно малой величинѣ исторіи, въ религіозномъ и нравственномъ резонерствѣ и... что же онъ нашелъ? Спокойствіе духа... Изъ за этого не стоило хлопотать такъ долго, не стоило такъ много страдать... Противопоставьте все то, что говорилъ Толстой о знаменитыхъ упряжкахъ, общемъ благѣ, общемъ счастьѣ и пр.—раскрытой могилѣ, гдѣ скроются и упряжки, и физическій трудъ, и семейное счастье, и общее счастье—и вы получите тотъ самый нуль, съ котораго началъ гр. Толстой.

Но это исканіе и есть источникъ идеализма Толстого. Ему, какъ живому человѣку, нуженъ Богъ, во имя котораго можно даже уничтожить себя. Онъ искалъ Бога всю жизнь и нашелъ его наконецъ, какъ и слѣдовало, на Голгофѣ. Этотъ Богъ—любовь, самоотреченіе.

Чтобы *тебя* не было—вотъ единственный путь человѣческаго счастья. Возьми семью и уйди въ ея жизнь. Такъ сдѣлалъ Левинъ. Возьми народъ и уйди въ его жизнь. Такъ сдѣлалъ самъ Толстой. Возьми любовь и претвори въ ней свой эгоизмъ—такъ сдѣлалъ опять таки самъ Толстой. Только чтобы тебя не было, не было бы твоей требовательной, себя-любивой личности, — иначе — страхъ смерти, ужасъ смерти, невозможность примириться со смертью...

Какъ и Достоевскому, религіозная проблема всегда представлялась Толстому наиважнѣйшей. Какъ онъ самъ, такъ и всѣ его герои, заняты прежде всего исканіемъ Бога. Андрей Болконскій и Безухій въ „Войнѣ и Мирѣ", Левинъ въ „Аннѣ Карениной", десятки другихъ лицъ, не смотря на свою внѣшнюю счастливую обстановку, постоянно ощущаютъ какую-то неудовлетворенность, отравляющую имъ лучшія минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не могъ унизиться до протокола... Надѣляя главныхъ своихъ дѣйствующихъ лицъ муками невѣрующей души, ставя ихъ то и дѣло съ глазу на глазъ съ загадкой жизни, Толстой этимъ самымъ то и дѣло задаетъ себѣ и рѣшаетъ нравственно-религіозные вопросы.

Въ отвѣтахъ, которые онъ даетъ, можно замѣтить всегда одну характерную особенность. Толстой практиченъ. Его тянетъ къ работѣ, къ дѣятельности. Изъ религіи онъ прежде всего извлекаетъ ея дѣйственный элементъ. Вопросъ о смыслѣ жизни то и дѣло подмѣняется у него вопросомъ: „что же мнѣ дѣлать?"...

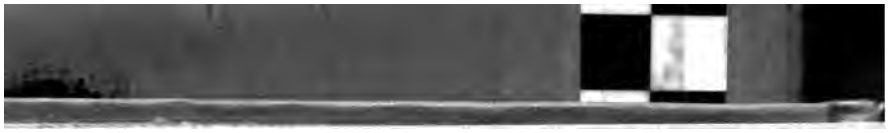
Второй источникъ идеализма Толстого—его народничество. Съ народничествомъ русскій читатель знакомъ хорошо, поэтому мнѣ нечего особенно о немъ распространяться. Въ современной своей формѣ оно явилось въ сороковыхъ годахъ и въ основѣ его лежало состраданіе и любовь къ крѣпостному безправному мужику. Съ той поры Антонъ Горемыка, Хори и Калинычи заполнили нашу литературу. Въ семидесятыхъ годахъ было въ шутку замѣчено, что сквозь толпу литературныхъ мужиковъ также трудно протолкаться, какъ за десять лѣтъ передъ тѣмъ сквозь „жаждущихъ знанія и просвѣщенія" барышень. Народничеству или отдали свою дань, или безъизмѣнно служили почти всѣ замѣчательные писатели земли русской. Списокъ ихъ длиненъ: Григоровичъ, Тургеневъ, Щедринъ, Достоевскій, Рѣшетниковъ, М. Вовчокъ, В. Слѣпцовъ, Гл. Успѣнскій, Л. Толстой, В. Короленко и т. д.—все это народники, хотя, разумѣется, каждый по своему. По своему народникъ и Л. Толстой. Съ его легкой руки, между прочимъ, привилась литературная тема о стремленіи интеллигента сблизиться съ народомъ и въ немъ найти правду жизни. Теперь это тема совсѣмъ захватанная, но въ 61-мъ году она имѣла всю прелесть новизны, разработанная къ тому же вѣроятно въ лучшемъ изъ чисто художественныхъ произведеній Толстого—повѣсти „Казаки".

Противопоставленіемъ народа и интеллигенціи Толстой занимается постоянно. Этому противопоставленію посвящены всѣ кавказскіе и сева-

стопольскіе разсказы. „Утро помѣщика“, „Три смерти“, лучшія страницы изъ „Войны и Мира“, „Плоды просвѣщенія“. Толстой, несомнѣнно, идеализируетъ народную жизнь, хотя бы и испорченную уже фабрикой, солдатчиной и пр. Мерзость этой жизни, выставленная во „Власти Тьмы“, какъ бы уравновѣшивается фигурой старца Акима, душа котораго младенчески чиста. Мы выше подробно разобрали народническія тенденціи графа Толстого; мы видѣли, съ какими запросами обращалась къ народу его надломленная интеллигентная душа, съ какимъ напряженіемъ искалъ онъ правды въ дѣтски безсвязныхъ рѣчахъ Каратаева, какъ томила его громадность долга нашей цивилизаціи передъ народомъ... Всему этому посвящена наша біографія.

1894 г.

ПРИЛОЖЕНІЯ.



ПРИЛОЖЕНІЕ I.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 20—22 февраля 1901 года № 557, съ посланіемъ вѣрнымъ чадамъ православныя греко-россійскія церкви о графѣ Львѣ Толстомъ.

Святѣйшій Синодъ, въ своемъ попеченіи о чадахъ православной церкви, объ охраненіи ихъ отъ губительнаго соблазна и о спасеніи заблуждающихся, имѣвъ сужденіе о графѣ Львѣ Толстомъ и его противохристіанскомъ и противоцерковномъ лжеученіи, призналъ благовременнымъ, въ предупрежденіе нарушенія мира церковнаго, обнародовать, чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", нижеслѣдующее свое посланіе:

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

святѣйшій всероссійскій синодъ вѣрнымъ чадамъ православныя каѳолическія грекороссійскія церкви

О Господѣ радоватися.

„Молимъ вы, братіе, блюдитеся отъ творящихъ распри и раздоры, кромѣ ученія, ему же вы научистеся, и уклонитеся отъ нихъ" (Римл. 16, 17).

Изначала церковь Христова терпѣла хулы и нападенія отъ многочисленныхъ еретиковъ и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать въ существенныхъ ея основаніяхъ, утверждающихся на вѣрѣ во Христа, сына Бога живаго. Но всѣ силы ада, по обѣтованію Господню, не могли одолѣть церкви святой, которая пребудетъ неодолѣнною во вѣки. И въ наши дни, Божіимъ попущеніемъ, явился новый лжеучитель, графъ Левъ Толстой. Извѣстный міру писатель, русскій по рожденію, православный по крещенію и воспитанію своему, графъ Толстой, въ прельщеніи гордаго ума своего, дерзко возсталъ на Господа и на Христа Его и на святое Его достояніе, явно предъ всѣми отрекся отъ вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятилъ свою литературную дѣятельность и данный ему отъ Бога талантъ на распространеніе въ народѣ ученій, противныхъ Христу и церкви, и на истребленіе въ умахъ и сердцахъ людей вѣры отеческой, вѣры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою до селѣ держалась и крѣпка была Русь святая. Въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ, во множествѣ разсѣеваемыхъ имъ и его учениками по всему свѣту, въ особенности же въ предѣлахъ дорогого отечества нашего, онъ проповѣдуетъ, съ ревностью фанатика, ниспроверженіе всѣхъ догматовъ православной церкви и самой сущности вѣры христіанской;

отвергаетъ личнаго живаго Бога, во святой Троицѣ славимаго, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицаетъ Господа Іисуса Христа—Богочеловѣка, Искупителя и Спасителя міра, пострадавшаго насъ ради человѣковъ и нашего ради спасенія и воскресшаго изъ мертвыхъ, отрицаетъ безсѣменное зачатіе по человѣчеству Христа Господа и дѣвство до рождества и по рождествѣ Пречистой Богородицы Приснодѣвы Маріи, не признаетъ загробной жизни и мздовоздаянія, отвергаетъ всѣ таинства церкви и благодатное въ нихъ дѣйствіе Святаго Духа и, ругаясь надъ самыми священными предметами вѣры православнаго народа, не содрогнулся подвергнуть глумленію величайшее изъ таинствъ, святую Евхаристію. Все сіе проповѣдуетъ графъ Левъ Толстой непрерывно, словомъ и писаніемъ къ соблазну и ужасу всего православнаго міра, и тѣмъ не прикровенно, но явно предъ всѣми, сознательно и намѣренно отторгъ себя самъ отъ всякаго общенія съ церковію православною. Бывшія же къ его вразумлѣнію попытки не увѣнчались успѣхомъ. Посему церковь не считаетъ его своимъ членомъ и не можетъ считать, доколѣ онъ не раскается и не возстановитъ своего общенія съ нею. Нынѣ о семъ свидѣтельствуемъ предъ всею церковію къ утвержденію правостоящихъ и къ вразумленію заблуждающихся, особливо же къ новому вразумленію самого графа Толстого. Многіе изъ ближнихъ его, хранящихъ вѣру, со скорбію помышляютъ о томъ, что онъ, на концѣ дней своихъ, остается безъ вѣры въ Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись отъ благословеній и молитвъ церкви и отъ всякаго общенія съ нею.

Посему свидѣтельствуя объ отпаденіи его отъ церкви, вмѣстѣ и молимся, да подастъ ему Господь покаяніе въ разумъ истины (2 Тим., 2, 25). Молимтися, милосердый Господи, не хотяй смерти грѣшныхъ, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей церкви. Аминь".

Подлинное подписали:

Смиренный *Антоній*, митрополитъ с.-петербургскій и ладожскій.
Смиренный *Ѳеогностъ*, митрополитъ кіевскій и галицкій.
Смиренный *Владиміръ*, митрополитъ московскій и коломенскій.
Смиренный *Іеронимъ*, архіепископъ холмскій и варшавскій.
Смиренный *Іаковъ*, епископъ кишиневскій и хотинскій.
Смиренный *Маркеллъ*, епископъ.
Смиренный *Борисъ*, епископъ.

Отвѣтъ Л. Н. Толстого Святѣйшему Синоду.

Отвѣтъ на постановленіе Синода отъ 20—22 февраля и на полученныя мною по этому поводу письма.

Я не хотѣлъ сначала отвѣчать на постановленіе обо мнѣ Синода, но постановленіе это вызвало очень много писемъ, въ которыхъ неизвѣстные мнѣ корреспонденты, одни бранятъ меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другіе увѣщеваютъ меня повѣрить въ то, во что я не переставалъ вѣрить, а третьи выражаютъ со мной единомысліе, которое въ дѣйствительности едва ли существуетъ, и сочувствіе, на которое я едва ли имѣю право; и я рѣшилъ отвѣтить и на самое постановленіе, указавъ на то, что въ немъ несправедливо, и на обращеніе ко мнѣ моихъ неизвѣстныхъ корреспондентовъ.

Постановленіе Синода вообще имѣетъ много недостатковъ. Оно незаконно, или умышленно двусмысленно, оно произвольно, неосновательно, несправедливо и кромѣ того содержитъ въ себѣ клевету и подстрекательство къ дурнымъ чувствамъ и поступкамъ.

Оно незаконно или умышленно двусмысленно потому, что если оно хочетъ быть отлученіемъ отъ церкви, то оно неудовлетворяетъ тѣмъ церковнымъ правиламъ, по которымъ можетъ произноситься такое отлученіе; если же это есть заявленіе о томъ, что тотъ, кто не вѣритъ въ церковь и ея догматы, не принадлежитъ къ ней, то это само собой разумѣется, и такое заявленіе не можетъ имѣть никакой другой цѣли, какъ только ту, чтобы не будучи въ сущности отлученіемъ, оно бы казалось таковымъ, что собственно и случилось, потому что оно такъ и было понято.

Оно произвольно, потому что обвиняетъ одного меня въ невѣріи во всѣ пункты, выписанные въ постановленіи, тогда какъ не только многіе, но почти всѣ образованные люди раздѣляютъ такое невѣріе и безпрестанно выражали и выражаютъ его въ разговорахъ, и въ чтеніи, и въ брошюрахъ, и въ книгахъ.

Оно неосновательно потому, что главнымъ поводомъ его появленія выставляется большое распространеніе мною, совращающаго людей, лжеученія, тогда какъ мнѣ хорошо извѣстно, что людей раздѣляющихъ мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространеніе моихъ писаній о религіи, благодаря цензурѣ, такъ ничтожно, что большинство людей прочитавши постановленіе Синода, не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о томъ, что мною писано о религіи, какъ это видно изъ получаемыхъ мною писемъ.

Оно содержитъ въ себѣ *явную неправду*, такъ какъ въ немъ сказано, что со стороны церкви были сдѣланы относительно меня неувѣнчавшіяся успѣхомъ попытки вразумленія. Ничего подобнаго никогда не было.

Оно представляетъ изъ себя то, что на юридическомъ языкѣ называется *клеветой*, такъ какъ въ немъ заключаются завѣдомо несправедливыя, клонящіяся къ моему вреду, заявленія.

Оно есть, наконецъ, *подстрекательство* къ дурнымъ чувствамъ и поступкамъ, такъ какъ вызвало, какъ и должно было ожидать, въ людяхъ непросвѣщенныхъ и неразсуждающихъ озлобленіе и ненависть ко мнѣ, доходящія до угрозъ убійства и высказываемыя въ получаемыхъ мною письмахъ. „Теперь ты преданъ анаѳемѣ и пойдешь по смерти въ вѣчное мученіе и издохнешь какъ собака... анаѳема ты, старый чертъ... Будь проклятъ!!"—пишетъ одинъ. Другой дѣлаетъ упрекъ правительству за то, что я не заключенъ еще въ монастырь, и наполняетъ письмо ругательствами. Третій пишетъ: „Если правительство не уберетъ тебя—мы сами заставимъ тебя замолчать". Письмо кончается проклятіями. „Чтобы уничтожить, прохвоста, тебя", пишетъ четвертый, „у меня найдутся средства"... слѣдуютъ неприличныя ругательства. Признаки такого же озлобленія я послѣ постановленія Синода, замѣчаю и при встрѣчахъ съ нѣкоторыми людьми. Въ самый день 25-го февраля, когда было опубликовано постановленіе, я, проходя по площади, слышалъ слова: „вотъ дьяволъ въ образѣ человѣка", и если бы толпа была иначе составлена, очень можетъ быть, что меня бы побили, какъ избили нѣсколько лѣтъ тому назадъ человѣка у Пантелеймоновской часовни. Такъ что постановленіе Синода очень нехорошо. То же, что люди подписавшіе его, такъ увѣрены въ своей правотѣ, что молятся о томъ, чтобы Богъ сдѣлалъ меня для моего блага такимъ же, каковы они, не дѣлаетъ его лучше. Это такъ вообще; въ частностяхъ же — постановленіе явно несправедливо въ слѣдующемъ. Въ постановленіи сказано: „извѣстный міру писатель, русскій по рожденію, православный по крещенію и воспитанію, графъ Толстой, въ прельщеніи гордаго ума своего, дерзко возсталъ на Господа и на Христа Его и на Святое Его достояніе, явно передъ всѣми отрекся отъ вскормившей и воспитавшей его Матери, церкви православной". То, что я отрекся отъ церкви, называющей себя православною, это совершенно справедливо. Но отрекся я отъ нея не потому, что возстаю на Господа, а напротивъ, только потому, что всѣми силами души желалъ служить Ему. Прежде чѣмъ отречься отъ церкви и единенія съ народомъ, которое мнѣ было невѣроятно дорого, я по нѣкоторымъ признакамъ, усумнившись въ правотѣ церкви, посвятилъ нѣсколько лѣтъ на то, чтобы изслѣдовать теоретически — я прочиталъ все, что могъ объ ученіи церкви, изучилъ и критически разобралъ догматическое богословіе; практически же строго слѣдовалъ въ продолженіи болѣе года всѣмъ предписаніямъ церкви, соблюдая всѣ посты и всѣ церковныя службы, и я убѣдился, что ученіе церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же — собраніе самыхъ грубыхъ суевѣрій и колдовства, скрывающаго весь смыслъ христіанскаго ученія. Стоитъ только почитать требникъ, прослѣдить за тѣми обрядами, которые, не переставая, совершаются православнымъ духовенствомъ и считаются христіанскимъ богослуженіемъ, чтобы увидать, что

всѣ эти обряды ничто иное, какъ различные пріемы колдовства, приспособленные ко всѣмъ важнымъ случаямъ жизни. Для того, чтобы ребенокъ, если умретъ, пошелъ въ рай, нужно умѣть помазать его масломъ и выкупать съ произнесеніемъ извѣстныхъ словъ; для того, чтобы родильница перестала быть нечистою, нужно произнести извѣстныя заклинанія; чтобы былъ успѣхъ въ дѣлѣ или спокойное счастье въ новомъ домѣ, для того чтобы хорошо родился хлѣбъ, прекратилась засуха, для того чтобы излѣчиться отъ болѣзни, для того, чтобы облегчить положеніе умершаго на томъ свѣтѣ, для всего этого и тысячи другихъ обстоятельствъ есть извѣстныя заклинанія, которыя въ извѣстномъ мѣстѣ за извѣстныя приношенія произносятся священникомъ.

Я дѣйствительно отрекся отъ церкви, пересталъ исполнять ея обряды и написалъ въ завѣщаніи своимъ близкимъ, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мнѣ церковныхъ служителей и мертвое мое тѣло убрали бы поскорѣе, безъ всякихъ надъ нимъ заклинаній и молитвъ, какъ убираютъ всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мѣшала живымъ.

Тоже, что сказано, что я „посвятилъ свою литературную дѣятельность и данный мнѣ отъ Бога талантъ на распространеніе въ народѣ ученій противныхъ Христу и церкви“ и т. д. и что я „въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ, во множествѣ разсѣваемыхъ мною, такъ же какъ и учениками моими по всему свѣту, въ особенности же въ предѣлахъ дорогого отечества нашего, проповѣдую съ ревностью фанатика ниспроверженіе всѣхъ догматовъ православной церкви и самой сущности вѣры христіанской“... то это несправедливо. Я никогда не заботился о распространеніи своего ученія. Правда, я самъ для себя выразилъ въ сочиненіяхъ свое пониманіе ученія Христа и не скрывалъ эти сочиненія отъ людей, желавшихъ съ ними познакомиться, но никогда самъ не печаталъ ихъ; говорилъ же людямъ о томъ, какъ я понимаю ученіе Христа, только тогда, когда меня объ этомъ спрашивали. Такимъ людямъ я говорилъ то, что думаю, и давалъ, если они у меня были, мои книги.

Потомъ сказано, что я „отвергаю Бога, во Святой Троицѣ славимаго, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицаю Господа Іисуса Христа, Богочеловѣка, Богочеловѣка Искупителя и Спасителя міра, пострадавшаго насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія и воскресшаго изъ мертвыхъ; отрицаю безсѣменное зачатіе по человѣчеству Христа Господа и дѣвство до рождества и по рождествѣ Пречистой Богородицы“. То, что я отвергаю непонятную Троицу и неимѣющую никакого смысла въ наше время басню о паденіи перваго человѣка, кощунственную исторію о Богѣ, родившемся отъ Дѣвы, искупляющемъ родъ человѣческій, то это совершенно справедливо; Бога же Духа, Бога — любовь, единаго Бога — начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю дѣйствительно существующимъ кромѣ Бога и весь смыслъ жизни вижу только въ исполненіи воли Бога, выраженной въ христіанскомъ ученіи.

Еще сказано: „не признаетъ загробной жизни и мздовоздаянія“. Если разумѣютъ жизнь загробную въ смыслѣ второго пришествія, ада съ вѣчными мученіями, дьяволами и рая — постояннаго блаженства, совершенно справедлино, что я не признаю такой загробной жизни, но жизнь

вѣчную и возмездіе здѣсь и вездѣ, теперь и всегда, признаю до такой степени, что стоя по своимъ годамъ на краю гроба, часто долженъ дѣлать усилія, чтобы не желать плотской смерти, т. е. рожденія къ новой жизни, и вѣрю, что всякій добрый поступокъ увеличиваетъ благо моей вѣчной жизни, а всякій злой уменьшаетъ его.

Сказано также, что я отвергаю всѣ таинства. Это совершенно справедливо. Всѣ таинства я считаю низменными, грубымъ, несоотвѣтствующимъ понятію о Богѣ и христіанскому ученію колдовствомъ и кромѣ того нарушеніемъ самыхъ прямыхъ указаній Евангелія. Въ крещеніи младенцевъ вижу явное извращеніе всего того смысла, который могло имѣть крещеніе для взрослыхъ, сознательно принимающихъ христіанство; въ совершеніи таинства брака надъ людьми, завѣдомо соединившимися прежде, и въ допущеніи разводовъ и въ освященіи браковъ разведенныхъ вижу прямое нарушеніе и смысла и буквы евангельскаго ученія. Въ періодическомъ прощеніи грѣховъ на исповѣди вижу вредный обманъ, только поощряющій безнравственность и уничтожающій опасеніе передъ согрѣшеніемъ. Въ елеосвященіи, также какъ и въ миропомазаніи вижу вредный обманъ колдовства, какъ и въ почитаніи иконъ и мощей, и какъ во всѣхъ тѣхъ обрядахъ, молитвахъ, заклинаніяхъ, которыми наполнены требники. Въ причащеніи вижу обоготвореніе плоти и извращеніе христіанскаго ученія; въ священствѣ, кромѣ явнаго приготовленія къ обману, вижу прямое нарушеніе словъ Христа,—прямо запрещающаго кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мѳ. XXIII, 8—10). Сказано, наконецъ, какъ послѣдняя и высшая степень моей виновности, что я, ругаясь надъ самыми „священными предметами вѣры, не содрогнулся подвергнуть глумленію священнѣйшее изъ таинствъ—Евхаристію".

То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священникъ дѣлаетъ для приготовленія этого, такъ называемаго, таинства, это совершенно справедливо. Но то, что это такъ называемое таинство есть нѣчто священное и что описать его прямо какъ оно дѣлается, есть кощунство—это совершенно не справедливо. Кощунство не въ томъ чтобы назвать перегородку перегородкой, а не иконостасомъ и чашку чашкой, а не потиромъ и т. п., а ужаснѣйшее и не перестающее, возмутительное кощунство въ томъ, что люди, пользуясь всѣми возможными средствами обмана и гипнотизаціи—увѣряютъ дѣтей и простодушный народъ, что если нарѣзать извѣстнымъ способомъ и при произнесеніи извѣстныхъ словъ кусочки хлѣба и положить въ вино, то въ кусочки эти входитъ Богъ, что тотъ, во имя кого живого вынется кусочекъ, — тотъ будетъ здоровъ, во имя же кого умершаго вынется такой кусочекъ, то тому на томъ свѣтѣ будетъ лучше и что тотъ, кто съѣстъ этотъ кусочекъ, въ того войдетъ самъ Богъ. Вѣдь это ужасно!

Какъ бы кто ни понималъ личность Христа, то ученіе его, которое уничтожаетъ зло міра такъ просто, легко, несомнѣнно даетъ благо людямъ, если только они не будутъ извращать его. Это ученіе все скрыто, все передѣлано въ грубое колдовство купанья, мазанья масломъ, тѣлодвиженій, заклинаній, проглатыванія кусочковъ и т. п., такъ что отъ ученія ничего не осталось. И если когда какой человѣкъ попытается напомнить людямъ то, что не въ этихъ волхвованіяхъ, не въ молебствіяхъ,

обѣдняхъ, свѣчахъ, иконахъ ученіе Христа, а въ томъ, чтобы люди любили другъ друга, не платили зломъ за зло, не судили, не убивали другъ друга, то поднимется негодованіе тѣхъ, которымъ выгоденъ этотъ обманъ, и люди эти во всеуслышаніе съ непостижимой дерзостью говорятъ въ церквахъ, печатаютъ въ книжкахъ, газетахъ, катехизисахъ, что Христосъ никогда не запрещалъ клятву (присягу), никогда не защищалъ убійство (казни, войны), что ученіе о непротивленіи злу съ сатанинской хитростью выдумано врагами Христа; [1]) ужасно главное то, что люди, которымъ это выгодно, обманываютъ не только взрослыхъ, но имѣя на то власть и дѣтей, тѣхъ самымъ дѣтей, про которыхъ Христосъ говорилъ, что горе тому, кто ихъ обманетъ. Ужасно то, что люди эти для своихъ маленькихъ выгодъ дѣлаютъ такое ужасное зло, скрывая отъ людей истину, открытую Христомъ и дающую благо, которое не уравновѣшивается и въ тысячной долѣ получаемой ими отъ того выгодой. Они поступаютъ какъ тотъ работникъ, который убиваетъ цѣлую семью въ 5, 6 человѣкъ, чтобы унести старую поддевку и 40 копѣекъ денегъ. Ему охотно отдали бы всю одежду и всѣ деньги, только бы онъ не убивалъ ихъ. Но онъ не можетъ поступить иначе. Вотъ это-то и ужасно! И потому обличать ихъ обманъ не только не можно, но и должно. Если есть что священное, то никакъ ужъ не то, что они называютъ таинствомъ, а именно эта обязанность обличить ихъ религіозный обманъ, когда видишь его. Если чувашъ мажетъ своего идола сметаной или сѣчетъ его, я могу не оскорблять его вѣрованія и равнодушно пройти мимо, потому что онъ дѣлаетъ это во имя чуждаго мнѣ своего суевѣрія и не касается того, что для меня священно; но когда люди своимъ дикимъ суевѣріемъ, какъ бы много ихъ ни было, какъ бы старо ни было ихъ суевѣріе и какъ бы могущественны они ни были,— во имя того Бога, которымъ я живу и того ученія Христа, которое дало жизнь мнѣ и можетъ дать ее всѣмъ людямъ,—проповѣдуютъ грубое колдовство,—я не могу этого видѣть спокойно. И если я называю по имени то, что они дѣлаютъ, то я дѣлаю только то, что долженъ, чего не могу не дѣлать, если я вѣрую въ Бога и христіанское ученіе. Если же они обличеніе ихъ обмана называютъ кощунствомъ, то это только доказываетъ силу ихъ обмана и должно только увеличивать усиліе людей, вѣрующихъ въ Бога и ученіе Христа, чтобы уничтожить этотъ обманъ, скрывающій отъ людей истиннаго Бога.

Про Христа, выгнавшаго изъ храма быковъ, овецъ и продавцевъ, должны были сказать, что онъ кощунствуетъ. Если бы онъ пришелъ теперь и увидалъ, что дѣлается его именемъ въ церкви, то еще съ большимъ и законнымъ гнѣвомъ, навѣрное выкидалъ бы всѣ эти ужасные антиминсы и копья, и кресты, и чаши, и свѣчи, и иконы и все то посредствомъ чего они, колдуя, скрываютъ отъ людей Бога и его ученіе.

Такъ вотъ что справедливо и что несправедливо въ постановленіи обо мнѣ Синода. Я дѣйствительно не вѣрю въ то, во что они говорятъ, что вѣрятъ. Но я вѣрю во многое, во что они хотятъ увѣрить людей, что я не вѣрю.

Вѣрю я въ слѣдующее: вѣрю въ Бога, котораго понимаю какъ Духъ,

---

[1]) Рѣчь Амвросія, епископа харьковскаго.

какъ любовь, какъ начало всего. Вѣрю въ то, что Онъ во мнѣ и я въ Немъ. Вѣрю въ то, что воля Бога яснѣе, понятнѣе всего выражена въ ученіи человѣка—Христа, котораго понимать Богомъ и которому молиться—считаю величайшимъ кощунствомъ. Вѣрю въ то, что истинное благо человѣка въ исполненіи воли Бога, воля же его въ томъ, чтобы люди любили другъ друга и вслѣдствіе этого поступали бы съ другими такъ, какъ они хотятъ, чтобы поступали съ ними, какъ и сказано въ Евангеліи, что въ этомъ весь законъ и пророки.—Вѣрю въ то, что смыслъ жизни каждаго человѣка поэтому только въ увеличеніи въ себѣ любви, что это увеличеніе любви ведетъ отдѣльнаго человѣка въ жизни этой къ все большему и большему благу, даетъ послѣ смерти тѣмъ большее благо, чѣмъ больше будетъ въ человѣкѣ любви и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе всего другого содѣйствуетъ установленію въ мірѣ Царства Божія, т. е. такого строя жизни, при которомъ царствующіе теперь раздоры, обманъ и насиліе будутъ замѣнены свободнымъ согласіемъ, правдой и братской любовью людей между собой. Вѣрю, что для преуспѣянія въ любви есть только одно средство: молитва, не молитва общественная въ храмахъ, прямо запрещенная Христомъ (Мѳ. VI, 5 — 13), а молитва, образецъ которой данъ намъ Христомъ, уединенная, состоящая въ возстановленіи и укрѣпленіи въ своемъ сознаніи смысла своей жизни и своей зависимости только отъ воли Бога.

Оскорбляютъ, огорчаютъ или соблазняютъ кого-либо, мѣшаютъ чему-нибудь и кому-нибудь или не нравятся эти мои вѣрованія—я также мало могу ихъ измѣнить, какъ свое тѣло. Мнѣ надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и поэтому я не могу никакъ иначе вѣрить, какъ такъ, какъ я вѣрю. Готовясь идти къ тому Богу, отъ котораго я изшелъ, я не говорю, чтобы моя вѣра была одна несомнѣнно на всѣ времена истинна, но я не вижу другой, болѣе простой, ясной и отвѣчающей всѣмъ требованіямъ моего ума и сердца. Если я узнаю такую, я сейчасъ же приму ее потому, что Богу ничего, кромѣ истины, не нужно. Вернуться же къ тому, отъ чего я съ такими страданіями только что вышелъ, я никакъ уже не могу, какъ не можетъ летающая птица войти въ скорлупу того яйца, изъ котораго она вышла.

„И тотъ, кто начнетъ съ того, что полюбитъ христіанство болѣе истины, очень скоро полюбитъ свою церковь или секту болѣе, чѣмъ христіанство, и кончитъ тѣмъ, что будетъ любить себя (свое спокойствіе) больше всего на свѣтѣ“—сказалъ Кольриджъ.

Я шелъ обратнымъ путемъ. Я началъ съ того, что полюбилъ свою православную вѣру болѣе своего спокойствія, потомъ полюбилъ христіанство болѣе своей церкви, теперь же люблю истину болѣе всего на свѣтѣ. И до сихъ поръ истина совпадала для меня съ христіанствомъ, какъ я его понимаю. И я исповѣдую это христіанство и въ той мѣрѣ, въ какой исповѣдую его, спокойно и радостно живу, и спокойно и радостно приближаюсь къ смерти.

Левъ Толстой.

4 апрѣля 1901 года.
Москва.

ПРИЛОЖЕНІЕ II.

Въ дни Толстого.

7-е сентября 1903 г.

Въ сущности, это даже интересно: какого же на самомъ дѣлѣ роста Л. Н. Толстой?

Вопросъ этотъ на-дняхъ поставленъ г. В—имъ, который удивился моимъ словамъ, что „Толстой — низенькій, сухой, сутуловатый старикъ". Самому г. В—ому Толстой показался „громаднымъ и необъятнымъ".

Ничего страннаго въ этомъ противорѣчіи нѣтъ.

Возьмите двухъ очевидцевъ любого происшествія, и вы услышите отъ нихъ разсказы настолько противорѣчивые, что вамъ лишь съ величайшимъ трудомъ удастся примирить ихъ.

Или: на лекціяхъ экспериментальной психологіи часто устраиваютъ такой опытъ: вводятъ какого-нибудь человѣка, который по приглашенію профессора начинаетъ разсказывать о какомъ-нибудь событіи или постигшемъ его несчастіи. По окончаніи разсказа человѣкъ удаляется и профессоръ начинаетъ допрашивать слушателей: кого они видѣли? какого онъ роста, есть ли у него борода, размахиваетъ ли онъ руками? и пр. Обыкновенно получается десятокъ различныхъ отвѣтовъ, хотя всякій старается сказать самую настоящую правду.

Возьмите дальше любой процессъ и сравните показанія свидѣтелей. При малой опытности вамъ непремѣнно придетъ въ голову, что всѣ они лгутъ. Въ дѣйствительности же они всѣ разсказываютъ лишь то, что имъ *показалось*. И обыкновенно на этихъ „показалось" основываются заключенія, произносятся обвинительныя рѣчи, строятся приговоры. Девять десятыхъ нашихъ ошибокъ и несчастій отъ того, что мы не умѣемъ или не можемъ смотрѣть и руководствуемся лишь тѣмъ, что „намъ показалось".

Съ этимъ „показалось" ничего уже не подѣлаешь, разъ въ дѣло замѣшалось „внушеніе", гипнозъ. Благодаря внушенію, что „это — ревизоръ", Добчинскій и Бобчинскій увидѣли даже въ лицѣ Хлестакова „этакое разсужденіе".

Что въ нашихъ словахъ, нашемъ отношеніи къ Толстому внушеніе играетъ огромную роль — это само собой разумѣется. Мы выросли и живемъ въ мысли, что это — великій писатель земли русской, самый

крупный писатель міровой литературы. „Огромный онъ“ — говорилъ про него Успенскій. И что удивительнаго, если, являясь въ ореолѣ неизмѣримой славы, Толстой кажется ростомъ въ „три аршина и даже больше“.

Трехъаршинный Толстой фигурируетъ на всѣхъ портретахъ и снимкахъ Рѣпина. Здѣсь—онъ дюжій, могучій человѣкъ, настоящій богатырь, Илья Муромецъ или Микула Селяниновичъ. Такъ и ждешь, что онъ возьметъ въ руки палицу въ „сорокъ пудъ“ или духомъ выпьетъ чашу въ три ведра. Это, конечно, не дѣйствительность, но вы чувствуете, что такъ изобразить Толстого художникъ имѣлъ полное право. Другого *художественнаго* впечатлѣнія Толстой не можетъ и производить. Тургеневъ и тотъ, рекомендуя Толстого своимъ французскимъ друзьямъ, писалъ про него: „Это человѣкъ хорошаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенской жизнью“.

Но рядомъ съ этимъ возьмите лѣпку князя Трубецкого. Здѣсь Толстой на лошади, на очень высокомъ казацкомъ сѣдлѣ. Онъ сильно сутулый, хотя держится бодро и увѣренно. И въ его фигурѣ, конечно, ничего общаго ни съ Ильей Муромцемъ, ни съ Петромъ I на Сенатской площади. Передъ вами—невысокій, приземистый старикъ, величавый и скромный, вродѣ того Кутузова, котораго съ такой любовью нарисовалъ самъ Толстой „Въ войнѣ и мирѣ“.

Однако, возлѣ этого маленькаго [1]) сухого старика чувствуешь себя и съ трепетомъ, и съ внутренней дрожью. Стоишь, какъ передъ пирамидой Хеопса, и твоя голова кружится при мысли, что рядомъ съ тобою Толстой.

Мнѣ разсказывали, что другіе держатся въ такомъ случаѣ гораздо развязнѣе и самоувѣреннѣе. Завяжутъ себѣ гдѣ-нибудь въ Москвѣ или Кіевѣ душу „бантомъ по послѣдней идеалистической модѣ“ и сейчасъ же въ Ясную Поляну, чтобы Толстой на нихъ любовался. Ну, если бы они знали, какъ Толстой на нихъ „любуется“, они подобрали бы немного свои павлиньи уборы и завели бы себѣ бантъ поскромнѣе.

Впрочемъ — едва ли.

У этихъ людей есть успокоительныя мысли, которыя позволяютъ имъ даже Толстого наставлять на путь истины. Эти успокоительныя мысли заключаются, во-первыхъ, въ томъ, что они — идеалисты, хотя бы проблематическіе,—несомнѣнно, самые передовые люди Россіи, а, во-вторыхъ, что Толстой хотя и является, несомнѣнно, великимъ художникомъ, но, какъ проповѣдникъ и учитель жизни, говоритъ вещи, противныя здравому смыслу, или, по просту, глупости.

Это довольно распространенный взглядъ и не только среди идеалистовъ. Наши газеты въ день 75-ти-лѣтія рожденія Толстого вспоминали о немъ особенно дружно и старательно.

Что на самомъ дѣлѣ проще: великій человѣкъ, великій художникъ, но говоритъ глупости, разъ заходитъ рѣчь о деньгахъ, рабствѣ нашего

---

[1]) И то, конечно, что 75 прожитыхъ лѣтъ и рядъ плевритовъ изсушили и согнули сравнительно съ прежнимъ, могучее тѣло Толстого.

времени, корнѣ общественнаго зла и т. д. Быть можетъ, даже Толстому было бы полезно почитать внутреннія обозрѣнія нашихъ журналовъ—кто это знаетъ? Изъ газетныхъ статей по крайней мѣрѣ слѣдуетъ, что „да, не мѣшало бы"...

Я лично никогда не раздѣлялъ и не раздѣляю взглядовъ Толстого на современность и способы ея излѣченія. Но всегда говорю объ этомъ съ опаской.

Съ опаской потому, что, мнѣ кажется, и моя мысль и мысль большинства людей нашего времени вращаются совсѣмъ въ другой плоскости, чѣмъ мысль Толстого.

На самомъ дѣлѣ: Толстому, чтобы выразить то, что его интересуетъ, нужны слова: жизнь, смерть, безсмертіе, любовь, Богъ, человѣчество, правда,

Отъ большинства изъ этихъ словъ мы отказались. Многихъ изъ нихъ мы не понимаемъ совсѣмъ. На связанные съ ними вопросы мы закрываемъ глаза. Мы въ жизни рѣшаемъ ариѳметическимъ путемъ ариѳметическія задачи. Толстой только думаетъ, что онъ близокъ къ современности, когда говоритъ о деньгахъ или о рабствѣ нашихъ дней. Въ дѣйствительности, онъ и раньше, и теперь всегда страшно отъ нея далекъ. На жизнь онъ смотритъ въ телескопъ. Его, напр., нисколько не интересуетъ, что за соціалъ-демократовъ въ Германіи подано три слишкомъ милліона голосовъ, что на предстоящихъ выборахъ въ думу избирателями явятся Н. К. Михайловскій и В. Г. Короленко, что оба они могутъ даже попасть въ гласные. Всѣ эти интересы внѣ плоскости толстовскаго мышленія. Для него важна лишь душа человѣка, ея счастье, ея рѣшенія о смыслѣ бытія и достиженіи праведности.

Онъ интересуется не землей, а міромъ и Богомъ. Если мы говоримъ о дняхъ и часахъ — то онъ о тысячелѣтіяхъ и вѣчности. Его мысль выливалась всегда въ формулы почти неизмѣримой емкости. То онъ училъ, что надо отказатья отъ всего внѣшняго, искусственнаго, человѣческаго, условнаго и вернуться къ первобытной простотѣ и естественности, то, что надо жить исключительно трудами своихъ рукъ, вспахивая и засѣвая землю, — то, что надо отказаться отъ дѣторожденія и всякой борьбы со зломъ (путемъ насилія), — то, наконецъ, что истина въ любви ко *всѣмъ* людямъ и въ единеніи съ ними.

Я говорю, что все это изъ другой плоскости Только въ этой другой надземной плоскости и можно разсматривать ученіе Толстого. Тамъ нѣтъ отвѣтовъ изъ обиходной рецептуры. Тамъ человѣкъ, земля, жизнь противопоставлены *вѣчности,* берутся и разсматриваются въ ея освѣщеніи, въ ея непостижимой для насъ глубинѣ.

Толстой постоянно говоритъ о любви къ людямъ.

Но не согласитесь ли вы съ тѣмъ, что въ лексиконѣ обыденной человѣческой жизни этого слова совершенно нѣтъ, или же оно такъ же мало намъ нужно, какъ слова бегемотъ, крокодилъ, сикамбры и макробіотика?

Я говорю, конечно, о любви къ человѣчеству и ближнему, а не о

семейныхъ привязанностяхъ, а въ этомъ случаѣ „любовь“ звучитъ красиво и эффектно, но не сильно и не внушительно.

Возьмите любой вопросъ о городскомъ благоустройствѣ, школахъ, бюджетѣ, колоніальной политикѣ, македонскомъ возстаніи и т. д., и скажите, какъ подойдете вы къ нимъ съ любовью? Можно ли проповѣдывать любовь гласнымъ думы, башибузукамъ, европейскимъ и американскимъ культуртрегерамъ, поражающимъ насъ своимъ варварствомъ въ Суданѣ, Камерунѣ, на Филиппинахъ, на югѣ Африки?.. Проку изъ этой проповѣди будетъ, очевидно, столько же, сколько изъ попытокъ обратить львовъ и тигровъ въ вегетаріанцевъ.

На днѣ души современнаго человѣка лежитъ хищный звѣрь, нисколько не укрощенный культурой, а только напуганный ею.

Страшно сказать человѣку: „все позволено“, потому что, разъ все позволено — звѣрь сидящій въ немъ, сейчасъ же пуститъ въ ходъ свои зубы и когти.

Достоевскій превосходно это понималъ, какъ превосходно понималъ онъ и то, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ и нашей цивилизаціи, и нашего просвѣщенія, и нашей интеллигентности совсѣмъ недостаточно, чтобы побѣдить звѣря. По свидѣтельству Мережковскаго, въ его семьѣ хранится одинъ разсказъ, нигдѣ ненапечатанный и даже такой, который или совсѣмъ никогда, или еще очень и очень долго не будетъ напечатанъ. Въ этомъ разсказѣ рѣчь идетъ о человѣкѣ, понимающемъ и Гегеля и Шопенгауэра, несомнѣнно, даже и — искренне передовомъ, съ которымъ случилась однако странная и какъ-будто даже невозможная исторія: оставшись въ какую-то минуту наединѣ съ маленькой дѣвочкой, онъ изнасиловалъ и растлилъ ее со всѣмъ тѣмъ звѣрствомъ, на которое, казалось бы, способенъ только дикарь. И это звѣрство описано Достоевскимъ такъ ярко, что и онъ самъ не рѣшился и семья его не рѣшается напечатать разсказъ.

Здѣсь дѣло не въ исключительной минутѣ, а въ томъ, что звѣрь всегда и въ каждомъ изъ насъ, но онъ на цѣпи всякихъ соображеній, страха, угрозъ. Вспомните въ подтвержденіе „Бездну“ Андреева, гдѣ юноша набрасывается опять-таки по-звѣрски на свою невѣсту только что изнасилованную босяками, или, „la bête humaine“ Зола... И какъ вообще не повѣрить въ звѣря, по крайней мѣрѣ, не признать его, когда каждый день слышишь то о пыткахъ, учиненныхъ американцами на Филиппинахъ, то о подвигахъ европейцевъ въ Китаѣ, то о дѣлѣ Петерса въ нѣмецкой Африкѣ, то о сжиганіи негровъ въ Соединенныхъ Штатахъ...

Во многомъ и многомъ гораздо болѣе смѣлый, чѣмъ Достоевскій или Золя, Толстой, однако, не хочетъ признать этого страшнаго, органическаго элемента въ человѣкѣ и видитъ въ любви единственную дѣятельную силу людского общежитія. Онъ живетъ мыслью, что человѣкъ отъ природы добръ и способенъ любить всѣхъ. Какъ любить?—спрашиваемъ мы себя съ недоумѣніемъ. Вѣдь для того, чтобы любить, мало желать ближнему всякаго счастья и благополучія, мало даже помогать ему въ достиженіи этихъ цѣлей.

Для того, чтобы я любилъ ближняго, нужно, чтобы этотъ ближній былъ для меня *дорогъ* и *милъ*, чтобы я дѣйствительно былъ способенъ

обнимать его, хотя бы онъ былъ покрытъ язвами, вѣчно, вѣчно выноситъ его присутствіе, терпѣть его дурное расположеніе духа и капризы, когда надо—пожертвовать для него не только своимъ избыткомъ, но послѣдней рубашкой, своимъ самолюбіемъ и успѣхомъ. А главное, чтобы онъ былъ мнѣ милъ, какъ ребенокъ или женщина, въ которую я влюбленъ.

Но я знаю, что я стану стараться до седьмого поту, а такой любви къ ближнему не достигну. Такая любовь — красивое слово, лишенное однако всякой власти, всякой силы внушенія. И, конечно, не ей суждено побѣдить звѣря, сидящаго въ человѣкѣ.

Современная свободолюбивая и себялюбивая мысль человѣка или уходитъ въ полное одиночество, откуда относится съ пренебреженіемъ къ къ ближнимъ и человѣчеству, не желая даже интересоваться вопросами ихъ жизни, — или же согласна вступить въ общеніе съ другими, но никакъ не подъ условіемъ интимнѣйшаго сліянія душъ, т. е. любви, а только *выгоды и товарищества.*

Выгоды Толстой презираетъ.

Товарищество, для котораго прежде всего необходима общность интересовъ, одинаково не пользуется его сочувствіемъ.

И это-то его вниманіе къ двумъ самымъ большимъ силамъ, помогающимъ сближенію людей, и позволяетъ мнѣ еще разъ сказать, что его мысль вращается въ другой плоскости и составляетъ, по злому выраженію одного изъ критиковъ, путеводитель въ царство небесное, а не по царствію земному.

Мы видимъ около себя, что сближаетъ и объединяетъ людей: рабочіе союзы, соціализмъ, сіонизмъ, потребительныя товарищества, партійные разсчеты и т. д.—словомъ, всѣ тѣ теченія жизни, на знамени которыхъ написано: „общій интересъ".

Толстому это представляется такъ же плоскимъ ничтожнымъ и мелкимъ, какъ плоскими, мелкими и ничтожными представляются ему заботы о матеріальномъ обезпеченіи или о завтрашнемъ днѣ. На это онъ смотритъ свысока и по барски, и, право, въ этомъ отношеніи напоминаетъ ту герцогиню, которая посовѣтовала голодающимъ пейзанамъ ѣсть пирожки, разъ у нихъ нѣтъ хлѣба.

Общій интересъ, общая выгода и ими обусловленное товарищество—это наша плоскость.

Любовь—это плоскость Толстого.

Какъ обойтись тутъ безъ взаимнаго непониманія? Какъ иначе объяснить то, что при всемъ своемъ обаяніи Толстой почти не имѣетъ послѣдователей и одинъ изъ самыхъ искреннихъ его послѣдователей, М. С. Новиковъ, обсуждая вмѣстѣ со мною какой-то изъ совѣтовъ, преподанныхъ ему въ Ясной Полянѣ, промолвился въ концѣ концовъ словами:

— Пробылъ бы Левъ Николаевичъ хоть три дня въ нашей мужицкой шкурѣ—не то бы заговорилъ.

Солнце есть солнце, но замѣнить свѣчи оно не можетъ. Между тѣмъ

Толстой, нося въ себѣ это солнце—любовь къ людямъ,—и созерцая жизнь подъ знакомъ вѣчности, такъ ревниво оберегаетъ себя отъ всякихъ нашихъ союзовъ, товариществъ, всего того, что имѣетъ хоть какое-нибудь касательство къ профессіональнымъ или групповымъ интересамъ, что невольно является мысль, не есть ли онъ тотъ самый великій одинокій человѣкъ, для котораго сближеніе съ людьми просто невозможно, развѣ только въ идеѣ, въ отвлеченнѣйшей сферѣ всепроникающей, всетворящей міровой любви? И дѣйствительно, всю жизнь Толстой былъ страшно одинъ. Друзей его мы не знаемъ...

Но это уже слишкомъ интимно. Возьмите мелочи.

Несмотря на всѣ настоянія Тургенева, онъ рѣшительно отказался участвовать въ московскихъ пушкинскихъ торжествахъ. Также отказался онъ дать свое имя для одного важнаго общелитературнаго дѣла въ декабрѣ прошлаго (1902) года. Какъ его ни упрашивали, онъ остался непоколебимъ. Не менѣе характеренъ и его отвѣтъ англійскимъ толстовцамъ, предложившимъ ему вступить въ члены ихъ общества:

„Я всегда былъ того убѣжденія—писалъ Толстой—и оно не можетъ измѣниться — что быть членомъ стараго общества, учрежденнаго Богомъ при началѣ сознательной жизни человѣчества, болѣе производительно для себя и для человѣчества, чѣмъ быть членомъ обществъ, организуемыхъ нами для достиженія тѣхъ цѣлей, которыя мы въ состояніи сознать.

„Я допускаю, что существуютъ нѣкоторыя выгоды въ соединеніи людей одинаковыхъ мыслей въ общества; но думаю, что невыгоды такихъ организацій гораздо значительнѣе. И потому я сознаю, что для меня было бы большой потерей перемѣнить свое членство великаго божьяго общества на кажущееся полезнымъ участіе въ какомъ бы то ни было человѣческомъ обществѣ“ [1]).

Толстому, очевидно, нужно все или ничего. Ради временныхъ цѣлей онъ не согласенъ ни на какое ограниченіе своей личной свободы. Онъ разсматриваетъ человѣчество, какъ нѣчто единое и подъ знакомъ вѣчности. Здѣсь, въ этой плоскости можно дѣйствительно говорить лишь о „великомъ божьемъ обществѣ“, и считать ненужнымъ союзы людей, организуемые ими для достиженія тѣхъ цѣлей, которыя „они въ состояніи сознать“.

Быть можетъ, это самый важный пунктъ расхожденія мысли Толстого и нашей. Быть вмѣстѣ съ другими, въ союзѣ съ ними подъ знаменемъ общихъ, т. е. групповыхъ или профессіональныхъ, интересовъ,—это, несомнѣнно, самое крупное и важное, что есть въ современной жизни. Мы не понимаемъ любви, потому что она слишкомъ требовательна и интимна, но мы понимаемъ товарищество и союзъ и ради нихъ готовы пожертвовать частью, если не своей свободы, то, по крайней мѣрѣ, самолюбія.

Мы думаемъ даже, что въ развитіи товарищескихъ чувствъ въ душѣ ребенка, въ душѣ человѣка — наше будущее. Мы радостно идемъ этому навстрѣчу, мы привѣтствуемъ все то, что объединяетъ, слѣпляетъ, груп-

[1]) См. „Одес. Нов.“ сентябрь 1902 г.

пируетъ людей, даетъ имъ общее знамя. Одинокій человѣкъ представляется намъ самымъ несчастнымъ и слабымъ существомъ въ мірѣ. Выясняя его интересы, близкіе съ интересами другихъ людей той же профессіи, той же группы, того же сословія, наша наука и наше просвѣщеніе создаютъ цементъ для товариществъ и союзовъ.

Съ своей отвлеченной идеей міровой любви Толстой остался одинокимъ. Только его величіе, его геній спасли его отъ несчастія и слабости. Но его ученики испытали весь ужасъ слишкомъ отвлеченныхъ началъ. Ихъ колоніи разсыпались среди дрязгъ, взаимнаго недовольства, борьбы мелкихъ самолюбій. Они уходили изъ нихъ раздраженные и разочарованные, сломленные непосильной возложенной на себя ношей. Они стремились къ братству и взаимной любви. Это оказалось не по плечу. Они пренебрегли тѣмъ, что дѣйствительно объединяетъ людей—простымъ чувствомъ товарищества, простымъ сознаніемъ общаго интереса...

Толстой въ его отношеніи къ современной жизни похожъ на человѣка, который, входя въ темное подземелье, разсчитывалъ бы на то, что свѣтъ доставитъ ему солнце, и поэтому не запасся ни фонаремъ, ни факеломъ. Поэтому-то его ученіе и не могло создать ничего прочнаго. Для того, чтобы міровая любовь стала общественной и исторической силой, нужны другая земля и другіе люди.

Но изъ этого совсѣмъ не слѣдуетъ, что ученіе Толстого—глупость. Слѣдуетъ только то, что оно въ другой плоскости. Его противорѣчіе съ нашими мыслями и стремленіями — это противорѣчіе временнаго и вѣчнаго, міроваго и историческаго...

Однако, въ такой ли уже степени, какъ кажется многимъ, это противорѣчіе непримиримо, что они ни о какомъ уже соглашеніи, ни о какомъ взаимномъ пониманіи не можетъ быть и рѣчи?

Поясню примѣромъ. Существуетъ солнце, дающее жизнь всей землѣ, единственный источникъ всего живого.

Это солнце—вѣчные вопросы духа, его стремленіе къ абсолютной правдѣ и абсолютному совершенству, что единственно интересуетъ Толстого, что единственно для него значительно и важно.

Но рядомъ съ солнцемъ существуетъ и каменный уголь и десятки другихъ горючихъ веществъ, которыя даютъ намъ и свѣтъ и тепло.

На первый взглядъ, что общаго между солнцемъ и неподвижнымъ, какъ бы, мертвымъ каменнымъ углемъ? Однако, всякій знающій человѣкъ скажетъ вамъ что каменный уголь—это та же вѣками накопленная солнечная энергія или, грубо выражаясь, уплотненные и окаменѣвшіе солнечные лучи, тепло и свѣтъ въ пластахъ и камнѣ, временно холодные и мертвые, но всегда готовые возобновить свою жизнь свое горѣніе и давать жизнь ихъ окружающему.

Не всякій, говорю я, понимаетъ, что это то же самое. Быть можетъ, не совсѣмъ ясно понимаетъ или хочетъ понимать это и самъ Толстой. Онъ видитъ передъ собой только солнце и, ослѣпленный, очарованный его блескомъ, говоритъ только о немъ, только ему поетъ гимны. Для него, живущаго въ надзвѣздныхъ сферахъ, куда онъ поднялся силой своего генія—это вполнѣ естественнно. И вполнѣ естественно, что онъ не

замѣчаетъ преобразованнаго солнца, его свѣта и лучей, уплотнившихся и окаменѣвшихъ въ углѣ и горючихъ веществахъ.

Онъ говоритъ намъ о солнцѣ—міровой любви, единеніи всѣхъ живущихъ, вѣчныхъ вопросовъ жизни. Мы отвѣчаемъ ему о томъ же солнцѣ, но уже преобразованномъ землей—о товариществѣ, общихъ и групповыхъ интересахъ, союзахъ людей во имя временныхъ историческихъ цѣлей, точной наукѣ, промышленной техникѣ.

Разныя слова создаютъ взаимное непониманіе.

Но наука доказала, повторяю, что свѣтъ и тепло каменнаго угля есть лишь преобразованное землей солнце. Я убѣжденъ, что будущее уничтожитъ кажущееся противорѣчіе между вѣчнымъ и временнымъ, міровымъ и историческимъ, и станетъ яснымъ, что товарищества, союзы, общіе интересы людей не что иное, какъ преобразованная нашей природой, нашимъ тѣломъ, нашей землей—міровая любовь...

Андреевичъ.

Въ Ясной Полянѣ.

Я только что вернулся изъ Ясной Поляны, отъ Л. Н. Толстого. Цѣлыхъ два часа бесѣдовалъ я съ глазу на глазъ съ великимъ старикомъ или, лучше сказать — слушалъ его, и теперь вотъ стараюсь разобраться въ этомъ дѣйствительно огромномъ, полученномъ мною впечатлѣніи...

Съ внѣшней стороны все обошлось какъ нельзя лучше... Левъ Николаевичъ былъ бодръ, здоровъ, разговорчивъ. Нѣсколько разъ во время нашей прогулки и по яснополянскому парку, и по полю вокругъ послѣдняго—онъ пріостанавливался и, какъ бы удивляясь себѣ, спрашивалъ:

— Что это я сегодня такъ разговорился?

Я могу точно сообщить вамъ, какъ онъ смотритъ на послѣднюю книгу Мечникова, на драму Горькаго, на переворотъ въ Сербіи, на рабочій вопросъ, на возобновляющуюся дѣятельность интернаціонали, на раціоналистско-магометанское движеніе въ Индіи; я увезъ отъ него нѣсколько выраженій, которыя рано или поздно войдутъ въ его біографію и его характеристику,—словомъ, на болѣе удачное свиданіе я и не разсчитывалъ... Быть можетъ, теперь я понимаю Толстого лучше, чѣмъ понималъ его раньше,—*чувствую* я его, и его мысли больше, яснѣе, опредѣленнѣе, отзывчивѣе, чѣмъ наканунѣ... И все же хотѣлось бы еще какой-то особой яркости, особой полноты ощущенія, которой, какъ ни ищу я ее—нѣтъ... Быть можетъ, мнѣ просто не дано овладѣть мыслью Толстого во всемъ ея объемѣ, и я понимаю ее слишкомъ математически, слишкомъ просто, какъ уравненіе какое-нибудь, но, забѣгая впередъ, скажу: мнѣ недостаетъ отъ Толстого того же, чего ему самому не достаетъ отъ себя, отъ его собственной жизни: не достаетъ ощущенія *подвижничества*, трагизма..

Я радъ, безконечно радъ, что цѣлые часы ощущалъ возлѣ себя земное величіе, слушалъ довѣрчивую, откровенную, хотя и слегка раздраженную (почему — скажу ниже) рѣчь Льва Николаевича, — но осталось что-то недоговоренное, не хватало какого-то *послѣдняго* штриха, какъ не хватаетъ, повторяю, его и самому Толстому...

Остановившись на секунду во время прогулки, на одномъ изъ поворотовъ изъ поля въ паркъ, Левъ Николаевичъ сказалъ мнѣ:

— Это не хорошо, что я заговорилъ о себѣ: надо было лучше взять въ примѣръ какого-нибудь N. N... Ну, ужъ разъ началъ — кончу. Мнѣ хорошо, ужасно хорошо, слишкомъ хорошо. Никакого отчаянія, ни-

какой тоски и унынія. И вотъ одного жаль, что я не *пострадалъ* и вообще, что я мало страдалъ... Пострадай я за свои мысли, онѣ производили бы другое впечатлѣніе... Этого вотъ дѣйствительно жаль. А остальное все хорошо, слишкомъ даже хорошо...

При этихъ словахъ мнѣ показалось, что предо мной въ самую жизнь Толстого, въ его психологію открывается какой-то большой, яркій просвѣтъ. Самъ Толстой чувствуетъ, что онъ прежде всего судія, а не пророкъ, а ему хотѣлось бы, надо было бы быть пророкомъ, надо бы *запечатлѣть, освятить* въ предѣлахъ человѣческаго разумѣнія суровостью своего ученія, суровостью своей личной жизни и страданіемъ—свой путь, свою критику, свое отрицаніе и свою любовь... Но „мнѣ хорошо, слишкомъ даже хорошо"—говоритъ и повторяетъ онъ теперь, какъ почти съ отвращеніемъ писалъ и говорилъ раньше: „мнѣ, въ моей *исключительно счастливой* жизни"... И вотъ какая-то не удовлетворенность, неравновѣсіе, — исключительныя и великія, но все же неудовлетворенность и все же неравновѣсіе...

Судья, а не пророкъ... И оттого-то самого Толстого гораздо больше судятъ, чѣмъ идутъ за нимъ... Мы хотимъ, чтобы проповѣдникъ и жрецъ былъ не только жрецомъ и проповѣдникомъ, но и „бѣднымъ жертвеннымъ животнымъ". Всѣ преданія, весь властный голосъ прошлаго за то, чтобы аскетизмъ проповѣдывался аскетами, чтобы человѣкъ освящалъ суровостью своей личной жизни суровость своего ученія, и не только мы, не только властный голосъ прошлаго, но и *самъ Толстой за это*... А между тѣмъ, сколько мира, спокойствія, довольства разлито по всему яснополянскому парку, по его зданіямъ, по лицамъ его обитателей, какъ искренно звучатъ слова Толстого: „мнѣ хорошо, слишкомъ даже хорошо", и естественно, что его ученіе, путь котораго такой скорбный и тяжелый, — находитъ въ душѣ другихъ лишь отзвукъ, а не признаніе!.. Эти „другіе" инстинктивно чувствуютъ, что въ жизни Толстого, какъ она прошла и проходитъ, въ полнотѣ окружающихъ его земныхъ благъ, въ этомъ неустанномъ творчествѣ, исключительномъ здоровьѣ и богатствѣ творческихъ силъ, спокойно встрѣчающихъ теперь 75-ю годовщину своего бытія, въ этой жизни, окружившей себя всѣмъ самымъ цѣннымъ и лучшимъ, что выработано тысячелѣтней работой людей — нѣтъ рѣшительно ничего, что дѣлало бы изъ человѣка пророка и апостола...

Я очень далекъ отъ упрековъ Толстому за то, что онъ въ Христѣ барствуетъ, или отъ того, чтобы ставить ему въ вину чистую бѣлую рубашку изъ тонкаго полотна или душистый свѣжій медъ изъ собственнаго пчельника... Толстой есть только то, что онъ есть. И то, что онъ есть—огромно и величаво... Но подвижничества ни въ немъ, ни въ окружающей его обстановкѣ нѣтъ и слѣда. Тутъ благорастворeніе воздуховъ, изобиліе плодовъ земныхъ, колосья на полѣ въ три аршина шесть вершковъ вышиною, и самъ Толстой, который эти колосья мѣряетъ и любуется ими... Тутъ нѣтъ и слѣда „бѣднаго жертвеннаго животнаго", подвижничества за мысль, за идею—тутъ только красота богато одаренной, умной человѣческой жизни, вся мыслимая ея полнота, вся духовная роскошь, вправленная въ очень простую, но страшно дорогую обстановку...

Старая, ветхая жизнь, повторяю, хочетъ слышать проповѣдь аскетизма отъ аскета, и подвижничества—отъ подвижника. Быть можетъ, это ея желаніе чрезмѣрно и несправедливо. Но что же ей дѣлать, если она не знаетъ пока другого типа пророковъ и проповѣдниковъ? если исторія каждой страницей своей подтверждаетъ, что проповѣдь не есть слово, а скорѣе всего жизнь и подвигъ?

Въ каждой проповѣди мы ищемъ органической формулы, т. е. такой, которая была бы выработана, дана не малымъ разумомъ человѣка, а, какъ говоритъ Ницше, его большимъ разумомъ. Большой же разумъ это весь человѣкъ: его логика, его вѣра, его страсть, его стихія, вся обстановка его жизни, всѣ окружающія его условія.

Такой цѣльной органической формулы въ проповѣди Толстого нѣтъ.

Оттого-то и всѣ другіе и онъ самъ прекрасно понимаютъ, что только суровая личная судьба могла бы утвердить его суровыя требованія отъ человѣка, а не эта яснополянская обстановка, гдѣ изъ всей культуры и цивилизаціи выбрано самое цѣнное, самое прекрасное...

Оттого-то онъ не пророкъ, а судія, и вождемъ человѣчества Толстой является лишь въ той степени, въ какой онъ отрицаетъ рабство и униженіе людей. Но кто пойдетъ за нимъ, разъ онъ самъ не шелъ и не идетъ за собой?

Онъ есть, повторяю, только то, что онъ есть,—и то, что онъ есть,—огромно. Но жизнь, голосу которой подчиняется и онъ самъ, требуетъ подвижничества.

Подвижничества нѣтъ. Нѣтъ святости. Есть поразительно умная и красивая человѣческая жизнь, выработана изъ обстановки старо-дворянскаго, помѣщичьяго обихода. Это такъ ясно, такъ очевидно, такъ сразу даетъ себя чувствовать, что черезъ полчаса пребыванія въ Ясной Полянѣ вы уже не можете, вамъ уже не нужно задать тѣхъ вопросовъ и такъ открыть свою душу, какъ вы мечтали сдѣлать это по дорогѣ... Слишкомъ тутъ хорошо, обильно, мирно...

Не будемъ бояться словъ и не станемъ принимать за живое существо кафтановъ старой мысли, ветхаго міросозерцанія, все еще стоящихъ на огородахъ нашей журналистики. Тутъ, въ Ясной Полянѣ, великій эгоизмъ, цѣлое море разсудочнаго и благоразумнаго, и лишь гдѣ-то тамъ, среди полнаго, прекраснаго довольства, на вершинахъ мечты и мысли,—естественная неудовлетворенность.

— Одно жаль, что мои мысли не закрѣплены страданіемъ — говоритъ Толстой, чувствуя всю тяжесть быть только судьей, а не пророкомъ...

Вѣдь это не мы съ вами, это Толстой, это геній, это воплощенное земное величіе. Тамъ другая мѣрка, другія требованія къ жизни. Тамъ мечта уже насыщена всемірной литературной славой, она стремится за ея предѣлы, ея кругъ, она вырисовываетъ грандіозные образы Будды, Конфуція, Магомета, чѣмъ Толстой не могъ и не можетъ стать...

Да и у Толстого есть имъ самимъ ощущаемый предѣлъ, за который перешли такія единицы человѣчества, какъ Будда, Магометъ, Конфуцій, внушившіе свою вѣру, свою мысль, себя—милліонамъ милліоновъ людей..

Толстой бодръ, здоровъ, удивительно привѣтливъ и ласковъ; его взглядъ, его улыбка—добрые и милые. Онъ много, какъ всегда, работаетъ и, повидимому, весь ушелъ теперь въ полемику по рабочему вопросу.

Но — позвольте все по порядку.

Я выѣхалъ изъ Петербурга торопливо и спѣшно. Такъ, вдругъ какъ-то, почувствовалось, что надо поѣхать въ Ясную Поляну, посмотрѣть на Толстого, и, если можно, поговорить съ нимъ. Раньше все не удавалось собраться. Казалось, мѣшали дѣла, но въ сущности, дѣла тутъ рѣшительно не при чемъ, а если что дѣйствительно мѣшало, то развѣ неопредѣленность собственнаго отношенія къ Толстому, слишкомъ многогранному и часто противорѣчивому, чтобы кто-нибудь могъ сказать дѣйствительно: „я его знаю; я его понялъ"... Тѣ, кто были вокругъ меня, мои товарищи по работѣ, частенько навѣдывались то въ Ясную Поляну, то въ Хамовническій переулокъ, то въ Ялту, звали и меня съ собой, но я не двигался, пока не понялъ, наконецъ, что прожить жизнь, не повидавъ Толстого, это для русскаго пишущаго человѣка какъ-то даже непростительно. Это больше и непростительнѣе, чѣмъ, будучи въ Парижѣ не навѣдаться въ Лувръ...

Что я скажу Толстому — я не зналъ, потому что хотѣлось сказать такъ много... Было во всякомъ случаѣ много вопросовъ, но большую ихъ часть разсѣяла яснополянская обстановка и ея благорастворeніе воздуховъ. Ветхая мысль ветхаго человѣка, что земное величіе обречено на страданіе, сразу же разлетѣлась, какъ дымъ, а съ нею и жажда раскрыть свою душу...

Но буду уже откровененъ до конца и скажу, что пребывалъ все время въ трепетѣ, въ томъ же, какой еще ребенкомъ, на самой зарѣ жизни, ощущался мною, когда, бывало идешь на исповѣдь, и стоишь маленькій, весь полный чужихъ, но искреннихъ внушеній передъ старенькой ширмой, откуда слышится тихій, дрожащій голосъ старичка-священника... И вотъ— еще откровеннѣе—этотъ трепетъ въ себѣ отмѣтилъ я съ особымъ удовольствіемъ, потому что чѣмъ дальше, тѣмъ труднѣе въ нашей жизни, при нашихъ болтливыхъ газетахъ, раздѣвающихъ до нага всякое земное величіе,—сохранять въ душѣ преклоненіе къ отдѣльному человѣку, какъ бы высоко онъ не стоялъ надъ тобой... Но Толстой — это нѣчто особое. Какъ бы ни одѣвали и ни раздѣвали его, онъ останется тѣмъ, что онъ есть, авторомъ „Войны и мира", „Анны Карениной", великолѣпнаго трактата „Что такое искусство", великимъ писателемъ земли русской, передъ которымъ многія наши раздутыя рекламой знаменитости то же, что оловянные солдатики передъ Суворовымъ. Въ настоящемъ, доподлинномъ, несомнѣнномъ есть свое, огромное обаяніе, особенно въ наши дни, надъ которыми царитъ „поддѣльный" геній Рухомовскаго.

Изъ сотни толпившихся въ головѣ вопросовъ, которые я везъ къ Толстому, одинъ рельефно и ярко выдѣлялся надъ другими. Я хотѣлъ поговорить съ нимъ о Богѣ (и это удалось), хотѣлъ спросить его, къ чему и къ кому, по его мнѣнію, прислонится или должна прислониться личность, въ гордынѣ своего самосознанія разрушившая теперь всѣ авторитеты (NB.: увѣренная, по крайней мѣрѣ, въ томъ, что разрушила ихъ) и уже, на первыхъ же порахъ провозглашенія своей автономіи, чувствую-

щая себя объятой ужасомъ своего одиночества, своей немощности и скоротечности. Посмотрите на самомъ дѣлѣ, какъ вмѣстѣ съ Булгаковымъ, Бердяевымъ прячетъ она свою голову въ метафизическія доктрины прошлаго вѣка, какъ ищетъ пристанища у дѣтской вѣры вмѣстѣ съ Минскимъ, готова вмѣстѣ съ Розановымъ видѣть высочайшую мудрость въ египетскихъ іероглифахъ, будто бы рѣшившихъ вопросъ о безсмертіи души.—И когда я спросилъ объ этомъ Толстого, онъ отвѣтилъ мнѣ то, что долженъ былъ отвѣтить раціоналистъ, весь мистицизмъ котораго не шелъ никогда дальше страха смерти, старый кровный русскій баринъ, выросшій на литературѣ XVIII вѣка...

Въ трепетѣ и нетерпѣніи все казалось длиннымъ и скучнымъ, тѣмъ болѣе, что билета на скорый поѣздъ я не досталъ, такъ какъ теперь, чтобы попасть на скорый поѣздъ, надо имѣть или протекцію, или записаться за полгода впередъ. Но все же дорога, какъ всегда, немного разсѣяла, немного развлекла и утомила... Въ Москвѣ вынесъ остановку часовъ 7—8, еще разъ полюбовался на пушку, которая не стрѣляетъ, ѣздилъ на скверныхъ извозчикахъ безъ резиновыхъ шинъ, удивился подбору очень тщедушныхъ и сухопарыхъ городовыхъ, тогда какъ у насъ въ Петербургѣ все колоссы Мемнона, — умилился тому, что тутъ уже на станціи, какъ разъ противъ буфета, продаютъ кипарисовые крестики и образки въ фольговыхъ ризкахъ,—еще умилился, видя по всюду кружки для сбора пожертвованій, привинченныя къ картинамъ, на которыхъ нарисованъ мальчикъ съ заплаканными глазами, но въ тепломъ ватномъ пальто, сидящій на бархатной софѣ, — и потомъ, совсѣмъ случайно, попалъ на Хитровъ рынокъ...

Здѣсь на Хитровомъ рынкѣ—(о чемъ упоминаю только потому, что съ него у меня начался разговоръ съ Толстымъ)—вамъ не бросается сразу въ глаза ни нищета, ни голодъ. Нужно всмотрѣться, чтобы понять, что это—свальное мѣсто для отбросовъ человѣческаго общества, что вотъ эти узкіе переулки, сходящіеся къ Хитровой площади, какъ радіусы, въ сущности, не что иное, какъ сточныя трубы, по которымъ стекаетъ грязь, отчаяніе, нищета и человѣческіе отбросы великолѣпной Москвы...

Площадь небольшая, или она такъ переполнена народомъ, что кажется небольшой. Вся ея верхняя, идущая въ гору часть занята огромнымъ желѣзнымъ навѣсомъ надъ асфальтовой площадкой. Это собственно и есть рынокъ труда, вѣрнѣе, рынокъ безработныхъ. На самой площадкѣ и около нея—кто на скамейкахъ, кто прямо на мостовой, кто на панели—сидятъ, лежатъ, бродятъ сотни людей, мужчинъ и женщинъ. Женщинъ, впрочемъ, немного, такъ какъ былъ только день. Но все же пять—шесть изъ нихъ, одѣтыхъ въ довольно чистыя ситцевыя платья, козловые ботинки, платочки на головѣ, расхаживали взадъ и впередъ подъ навѣсомъ, обмѣниваясь взглядами, улыбками, ругательствами, скверными остротами съ хитровцами. На площади и около въ переулкахъ, конечно, ни одной винной лавки, ни одной портерной, но водку и пиво продаютъ тутъ же въ разныхъ мѣстахъ, такъ что многіе пьяны. Большинство, разморенное

духотой и зноемъ іюньскаго солнца, спитъ, дремлетъ или такъ сидитъ, понурившись, кое кто бродитъ, разыскивая аферы или какого-нибудь случайнаго посѣтителя вродѣ меня, чтобы „стрѣльнуть", т. е. попросить милостыню. Тамъ и здѣсь группы — играютъ въ орлянку, ремешокъ, еще какія-то игры. Въ ходу по преимуществу мѣдная мелкая монета, много грошей, но бѣлѣютъ полтинники, даже рубли...

Я зашелъ въ чайную общества трезвости, устроенную при конторѣ для найма рабочихъ. Въ другія чайныя, которыхъ нѣсколько—заглянуть не рѣшился: слишкомъ ужъ тамъ мрачно, темно, должно быть грязно. У общества же трезвости все очень прилично и чисто. Народу набито биткомъ: большинство чернорабочіе. Когда я сѣлъ за столъ, у окна, съ меня какъ и со всякаго другого, спросили впередъ пятакъ и за это дали кипятокъ, золотникъ чаю, два куска сахару. Здѣсь ни шуму, ни ругани. Вообще въ этотъ часъ дня на Хитровкѣ тихо. Многіе читаютъ газеты и говорятъ о сербскомъ переворотѣ. Газетъ и иллюстрированныхъ изданій масса. Можно получать къ чаю холодныя закуски. Цѣны дешевыя, какъ вездѣ въ народныхъ домахъ, но все же нуженъ по крайней мѣрѣ двугривенный, чтобы наѣсться и напиться до сыта. Кипятокъ подновляютъ сколько угодно разъ. Контора, изъ которой прямо въ чайную ведетъ открытая дверь, теперь работаетъ вяло; время лѣтнее. Кромѣ служащихъ, въ ней я не замѣтилъ никого. Слыхалъ жалобу на то, что черезъ контору все равно ничего не достанешь... Ко мнѣ за столикъ подсѣлъ босякъ, тоже спросилъ себѣ чаю и послѣ двухъ—трехъ незначительныхъ фразъ, какими я съ нимъ обмѣнялся, разсказалъ мнѣ самую шаблонную свою исторію. Былъ онъ приказчикомъ у Сухаревой башни, на Пасхѣ загулялъ и закрутилъ во всю; чтобы опохмѣлиться на Ѳоминой недѣлѣ, взялъ изъ выручки нѣсколько рублей. Хозяинъ его за это прогналъ и вотъ онъ теперь на Хитровкѣ въ самомъ отвратительномъ костюмѣ. Говоритъ, что ждетъ мѣста, которое ему будто бы обѣщали товарищи, но судя по лицу и тону голоса — ничего то онъ не ждетъ. Или совсѣмъ на себя махнулъ человѣкъ рукою, или ужъ дѣйствительно въ наши дни: „коготокъ увязъ— всей птичкѣ пропасть"... Замѣтивъ, что его разсказъ особаго впечатлѣнія на меня не произвелъ, мой собесѣдникъ заговорилъ что-то о бабѣ, которая его завертѣла и заставила полѣзть въ выручку. Возможно, конечно, и это, потому что во всѣхъ босяцкихъ исторіяхъ водка, кутежъ, женщина, всегда на первомъ планѣ... Хитровку онъ всячески бранилъ, но совсѣмъ не за грязь, не за муку, не за полицейскіе облавы, а за то, что тутъ обираютъ и своего, и чужого. Игры всѣ, по его словамъ, мошенническія, шуллерническія. Чуть человѣкъ выпьетъ—ему сейчасъ же выворачиваютъ карманы. Безработицей, праздностью, водкой, женщинами а, главное, тѣмъ, что послѣ перваго же кутежа оставляютъ человѣка или голымъ или въ такой смѣнѣ, что въ ней дѣйствительно никуда не покажешься. — Хитровка держитъ своихъ обитателей въ плѣну и затягиваетъ въ свою тину все глубже. „Первымъ дѣломъ раздѣнутъ, а потомъ и самъ отсюда не уйдешь". Ядро—кадръ московскикъ босяковъ на самомъ дѣлѣ постоянно тутъ и варится въ собственномъ соку. Толпами босяки уходятъ только 2—3 раза въ годъ предпринимая паломничество въ Троицко-Сергіевскую лавру въ большіе лѣтніе праздники. Тамъ, въ лаврѣ, ихъ кормятъ, тамъ

же они собираютъ милостыню, воруютъ безъ особаго опасенія. Для нихъ это дѣйствительно праздникъ.

Замѣтивъ, что какой-то оборванецъ, одѣтый, кажется, въ послѣдній изъ мыслимыхъ для человѣка костюмовъ—въ красную, рваную и грязную кумачевую рубаху, безъ пуговицъ и одного рукава, въ розовыя дырявыя кальсоны, въ стоптанныя на босу ногу калоши и безъ шапки — остановился какъ-то особенно понуро и угрюмо подъ окномъ чайной—я завернулъ въ газетную бумагу рубль и бросилъ ему подъ ноги. Скверное это дѣло экспериментировать надъ ближнимъ, но въ данномъ случаѣ это экспериментъ такой невинный, что я его разрѣшилъ себѣ. Сталъ смотрѣть, что будетъ. Босякъ развернулъ бумагу, какъ будто безъ особаго удивленія вынулъ изъ нея рубль, оглянулся во всѣ стороны разъ, другой и сейчасъ же отошелъ въ сторону. Благодаря его костюму, слѣдить за нимъ было не трудно. Черезъ пять шесть минутъ возлѣ него появился уже юркій человѣкъ со связкой панталонъ и жилетовъ на плечѣ. Босякъ держалъ себя великолѣпно: гордо и сдержанно осматривалъ товаръ, очевидно, критиковалъ его, потомъ выбралъ себѣ пару штановъ. Для примѣрки усѣлся на землю. Юркій человѣкъ съ самыми почтительными тѣлодвиженіями всталъ для удобства передъ нимъ на колѣна, напялилъ ему штаны на ноги, старательно застегнулъ на всѣ пуговицы, послѣ чего оба разсчитались и ударили другъ друга по рукамъ. Штаны были скверные, какіе-то жеваные, слишкомъ короткіе, но все же темные и не рваные. Босякъ гоголемъ пошелъ въ нихъ по площадкѣ, позвякивая сдачей въ рукѣ... Одежда! Это здѣсь общій вопль и стонъ, хотя она и пропивается при первомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Чѣмъ болѣе раздѣтъ человѣкъ, тѣмъ больше онъ въ плѣну у Хитровки; ея постоянные обитатели почти голые.

Выпивъ два—три стакана очень недурного чая, я спустился внизъ и раза два обошелъ Хитровку. Въ подвалахъ и нижнихъ этажахъ окружающихъ ее домовъ — вездѣ чайныя, квасныя, ночлежки. Тамъ и здѣсь на лоткахъ продаютъ горячую пищу. Брр... лучше и не смотрѣть!.. Милостыню просятъ черезъ каждые пять шаговъ. Кто—„давно не ѣлъ", кто просто—„опохмѣлиться надо", кто—„чайку бы попилъ". Я давалъ мелочь, не отказывая никому, и странно, что толпа ни разу не окружила меня. Въ это время поднялся дождь и вихрь. Мой лѣтній костюмъ, легкія туфли, воротничекъ и манишка сразу же стали какими-то босяцкими. Это дало мнѣ смѣлость зайти въ открытую дверь ночлежки. Каменные тяжелые своды, деревянный полъ, по стѣнамъ и по срединѣ комнатъ -- широкія нары. Полутьма. Все, впрочемъ, довольно чисто, потому что Хитровка упорядочена. Меня никто ни о чемъ не спрашивалъ. Несмотря на то, что былъ полный день, въ ночлежкѣ все таки было пять—шесть человѣкъ. Не то пьяные, не то, усталые, они спали. Только одинъ, съ всклокоченной головой, въ позѣ и костюмѣ Сатина, сидѣлъ на нарахъ, раскачиваясь всѣмъ туловищемъ и мурлыча какую-то пѣсню... „Ты это что же днемъ въ ночлежкѣ?"—спросилъ я, подсаживаясь къ краю. „А куда пой-

дешь?... Отсюда, милый человѣкъ, никуда не пойдешь, потому некуда... Двугривенный давай, коли есть, пойду—выпью и опять сюда... такъ-то"... „Москва большая, а земли еще больше"—замѣтилъ я для реплики. „Москва то она большая, да для насъ она маленькая. Ты не смотри, что вокругъ Хитровки стѣнъ нѣтъ и одинъ только городовой неизвѣстно зачѣмъ стоитъ. Тутъ, милый человѣкъ, стѣны во какія высокія: не перелѣзешь и не перепрыгнешь... Знакомыхъ и родныхъ у меня нѣтъ—вотъ тебѣ одна стѣна; костюмъ, самъ видишь какой — вотъ тебѣ другая стѣна, денегъ нѣтъ ни гроша — вотъ тебѣ третья. Ну-ка, перепрыгни"... Онъ побѣдоносно взглянулъ на меня... Я что-то пробормоталъ... „Да... Куда пойдешь? На улицу? А что тамъ дѣлать? Воровать—свѣтло. Стрѣлять (просить милостыню)—сейчасъ тебя городовые заграбастаютъ. Подъ навѣсъ итти валяться: тамъ безъ денегъ дѣлать нечего... Никуда отсюда не пойдешь" — прибавилъ онъ съ величайшей убѣжденностью.—„Работаешь?"—спросилъ я.—„Почему и не работать, когда случится?.. Только, какая же наша работа? До обѣда еще туда сюда, а тамъ, какъ пить дать—напьешься... Да и нѣтъ ее, работы этой самой... Пойдемъ выпьемъ, что ли, а..."

Налѣтѣвшій дождь уже прошелъ. Я опять вышелъ на улицу. Площадь была почти пуста. Весь народъ сбился подъ навѣсъ и копошился тамъ, какъ въ муравейникѣ. Слышался женскій визгъ, крѣпкія слова, споръ... Я завернулъ въ одинъ изъ переулковъ. Вездѣ тяжелые каменные, приземистые дома съ тусклыми окнами. Внизу — все тѣ же ночлежки. Дворы чистые. На каждомъ вывѣшено строгое объявленіе, что за распитіе здѣсь водки виновные будутъ немедленно препровождены въ участокъ. На дворахъ много женщинъ—грязныхъ и растрепанныхъ. Бѣгаютъ ребятишки, многіе въ однѣхъ рубашенкахъ. Милыя, грязныя рожицы. Одни плачутъ, другіе играютъ въ палочки и камешки съ самымъ сосредоточеннымъ видомъ, потомъ вдругъ, точно вспомнивъ, что хотятъ ѣсть, задираютъ голову кверху и ревутъ благимъ матомъ... Когда видишь дѣтей — не такъ мрачно и уныло все кругомъ... Чьи они? Зачѣмъ они? Что-то выйдетъ изъ нихъ?—Не хочется даже и думать...

...Вы помните, что когда-то въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ годинъ своей жизни (1887 г.), Л. Н. Толстой побывалъ въ этихъ московскихъ ночлежныхъ, среди героевъ Хитрова рынка. Здѣсь онъ увидѣлъ нѣчто для себя дѣйствительно новое и необычайное. Впечатлѣніе, вынесенное имъ отсюда, было огромное, потрясающее, потому что о существованіи чего-нибудь подобнаго Толстой раньше и не подозрѣвалъ. Въ севастопольскую компанію онъ наблюдалъ, конечно, страданія и лишенія еще, пожалуй, большія, но тамъ они являлись въ ореолѣ героическаго подвижничества, видѣлъ онъ и хроническое недоѣданіе въ деревнѣ, но въ нашей деревнѣ умѣютъ голодать съ достоинствомъ, по крайней мѣрѣ, съ кротостью... Здѣсь же, среди московской нищеты, медленное, тоскливое умираніе, развратъ и грязь, ожесточенныя проклятія, люди доведенные до образа и подобія звѣрей. Тѣмъ мучительнѣе всталъ передъ Толстымъ вопросъ о привиллегіяхъ и удобствахъ его собственной жизни. „Я, самъ не замѣчая того—разсказываетъ онъ,—со слезами въ голосѣ кричалъ и махалъ на своего пріятеля. — Я кричалъ: „такъ нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя!.." Но потомъ всѣ ему стали говорить, что онъ волнуется такъ не

потому, что видѣнное имъ зрѣлище ужасно, а лишь потому, что самъ онъ „очень добрый и хорошій человѣкъ". И эти разговоры убѣдили его. „Я охотно повѣрилъ этому. И не успѣлъ оглянуться, какъ вмѣсто чувства упрека и раскаянія, которое я испытывалъ сначала, во мнѣ было чувство довольства своею добродѣтелью и желаніе выказать ее людямъ"... Сейчасъ же онъ занялся благотворительностью. Это на время успокаивало совѣсть, это подтверждало его мысль о себѣ, что онъ очень хорошій и добрый человѣкъ, это доставляло ему много пріятныхъ минутъ... Когда онъ голодающей старухѣ, бывшей проституткѣ, далъ рубль, то,—говоритъ онъ: „я помню, что очень былъ радъ, что другіе видѣли это"...

Вотъ небольшая драма, пережитая Толстымъ съ московскими босяками. Тогда, въ 1887 г., онъ находился въ третьемъ періодѣ жизни, когда, по его опредѣленію, человѣкъ живетъ для своихъ ближнихъ. Тогда эта нищета и это умираніе терзали и мучили душу. Теперь босякъ для Толстого—нѣчто случайное, неважное, неинтересное и, какъ выше было сказано, мой разсказъ о босякахъ вызвалъ съ его стороны лишь раздраженную реплику.

Андреевичъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ III.

Международный союзъ имени Л. Н. Толстого [1]).

Общество основано въ Бреславлѣ, и уставъ его вступилъ въ силу съ 1-го января 1901 года. Цѣль общества — „распространеніе между своими членами и въ народѣ началъ нравственнаго усовершенствованія въ духѣ идей первыхъ вѣковъ христіанства". Въ общество могутъ вступать лица обоего пола, достигшія 18 лѣтъ. Всякія политическія и религіозныя стремленія исключаются изъ программы. Проектъ устава содержитъ только семь параграфовъ весьма общаго содержанія. Авторы устава объясняютъ общій характеръ постановленій желаніемъ придать ему международный оттѣнокъ, чтобы имѣть возможность просить утвержденія устава въ любомъ государствѣ. Съ большой теплотой объясняютъ учредители необходимость распространенія идей Толстого. „Своеобразная личность престарѣлаго русскаго писателя и философа приковываетъ съ неотразимой силой взоры всякаго мыслящаго человѣка, столь же сильнымъ духомъ, какъ и благородствомъ своего міросозерцанія; онъ властвуетъ почти надъ всѣмъ умственнымъ и литературнымъ развитіемъ современной Россіи. Альтруистъ, для себя лично ничего не требующій, олицетвореніе мягкости и способный на самопожертвованіе, Левъ Николаевичъ своей пророческой фигурой въ одно и то же время и предостерегаетъ насъ, и поучаетъ. Ни одному изъ насъ въ часы колебанія совѣсти рисовалось его доброе, обросшее сѣдиной лицо, призывая насъ на истинный путь". Что касается практическихъ цѣлей, то общество стремится къ распространенію философскихъ и этическихъ идей Л. Н. Толстого и съ этою цѣлью помимо другихъ способовъ воздѣйствія, имѣетъ въ виду издавать органъ, гдѣ могли бы помѣщаться статьи „выдающихся авторитетовъ толстовской литературы" и комментироваться сочиненія Л. Н.

[1]) „Одесскія Нов.", 1901 г., № 5178.

ПРИЛОЖЕНІЕ IV.

Легенда о желѣзномъ перстнѣ [1]).

Въ Поволожьѣ распространена любопытная легенда о „желѣзномъ перстнѣ“ нашего писателя И. С. Тургенева. Перстень этотъ покойный писатель будто бы передалъ Л. Н. Толстому съ тѣмъ, чтобы послѣдній завѣщалъ его въ свою очередь лучшему русскому писателю. Такимъ образомъ, съ этимъ перстнемъ связано званіе лучшаго писателя земли русской. Волгари утверждаютъ, что Л. Н. Толстой уже завѣщалъ желѣзный перстень Максиму Горькому.

[1]) „Одесскія Нов.“, № 5515, 1902 г.

ПРИЛОЖЕНІЕ V.

Отзывъ Л. Н. Толстого о современномъ общественномъ движеніи въ Россіи.

По этому поводу въ „Нашей Жизни“ было напечатано слѣдующее письмо книгини М. Л. Оболенской:

„Милостивый государь! Прочтя статью, помѣщенную въ № 45 вашей газеты, по поводу телеграммы моего отца въ американскія газеты,—считаю нелишнимъ послать вамъ подлинный текстъ (въ переводѣ) этой телеграммы, такъ же, какъ и телеграммы, на которую она была отвѣтомъ.

Готовая къ услугамъ *кн. Марія Оболенская*“.

Ясная Поляна, 23 декабря 1904 г.

Дѣйствительный текстъ телеграммы моего отца, Льва Николаевича Толстого, напечатанной въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ слѣдующій:

„Филадельфія, „Сѣверо-Американская Газета“. 18 ноября

„Цѣль агитаціи земства—ограниченіе деспотизма и установленіе представительнаго правительства. Достигнутъ ли вожаки агитаціи своихъ цѣлей или будутъ только продолжать мутить общество, —въ обоихъ случаяхъ вѣрный результатъ всего этого дѣла будетъ отсрочка истиннаго соціальнаго улучшенія.

„Истинное соціальное улучшеніе можетъ быть достигнуто только религіознымъ и нравственнымъ совершенствованіемъ всѣхъ отдѣльныхъ личностей. Политическая же агитація, ставя передъ отдѣльными личностями губительную иллюзію соціальнаго улучшенія, посредствомъ измѣненія внѣшнихъ

формъ, обыкновенно останавливаетъ истинный прогрессъ, — что можно замѣтить во всѣхъ конституціонныхъ государствахъ: Франціи, Англіи, Америкѣ.

Левъ Толстой".

Телеграмма эта есть отвѣтъ на прилагаемый вопросъ филадельфійской газеты:

„Тула, Льву Толстому.

Очень оцѣнили бы подробный отвѣтъ на сто или болѣе словъ, объясняющій значеніе, цѣль и вѣроятныя послѣдствія земской агитаціи. Американцы глубоко заинтересованы".

„Сѣверо-Американская Газета".

Кн. М. Л. Оболенская.

ПРИЛОЖЕНІЕ VI.

Открытое письмо Л. Н. Толстому.

Ну, конечно, только онъ, Л. Н. Толстой, рѣшился въ такіе дни сказать намъ: „все что вы говорите это нелѣпость, все что вы дѣлаете — это глупость. Ничего изъ вашихъ словъ и дѣлъ не выйдетъ и останетесь вы въ прежней грязи, въ прежнемъ униженіи, если, разумѣется, не пойдете дорогой, которую указую вамъ и не займетесь самосовершенствованіемъ“...

Недѣли двѣ тому назадъ эту мысль Левъ Николаевичъ высказалъ въ заграничной печати, а на-дняхъ онъ повторилъ ее одному изъ паломниковъ Ясной Поляны. Думаю, что отъ этого она не стала лучше.

Въ общемъ своемъ выраженіи мысль эта ровно ничего не стоитъ. Разъ Апокалипсисъ предсказываетъ намъ мерзость запустѣнія на землѣ, пришествіе антихриста, предвидитъ гибель земли отъ огня,—разъ Кантъ считаетъ мысль о конечной гибели земли необходимымъ элементомъ мышленія, — разъ современная наука рядомъ съ идеей эволюціи — развитія, усложненія выдвигаетъ еще на сцену идею диссоціаціи—т. е. разложенія, распада, — разъ на глазахъ человѣчества гибли государства, страны, народы, — разъ на небѣ можно наблюдать явленія, которыя трудно объяснить иначе какъ пожары міровъ и т. д. — то позвольте о какомъ тутъ „выйдетъ—не выйдетъ—можетъ быть рѣчь. Для чего все это творится— Аллахъ вѣдаетъ. Ни смысла, ни разума, ни цѣли жизни всего человѣчества—мы не знаемъ. Какъ и въ какомъ смыслѣ пойдутъ наше творчество, наша муза, наша борьба, на удобреніе вселенной — никто намъ не разъяснитъ. Здѣсь все рѣшеніе вопроса въ словахъ Луки: „коли вѣришь (что есть Богъ) — есть, коли не вѣришь — нѣтъ... Во что вѣришь, то и есть“.

Но Толстой спускается ниже, на нашу землю, доходитъ до нашихъ земцевъ, до соціалистовъ-революціонеровъ, до петиціи, мужика, до всѣхъ тѣхъ страховъ, надеждъ, тревогъ, которыя клокочутъ въ душѣ современнаго русскаго человѣка и опять это самоувѣренное:

— Ничего не выйдетъ...

Онъ набрасывается прежде всего на бѣдныхъ земцевъ.

„Однако, нѣкоторые люди, видя все зло, которое творитъ наша бюрократія, думаютъ, что все горе въ томъ, что наше русское правитель-

ство не организовано такъ, какъ, по ихъ мнѣнію, ему слѣдуетъ быть организованнымъ, т. е. по образцу другихъ правительствъ. И для того, чтобы поправить горе, эти люди примѣняютъ всѣ средства, имѣющіяся въ ихъ распоряженіи, воображая, что измѣненіемъ внѣшнихъ формъ можно измѣнить и сущность.

Такого рода дѣятельность я считаю несвоевременной, неразумной, неправой—въ томъ смыслѣ, что эти люди присваиваютъ себѣ права, которыхъ не имѣютъ, и вредной".

„Несвоевременной я считаю эту дѣятельность потому, что борьба съ насиліемъ и, вообще, путемъ внѣшняго (а не только духовнаго) воздѣйствія, борьба небольшой кучки людей, съ точки зрѣнія возможности успѣха, только смѣшна, *а съ точки зрѣнія несчастныхъ обманутыхъ людей, гибнущихъ въ этой неравной борьбѣ — прискорбна*" [1]).

Прежде всего я долженъ сказать, что совершенно не понимаю послѣднихъ словъ (мною подчеркнутыхъ). Съ какой это поры сталъ Левъ Николаевичъ считать жертвы гибнущія въ неравной борьбѣ? Отчего не считалъ онъ ихъ раньше? Я помню въ дни юности мы цѣлыми ночами сидѣли и переписывали его брошюры, даже эту несуразность—его „Евангеліе", а потомъ сиживали по карцерамъ, выбрасывались изъ гимназій на улицу. Я знаю другихъ, которые не только переписывали, но и переживали толстовскія думы, а потомъ шли въ тюрьму и ссылку. Одни мытарства Н. Н—ова, пріятеля Толстого, чего стоятъ! Не считалъ же Левъ Николаевичъ тогда жертвъ, а теперь вдругъ принялся за статистику!..

Вотъ по этому поводу, какъ и по многимъ другимъ, мнѣ хочется написать нѣсколько строкъ Толстому.

Поздно, Левъ Николаевичъ отказываться отъ самого себя. Въ этой „смѣшной" борьбѣ Вы цѣлые годы шли едва ли не впереди всѣхъ, и если Вы уцѣлѣли, не стали жертвой, то въ этомъ виновато Ваше міровое имя. А жертвой Вы сами когда-то хотѣли быть — т. е. въ лѣтахъ своихъ хотѣли быть—это несомнѣнно. Васъ глубоко обидѣли въ свое время слова: „нѣтъ, ужъ Л. Толстому я не сдѣлаю удовольствія и оффиціально руководителемъ я его не провозглашу"... Вы сами лично сказали мнѣ: „жизнь моя счастлива — слишкомъ даже счастлива... одно жаль, что головы мнѣ не отрубили"... И Вы были недовольны словами, и Вы жалѣли, что Вамъ не отрубили головы просто потому, что чувствовали, какъ недостаетъ Вашему ученію цемента и именно цемента жертвы: иначе оно стало бы эпидимическимъ и не вылилось въ трагикомическую форму Вашихъ интеллигентныхъ колоній. Вѣдь Вы же прекрасно знаете, что цементъ жертвы для ученія, для проповѣди самый важный...

Мимоходомъ, считая „неправой и несвоевременной" дѣятельность всѣхъ тѣхъ, чьи усилія направлены на улучшеніе внѣшнихъ формъ быта, Вы нападаете и на нашихъ земцевъ. Вотъ бѣдные: кажется и такъ уже

---

[1]) Цитирую русскій переводъ. По-русски появилось не все письмо Толстого. Я имѣю его въ виду цѣликомъ.

надъ ними столько начальства, а рядомъ съ ними столько контролеровъ вродѣ Грингмута,—да и въ самой ихъ средѣ столько розни, взаимо-отрицанія, что ихъ бы и трогать не стоило. Тѣмъ болѣе, что народъ этотъ самый мирный и вотъ почти уже 40 лѣтъ, начиная съ записокъ кн. Долгорукова (1866 г.) твердятъ все тотъ же дуетъ *a*-мольный... Молчать же они умѣютъ еще лучше того, и не даромъ цѣлыхъ 10 лѣтъ подъ рядъ издѣвались надъ ними Щедринъ, „Отечественныя Записки" (т. е. наша легальная „народная воля"), сводила всю ихъ дѣятельность къ чисткѣ рукомойниковъ... Эта крайность, разумѣется, но чѣмъ, все же могутъ помѣшать самосовершенствованію и спасенію души такія вотъ благія пожеланія: „бюрократическій строй, разобщая верховную власть съ населеніемъ, создаетъ почву для широкаго проявленія административнаго произвола и личнаго усмотрѣнія. Такой порядокъ лишаетъ общество необходимой всегда увѣренности въ охранѣ законныхъ правъ всѣхъ и каждаго и подрываетъ довѣріе къ правительству. Правильное теченіе и развитіе государственной и общественной жизни возможно лишь при условіи тѣснаго общенія и единенія государственной власти съ народомъ". Затѣмъ идетъ „обезпеченье свободы совѣсти и вѣроисповѣданія, свободы слова и печати, свободы собраній и съѣздовъ"... Еще пожеланіе мелкой земской единицы, личной неприкосновенности, равенства всѣхъ гражданъ въ правахъ, участіе народныхъ представителей въ контролѣ надъ доходами и расходами и надъ законностью дѣйствій администраціи и т. д...[1]) Ну, право, вѣдь все это совсѣмъ пустяки да еще въ убранствѣ заботъ о правильномъ теченіи государственной жизни! И неужели противъ такихъ пожеланій не только можно, но и стоитъ возражать? Неужели они потребуютъ какихъ-нибудь жертвъ кромѣ почетныхъ. Вѣдь это только грамота, буки азъ-ба общественной жизни XX вѣка, жизни, безъ которой... ну право неудобно какъ безъ телеграфа или телефона, и надо было все самомнѣніе нашей бюрократіи, все ея пристрастіе ко всякому вмѣшательству въ наши домашнія дѣла, чтобы изъ-за этого стоило въ ноябрѣ поднимать такой шумъ... А главное, чѣмъ это мѣшаетъ самосовершенствованію и спасенію души?..

Видите, я перехожу на Вашу точку зрѣнія и позволю себѣ еще продержаться на ней, хотя, конечно, лично для меня всѣ эти самосовершенствованія и спасенія души дѣло слишкомъ интимное, чтобы я сталъ ихъ кому-нибудь рекомендовать. Sauve qui, comme peut — и нечего разговаривать.

Вы пишете:

„Люди признаютъ, что въ жизни ихъ что-то неладно, и нуждается въ исправленіи. Человѣкъ способенъ исправить только то одно, что находится въ его власти—самого себя. Но для того, чтобы исправить самого

---

[1]) См. записку харьковскаго земства 1878 г., черниговскаго—1879 г., о преніяхъ въ самарскомъ земствѣ (1881 г.); таврическомъ—24 апрѣля 1881 г. и т. д. См. „A century of political life in Russia".

себя, надо прежде всего признать свои недостатки, а этого-то не хочется. И потому все наше вниманіе направлено не на то, что всегда въ нашей власти—на насъ самихъ, а на тѣ внѣшнія условія, которыя не въ нашей власти и которыхъ измѣненіе такъ же мало можетъ улучшить жизнь людей, какъ встряхиваніе вина и переливаніе его въ другой сосудъ можетъ измѣнить его качества"...

И такъ надо улучшать себя и спасать свою душу по собственному разумѣнію? Знаете, Левъ Николаевичъ, дѣло оно не плохое, но у насъ въ Россіи очень трудное, часто невозможное. Вѣдь Вы, конечно, не о томъ спасеніи говорите, которое удовлетворяется 2-хъ пудовой свѣчкой, а о другомъ, смыслъ котораго, по Вашимъ словамъ, выражается въ томъ, что надо „выяснить себѣ свое отношеніе къ міру и твердо держаться его, установить свое отношеніе къ людямъ на основаніи вѣчнаго закона, повелѣвающаго поступать съ другими, какъ ты хочешь, чтобъ другіе поступали съ тобой, побѣдить въ себѣ дурныя страсти, подчиняющія насъ власти другихъ людей, не быть ни чьимъ господиномъ и ни чьимъ рабомъ, не притворяться, не лгать, не уклоняться, ни ради выгодъ, отъ исполненія велѣній высшаго закона собственной совѣсти — все это требуетъ усилія".

Прочелъ я эти Ваши слова и сейчасъ же припомнилась мнѣ исторія нашего сектантства! Сколько пытокъ, крови, застѣнковъ, разоренныхъ жизней и муки, муки безъ конца! А вѣдь заблужденія и истина ихъ были не больше и не меньше, чѣмъ Ваши! Такія до послѣдняго грана. Вспоминалъ я дальше духоборовъ, которые для спасенія души должны были переселиться въ Канаду, а здѣсь за свое самоусовершенствованіе они видѣли лишь гнетъ и нагайку.

Да, что говорить. Просмотримъ лучше любопытную книгу А. С. Пругавина „Монастырскія тюрьмы въ борьбѣ съ сектанствомъ" [1]). Не стану передавать разсказа о старыхъ временахъ, о всѣхъ ужасахъ подземнаго одиночнаго заключенія, о „еретикахъ", заживо заѣденныхъ крысами, о расколоучителяхъ, просидѣвшихъ въ слѣпой одиночкѣ 25—32—49—63 и даже 65 лѣтъ! Но вотъ фактъ вчерашнаго дня.

„Въ началѣ 70-хъ годовъ въ Архангельскѣ жилъ нѣкій юноша Раховъ. Служилъ онъ въ богатой конторѣ и былъ, какъ говорится, на порогѣ блестящей карьеры. Вдругъ съ нимъ что-то случилось и онъ изчезъ изъ города. Скоро его разыскиваютъ въ глухой сѣверной деревушкѣ. Тамъ, переходя изъ избы въ избу, онъ усердно обучаетъ грамотѣ и Закону Божію деревенскихъ ребятишекъ, дѣломъ и совѣтомъ помогаетъ взрослымъ, а по вечерамъ и въ праздники читаетъ имъ книжки религіозно-нравственнаго содержанія. Долго ли продолжалась бы эта просвѣтительная дѣятельность Рахова—неизвѣстно, но, по доносу мѣстнаго священника, ему было воспрещено оставаться въ деревнѣ и Раховъ уѣхалъ въ Архангельскъ. Отсюда онъ скоро опять исчезъ, обошелъ весь русскій югъ, побывалъ на Аѳонѣ, въ Палестинѣ и попалъ, наконецъ, въ Одессу. Поселившись здѣсь на одной изъ окраинъ города, онъ входитъ въ соприкосновенье съ ея населеніемъ, состоявшимъ изъ рабочихъ, босяковъ и нищихъ. Онъ въ ужасѣ

[1]) Изд. въ Москвѣ, въ 1905 г., съ разрѣшенія духовной цензуры.

отъ этой страшной безысходной нужды, въ которой живутъ люди и начинаетъ ломать себѣ голову надъ вопросомъ, какъ имъ помочь. Онъ рѣшается кликнуть кличъ. Идетъ въ театръ, садится въ партерѣ и въ первый же антрактъ, какъ только упалъ занавѣсъ, Раховъ обратился къ публикѣ съ горячею рѣчью, въ которой, описавъ нужду и положенье голытьбы, гнѣздящейся на окраинахъ Одессы, призываетъ всѣхъ немедленно притти на помощь бѣднякамъ. За это Рахова отправляютъ по этапу изъ Одессы въ Архангельскъ, тамъ судятъ, но на первый разъ выпускаютъ на волю. Долго послѣ этого еще бродитъ Раховъ, долго работаетъ онъ все въ томъ же духѣ въ своемъ родномъ Архангельскѣ: кормитъ голодныхъ, устраиваетъ пріюты для дѣтей, дешевыя столовыя, дома трудолюбія и т. д. Вдругъ по городу пошли странные, тревожные слухи. По нимъ можно было заключить, что мѣстное духовенство заподозрило Рахова въ какой-то ереси, въ неисполненіи имъ обрядовъ православной церкви и въ непочтеніи къ иконамъ. Обыскали и перевернули рѣшительно все, до чего имѣлъ касательство Раховъ, но подозрительнаго ничего не нашли. Все же его предали суду и опять оправдали. Духовенство не унялось и послѣ этого сочло необходимымъ ходатайствовать о ссылкѣ и заключеніи Рахова въ Суздальскій монастырь. Ходатайство это было немедленно уважено, и 20-го октября въ 8 час. утра Раховъ былъ отправленъ въ тюрьму, при чемъ ему не было разрѣшено проститься ни съ отцомъ, ни съ матерью. Въ Суздальскомъ монастырѣ Раховъ въ самомъ суровомъ одиночествѣ просидѣлъ цѣлыхъ 8 лѣтъ, откуда вышелъ лишь по случайнымъ обстоятельствамъ, но уже полупомѣшаннымъ и совершенно разслабленнымъ". (С. Пругавинъ, стран. 102—115).

Видите ли, Левъ Николаевичъ, какъ нелегко въ Россіи спасать душу свою. А вотъ второй случай.

Въ 1903 году Пругавинъ видѣлъ въ той же Суздальской монастырской тюрьмѣ нѣкоего Ермолая Федосѣева, строжайше заключеннаго туда согласно ходатайству самарскаго епархіальнаго начальства: „Вотъ уже 5-й годъ сидитъ онъ въ полномъ одиночномъ заключеніи монастырскаго каземата; о причинѣ заточенія существуетъ слѣдующій документъ: по отношенію къ нераскаяннымъ и зловреднымъ еретикамъ и пропагаторамъ епархіальное начальство прибѣгало къ крайнему средству воздѣйствія черезъ заключеніе ихъ въ Суздальскій монастырь. Такъ оно вынуждено было поступить съ нѣкіимъ Ермолаемъ Федосѣевымъ, который жилъ въ пещерѣ и *своей лицемѣрной праведностью* привлекалъ къ себѣ массу простого народа".

Насчетъ лицемѣрной праведности Ермолая Федосѣева можно, конечно, быть различнаго мнѣнія...

Дѣло, впрочемъ не въ этомъ. Помните ли Вы дальше разсказъ М. Стаховича (въ свое время напечатанный кн. Волконскимъ въ „Освобожденіи") о „путешествіи одного благочестиваго Сарта по Россіи. Сартъ, поклонившись уже своимъ святымъ и угодникамъ, возвращался домой. Но вернуться ему не удалось. Подъ разными предлогами его таскали изъ кутузки въ кутузку, пока не забыли... По Вашему—это совершенствованіе?—По моему только полицейскій произволъ.

Впрочемъ, что же мнѣ увеличивать фактъ? Вѣдь сами же Вы, Л. Н.,

подверглись отлученію, а если сидите теперь не въ суздальскомъ Спасо-Ефимьевскомъ монастырѣ подъ надзоромъ настоятеля, бывшаго полковника артиллеріи Чичагова, то вѣдь это случайность. Вмѣсто одиночки, гдѣ люди сходятъ съ ума въ 6 мѣсяцевъ, вмѣсто режима худшаго чѣмъ въ Шлиссельбургѣ — Вы пользуетесь всѣми благами красивой помѣщичьей жизни. И спасли Васъ, конечно, только „тѣ, дары дьявола", которые Вы отрицаете: богатство, слава, общественное мнѣніе...

Не новы эти факты, которые я Вамъ сообщаю. Тѣмъ болѣе удивляетъ меня Ваша настойчивость. Тамъ, гдѣ царитъ произволъ безмѣрный и ужасающій, гдѣ насильно и съ жесткой насмѣшкой обрывается каждый порывъ къ лучшему, гдѣ нельзя работать, а можно только служить, исполнять повинность и быть рабомъ, гдѣ сосѣдній попъ съ своимъ гнустнымъ доносомъ можетъ каждую минуту ворваться въ Вашу интимную жизнь, а при извѣстной ловкости заточить Васъ *навсегда* въ монастырскую тюрьму, безъ суда, безъ разслѣдованія, безъ срока (до разскаянія!) — говорить о безполезности борьбы и усилій—это жестоко. Говорить человѣку, что онъ можетъ стать лучше—надо. Но когда этотъ человѣкъ работаетъ 12 часовъ въ сутки и вырабатываетъ едва 10—12 р. въ мѣсяцъ, живетъ въ конурѣ, впроголодь, въ вѣчной обидѣ и тѣмъ или другимъ путемъ хочетъ пробиться, чтобы жизнь признала за нимъ и его дѣтьми элементарнѣйшія права человѣка — нужны другія не Ваши слова. И даже Вашъ конечный совѣтъ, о которомъ, къ сожалѣнію я долженъ умолчать, здѣсь, въ этой обстановкѣ неприложимъ. Жизнь идетъ другимъ путемъ, человѣкъ настроенъ иначе. Неудача Вашего ученія и Вашего духовнаго регламента, Вашихъ политико-экономическихъ голослововъ и религіозно-нравственныхъ акафистовъ должна бы давно сдѣлать это и для Васъ очевиднымъ...

Ясно, кажется, что какія-то „смѣшныя реформы", какія-то измѣненія внѣшнихъ условій быта нужны хотя бы ради Вашего излюбленнаго совершенствованія. Но самое любопытное, конечно, въ томъ, что Вы сами это признаете...

„Я считаю такую (т. е. реформаторскую) дѣятельность неправой потому, что тѣ, кто теперь въ Россіи ведетъ борьбу — либеральные земцы, доктора, адвокаты, писатели, студенты и нѣсколько тысячъ (?) недовольныхъ рабочихъ—люди, оторванные отъ народа, называющіе и считающіе себя представителями народа,—не имѣютъ права на это званіе. Отъ имени народа они подаютъ петиціи, требуя свободы печати, свободы совѣсти, свободы собраній, отдѣленія церкви отъ государства, восьмичасового рабочаго дня, народнаго представительства и т. д. Но спросите народъ, массу, милліоны крестьянъ, что они думаютъ объ этихъ требованіяхъ, и настоящій народъ, крестьяне, не будутъ знать, что вамъ отвѣтить, такъ какъ эти требованія свободы печати, собраній, отдѣленія церкви отъ государства и даже восьмичасоваго рабочаго дня для остальной массы крестьянства не представляютъ никакого интереса.

„Крестьянству этого вовсе не нужно. Ему нужно другое — то, чего оно такъ долго ждетъ и жаждетъ, о чемъ постоянно думаетъ и говоритъ, о чемъ ни единымъ словомъ не упоминается во всѣхъ либеральныхъ рѣчахъ и петиціяхъ и лишь мимоходомъ упоминается въ программахъ соціалистовъ-революціонеровъ,—ему нужно и важно только общинное вла-

дѣніе землею. Когда у него не будутъ больше отнимать земли, дѣти его не станутъ ходить „на фабрики", а если и пойдутъ, то ужъ сами установятъ для себя и рабочіе часы, и рабочую плату".

Простите, но эти вотъ строки не убѣдили меня и не обидѣли. Ибо кое-что я припомнилъ. Припомнилъ же я то, что въ 1903 г. познакомили Вы меня съ Вашимъ другомъ простымъ крестьяниномъ Н. Н—ымъ и совѣтовали хорошенько съ нимъ побесѣдовать, потому что это „замѣчательный умница"; Н. Н—овъ дѣйствительно замѣчательный человѣкъ, „толстовецъ", хотя и ушедшій уже далеко отъ Вашей мистики,—если сектантъ—то новаго типа: политикъ, чистый раціоналистъ. И съ этимъ замѣчательнымъ умницей я нѣсколько часовъ бесѣдовалъ о Васъ, Л. Н. Онъ любитъ Васъ, подчиненъ Вашему обаянію, но... онъ говорилъ:

— Л. Н. напрасно тѣшитъ себя мыслью, что онъ знаетъ нашу мужицкую жизнь, да ничего настоящаго ему и знать не откуда, развѣ что изъ окна. Вотъ онъ твердитъ все община, община... а побудь бы онъ въ шкурѣ общинника недѣльки полторы — другое бы запѣлъ и ничего-то онъ насъ мужиковъ не любитъ, ничѣмъ-то онъ въ насъ не восторгается, а просто это его *выдумка*.

Вспомнилъ я эти слова, вотъ какъ разъ прочтя вышеприведенныя строки. Вы говорите, напр., что свобода собраній не нужна крестьянину! Богъ съ Вами... Что онъ не пойметъ даже смысла этихъ словъ? Да вѣдь крестьянинъ живетъ на міру и прекрасно понимаетъ, когда міръ свободно и по совѣсти рѣшаетъ дѣло и когда по оранію земскаго начальника. А наши сектанты и раскольники? Тѣмъ тоже не надо свободы собраній?!..

Нѣтъ, какъ хотите, а это просто описка.

Но совершенно такая же описка и относительно свободы совѣсти, вѣроисповѣданія... даже печати... даже отношеній церкви и государства...

Я къ сожалѣнію слишкомъ мало знаю крестьянскую массу собственно, но мнѣ въ Сибири каждый день приходилось сталкиваться съ сектантами, начиная съ штундистовъ и кончая скопцами. Много разговаривалъ я и съ старообрядцами. Вотъ, мнѣ кажется, гдѣ таились своеобразныя элементы нашей русской культуры, теперь уже задавленные и ставшіе на рельсы европеизма. Но тамъ было наше свое, до сей поры намъ неизвѣстное, для насъ таинственное, и часто пугающее... Былъ намекъ на свой, необычный путь, была такая жажда чистоты, духовности, такой разгулъ мистической мечты, такой размахъ въ порывѣ сорвать съ себя узы тѣла— что въ монастырскихъ тюрьмахъ, въ подвалахъ разныхъ приказовъ, канцелярій, самое наше дорогое, чьимъ блѣднымъ отблескомъ является наша т. н. народническая литература, къ которой принадлежите и Вы сами... И если Вы ихъ опросите, то повѣрьте что они и за свободу совѣсти, и вѣроисповѣданія и собраній... Опросите ихъ дѣтей. На Кавказѣ я видѣлъ молодыхъ духоборовъ, которыя читаютъ Искру, Освобожденіе и пр...

Говорите послѣ этого, что имъ не нужна свобода печати!.. [1]).

И здѣсь еще разъ отмѣчаю глубокое противорѣчіе Ваше. Вы на-

[1]) Нечего и говорить, какъ нужна теперь печать и самой обыкновенной деревнѣ.

чинаете чуть ли ни съ проклятія реформамъ, а заканчиваете почти гимномъ имъ. Вы пишите, что крестьянину нужно и важно общинное владѣніе землей, нужно, чтобы у него не отнимали землю... Послѣ этого Вы говорили одному писателю.

— „Я опять говорю, что нельзя достигнуть желаннаго обновленія всего строя, пока люди не станутъ болѣе совершенными носителями въ себѣ живого Бога. Вѣра—вотъ что главное, безъ чего нельзя жить. Надо, чтобы люди приняли высшее христіанское жизнепониманіе. Это—главное, остальное приложится, и только, когда люди станутъ совершенными, и весь строй тогда обновится... Человѣчество одичало... Поддаются гипнозу, бѣгутъ... Куда? Зачѣмъ? Не надо указывать другимъ, какъ стать лучше. Каждый самъ можетъ стать лучше... Отсюда выводъ: нужна свобода личности и широкая справедливость; свобода—это жизнь, справедливость — это, когда, напримѣръ, капитализмъ не душитъ, а земля составляетъ собственность тѣхъ, кто ее обрабатываетъ въ потѣ лица всю жизнь".

Но въ этихъ вотъ строкахъ развѣ не цѣлый рядъ реформъ, передъ грозною и жизненною силой которыхъ земскія параграфы кажутся какими-то бирюльками. И здѣсь, какъ кое гдѣ въ „Рабствѣ нашихъ дней", какъ на нѣкоторыхъ страницахъ Воскресенія, какъ въ Вашей великой и совершенно неоцѣненной книгѣ „что такое искусство" видно, какъ любимый нами великій старикъ, забывъ благоглупости своего пресыщенія—всталъ могучій, какъ гроза...

Вы рекомендуете мѣру... такую, о которой я не могу говорить... такую, отъ которой вся западно-европейская печать долу опустила голову и забормотала что-то о Бакунинѣ и Крапоткинѣ, хотя всякій знаетъ, что Вы сами по себѣ. Мѣра Ваша напоминаетъ совѣтъ: взмахни руками и лети куда хочешь. Вы и въ Ясной Полянѣ говорили мнѣ тоже самое, Вы и въ Рабствѣ тоже проповѣдуете. Въ Ясной Полянѣ я Вамъ сказалъ:

— Куда полетишь? Вездѣ тотъ же участокъ... Да и не во мнѣ дѣло.

Вы отвѣчали:—Для каждаго дѣло въ немъ самомъ и другихъ ждать нечего... Вонъ Семеновъ отлетѣлъ...

Семеновъ — Вашъ Сеня изъ Яснополянской школы, поставленный Вами, Вами же раздутый, б. м., и правда куда-то отлетѣлъ. Не знаю, многіе ли потянулись за нимъ. А изъ другихъ отлетающихъ — Малованов въ клиникѣ, Цвѣтковъ—въ монастырской тюрьмѣ [1]) и т. д. Нѣтъ, никуда не улетишь, да и улетать не надо. Пока надо то, что Вы говорите: свобода личности, широкая справедливость,—надо, чтобы капитализмъ не душилъ.

Но не отлетомъ этого добьешься, а именно „смѣшными" реформами, о которыхъ съ такимъ пренебреженіемъ и такъ раздражительно Вы говорите. Именно раздражительно—обычный Вашъ тонъ, какъ будто Вы сердитесь на людей за то, что идутъ они не Вашимъ, а своимъ путемъ...

Или, б. м., Вы боитесь, что эти реформы какъ красивыя обманки отвлекутъ людей отъ исканія истиннаго сокровища? И что потоки либеральныхъ фразъ заглушатъ настоящую задачу, чтобы капитализмъ не душилъ!..

Мнѣ думается, что эти всѣ страхи преждевременны. Вѣдь какъ ни-

---

[1]) „Новости Дня" отъ 5-го марта 1905 г.

какъ мы еще передъ закрытымъ занавѣсомъ, слышимъ что на сценѣ передвигаютъ мебель и приколачиваютъ гвозди, а ни самой пьесы, ни того, какъ она будетъ разыграна — мы не знаемъ. Знаемъ лишь, что пойдетъ нѣчто на тему „быть или не быть?..“ Не даромъ мои милые знакомые даютъ одновременно на чай городовымъ, жертвуютъ на забастовки и угощаютъ водкой хулигановъ...

И наконецъ, Л. Н., неужели Вы серьезно думаете, что, осуществись всѣ реформы, и „земныя“ и подземныя люди добьются счастья? Охъ, это счастье. И не пора ли перестать даже говорить о немъ. Вѣдь сами Вы въ него не вѣрите и, какъ многіе изъ современниковъ, предвидите міровую войну...

— Окончится японская война, будутъ воевать за Индію, изъ-за Тибета и такъ далѣе... Человѣчество одичало...

Это Ваши слова. Я согласенъ съ Вами, что будутъ воевать и еще долго и много будутъ воевать и что русско-японская война только стычка авангардовъ. О какомъ тутъ счастьѣ можно разговаривать?..

Вѣрите или нѣтъ, Л. Н., что въ той средѣ, въ которой я чаще всего бываю и съ которой я духовно ближе всего—именно въ рабочей, меньше всего строятъ утопій, рѣже всего выдвигаютъ на первый планъ чисто экономическія реформы. Здѣсь, несомнѣнно, проснулась личность, проснулся человѣкъ. Въ грязи, нищетѣ, униженіяхъ, онъ успѣлъ какимъ-то таинственнымъ путемъ сознать свое достоинство, свое право на человѣческое существованіе, и это у него на первомъ планѣ. Разные тамъ академики, вродѣ Ивана Янжула, осмѣиваютъ его за требованіе 8-и часового рабочаго дня. Эти „разные“ академики, вродѣ Ивана Янжула, не знаютъ, что скрывается за этимъ требованіемъ. А тутъ мечта *очеловѣчиться*, учиться, жить.

Я думаю, что та же проснувшаяся личность, тотъ же человѣкъ познавшій свое достоинство—заставляетъ бродить и кипѣть всю Россію начиная съ 102-хъ земцевъ и кончая гимназистами приготовительнаго класса въ Ярославлѣ...

И вотъ это-то придаетъ такую красоту переживаемой минутѣ. Ибо возсталъ человѣкъ. И ищетъ онъ теперь не счастья, а побѣды.

Что же до того, что за потокомъ фразъ люди забудутъ о землѣ, о гнетѣ капитала и пр.—не безпокойтесь. Не маленькіе.

Андреевичъ.

Содержаніе.

СТРАН.

Біографія . . . . . 1—110

Дѣтство, отрочество и юность. Руссо и Нехлюдовщина. На Кавказѣ. Подъ Севастополемъ. Въ Петербургѣ. Въ деревнѣ и заграницей. Вторая поѣздка заграницу и педагогическія занятія. Писательская драма. Семейная жизнь. Большіе романы. О пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого. Кризисъ. Ученіе Толстого.

Борьба съ развратомъ культуры. Руссо и Толстой . . . . 111—168

Отношеніе къ высшимъ представителямъ культуры. Жизнь согласно съ природой. Какъ Руссо понималъ потерю естественнаго состоянія? Руссо и Толстой объ искусствахъ и наукѣ. Борьба Толстого и Руссо за свое „я". Какъ и почему Толстой пошелъ на выучку къ мужику? Стихія Руссо и Толстого. Конечный идеалъ. Итоги.

На вершинѣ славы 169

Въ Ясной Полянѣ 173

Исторія одной интеллигентной колоніи 190

Заключеніе 214

Приложенія.

I. а) Опредѣленіе Св. Синода отъ 20—22 февраля 1901 г. о гр. Л. Н. Толстомъ 227

б) Отвѣтъ Л. Н. Толстого Св. Синоду 229

II. а) Въ дни Толстого 235

б) Въ Ясной Полянѣ. 243

III. Международный союзъ имени Л. Н. Толстого 252

IV. Легенда о желѣзномъ перстнѣ 253

V. Отзывъ Л. Н. Толстого о современномъ общественномъ движеніи въ Россіи. 254

VI. Открытое письмо Л. Н. Толстому 256

*PB-43330-SB
5-15
C-C
B-T

Stanford University Libraries
3 6105 002 099 518

P
3
S

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC FEB 08 1996

JUN 0 9 1998